

ISSN 0130-7675

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1997

4

1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(864)

Апрель, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Роман с простатитом	3
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — На золотом пляже, стихи	59
ЕЛЕНА УШАКОВА — В каплях воды, муравьях и осах, стихи	64
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Ирунчик, маленькая повесть	68
АНАТОЛИЙ КИМ — Два рассказа	88
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР — Ты, стихи	112
РАССКАЗЫ ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА — Владимир Насущенко. Плотник и его жена; Виталий Снежин. Свидание; Станислав Сла- вич. Цацка; Аркадий Пастернак. Иванов на крыше; Владимир Курносенко. Контактеры; Юрий Цаплин. Дух вместо человека	116

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ — Из лирики. Перевели с польского Виктор Коркия и Наталья Астафьева	148
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — Властители дум	152
----------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Марина, Ариадна, Сергей	160
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — «Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова. Из «Литературной коллекции»	191
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Сюжеты тревоги. Маканин под знаком «новой жестокости»	200
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

По ходу текста

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Назначающий жест 213

ОПЫТЫ

СВЕТЛАНА ЧЕКАЛОВА — «Живая, безжалостная, неверная» —
«добрая, милая, славная» 220

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Никита Елисеев. Писательская душа в эпоху социализма 225
Татьяна Морозова. Скорее являются запятая чем не являются 236
Татьяна Касаткина. На грани двух миров 238
Алексей Козырев. Философ из зазеркалья 243

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 248
Периодика (составитель Андрей Василевский) 252
SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

*

РОМАН С ПРОСТАТИТОМ

1. ИСПЫТАНИЕ ПУСТОТОЙ

У же мое рождение было бунтом против материи: я был зачат сквозь два презерватива.

Плод бессеменного зачатия, почему же я не остался пророком — провозглашать истиной то, что нравится, а не стелиться жалким ученым червем перед тем, что есть на самом деле? Собаки знают: каждый носит с собой свою атмосферу. Космонавтам известно еще непреложнее: если не заковать ее в скафандр, она будет тут же высосана и развеяна мировым вакуумом... Но еще важнее — каждый носит с собой целый мир, который можно создать и удержать только усилием собственной души.

Расписанный морозом и мазутом мальчуганчик на курносых, с ионическим завитком коньках, прикрученных к валенкам остекленелыми ремешками, завернув с горки в егоровский сарай, гремучий, словно жестяной почтовый ящик, я увидел оконное стекло, прислоненное к волнистым жердям задней стенки. А в стекле — в стекле явился мой же собственный эскимосистый (малица) силуэтик, а за силуэтиком — улица, снежная горка, кишащая черным пацаньем, и — в том же самом стекле, насквозь! — извивающиеся жерди, они же — волны (серое море, завалившееся на крыло), там же — выбитый сук, похожий на опустошенный рыбий глаз, еще и обведенный двойной слоеной бровью (пацаны у нас любили ловить рыбку «на глазок»), и черная глубь этого глаза, похожая на скважину в неведомую тьму, — и я вдруг ощутил, что могу видеть *что захочу*: захочу — себя, захочу — улицу, захочу — море, захочу — глаз, захочу — скважину в неизвестность. И чем дальше от правды — тем интереснее.

Море интереснее жердей, тайна интереснее моря. Самое волнующее в мире — это то, чего в нем нет, то, что мы добавляем от себя, какая-то микроскопическая крупинка отсебятилки, — но мир без этой приправы уныл и пресен, как холодная разваренная вермишель без соли.

Что я говорю — «уныл», — ужасен! Теперь я стараюсь занавешивать стекла в своей комнатенке светлыми занавесочками, чтоб не с такой убийственной яркостью ощущать беспредельную пустоту за ничтожной пленкой нашей голубенькой атмосферочки или бескрайность рядов (культпоход новобранцев в Театр Советской Армии) *совершенно одинаковых* окон. Впрочем, как-то, по старой памяти прижавшись лбом к холодному стеклу, я вдруг понял, что снова могу творить собственный мир — в одном и том же видеть разное. Фонари в тумане светились сказочными одуванчиками, желто-красные отражения светофора дружно змеились на асфальте лоскутом подстреленной радуги...

И тут я лбом почувствовал потрескивание стекла, — еще бы чуть-чуть — и звон отточенных осколков, теплососущий туман, заглатывающий

мою нору, бесплодные поиски стекольщика, бесконечная беспомощность — почему бы и не на годы? — и ненависть к себе, к своей бестолковости и никчемности.

Вы скажете, я сумасшедший? Нет, я просто *ненормальный* — я чересчур чувствителен и честен в сравнении с нормой. Для меня «может случиться» — почти то же, что «случилось»: раз моя жизнь зависит не от меня, а от прихоти бессмысленного Хаоса... Но когда же все-таки, когда так называемая Правда Жизни успела высосать надышанное тепло иллюзий из моего скафандра?

Солнце до того ослепительное, что можно вообразить, будто это какая-нибудь Ривьера, Флорида, Гавайи. Прибой, ухая о парапет, взметывается ввысь блистающим петергофским гейзером и — шшух! — тяжеленным водяным бичом хлещет о набережную, а благодатный радужный бисер не успевает растаять до следующего бича — бичшшахх! Под парапетом обронены окатываемые разыгравшимся морем великанские бетонные кубики, обросшие нежной зеленой бородкой семнадцатилетнего водяного. Малахитовая бородка при первом прикосновении ласкает подошву медузистоскользким языком, но, прижатая к неколебимой бетонной основе, становится надежной, как асфальт — как ваша мускулистая плоть... Но почему все внезапно сделалось непонятным и безумным?.. Что-то зелено-полированное заслонило горизонт, и левый локоть неудобно прижат к животу, и звоном наполнилась вселенная, и верхняя губа утратила существование — а сообразительный язык уже и *без вас* успел отыскать на месте чистенького, гладенького зубика страшный раздирающий зубец. И — это УЖЕ ВСЁ. НАВСЕГДА. Материя нам не повинуется. Вернуться на мгновение назад так же невозможно, как переменить эти насмешливые взгляды на испуганные или сострадательные...

Не этот ли бритвенно-острый обломок зуба незаметно чиркнул по натянувшемуся горлышку моего правдонепроницаемого костюма? Или реальность, как всегда, была гораздо проще и паскуднее? Внезапное потрясение перед впервые открывшейся красотой природы — еще в простеньком васнецовском вкусе: сказочная ель, отраженная в черном зеркале пруда, вмятый в осыпавшийся берег гигантский паук, обращенный в сплетение корней, опутанных землится паутинкой, — и внезапная же расслабляющая боль в животе. И некуда бежать, и не добежать, и ничего другого не остается, как скрючиться под этой самой елью в паучьих лапах и, испуская палящую струю, заметить краем полуослепшего от внезапности катастрофы глаза торопящуюся прочь, отворачивающуюся девичью фигурку... Прочь от тебя, мерзкого раба собственного кишечника.

Или даже и это — дань мелодраме? А в жизни не бывает одноразовых революционных поворотов и взрывов, — все рождается из пылинок, из капелек, которые потихоньку-полегоньку и перетирают гранит и мрамор в труху? Вы со слезами на глазах (что за железы их, кстати, производят и из чего?) читаете стихи, а кишечник ваш издает озабоченное бурчание, — да кто же так смеется над человеком?..

Для освежеванной, лишенной иллюзий души каждая пылинка становится раскаленным угольком, отточенным лезвием, отравленной иглой, вечно нарывающей занозой. Но с какой же маниакальной добросовестностью — рыцарь Истины! — я соскабливал с себя иллюзию за иллюзией, — презрительно поглядывая, как еще живые клочья ежятся на цементном полу прозекторской — того гляди, вспорхнут и бабочками обсядут своего освежеванного хозяина...

Следующую попытку прорыва «объективных законов» я предпринял лет через семь — по обычному рецепту чудотворцев: горчичное зерно искренней дури на ведро мошенничества.

Длиннющий сарай, так и не сумевший до конца выпростаться из-под земли, словно гриб-печерица, — он же полуподвал, откуда развозят кваше-

ную капусту. У ворот очередь — особые гурманы желают почерпнуть из первоисточника. Тут же телега с могучими бочками, намертво стиснутыми ржавыми обручами, тоже могучими, как меридианы. Под телегой разлеглась в холодке раздумчивая лохматая псина.

Капуста нашлепана в бочки выше краев — террикончики потрепанных лоскутьев пытаются ожить, пустившего прожилки халцедона. Мрачный кучер Колька Журавель охлопывает капустные горки, оставляя на них черные пятерни — все светлеющие морские звезды из адских подземных морей.

— Ох, руки... — не столько укоряя, сколько философически грустя о несовершенстве мира, покачала головой тетка из очереди.

— Ты б тут поработала — посмотрели бы, какие бы у тебя были руки! — внезапно выверился Журавель: простая и очевидная Польза всегда ждет случая восстать против всего, что возвышается над ней, — для начала хотя бы против вежливости, гигиены...

— А в армии бы — все съели! — предложил примириться в общем восхищении солдатской всеядностью крючконосый, но почему-то добродушный дядька (его тоже сто раз видел).

Журавель (фараон в колеснице) властно огрел свою клячу тяжелым палаческим кнутом, она, страдальчески выгнувшись, рванула, заднее колесо неуклюже перевалилось — да-да, через псину. Колька — «тпруу, зараза!» — приостановился, потом, с досады вытянув еще и собаку (она не откликнулась ни вздрогом в своем бесконечном вое), загрохотал по торчащим железякам, коими почва моей родной Механки была напичкана не слабже какого-нибудь Вердена.

Собака оказалась как будто пластилиновая — продавленная середина прилипла к земле. Она пыталась ползти на передних лапах, но никому не позволяла прийти ей на помощь — рыкала, да еще и пыталась цапнуть: понимала, что никому ни в чем помочь невозможно. Потом, как водится, сдохла. Кладовщик за задние лапы оттащил ее подальше, и дело было кончено.

Но только не для меня. Я каждое утро бегал посмотреть ей в глаза: я видел не глаза, а *взгляд*, полуприкрытый, но тем отчетливее на что-то намекающий.

Переглядываться с собакой помешала лишь вонь — но взамен мне внезапно открылось, что *от меня* собака помощь приняла бы, меня бы она не укусила. Потому что если подходить — хоть к собаке, хоть к человеку — с открытой душой, *они никогда тебя не укусят*. И я спокойно приблизился к угрюмой дворняге, скалившей зубы из ржавой бронированной будки, и погладил ее — сначала по шерсти, а потом и против. Затем другую, третью. Мною уже начали гордиться, даже большие, пока дело не дошло до знаменитой «немецкой овчарки» Забабахиных.

Сказочно прекрасная, с траурными тенями вокруг мудрых сталинских глаз, с уверенно наостренными ушами (единственный знак породы, признававшийся на Механке), она имела резиденцию в просторном голубеньком домике из строганых досок, а не из ржавой железной рвани — отходов, как почти все, что нас окружало, мехзавода (нечто мягкое, пушистое) им. Ям Свердлова. Рассказывали, что Забабахин продавал ее щенят (додуматься же — продавать щенят!) за какие-то немислимые деньги — по двадцать пять рублей (бутылка водки!). Я спокойно подошел к забабахинской аристократке. Она с рыком ринулась из будки, словно поезд из тоннеля, сбила меня с ног и принялась рвать. Я успел сунуть ей локоть в пасть и потом уже не давал сдернуть с него ее прекрасную, обезумевшую от ярости морду.

Репутация моя была бы загрызена насмерть, но оказалось, все дело в том, что овчарка была немецкая! Не чудотворец слаб, а дьявол силен. И однажды, припав к щели забабахинского забора, я увидел печального Забабахина (в пижаме, сильно культурный!) на корточках у мертвой, но пре-

красной псины (лишь чуть испорченной туповатой гримасой тошноты): покусившуюся на чудо красавицу отравил какой-то неведомый хранитель веры.

Я тоже не утратил веры в свой дар, но следующим летом набрел на свою первую собаку и увидел под кое-где уцелевшими ключьями ишхелудивевшейся шкуры сравнительно чистый, очень толково устроенный скелет. Позвонки были аккуратно уложены не лишенным изящества изгибом — порядок нарушался лишь в одном месте, где была высыпана горсточка беспорядочных осколков.

После этого я вовсе бросил творить чудеса — охота пропала. Нет, я еще не постиг, что чудотворцем можно стать лишь ценой массовой лжи и устранения скептиков — мой скафандр оказался пронизаем лишь для очевидности. Для ясности устройства, скелета, механизма — уж их-то мы навидались: перекаленные механизмы окружали мехзавод им. Ям Свердлова могучим ржавым валом, именуемым Курской дугой, и все эти наши человеческие переглядывания и намеки для них не значили ну ровно *ни*, ровно *че*, ровно *го*.

У нас гремели гулкие сортиры-резонаторы, сварные собачьи будки превращали любого барбоса в Марио Ланцу, литые кошачьи площадки тянули на полпуда, жестяные подушки набивались витым золотом и перекаленной синью (соперничающей с басистыми помойными мухами) металлических стружек, которые, свисая из раскатистых мусорных баков, случалось, напоминали о париках Исаака Ньютона и Джонатана Свифта.

Среди этой стальной пышности нам была и вовсе ни к чему хилая и путаная вязь деревьев и кустов: подернутые рыжинкой акации, коими было обсажено помпезное — с гербом и фронтоном! — здание Управления, только на то и годились, чтобы раз в год объедать с них взбурливший и полопавшийся омлет под корицей — желтые цветы, опороченные ржавчинкой (под соусом из отсебятины этот железный, полезный для беременных коз деликатес был слаще и сочнее хорезмских дынь). Близ наших бродомов росли только кустики картошки, выбивавшиеся из нашпигованной железом земли (Верден, Верден!) в браслетах из гаек и в ожерельях из нежно позванивающих шайбочек (картошку нужно было жевать не без осторожности, ритмически сплевывая, подобно рыбьим косточкам, рыженькие болтики, — картошка с рыжиками по-механски).

И все же самым дивным было то, чего нельзя ни увидеть, ни пощупать, — какие-то тайные взаимосвязи. Если уж из мертвых железяк слагается стучащий, рычащий, воющий мотор... Я чуть не съехал с ума, пытаюсь постичь, чья волшебная рука перекладывает узоры в незатейливой картонной трубочке калейдоскопа: чудо создавалось шепоткой зауряднейших цветных стекляшек — только повторенных в трех зеркальных полосках. Неужто внесенная в мир закономерность и создает красоту?

И какую-то — неотразимость, что ли? Пусть тебе попробуют сказать: «Твоя мать воровка!» Другое дело, предложат: «Скажи: веревка», — а после ликующе довершат: «Твоя мать — воровка!» — тут уж не попрешь. Созвучия намекали на некую таинственную связь, самыми красивыми словами всегда оказывались те, которые проглядывали сквозь дымку полупонятности, — «пур-пурр»... Самые интересные вещи всегда бывали и сами собой, и одновременно чем-то еще. Гора-богатырь в шлеме, гора-гриб, гора-могила...

Вообрази про унылого сторожа-татарина, что он китаец, — и глаз не сможешь оторвать. Когда рассыхающиеся кирпичные корпуса нашего мехзавода в наиболее растрескавшихся местах наконец просыпались насквозь (металлические внутренности, вспыхивая в адском пламени вагранки — что битва при Ваграме! — проглядывали таинственными, а потому грозными и прекрасными), зияния закладывали уже простыми неотесанными камнями. И что за неуловимо устроенные узоры складывались из этих

скучных булдыганов, вмазанных в известку, — какое многозначительное сходство с сорочьими яйцами обреталя затянущиеся дыры!

Я много лет жил в предвкушении, что все в мире делается не просто так, а что-то еще и *означает*: когда-нибудь явится некое Нечто и откроет нам, что несостоящих пустяков на свете просто-таки нет, — и все окажется значительным. А из-за чего мы грызлись и восторженно галдели — что высоко перед людьми, то мерзость перед Нечтом. Дыхание Нечта, казалось, касалось и бесхитростных душ сочинителей мелодрам: тряпка оказывалась обрывком царской мантии, театрального занавеса, пеленки с монограммой, по которой будет опознан графский сын... В мелодраме, как и во всяком подлинном, то есть свободном, то есть оторванном от жизни, искусстве, у людей не схватывает живот, они не рыгают, не портят воздух и ничего не извергают из себя: вся эта сортирно-больничная гадость в подлинно человеческом, то есть духотворном, мире нужна еще меньше, чем благородные откупщики или мудрые дилеры — нужному месту в нужниках, капищах Правды, Жизни Как Она Есть.

Наш клепаный сортир-резонатор всю ночь выжидательно вибрировал на ветру, как самолет перед стартом, но цинковое ведро за печкой справлялось с этим делом еще циничнее. Когда мать в темноте пробиралась на кухню, за печку, я изо всех сил утыкался лицом в подушку, стискивал уши и принимался иступленно бормотать: «У попа была собака, у попа была собака...», чтобы заглушить все равно остающийся внезапным и незаглушимым металлический грём... Тупое господство Простоты над нашей бесконечной сложностью я ощущал, пожалуй, чаще с недоумением, чем с обидой: да неужто и в самом деле, если проделать в человеке — во мне, в папе, в маме, в Ленине — отверстие, мы обязательно перестанем жить?

Потому-то я никогда не понимал, как это можно — развернуться и звездануть человека по зеркалу души, чтобы оно чмокнуло, чавкнуло, мотнулось подобно *неодушевленному предмету*? Чтобы искоренить в себе эту позорную слабость, я даже пошел в услужение боксу — и не без успеха: удары гулкие, как в бане, стремительные, как у нырка, нырки у меня были вполне, — но только на тренировках, когда я знал, что мы с партнером вместе играем, а не в самом деле так уж хотим шмякнуть друг друга на пол, *как мешок*. Самое отвратительное в драке — *торжество простоты*: столкновение душ решается в низшей инстанции. Это у скотов пускай все вершат рога и копыта!

Внутри своего скафандра ты должен быть полным и безраздельным хозяином, думал я, не понимая, что лгать себе — это и значит быть хозяином. Величие человека создано его даром в одиночку, вопреки всем «объективным законам», прийти в восторг от бессмыслицы — и тем превратить ее в осмысленность!

До поры до времени я верил, что я себе хозяин, что я не могу потерять сознание: вот так вот весь сожмусь в комок!.. И когда у нас в школе пошла мода на «отключку», меня никак не могли отключить. Полагалось одиннадцать раз без перерыва вдохнуть до пучеглазия и выдохнуть до кашельной шекотки, а напоследок набрать воздуха сколько влезет, да так и надуться. А тебя в это время должны обхватить сзади, стиснуть, где «поддых», и оторвать от земли — ты же в ответ должен отключиться и предаться легким конвульсиям. Как-то я еще раз снисходительно позволил низкой материи обломать свои зубы об алмаз моего духа. Я пропыхтел-просипел положенное количество раз (в глазах, как положено, почернело), потом почувствовал, что меня поднимают в воздух, — и я снова сидел на теплом ободке «Фордзона», снова посмеивался над этими простотами — и увидел склонившиеся надо мной лица пацанов, а потом ощутил под лопаткой растущую из земли шестеренку: оказалось, я успел проделать весь церемониал отключки со всеми положенными конвульсиями — я оказался всего лишь пневматическим устройством!

Чудо, тайна, авторитет — киты издыхали один за другим. Мой папа быстро перерезал питательную связь моей души с земными владыками. Еще не успевши расстаться с сатурновым кольцом соски, я уже знал, что Россией всегда правили дураки, а умных людей никто никогда как не желал, так и не желает слушать. При этом прежних, самых умных, людей можно было узнать по тому, что они носили пенсне и употребляли латинские и особенно греческие изречения. Диковинная власть греческого алфавита отдавала *тайной*, без которой я ничего не могу ощущать волнующим и значительным — даже любовь ко мне.

Тайна тайной, но мне еще постоянно казалось, что любят не меня, а мой успех на каком-то семинаре, которого могло бы и не быть (и успеха, и семинара), не меня, а мою «блестящую память», не меня, а мое «точное тело» — ведь и тело наше, как и все материальное, нам неподвластно: мы можем сохранять только *образы*. Старый дурак... Впрочем, если меня раздеть да отрезать голову, изможденную безнадежной битвой с материей, то мне вполне можно дать и двадцать четыре вместо сорока четырех: вдруг я и впрямь бессмертен?.. Но я так мерзко прогнил изнутри... Пожалуй, моя первая жена сейчас уже могла бы меня уважать: яйца, протухавшие в земле четверть века, превращаются в любимое лакомство китайских императоров.

Китаеведение, электротехника и всякие членства-лауреатства знакомых ее отца были для меня в ту пору Духом в достаточной степени, чтобы я не мог и помыслить о плотских контактах с моей уважаемой обожательницей. Даже когда она возложила инициативу на себя, я и будучи возложенным готов был спятить от неловкости, и если бы мой организм в ту пору не трещал по швам от избытка гормонов...

То, что она не оказалась девственной, ввергло меня в какую-то оторопь: такие физиологические банальности... Но она сама поспешила объявить мне о своих достижениях: мы же *взрослые люди*. И надо предохраняться — от возвышенности, — в одиночку бы я не посмел ввести в алтарь ничего технологического. У нас-то на Механке учили исключительно технологии: «Если баба *не дает*, поверни ее за левую сисыку»...

Но если что-то когда-то с самой интеллектуальной моей супругой у меня и было, то лишь тогда, когда еще «ничего не было». Только было не с нею, а с ее образом — туманно-волнующимся и волнующим. И сейчас щемит сердце, когда вспоминаю ухватистые, хищные корни темных сказочных елей, обступавших серый, растрескавшийся, как слоночья шкура, забор тестевской дачи под Усть-Нарвой, чаек, крупных, словно гуси, выступающих по прибрежной тине, нежно-зеленой, будто майская травка, песчаный мыс, за которым открывался другой песчаный мыс, за которым открывался третий песчаный мыс, до которого мои крылатые кеды так меня и не донесли, и оттого оставшийся нетронутым-манящим, ибо я не заглядывал и за первый. Тесть, красуясь разнообразием хворей, демонстрирует мне, каким должен быть настоящий мужчина: при тоненьких непропеченных ручках и ножках трепещущий живот вытекает набок из ребер и импортных купальных трусиков; загорать не больше семи минут в день, а каждые тринадцать минут торжественно проглатывать какие-то капли не то пилюли; принимать пищу полагалось каждые двадцать восемь минут, но есть что бы то ни было при этом настрого запрещалось. Тесть дружелюбно, как старший товарищ, наставлял меня (моя жена, гордясь его мудростью, радостно и многократно кивала), что напрасно я пренебрегаю комсомольскими *нагрузками* и — круглый, как шар, отличник — хватаю двойки по всяким научным коммунизмам: где-то *там* это все прекрасно запоминают, а наука — дело серьезное... Я страшно уважал тестя и даже отчасти трепетал, но — серьезной, мне казалось, должна быть только смерть, а жизнь должна быть обалденной, опупенной, сногшибательной...

Все же я позволил избрать себя комсоргом — и через неделю потерял целую пачку комсомольских билетов. Но это осенью — а в то лето меня,

уже через три дня шоколадного, то и дело неудержимо влекло к вбитому в пляж турнику, чтобы — раз, другой, третий — крутануть на нем «солнышко»: мне хотелось взлетать *без усилия*. Зато я начал падать в глазах супруги, хотя мои прогулки с ее образом оставались вполне возвышенными, особенно когда я перед сном удалялся от слоновьего забора к заливу, чтобы на глазах почитаемых мною людей не посещать слоновью же кабину уборной, где очко было опоясано тоже слоновьей кости унитаэным хомутом, сквозь который мне всегда было неловко видеть нашу — здесь, увы, посторонних не было... — продукцию. И я предпочитал анонимное растворение в природе...

Лунная дорожка, расширяясь, убегала из-под ног, в конце концов разливаясь во весь горизонт сияющей полоской, словно добравшись до какого-то царства ослепительного света. Бредя по мельчайше просеянному гладышему песочку, просыпавшемуся из триллиона песочных часов, я несколько не страшился бесконечности: ничтожная комбинация нуклонов и электронов, на мгновение сцепившихся электромагнитными полями, я бесстрашно смотрю в лицо Космосу и пронизываю его своей мыслью от недостижимых вершин до постижимых глубин!

Лет через пятнадцать на почечно-печеночном с селезеночным привкусом курорте моя бывшая жена с кудактающей гордостью ошалевшей от обожания мамыши похвалялась налево и направо, что ее мужу нужен двести тридцать второй стол, на котором кормят лежа, через пластиковую кишку, что... И он был достоин любви, маленький скрюченный горбун с прикипевшей к лицу геморроидальной гримасой, в очках минус двадцать три, — лишенный употребления ног, рук, глаз (но только не языка, что-то вешавшего по-гречески), он был с торжеством пронесен ею мимо меня в двух авоськах, как наглядный урок: вот, мол, что ты упустил!

И все же их Дух был не чистый Дух, ибо считал себя *окончательной* высшей ценностью, а подлинный Дух не замирает ни на миг, он всегда устремляется еще, еще куда-то, к еще большей бесполезности, которая лишь завтра делается всеобщей Пользой. Подлинный Дух должен всюду ощущать присутствие Духа, а сёные аристократы находили его лишь в себе самих, обращаясь с прочим человечеством с той преувеличенной любезностью, которую все мы держим для карликов и кротких слабоумных. Теща, помню, даже обнаружила в моем безупречном русском языке какой-то областной акцент, которым ей представлялось всякое проявление интереса к собеседнику.

Дух должен быть великодушен и, может быть, даже нежен к плоти; покуда она не пытается властвовать над ним.

Но когда я улетучивался из ее мира окончательных ценностей через заложенную, как нос, каминную трубу — со спортивной сумкой через плечо, — в те дни мне было до ужаса одиноко: я впервые в жизни по-настоящему ощутил, что моя жизнь и в самом деле всего лишь один из миллионов миллионов химических процессов, а потому и смысла в ней не больше, чем в жизнедеятельности двигателя внутреннего сгорания.

Воспользовавшись своим помертвелым видом, я с легкостью получил академку и — на третьих полках, на попутках, на товарняках устремился на Дальний Восток (свет с Востока?). До сих пор в груди взволнованно ёкает, когда услышу грозную волну стального грохота, накатывающуюся по товарным вагонам от бесцеремонного (дрова везет!) рывка тепловоза: невольно ищу, за что бы ухватиться, чтобы снова не треснуться коленом об арматуру тормозной площадки.

Путь к Восходу я избрал не самый короткий — вниз по матушке по Волге, — непрерывно шлюзовался в какой-то оцепенелости, каждый раз оказываясь, в сущности, где и был: в мире смотреть было не на что, ибо все виделось в прямом утилитарном значении. Однако мною то и дело овладевало неудержимое стремление двигаться быстрее, быстрее — пусть и неизвестно куда. Власть материи — *обстоятельств* — внезапно делалась

невыносимой, я кружил по палубе, потом незнамо где срывался с теплохода, проявлял чудеса предприимчивости — только бы не стоять! — в поисках приработка, вкальвал как бешеный, до упаду, потом бежал на поезд, на автобус, но если хоть что-нибудь происходило не так, как *полагалось*, то есть как я спланировал — кассирша захлопнула окошечко, кто-то в очереди подошел сбоку, — меня пронзало такой бессильной и безнадёжной обидой, что я бросался прочь хоть пешком, лишь бы быть *самому себе хозяином*. Ночевал я на чердаках, на стройках (о, холодные волны бумажных мешков с цементом!..), один раз — на дворежном теннисном столе, другой — на шинели славного патрульного солдатика, с автоматом через плечо отслеживающего беглого убийцу.

Однажды на уютном постое я вдруг понял, что до сна буду *вынужден*, — вынужден тупой материей! — дожидаться еще часа три. Я вскочил и, оправдывая бессмыслицу невнятицей, бросился на дорогу — высоченный грейдер (вытянувшись в бесконечность крышка гроба) — и на предельной скорости зашагал навстречу прозрачному, но с каждым моим лихорадочным шагом наливающимся чужим светом иллюминатору луны.

Один битый, в шишках и ссадинах автобусик с устарелым острым носиком проявил великодушие. Его благородный водитель подбрасывал каких-то запоздалых огородников, которые отрабатывали проезд непрерывными славословиями: «Вот водит так водит!» Шофер и подлинно бесстрашно ввинчивался в самые крутые виражи, еще и кренясь туда-сюда, словно мотогонщик. Вглядевшись, я понял, что он вмертвую пьян, но, тоже двигатель внутреннего сгорания, только уселся покрепче да на поворотах приглядывался, куда доведется кувыркатся.

Внезапно распорядитель наших жизней на полной скорости бросил руль и принялся через голову стаскивать рубаху. «Вот водит так водит!» — еще пуще заголосили курильщики фимиама рыдающими от ужаса голосами, а я только и подумал: «Вот так все просто и бывает», — простое, мол, и уничтожается простым. Из-под полудохлой, обвисающей майки героя-гонщика выглянул татуированный меж лопатками кладбищенский крест — игривая Жизнь все-таки должна порезвиться перед убийством. Замерцали огни поселка, вспыхнул желтый горсуд — и нас выпустили на волю: поняли, мол? Вот и не забывайте! Огородники, благодарно гомоня: «Вот водит так водит!», растаяли во тьме, а я, минуя нашего спасителя, увидел у него за шиворотом целую церковь, а вовсе не могилу. На нем лица не было — все черты стекли и повисли, как индюшьи сопли. Но ночевать к себе он повел меня в абсолютно черной тьме без единого промаха: вот водит так водит! Так же безошибочно шатаясь, он повлек меня сквозь бесконечные анфилады, в которых ощущалось дыхание спящих вповалку десятков мужчин и женщин. «Притон», — равнодушно констатировал я и в некоем окончательном тупике, во тьме расстелил свой ватник на каком-то эшафоте, приладил в предполагаемых головах обмякший рюкзачок и на всякий случай переложил деньги в нагрудный карман рубашки и умело, как бывалый слепец, булавкой заколол карман с изнанки. Лег ногами к предполагаемому входу, чтобы, если что, ударить обеими сразу.

Сейчас бы я, разумеется, глаз не сомкнул, но тогда спал уже через три минуты. Проснулся я оттого, что кто-то осторожно хлопывал меня прямо по карману, где хранилось рублей как бы не сорок. Я мгновенно сгруппировался и двинул двумя ногами сразу в предполагаемом направлении.

Когда меня через год грабили в Красноярском аэропорту, я уже не проявил подобной рассудительности. Я летел на перекладных из Баргузина через Улан-Удэ, где мне удалось слегка прийти в себя после чрезмерно пышного прощания с родной плотницкой бригадой. В Красноярске самолет задержали аж до вечера, и я ввязался в автобусную экскурсию.

Заповедник «Столбы», запах горячей хвои и коры, запах горячего песка, пробуждающийся только тогда, когда горячие (не жаркие, а именно

горячие!) дни стоят уже долго; причудливые скальные выходы и выходы, а ведь если вещь является и собой и одновременно намекает еще на что-то... Скала «Дед», скала «Перья»...

Отсебятина глубоко, но мощно плеснулась в глубине.

Волшебнo-эклeктичнoй музей — эхo Египта и Коринфа, отозвавшееся на Енисее; заворочавшийся во мне тугодумный интерес к авангарду двадцатых, лишь в провинциальной ссылке обретшему величие, не заслоненное гектарами Айвазовских и Репиных: странное искусство, не желающее раболепствовать перед реальностью. В преддверии храма искусства вся толща воздуха внезапно засветилась серебристым сиянием, и — ударил пыльный шквал. Но не успел я взлететь на высокое крыльцо, как все так же мгновенно стихло — только асфальт был покрыт ковром из сломанных веток (довольно толстых).

Я шел к величественному зареву и аэрореву по темной аллее, предупредительно посторонившись от бегущего мне навстречу силуэта. Вдруг силуэт резко вильнул в сторону и с налету сшиб меня с ног. И тут же со всех сторон на нас бросились другие силуэты. Я барахтался, как жук, на своем проклятом рюкзаке, а они беспорядочно со мной боролись (причем один, совсем ополоумевший, совершенно без толку крутил мне ухо) и выворачивали из штанов свалывшиеся трешки. Самая дельная рука выдернула из одного нагрудного кармана паспорт с билетом, а по второму (вот оно, мастерство застежки!) дважды скользнула вхолостую и была тут же отброшена более мужественными и бестолковыми соратниками. Зачем им понадобился еще и мой ботинок, до сих пор не понимаю.

Чтобы не хромать, я вбежал в отделение с ботинком в руке: там!.. быстрее!.. А вы кто, собственно, такой? Паспорт есть? А почему ты без паспорта нам указываешь, кого и где ловить? Сколько взяли? Пятьдесят наши, а пятьсот не наши?

Какой-то доброхот шепнул: иди, парень, с богом, а то задержат на трое суток, и денег своих не увидишь, и по шее накостьляют, — хорошо еще, стюардесса меня помнила да какой-то мужик за десятку продал резиновые сапоги, но за время босоногих прогулок по бетону я успел схватить плодovитейший насморк.

Деньги, однако, довез в целости. На половину отгрохал новую свадьбу, а половину мы с женой отдали компанейской бабе за комнату, в которой жить нам, увы, не пришлось, ибо как раз вернулся из отпуска ее настоящий хозяин.

Итак, я двинул ногами в направлении предполагаемого источника охлопывающих рук. Попал скользом, но воруяга все же куда-то отлетел, чем-то загремел. Вспыхнул свет. Это был хозяин с Божьим храмом меж лопатками. «Ты чего, ты чего?..» — плачущим голосом причитал он, держась за бок. Он разругался с бабой. А верстак, на котором я расположился, был двуспальным.

И я снова уснул! И снова проснулся оттого, что по моему лицу шарили чьи-то руки и страстный женский шепот взывал:

— Мужчина, мужчина, он за бензином пошел!..

Хорошо, что я не стал разуваться. Во всех трех комнатах адски пылал свет, с разворошенной четырехспальной кровати на меня с ужасом взирали мальчик и девочка (пять тире восемь лет). Во дворе, отбрасывая гигантскую изломанную тень, мой друг избочась волок ведро, из последних сил затягиваясь папиросой — «искры гаснут на лету». Я обнял его за купол храма и с уговорами — штампами, штампами, а ведь прежде был красноречив, как сирена, — забрал у него сначала папиросу, а потом и ведро: пошли, мол, лучше спать.

Но в первой же комнате он вдруг бабахнул по лампочке — огненный шар, осколки за шиворот. «Уходите от нас, уходите-уходите-уходите-ухо-

дите!..» — девочка на одной — самой последней — ноте. Бах! — еще один огненный шар...

Но вздрогнул я только в Астрахани — впервые после изгнания отсебятина всколыхнулась во мне, и я увидел какой-то белоснежный гофрированный собор, умильную русскую провинцию Островского тире Кустодиева, ослепительные зубцы — кремля? — и несвежие дамские исподники, возложенные на стриженные кустики акации. Баку (неотступный каламбур «на боку»), тесные беленые улочки, семижильная разгрузка муки и водки в адском пекле, неправдоподобно миниатюрный дворец Ширваншахов, неправдоподобно же насыщенная звездами бездна, настойчиво теплый ночной ветер, от которого на пирсе меня колотит крупная дрожь, — все вокруг я ощущаю с какой-то губельной пронзительностью. Гигантский паром, сине-зеленая толща, подернутая плоской айвазовской пеной, медленно уходящая из-под ног и так же неторопливо возвращающаяся, наводя дурноту, палуба, люди — глаз не оторвать, до чего интересные! — и мне почему-то невыносимо жаль их. Жаль, что все мы просты и исчерпаемы?

Вода в Красноводском заливе зеленая почти как трава. Горы — или холмы? — причудливо выветренные, словно ядра исполинских орехов, отсвечивают нежно-розовым. Смертная духота ночного вокзальчика, моя кружка начинает дружески ходить по скамьям, прикладываюсь и я в силу рыцарских чувств. Ничего, потом буду пить вместе со всеми из-под крана в уборной раскаленного общего вагона, а разгружая с еще не расплодившимися у нас наркоманами негашеную известь в Байрам-Али, буду пить воду из примусно-жирного помоечного чайника.

Недаром там размещался знаменитый почечный курорт: только к вечеру замечаешь, что по нужде — да бегал ли вообще? Хотя целый день сосал воду с алчностью изголодавшегося младенца из жирно-почерневшего, словно примус, алюминиевого чайника, подобранного явно где-то поближе к помойке — от испепеляющей жажды уже наплевал бы на все, только вместо слюны какая-то айвазовская же пена — впору испечь безешку, белоснежную, как известка в духовке товарного вагона, — вообще-то грязноватая, но в лунке с грязной водой разваливающаяся кусками творога, из которого бежит струйка мутных пузырьков, такая же неиссякаемая, как струйка клещей, текущих на волю через крошечное отверстие в утоптанной земле, где некий Колька закопал дохлую собаку.

— На хера?.. — недоумевают наркоманы, особенно Ашот, то и дело вынимая из аппетитных заросших подмышек всосавшихся туда клеща за клещом.

Вся душа собрана в упрямый обезьянкин кулачок, чтобы выдержать палашую жажду, усталость и адский коктейль из пота и известковой вскипающей пыли.

...Значительно только то, что означает что-то... Что кем-то задумано и кому-то адресовано... Каким колоссальным произведением искусства был бы наш мир... Но, лишенный творца и зрителя, он громоздится бессмысленной Курской дугой... Нет: зритель — это я!.. Может ли быть смысл там, где нет замысла?.. Может, если есть вымысел!..

Тут из-под умильного люмпенского дружелюбия оскалилась скальными зубцами гранитная основа взаимного учета и контроля. «Становись сюда, чтоб я тебя видел!», «А ну покажь, сколько ты в лопату набираешь!», «Больной — лечись! А тут не курорт!... И я вдруг понял: мир «дна» прежде всего убийственно *прост*, а уж только потом ужасен.

Я спрыгнул из вагона и пошел отмываться к водокачке. Я понял: мне не нужно ничего, что требуется добывать грызней.

Но кровавый ошейник, раздвоенный известкой под размокшим воротником, я носил довольно долго.

У старых туркменов оказались шведские бороды. А в остальном... Надо ли в стотысячный раз расписывать бирюзовые и глиняные красы Самар-

канда и Бухары, где под многокупольными, как мыльная пена, и все же глинобитными воротами мальчишки продают (дороже газировки) мутную воду, черпая ее гранеными стаканами из гремучих (снова привет с Механики!) жестяных ведер, в которых плавает как бы весенний подтаявший лед? Или лучше воспеть роскошные ночлеги — не у каких-нибудь арыков, среди сколопендр и бакланов, — в Домах (с большой буквы) колхозников (с маленькой), где в постель можно забраться, лишь стыдливо скосив глаза, чтобы не взглянуть в ее серо-голубые внутренности: гяурский обычай менять простыни отвергается администрацией. Просыпаешься от духоты, на затертую наволочку словно опрокинули графин с теплой водой, выходишь во тьму под горяченький ветерок и смотришь, как истые колхозники в тюбетейках варят плов на кострах и неспешно беседуют — трезвые как один! И такой обдаст нежностью к нормальной, отыскавшей твердые границы жизни! И такой гордостью, что сам ты для такой жизни непригоден, что всякая окончательность и постижимость...

Душа всякий раз, когда власть от нее требовала подъема, воровато съезживалась и уходила в скуку: ведь мириться с могучим и страшным — это из полезного полезно?.. А прекрасно лишь бесполезное.

И в этом тоже не было ровно ничего полезного, когда я, с парализованной ногой, очнулся в автобусе и обомлел, узревши над малиновыми лужами в снегах, горящих как алмаз, седой незыблемый Тянь-Шань. А потом — слоеные предгорья, выветренные в индийские пагоды, гигантское горное озеро с серебряными изломами над невидимым противоположным краем, и тутошний холмистый берег, испятнанный кустами, словно облезлый леопард, и неумоимо выходящая дорога над ревушей — чем выше, тем всеохватней — горной речкой, поблескивающей вниз, в ущелье, как трещинка в стекле, и, наконец, — снег над едва успевшей отступить жарой, снег не такой уж, оказывается, и белоснежный, а довольно подмякший и окропленный грязью, словно уличный газон в оттепель. И грузовик, схваченный за руль бешеным уйгуром с глазами, прорезанными чуть не до ушей, избитый, но сокрушительный снаряд сварочного баллона, мечущегося по кузову на беспрестанных зигзагах, все те же осточертевшие колени, подтянутые к подбородку, скамейка, колотящая в натянутый зад, колеса, летящие в двух верхках над ревушей бездной, — и конный киргиз, с разворота хлещущий камчой по лицу жену, зачем-то все догоняющую и догоняющую его на звонкоскачущем жеребце. Простота разом сорвала с мира покров поэзии, покров тайны...

И снова — лишь бы вперед, лишь бы что-нибудь мелькало мимо глаз, чтобы не успеть разглядеть до дна простоты и понятности всего на свете.

Игрушечный самолетик, разбегающийся в горку, многосложно-терпеливое сооружение снеговых вершин и хребтов, литое и безупречное, будто муляж, — и внезапное — как удар током — ощущение значительности. По какой цепи пробежал этот ток? Искусственность — искусность — замысел — смысл?

В общем вагоне я уже старожил, владелец верхней — лежальной — полки. Я много лет не мог понять, дураки или зануды соглашаются платить за такую никчемность, как матрацы, простыни... В памяти от тех дней совсем не осталось еды — ее и не должно быть в скафандре нашего духа, если только она не причиняет страданий — или не избавляет от них. Кус батона с парой кусочков сахара, обмокнутого в кружку с водой, изредка дозволяемая роскошь — полбанки какой-нибудь кильки в томате, запитые, опять-таки, водичкой из-под крана... И — то умиротворенные посиделки, то митинг, то кабак подо мною тоже переливались гениальнейшим (куда Шекспиру!) фоном захватывающей бескрайней драмы.

В ту пору я еще часто пользовался формулой «простой и хороший». Это теперь я знаю, что простые не бывают хорошими: они совсем не обязательно ударят, обхвоят или наступят тебе на голову, водружая чемодан на

третью полку, — просто мирным семейством посидят за дюжиной пива на том цветничке, который ты возделываешь, чтобы на прощание — это уж вообще святое дело! — «подержать» там своего ребеночка — по-простому, знаете ли, по-хорошему, «по-большому», приложив знаком качества заверенной сургучной печатью балетный воланчик пипифакса. Пожалуй, я все-таки ненавижу Жизнь... Но нет же, нет, Жизнь для меня — это неостановимое стремление откуда-то снизу куда-то вверх, от простого и прочного ко все более и более сложному, вычурному, хрупкому, излишнему... А то, что заявляет ей: «Остановись, мне уже и так хорошо», — это смерть.

Смерть, прикидывающаяся жизнью, царила внизу. Немолодой скрюченный мужчишка тискал свой аккордеон с дурковатой страстью, исполняя еще неясную партию в грандиозной симфонии.

Внезапно я ощущаю, что многодневной экономией выслужил право сходить в вагон-ресторан. Не есть — ощутить свое могущество: захотел — и сходил. Пробираясь через устрашающий лязг мечущихся под ногами тормозных площадок, через плодоносные заросли развешанных повсюду босых ног, я с колыхнувшейся симпатией отметил компанию парней моего возраста (в ковбойках — опознавательный знак романтика), только за чем-то устроившихся в этой мещанской роскоши купейного вагона с ковровыми дорожками. Зато столик у них был уставлен бесстрашными напитками, у которых чем красивей название, тем смертоносней суть: портвейн «Золотистый», вермут «Янтарь», водка «Кристалл»...

Отобедав, в родном купе я застал дорогих гостей: двое моих собратьев по ковбойскому ордену потешались над дурковатым аккордеонистом, щедро, впрочем, отдаривая его солнечным, золотистым, янтарным и рубиновым. Правда, меня слегка покорило некое дуновение простоты, но я в ту пору еще склонен был упрекать себя в чрезмерной щепетильности — как будто щепетильность бывает чрезмерной! Сегодня люди, которым всегда весело, ввергают меня сначала в безнадежный ужас, а потом в смертную тоску, но тогда мне еще казалось, что ими можно забавляться, словно игрой мартышек в зверинце, — теперь-то я знаю, кто на самом деле у кого сидит в клетке...

Вскоре романтики увлекли шута обывателя в свою веселую пещеру, оборвав на самом интересном месте незабвенную песню: «Домино, домино, будь веселой, не надо печали. Домино, домино, ты пер... больше всех на вокзале». Не без зависти проводив их, я взялся за «Исповедь» Толстого: «Случилось то, что случается с каждым, заболевающим смертельно внутреннею...» — и тут появился аккордеонист без аккордеона. Но боже — как очеловечилось его окончательное, казалось бы, раскисшее лицо! Потерял купе, где остался аккордеон, — не ахти уж какая потеря. Но настоящая, страшная, реальная горе, оно и включает деловые чувства: страх, долг, порыв помочь или спрятаться, — а вот маленькое, нестрашное горе остается почти что знаком — оно и пронзает электрическим разрядом в скафандре. И уж как я был счастлив показать простодушному музыканту дружеский приют романтиков! И уж так меня ошарашила их злоба: «Ты чё разбалался?! Ты чё — блюстителю порядка?!» — люди в ковбойках, знакомые со словом «блюститель», уж никак не могли просто прибрать к рукам чужой аккордеон.

Едва я успел уложить своего счастливо обмякшего протеже, ковбойский квартет явился снова. «Пошли выйдем в тамбур, защитник х...в, мы тебя из поезда выкинем на х...», — приглашающе кивая, сулил один из них с какой-то особенно радостной задушевностью. Но если бы я до конца поверил, что все до дна обстоит так просто, я не сумел бы столь шикарно ударить бутылкой о металлическую окантовку вагонного столика и с «розочкой» в руке шагнуть им навстречу. Простота настигла меня лишь в сортире, куда, прибрав осколки, я отправился (не без опаски оглядывая коридор) замывать на штанах липкое пятно янтарно-рубиновых остатков:

«ЫКК, ЫКК...» — несколько мощных рвотных спазмов все же так и не позволили мне сблевать правдой — Жизнью Как Она Есть.

На сочувственные и одобрительные реплики болельщиков я кивал, чтобы не обнаружить дрожь в голосе. Не надо, не надо ввязываться в драку, если не умеешь это делать красиво. А когда проспавшийся Орфей как ни в чем не бывало веером развернул меха: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?..» — я ощутил без слов: не позволяй скотам (обитателям мира реальности) втягивать тебя в их разборки, ибо тебе придется из-за ненужного рисковать самым драгоценным, а им — наоборот. И уж сколько меня потом пробовали подвергнуть принудительной мобилизации — притом на такие фронты, которым я до подобострастия сочувствовал! — где-то еще в учебной роте я начинал внутренне ершиться, когда мне пытались указать конкретного и *окончательного* врага: партийную диктатуру, антисемитизм, самодура начальника. Да, понимал я, мерзость, дикость, подлость, но все политические, национальные, производственные безобразия — лишь крошечная *часть* общего диктата материи над духом, реальности над мечтой, простоты над сложностью, пользы над прихотью, Смерти над Жизнью. И те, кто желал объявить наиболее болезненные лично для него ущемленности — главными...

Если я сегодня кого-то ненавижу, так это Благородных Людей. Праведников, уже отыскавших самую мудрую и благородную истину. Скоты внушают мне всего только ужас и отвращение, а благородные люди — интимнейшую, задушевную ненависть: они вгоняют простоту, окончательность в самое сердце сложности, они осуществляют ороговение не чего-нибудь, а наиболее нежных точек цветения и роста. А насчет «самых правильных» истин... Следуя самой мудрой и благородной истине, непременно попираешь другую, столь же мудрую и благородную.

Ковбои сорвали с мира покров выдумки, игры, а явленный в наготу, и Париж — дыра из дыр. И что с того, что рябь на Ангаре похожа на сморщенную поверхность разлитой зеленой краски? Немного удивительно только, что у берегов она вновь становится кристально прозрачной — галька на дне отчетлива безо всякой зелени.

И пена за кормой «Ракеты» — посередке взбитый белок, а по краям — майская травка. Ближе к Байкалу синева все нарастает — от глубины, что ли? Смесь синьки и зеленки. Подножия гор подернуты папиросным дымком, в нем отчетливо, как луч в пыльном кинозале, видна граница света и тени, отбрасываемой вершинами. Но меня чуточку волнуют только имена: Байкал, Хамар-Дабан...

Вода — сколько ни пробовал вымыть ноги, мгновенно сводило ломотой. На причале, на солнцепеке, пар валит изо рта, и подальше, на жарком берегу, то и дело так и дохнет зимой.

Прибойчик — который обычно треплет всякий мелкий мусор, — прежде чем вскипеть, успевает показать свой разрез, совершенно прозрачный, как в ухоженном аквариуме. Но чем выше в гору, тем теплее, тем жарче, уже пот струится со лба: железы устройства «Я» пока что работают исправно. Но понемногу и они выйдут из строя, и устройство будет пожрано какими-то червями, которых пожрут какие-то еще более мелкие устройства, а тех еще и еще... И Байкал, говорят, так сказочно чист из-за того, что какие-то ракушечные устройства пожирают остатки других устройств. Это и есть мудрость марксизма-дарвинизма: жизнь есть борьба всевозможных устройств за обладание другими устройствами — людьми, аккордеонами, сюртуками, дохлятиной, — и лишь те устройства достойны жизни и свободы, которые умеют их защитить клыками и когтями, а вовсе не те, перед которыми склоняются в невольном восхищении, как звери перед лирой Орфея: Научный Взгляд — это честный взгляд Хама на наготу мира.

И тут я понял, что еще шаг по крутизне — и я начну катиться по щебенке вниз, к десятиметровому обрыву, набравши скорость детских салазок... Я застыл в неловкой, дышащей неподвижности. Осторожный шажок обратно — из-под кедров выкатилось несколько камешков, стремительно набирающих все более и более беззаботную припрыжку по щебенчатому скату, ровному, как крыша...

Не знаю, сколько это продолжалось — минуту или четверть часа. Но наконец я почувствовал, что спасен. Это не было счастьем — это было облегчением: уфффффффф... Счастье явилось, когда до меня внезапно дошло, что я могу отнестись к этому облегчению СЕРЬЕЗНО. Что я для себя вовсе не одно из бесконечных устройств, а драгоценнейшая вещь на свете — только не нужно искать никакой высшей инстанции, которая подтвердила бы мне это, — таких инстанций нет и не будет.

Только тут я осознал, до чего была подорвана моя вера в собственную значимость отказом моей жены любить «просто меня».

«Турбаза» отзывается чем-то сердито-турбинным. Крашенная в огненно-фиолетовый цвет кастелянша (так, что ли?) утирала слезы: какой-то свинье нерусской, скотине, которую следовало бы выселить за пьянство, она дала лишнее одеяло, а та собирается на нее жаловаться, что ее поселили в холодную комнату, а они все холодные, только в одной печка. Простота нашатырным спиртом пронзала до мозгов (тьфу!), но я сразу распознал благородное происхождение ее слез — пьяное, ибо лишь в подпитии простой человек способен прослезиться от причин истинно человеческих — утраченная молодость, оскорбленная честь, а не деньги, жратва, «положение»...

Что же все-таки во мне находили женщины, любивш.. нет, это была не любовь, а зародыши благоговения перед просвечивающим сквозь меня Черт Знает Чем, которые они, по невежеству, стремились, удушая, втиснуть в любовные формы? Талант? Да не такой уж. Доброта? Я знаю множество людей гораздо добрее меня, вечно поглощенного какими-то химерами. Однако тонна иж доброты ценилась дешевле, чем миллиграмм моей Женское сострадание? Но оцарапай пальчик юный красавец — и сотни женщин ринутся на помощь с ваткой и йодом на изготовку, а сломай последнюю руку старый безногий алкаш — «Фу, какой противный!». Женское сострадание — только одна из форм полового влече... не полового влечения, а любви, которая с влечением лишь случайная соседка по тюремным нартам.

Одна из моих обожательниц, медсестра, говорила, что от меня исходит свет; другая, ученый секретарь и доктор технических наук, — что затасканные истины и потасканные стихи в моих устах звучат как будто впервые... Но для всех для них я был форточкой Куда-то — все они, словно в недостающем витамине, нуждались в Чем-то и ошибались лишь в том, что стремились Им как-то завладеть: съесть зарю, выпить стихи, обнять тайну...

С огорчением прибавлю, что почти столь же часто встречал я людей, с первого взгляда проникавших ко мне живейшей, задушевнейшей ненавистью, хотя я не делал им совершенно ничего плохого, равно как первым — хорошего. Но они не желали, чтобы позади понятного и полезного существовало еще Что-то.

Через полчаса кастелянша в своем неприятно-больничном халате заглянула в мой персональный ледничок, с вгоняющей в жалостную неловкость игривостью поинтересовалась, почему я не иду на танцы. Годы не те, ответил я с мягкостью принца, путешествующего инкогнито: не смущайтесь, мол, будьте сами собой. Еще через полчаса она занесла мне «козла» — дышащую опасным жаром самодельную спираль, могучую, как огненная траектория вошедшего в штопор горящего самолета. А еще через полчаса она постучалась уже в чем-то парадном, снова до жалости вульга-

рившем ее, зато с трогательным школьным воротничком под взбитым («Вшивый домик», — опустил я глаза) космическим пламенем. «Может, изнутри хотите согреться?» — она зарделась как девочка, вынимая из слишком «изящного» для нее «ридикюля» распершую его бутылку престижного портвейна, если не ошибаюсь, «Три семерки», он же «полковничий». Гулко пристукнул о фанерный столик штопор с чугунной рукояткой, веской, будто деталь мясорубки.

Как выражаются слабые писатели, сам не помню, как мы очутились в койке. Но я-то, разумеется, все помню — только неохота вспоминать. И совсем не потому, что сетка провисала чуть не до земли и норвила войти в резонанс при самых неожиданных частотах, а простыни были совершенно ледяные (багровые отсветы «козла» лишь усугубляли ощущение, что преисподняя недалеко). Главное — мне было совестно, что я вертикаль опрокидываю в горизонталь и вместе с тем не могу избавиться от ощущения, будто моя жертва (каждый, кем ты *пользуешься*, — твоя жертва) налита водой — никак было не добраться до твердой почвы.

По утрам я уходил карабкаться по крошащимся утесам, бродить по сопкам под сонмищами листовничных игл, нежных, как колкость любимой, — слегка взбудораженный бесчисленными предостережениями насчет энцефалитных клещей. Но каждое мало-мальски сложное дерево вызывало у меня неудержимое желание вскарабкаться на него: душе требовалось непрерывно доказывать повисшему на ней мясу свою свободу от земной тяготы. Потом я хватался за булги поувесистее и с пристомом взметывал их все выше, выше, выше... Но материя не позволяла одолеть свою властную вертикаль.

С безвестного хребта валила водопадно бурная речка, пересохшая, казалось, по какому-то волшебному взмаху, — но валуны все еще хранили стремительность стоп-кадра. По окаменевшей речке я взбирался куда вздумается, чтобы с какой-нибудь гениальной книжкой в руках (нежность к самой ее тяжести) погрузиться в грезы, выныривая из которых ощущаешь тесными даже дали — вплоть до дивной лысинки на недосягаемо отнесенном склоне, на которой был отчетливо виден миниатюрный, легший на крыло огородик.

На турбазе меня ждал и стол, и дом, и нежности, которые я старался ввести в целомудренное русло, ибо при свете мне было неловко брать такую взрослую тетеньку за разные места. Она, воркуя и лепеча, пересказывала мне свои простенькие хозяйственные стычки и бесхитростные махинации с бельем и продуктами — и меня охватывали легкие корчи стыда за свою невольную гримаску брезгливости. В ту пору я считал: пользуешься человеком — люби и его мошенничества. Сколько мук мне стоило уяснить, что польза, обязанность и любовь чужды друг другу и куда враждебней, чем купец, надзиратель и бесшабашный побродяжка! Я, как все порядочные люди, целые десятилетия был беззащитен перед извечным громовержеством демагогов: «А чьими руками возведен храм?! А чей хлеб ест поэт?!» Если бы лошади, подвозившие кирпичи, сумели как-то заявить свои права на власть и любовь, я бы и им не сумел отказать, еще на пару дюймов прибавив согбенности перед нескромными тружениками. Это теперь я знаю, что благодарности не стоит никакое деяние, в котором нет присутствия Духа — самоотречения, выдумки, страсти.

Лишь способность на прихоть, лишь дар дури делают человека человеком. Наивысшая из красот должна быть наинелепейшей из бессмыслиц — например, отдать свою плоть на распятие во имя невозможного.

Стыдясь «пользоваться» не платя душою, я уходил спать в свой персональный дощатый холодильник, — но Его Высочество неусыпно стоял на страже своих прав. Подобно стрелке компаса, Он безошибочно вел меня через корни и булыжники, сквозь ледяную тьму, бросающую в жуть и трезвость — к Ней, в Ее текучее тепло. Мыться в нашем гнездышке было негде, а отхожим местом нам служил байкальский брег, двадцатиметровая

ночная прогулка вдоль которого, невзирая на все обалденные лунные прекрасности, гарантировала скоротечную чахотку (рассказывали, что, если кто здесь свалится за борт, его даже не пытаются спасать). Поэтому плеск холодной волны не мог заглушить теплого, живого журчания под крыльечком...

Но я в ту пору был убежден: любишь человека — люби и его выделение. Возлюби, как самого себя... Но ведь я это и в себе ненавижу! Любишь человека — забудь о его выделениях! А если они тебя все же настигли — пожалей их хозяина... их раба, их источник за его неустранимую подчиненность низкой физиохимии. Но ведь жалость и любовь несовместимы, как все земное — с выдуманым, дурацким, вымечтанным, человеческим...

На чужих ласковых хлебах мне стало не до глупостей. Однажды, в полный штиль забредши по байкальскому берегу на какую-то грядку сверкающих нафталином гигантских каменных яиц, нанесенных сказочными анакондами, озирая озерную синь, по которой, постукивая, скользила моторка, влекущая за острие полированный угол волнистого стекла, я вдруг осознал, что вещи не вступали в переключку — все виделось почти в прямом значении, которое, собственно, уже и не значение, — душа съежилась от неотступного, как слишком тесные туфли, ощущения собственной подловатости. Что за безумие — платить душой за удовольствия, оплачивать пирожные кислородом из скудеющего скафандра!

Однако и вырваться можно было лишь ценой новой подлости. Но клянусь, эту полсотню я принял, только когда почувствовал, что иначе я рано (я намеренно не ищю более нейтрального слова) ее еще больше. Вот только до сих пор не могу себе простить, что в знак благодарности послал ей столько денег, а не что-нибудь заведомо бесполезное, что могло служить исключительно знаком, а не платой, ибо всякое бескорыстное движение души неоплатно — абсолютно без всякой связи с принесенной пользой: наши души должны сообщаться без участия лакеев — матфактов.

И не буду валить на мою тогдашнюю очумелость — самоупоению она небось не помешала, жажде широкого (дирижер, запускающий Бетховена) жеста: как же, прилетел из тайги, с золотишка, при бороде и деньжатах... Под бородой вся шкура была в болячках: я во сне расчесывал то, что мошкара разъедала за день, и просыпался с кровавыми руками таежной леди Макбет, долго борясь со страстным желанием драть лицо когтями под каменный храп коллег-старателей.

К бараку тайга подходила именно стеной — без смягчающей, нами же и содранной опушки. Мы со своими озверелыми бульдозерами и адским лязгом драг, подобно современному масскульту, обращали в грязь неизмеримо больше чистой, проросшей нежными нитями земли, чем добывали из нее золотых искорок. Но даже их даже нам не хватало сил пропить дотла. Сделать это было тем труднее, что напитки до нас добирались исключительно экономичные, вроде «Тройного» одеколона, — но лично я мог работать разве что на высокооктановых «Лесных водах», под струйкой ленской воды тоже обращающихся в разведенное молоко, но по крайней мере без бьющего навывлет аромата.

Вот бражку из бельевого бачка я хлебал со всеми заодно. Ее деликатесные сорта добывали — словно в некоем императорском Китае — денно-нощным взбалтыванием, выделяя из бригады спецдежурных с сохранением полного оклада жалованья, покуда анонимный мудрец, чтоб работе помочь, не заменил человека стиральной машиной.

Мозг стискивали судороги, но я был неумолим: «Все равно буду пить, буду, буду!» Трое коллег, расположившихся рядом со мной вдоль круглой стеночки игрушечного, но пронырливого самолета (нежное доньшко вот-вот хрустнет под нашими сапожищами), держались того же мнения. Они тут же раздавили по флакончику «Тройного», именуемого почему-то «Дюшесом» (у нас на прииске даже в сортире все естественные миазмы безжалостно подминал запах парикмахерской). Потом вспомнили анекдот

про поддававших в самолете сумасшедших и, помирая со смеху, полезли открывать люк: «Пошли бутылки сдавать!» На дружный бабий визг явился элегантный пилот, но братва ринулась уже в кабину: «Мужики, дайте порулить!» Летчики успели забаррикадироваться и устроили нам «американские горки». После девятого пике извергнул парфюмерный фонтан даже самый стойкий из нас, а к посадке валялись полутруппами в благоухающих лужах и правые, и виноватые.

Из кутузки я вышел очистившимся — вот тут-то и размахнулся стольником... Сейчас бы я сумел попросить прощения, но — Мисюсю, где ты?

И на Тихом океане... Конечно, если забыть, что это Тот Самый, Великий... И не искать в извивах ветвей и острогорбых спинах островов, уходящих за горизонт растянувшимся стадом, сходства с японскими гравюрами, тогда и дробленный кирпич в прибое не составит столь пленительной мозаики, и дохлая медуза так и останется тарелкой тугого вишневого киселя.

На работу меня не принимали, поскольку я пробрался в погранзону без пропуска, — и слава богу: академка уже поднадоела мне диктатом ежеминутных материальных забот.

Чтобы понять, что такое МОСКВА... опять глупость: не понять — чтобы *создать* ее образ, нужно прокантоваться счастливым сталинским детством на звонко-ржавой Механке. И отфильтрованный более престижными поездами ночной вокзальный люд был чем незатейливей, тем восхитительнее: среди потертых, помятых, небритых и пьяненьких я чувствовал себя особенно уютно — Гарун-аль-Рашид в рваном плаще со сверкающей отсебятиной изнанкой.

И поезд — сидячий, от всех отставший, еле ползущий — тоже очень тонко оттенял вечную сплетенность прекрасного с нелепым. Я сидел на площадке, свесив ноги в ночной ветер, упиваясь малиновыми, сиреневыми, фиолетовыми разливами с последних доньшек белых ночей, обалдевая от зубчатой сказочности елей, все так же гениально контрастирующей с заураядностью мелькающих полустанков.

Спать в самолетном кресле мне не позволяли колени и восторженное возбуждение. Но как-то незаметно заря стала распоясываться в жару, и поезд начал, то есть продолжил, ползти как полудохлый, и явилась неприязнь, то есть зависть, к людям, способным спать то камня Пизанской башней, грубо подпертой в бок подлокотником, то вытекаая из кресла перестоявшимся (переходившимся) тестом, — иссякла отсебятина, началась скука. Я побрел вагонами и наткнулся на купе, заставленное башенкой неструганых деревянных ящиков с липким портвягой. С патриархальной простотой за рубль тебе наливали граненый немывтый стакан и вручали карамельку. Я выпил, чтоб хоть чем-то себя занять. И очень скоро обнаружил, что пялиться в окно и слушать, как гудят колеса, — совсем не скучное занятие. Гудение то повышалось, то понижалось — и вдруг я разобрал, что это необыкновенно красивый мужской хор. Ммм... ммм... — гудели басы то выше, то ниже с такой всеохватной наполненностью, словно ты сидишь в чреве могучего неспешного колокола. Когда поезд набирал ход, к басам присоединялись небесные тенора — мелодия возникала безыскусная, но такая дивная, что, знай я нотной грамоте, этот хорал облетел бы концертные залы всего мира.

И все же преображающая низкая химия — это не высокая преображающая отсебятина: пьянство — тоже подчинение духа материи.

«ЛЕНИНГРАД», — вздрогнул я от графической красоты этого слова.

Я еще над уральскими речками предвкушал, как, смакуя, побреду Кузнечным переулком мимо Кузнечного рынка, мимо пышущих значительностью совковости, занюханности, криминогенности — к гордой Фонтанке, заплаканной, как мы в Байрам-Али, известкой из гранитных стыков с

раскутившимся там безалаберным бурьяном. Потом — облокотиться на узор чугунный и замлеть от свободы свернуть направо — к Аничкову мосту или налево — к дому Державина. Но близ дома Говорухи-Отрока меня задержала особенно колоритная сценка: под аркой, отворотясь к стеночке, мочился парень в модной тогда красно-оранжевой рубаше, укрепленной на спине круто выгнутыми шпангоутами складок, а его приятель, столь же ослепительный, широким радушным жестом пытался остановить девчонку, торопящуюся, отворачиваясь, процокать мимо, не измочивши каблучков. «Мужики...» — попытался я воззвать к их вкусу — радушие, мол, отдельно, а мочеиспускание отдельно. В мире, исполненном значительности, я утрачивал и страх и злость: мне казалось, что всеми нами владеет единое чувство: «А что же дальше?» — в таком обалденном, опупенном спектакле кто же возьмет роль злобной алчной сволочи!..

Когда радушный развернулся, как дискобол, мне и тогда почти еще казалось, что мы отработываем вариант сценария: не зря же (висящее ружье) нас на боксе столько дрессировали не забывать о хуках-крюках при выходе из нырка... Оставшийся на ногах отвлек меня расстегнутой шириной — я невольно глянул, не вьется ли за ним струйная дорожка.

Что такое удар ногой в пах — мужчины меня поймут, а женщины, с их безбрежной отзывчивостью, — поверят.

О столь интимном пока что рискну рассказать лишь в самых общих выражениях: поврежденная оболочка мошонки значительно увеличивается, становится темно-багровой, влагалищная оболочка яичка (слыхали такую?) гладка, блестяща, истончена, в ней могут образоваться фибринозные бляшки с отложениями извести или ворсинчатыми разрастаниями; фибринозные сгустки могут отрываться и свободно плавать в виде рисовых телец; количество жидкости колеблется от литра и более; прокол мешка является паллиативной операцией, так как уже очень скоро... Радикальная операция проводится под местной анестезией... Косой разрез через кожу... Потягивая за семенной канатик, опухоль вывихивают в рану и рассекают все ткани до собственной оболочки яичка, через которую просвечивается водяночная жидкость...

Скажите, можно ли всерьез, то есть благоговейно, воспринимать существо, в котором плавают рисовые тельца?

Не перечислить, сколько раз я демонстрировал презрение к боли — презрение выдумки к факту: мне довольно было представить, что меня пытаются фашисты. Но что делать с мукой без красоты? Когда требуется почти цирковое искусство, чтобы передвигаться не враскорячку? Когда плененная геройским черносливом твоих подглазий белоснежная сестричка оказывается свидетельницей твоего разоблачения: спустите, снимите, раздвиньте ноги?..

И тут палач в поварском колпаке поощрительно восхитился:

— Ай да корнуэльские колокола! — и под кратко прокатившийся во круг пыточного одра одобрительный смешок я с быстротой молнии постиг, что сцену эту следует решить в комическом ключе.

Контекст был создан — я вынес пытку на шесть с плюсом.

Прервавши академку на самом интересном месте, я — палкой по перилам — протарахтел по всем пропущенным экзаменам, каждый вечер встряхивая над ухом потяжелевшую еще на пяточок зачетку, аристократически завершив кампанию еле вытянутым «удом» по марксистско-ленинской философии.

Оставшись без стипендии, я пристроился сторожить плюшевых мишек и пластмассовых крокодилов в детском саду: на холодной манной каше вполне можно выдюжить второй разряд по штанге и пять-шесть часов ежедневного гордого умиротворения в последней, библиотечной, дольке Двенадцати коллегий — в Горьковке, с перерывом на тихую пятиминутку

на собственном локте и сорокаминутное шествие по пустеющему Эрмитажу. И уж святое дело — часок-другой поорать перед сном, дозволительно ли выплавлять чугун ценой человеческих жизней, — иные технологии не обсуждались. (А ведь любить истину — значит не орать, а слушать. Дать глотке право голоса — тоже пустить свинью материи в храм Духа.)

В этот благородный, но несколько суровый коктейль Светка Реброва плеснула мензурку «блаженной улыбки», кружившей вокруг моей головы с того мига, как я проснулся от просиявшей над моей койкой ее смеющейся светлой раскосости. В эластичных брючках со штрипками она казалась неправдоподобной эмблемой хрупкости — с профилем космической женщины из-под сводов метро «Петроградская».

Ах, этот дюралевый колпак на фонаре, бренчащий, как коровье ботало, размахивая нашими тенями по нефтяной черни Гаванского ковша, еще без серебрянки псевдопарусов Морского вокзала, но с дышащим у берега ковром из щепы, вечно грезившимся мне потом на всех моих будущих лесосплавах. Осенний хлад позволял, не опасаясь, что вспотеет беспрерывно нашептывающая что-то ее пальчиком рука, всматриваться во тьму, перечитывая на другой стороне Невской губы громадную электрическую надпись: «Балтийское море — море мира».

Но ведь всем на свете положено *пользоваться!*

Я, в своей коронной манере, чокнулся со стаканами и чашками маленькой «Московской» за рубль сорок девять и, к восторгу девочек — главных вдохновительниц мужского пьянства, выбулькал ее «из горла» ни разу не поморщившись. Светка, на своем уровне, залихватски опрокидывала коньяк — тоже плод моей широкой природы. Я еще не знал, что здесь же присутствует уже влюбленная в меня (куда ж ей было деться!) моя будущая *мама*. Кобру настольной лампы пригнули устраивать тропический полдень под панцирной сеткой, фибровый чемоданчик — «электрофон» — в полумраке струил гнусавую белоэмигрантскую растленность с тазобедренного негатива. Чутьочку аскетичные Светкины губы были бы сильными, не будь они такими острыми.

Девчонки из ее комнаты обживали взглядом титаническое полотнище только что открытого кинотеатра «Прибой». В наше время считалось хорошим тоном не расстегивать лифчик, а разрывать как бы в порыве необузданности: ниток потянулось — будто я раздирал трикотажные подштанники. В руках у меня оказались какие-то ложечки, почти щели, похожие на растянутый за углы рот, — тоже чистая декорация... Было совершенно непонятно, что со всем этим делать.

Не помню, успели мы на нее что-то накинуть, когда со светом и гвалтом на нас обрушились «девчонки», штук не меньше ста. Но нельзя же было недовернуть карманы у недорезанной жертвы! На темном перегоне черной лестницы, где прямо с чердака стекал по ступенькам каторжно-полосатый матрац общего пользования, я всасывался в эти бедные припухлости с алчностью медицинских банок, с африканской страстью трепал влажный заячий хвостик под детсадовским животиком, пытался тискать все, что ну совершенно же не было для этого приспособлено, — но с тем же успехом я мог бы мять и вертеть полено.

К счастью, Светка наконец приподняла (свою) откатившуюся головку, и ее начало рвать. Я бросился за лимоном, мною же и приобретенным в комплекте с коньяком. Мама впоследствии ядовито уверяла, будто я вбежал с трагическим видом, но это гнусная клевета: я вбежал с видом ликующим.

Потом Светка, душераздирающе икая, сосала лимон, а я уже с неподдельной страстью отдавался функциям больничной сиделки, ликуя сквозь похмельный предутренний бред, что я уже не обязан и дальше глумиться над мерцающим во мраке отголоском портрета Иды Рубинштейн, упивающейся лимоном.

Стакан-лимон, выйди вон, — гласила популярная на Механке считалочка: с тех пор она перестала быть эмблемой изящества, а я перестал быть — уж не знаю чем, но наверняка из образа сделался предметом.

То есть будничной дрянью.

Может, всему виной была Перенесенная Операция (на том самом, что всегда мешает плохим танцорам)? Но опасения, что с Ним что-то не в порядке, преследовали меня недолго: каждое утро я убеждался, что Он-то надежен, как стойкий оловянный солдатик, но Его целеустремленность не была «влечением к женщине»: Он подсовывал моему воображению лишь какие-то ярмарочно размалеванные и муляжно раздутые ее детали, — предмет Его вожделий не имел даже лица. Правда, во сне Он, случилось, самопроизвольно облегчался с какими-то скуластыми, губастыми девками, каких я не отведывал ни на Галошнице, ни на Промокашке, ни на шоколадной Крупе им. Надежды Константиновны. Но и с теми-то барался вовсе не я, а чувак среди чуваков, мужик среди мужиков, которым нельзя есть сало, а то ноги мерзнут (одеяло превращается в цирк-шапито), которые могут пронести ведро с водой без помощи рук, а с утра для разминки перебрасывают башмак через комнату посредством природной катапульты.

А вот я, лично я ни разу в жизни не испытал желания трахнуть, жакнуть, шпокнуть, отжарить, оттарабанить ни одну реальную женщину, и притом чем больше она мне нравилась, тем невозможнее было для меня даже мысленно заглянуть ей под юбку — никакой «подъюбки» просто не существовало: мне хотелось лишь, чтобы она мною восхищалась. «Красивая баба — хорошо бы...» — хорошо бы трахнуть закат! Красота скорее потрясает, чем заставляет облизнуться.

Зато на меня очень подействовала плохая тетенька, расположившаяся справлять не такую уж и малую шипучую нужду у меня на глазах. Устроившись загорать с конспектом в бездействующем, как мне казалось, уголке Смоленского кладбища, я оказался в соседстве с внезапной поминальной оравой. Простота, вопреки Толстому, и без Бога умела мириться со смертью: мне бы на крестинах с таким аппетитом прихлебывать шампанское под ананас, с каким они засаживали «сучок» под холодные крутые яички.

Для прочих излияний отходили все условнее и условнее — мужики, — но эта баба перещеголяла всех. Она не удостоила даже присесть — лишь слегка согнула умело тронутые отечностью, чтобы не испортить иссохлости, ноги со следами какого-то отвратительного загара: мертвенно-коричневый тон мумии резко граничил с гепатитно-желтым треугольником, ударявшим в глаза из-под обращенных в ножные кандалы застиранных и все же нестиранных лиловых трусов, как светлое пятнышко из-под содранной коростинки. Но совсем неглубокая расселинка врезалась в память угольной щелью, словно какой-то вошедший в раж нечистый подросток (может быть, даже я сам) добрые полчаса в этом месте протирал бумагу грифелем.

С тех пор, несмотря на сопутствующую гримаску брезгливости, так и торчало... Совершенно неуместный каламбур! С тех пор так и стояло... Да что за фрейдовщина! Торчало в голове, стояло в глазах, и стояла именно она, не отдельная ее запчасть, а конкретная баба, и даже с головой, каждое завитое колечко которой было охвачено светящимся лысеньким колечком. Отчаявшись от нее отделаться, я попытался перекормить Его ею до тошноты и кончить дело дружеским рукопожатием — но добирался лишь до ломоты. Да, я был еще как способен вожделеть к реальной женщине — лишь бы в ней не было ничего человеческого.

Мой дух, униженный пневматикой и гидравликой, снова пытался прорвать фронт всесильной материи на единственном доступном участке — географическом. При этом компенсаторную тягу к дальним странам я пы-

тался утолять гомеопатическим просом турпоходов. Биологиня, похожая на востроносенького белобрысого пастушка, сделалась моей женой, оттого что обожала пустыню и залиvistее всех хохотала моим островам (сексуальные тревоги отнюдь не повергали меня в беспросветную мрачность). Мы помирили со смеху от всего на свете: от улегшегося на головы защитного брезента, обратившего нас в готовые к открытию памятники, от экстравагантного выверта березового коленца, от...

Сдобренные вложенной под язык смешинкой, наши ласки обрастали такими ракушечными слоями уморительных приключений, что под ними было не разглядеть нагого днища: «это дело» — особое спасибо ладожским комарам! — промелькнуло в комическом карнавале еще одной нашей потешной выходкой — да еще среди сессии! Мы оба удержались в пятёрочниках (не считая моей традиционной пересдачи по ленинизму), хотя кидались веселиться каждую уединенную минутку: в ту пору мне было довольно вырубиться на полчаса, чтобы снова веселиться до утра — всего только с недолгой, как после холодного глотка в жару, ломотой в корне самого непокорного моего органа. Правда, и кровать почти никогда не выпадала нам на целую ночь.

Она полетела в Каракумы на ящериц — я двинул на Ямал. Мои друзья-шабашники вместе с топорами затарились и огненной водой — обменивать на моржовую кость и золотой песок. Половину — под единственную алую каплю маринованного помидора, — чокаясь кружками через спинки самолетных кресел, мы прикончили еще до Волховстроя: помню, «дышу воздухом», сидя на клумбе у подножия вокзала со сталинской башенкой. Еще помню бешено несущуюся землю в эмалированной воронке, куда я низвергаю багровый (а всего-то одна помидорная капля!) неукротимый поток. Гулажный Котлас, вечные клубы остервеневшего трапезного люда у вечно недоступных билетных касс, озаренных, однако, моей веселой бесшабашностью. Воскресшие из мглы детства вагоны, смертный сон вповалку и пробуждение среди мшисто-зеленой долины, протянувшейся — кит за шуренком — вслед за увертливой речушкой, провилявшей меж грудями исполинской гальки Полярного Урала, ссыпанной с каких-то поднебесных самосвалов. Приземистые, порывисто кривляющиеся березки — я сижу на выдвинутых волевым подбородком допотопных ступеньках и обалдеваю, обалдеваю...

Магически прозванивает сквозь очумелость имя станции: Лабитнанги. Ирреально светящаяся ночная Обь, мазутный кубрик левого буксира, бесстыжий бакшиш за перевоз, за мерзейшую водяру из угольного ящика, тающая на языке нежно среди хамства просоленная рыба, разрываемая черными пальцами, — нельма, напоенный хорьковой злобой полуматрос-полубич — пульсирующее ядро веселой бесшабашности все превращало в диковинное и дьявольски забавное. До небес заполненное светом безмолвное царство сна — Салехард, спящая Обь под обрывом, драные деревянные тротуары, звонкие, как ксилофоны, шайки беззлых косматых псищ, косые, обветренные, обмороженные — куда забывшему меня усть-нарвскому другу! — заборы, заборы, бараки, бараки — деревянная Механка... Взвод конвоируемых зеков, безбрежная, вернее, однобрежная Губа, бессонная вахта совместного винопийства с матросней, кое-какие прочие излишества, бильярдно плоский берег, чумы, малицы, задранные носы и трясогузьи хвосты подчалков, на которых детски прищурившиеся ненцы ходят за горизонт. Говорят, они, «нацмены», не умеют плавать — зато они умеют относиться как к должному к облепляющим все нагое мясистым комарам — вертолетам. Они отдадут целых осетров и расшитые бисером оленьи бурки (стоит в ушах мяукающее: «Поурки, поурки!») за бутылку водки. Но если поторговаться, могут отдать и за флакон одеколлона.

Мне совестно за «мужиков», но одна пипетка веселой бесшабашности все обращает в милое озорство. Рассекая форштевнем Губу, мы окончательно побратались, смешав свое семя — веселость все превозмогает! — в

лоне отличницы ямало-ненецкого просвещения, директора школы-интерната.

Но когда начались взаимные покусывания, кто пашет, а кто придурается...

Легчайшее — утренний бриз с помойки — дуновение корысти разом обращает озорство и молодечество в пакость: на меня и без того уже накиннулись неведомые мне ни до, ни после чирьи. Бросив початый заработок, я молниеносно свалил в Салехард, провожаемый разинутыми ртами дружков, не предполагавших во мне такой щекотливости.

Невыносимый комариный зудеж в дебаркадере, засыпаю на ветерке, зависнув над водой на перекладинах наружной чердачной лестницы затопленного деревянного пакгауза. Приличные суда, чумазые буксиры, основательные самоходки — лайбы — стадом млеют на солнце под обрывом. Практически без гроша, но с подмывающим азартом — «А дальше что?..» — в лихорадочно-фурункулезном состоянии я перемахиваю борт за бортом, каждый раз попадая затаившимся в рюкзаке обухом по только что освободившемуся от ярко-желтого карандашного стержня кратеру в бедре.

Капитан — даже в поту и под газом — в присутствии жалюзи и красного дерева молод, довольно элегантен и милостив. Я присаживаюсь на кормовом люке. Распустивший пьяные слюни крайне небравый старпом в невыразительной рубаше с чужого плеча, штанах с чужого зада — я давно изумлялся самоотверженцам, довершающим дело природы козлиной бородкой под козлообразной физиономией. Не знаю, чем его больше обидел капитан — словами или элегантностью. Деловито постукивая, мы шли кормой вперед прямо в борт высоченному черному гробу, из старомодно круглых многоглазых окуляров которого на нас смотрели доверчивые женские лица, как и я, полагавшие, что старые речные волки лучше нас, сухопутных крыс, знают, куда и как надо рулить.

БУММММ!.. Доверие на женских лицах не дрогнуло, но я почувствовал некоторое сомнение. Из взвившегося метелью мата выяснилось, что обиженный старпом вместо «полный вперед» дал «полный назад». Не успела после всех положенных проклятий и угроз душа расправиться на неохватной шире, бухнул выстрел, и над головой у меня просвистела дробь: старпом пытался подстрелить зависшую над кормой чайку. Зазвенели по палубе, засверкали золотом стреляные гильзы, блеснула пара непочатых. К бретеру кинулись, он повел двустволкой, словно блуждающим взором, сметающим всех со своего пути, будто рейкой стружки с верстака. Я (до чего интересно!..), как к забабакинской овчарке, с лентой подошел к нему, приятельски положил руку на плечо — и тут же нас смяли, вырвали ружье, загалдели, заматерились, невольный стрелок уже перекинул штанину через борт — топиться, его за узенький сухопутнейший ремешок, с жалкой голой спиной втащили обратно...

Отступающие горбы Полярного Урала синели все прозрачнее и прозрачнее, палуба опустела, я пролез в свитер, отвлеченно дивясь, до чего низко сидит корма, до чего близко бурлит неустанный бурун. Но не сухопутным же крысам...

Но когда вечерние барашки стали закатываться на палубу, я снова почувствовал сомнение. Вся команда валялась пьяная в хлам, на ногах были только пацаны-практиканты из Омского, что ли, речного училища. Один, с простым и хорошим лицом, заглянул в люк подо мною — «Ё-моё!..»: вода колыхалась — хватало только воздуху хлебнуть под палубой, когда мы с простым и хорошим забивали шов, рассеившийся от «поцелуя» помощника, куда остальные с помпой ухали и топотали у нас над головой. Я все косился в сторону люка, калившегося, как электроплитка, мрачной малиновой зарей: успею, если что. «Лишь бы не перевернуться», — ответил моим мыслям простой и славный.

Потом мой кореш отвел меня в свою каютку-купе — уж такое было умиротворение улечься в сухое! — а сам на ночной вахте высушил в ма-

шинном отделении мое барахло да еще и почти выгладил на чьем-то раскаленном боку. Я всегда вспоминаю его с нежнейшей благодарностью, но не ловите меня на слове: для того первобытного дела, в которое нас втравили, он был вовсе не прост.

И отсидевшись бы мне в этом металлизированном гнездышке до самого Ханты-Мансийска, если бы я не прельстился гомеровским именем Мужа. Среди землистой словности пешеходных ксилофонов, разухабистых заборов, терпеливых барачков, лишь очень слабо подсвеченных странно золотистыми кудерьками (у «нацменов» должны быть прямые монгольские волосы), я внезапно почувствовал ужас, что не выберусь отсюда Никогда, — это была первая ласточка.

Немного пометавшись, я увидел с серебристых мостков, окружавших приобские амбары на сопливых сваях, баржонку-самоходку, поблескивающую, подобно бульдозерному ножу, исцарапанной стальной наготою, тупо обрубленным носом напоминающую башмаки на памятнике Крузенштерна, куда я ходил проникаться вереницей корабельных силуэтов. Пьяный полвец в тельняшке бешено разматывал причальный канат. Драная сталь, увлекаемая быстрым течением, заскользила вдоль мостков. «Прыгай! Лови!» — орали неведому кому осатанело топотавшие прямо на меня юный Алан Делон в сереньком и какой-то приземистый разбойник. Ничего не понимая, я успел допрыгнуть грудью на борт. «Чалку, чалку!» — пуще прежнего заголосили Делон с разбойником, не давая мне догадаться, что чалка — это канат.

Наконец Делон со смущенной улыбкой, на четвереньках вскарабкался ко мне и, не обращая на меня ни малейшего внимания, кинулся запускать двигатель. «Если каждая шалава тут будет чалиться!.. Я тут семь лет чалюсь!» — раздувал страшные жидкие усишки полвец. «Ты за такие шуточки можешь без диплома остаться!» — грозил разбойник. Делон застенчиво молчал. «Вы куда едете?» — осторожно спросил я. «Ездят в шторм — ж...й по палубе!» — обрушился на меня полвец. «Куда плывете?» — поправился я. «Плавают г...! А по воде ходят! Слезай, никуда не поедешь! Сейчас звоню в Кушеват — левый пассажир!» — «Послушай, мужик...» — попытался я уйти от всегда опасной патетики, но он прямо поглубел: «Я тебе не мужик, я... — От бешенства он перешел на сип: — Я... я... колхозник!!!» — еле нашел он еще более оскорбительное слово. Но куда ему было тягаться с неподкупной забабахинской красавицей!

Случается, мы целыми часами не произносим ни слова. Видеть беспросветную поглощенность будничным на ангельском личике Делона так же странно, как знать, что страшный шрам, расплосовавший живот разбойника, рожден глубоко штатской «язвой» — от сухомятки. Комары — истинная язва Севера — что-то особенно не помнятся: своими гибкими хоботками здесь им уже не удавалось проколоть мой скафандр. Я просыпался на стальной лавке, закиданной тряпьем, от плеска воды над самым ухом — невозможно было поверить, что это снаружи. Одним движением вымахивал из люка, смущаясь хозяев, делал зарядку: спрыгнуть на едва проглянувший из воды островок, куда наша лайба с вечера насаживалась своим крузенштерновским носом, — оказаться по колена во мху и по щиколотку в воде, среди аметистовой морошки и пышущей отовсюду (долина гейзеров) клубящейся зелени кустов. Мне иногда становится досадно, что из-за этого оголтело раззеленевшегося архипелага редко удается хватить настоящей водной шири. Но когда листаешь лоцманский атлас с масштабом такой крупноты, что в недоверии невольно ищешь закатывшиеся нолики, и окидываешь взглядом всю причудливость ровной многожильной сини меж так никогда и не уместающихся на огромной странице ярко-зеленых пятен и загогулин, словно бы в рассеянности вычерченных капризной рукой некоего гения модерна, имевшего в запасе целую вечность...

Я сам подолгу простаивал за штурвалом, околдовываясь, словно игрой пламени или текучей воды, зелеными купами, снова и снова открывающимися из-за других зеленых куп. Править было нетрудно — неведомая рука разметила бесконечность бакенами, створами... Трудно мне было, как всегда, одно — ждать. Даешь лево руля — крузенштерновский нос продолжает гнуть вправо; крутишь левой, левой, левой, лайба понемногу начинает воротить нос от берега, пожалуй, пора бы и остановиться, а она все разворачивается да разворачивается, понемногу начиная нацеливаться на другой берег протоки. Снова бессилие перед металлоломом *обстоятельств!*

Иногда в рассеянности мы теряли свою пунктирную тропку и подолгу блуждали среди зеленых облаков, плывущих в синеве. Наползали на мели, спрыгивали в воду помогать винту (я платонически тревожился за обнаженное мясо в своих опустошенных чирьях), выводили наш плавучий самосвал на чистую воду. Постукивала моторка, небритые рыбачки меняли рыбу на солярку. На косой самосвальной палубе у нас всегда стояло цинковое корыто с крутым рассолом-тузлуком, где вылеживались распластанные развертки рыб — какого-то сырка и хищно горбатого муксуна, которого уже через полчаса можно было врать пальцами.

Потом правый берег вознесся ввысь, вооружившись зубчатой таежной стеной, а левый где-то далеко-далеко так и влачил понизу. В очередном коконе я настолько окреп, что сентиментально купился словом Октябрьское (родимая Механка...) и расстался со своими благодетелями, так и не узнав их имен, оттого что они ни разу не поинтересовались моим. Горбуша — деревянный уступ на ремнях — позволяет семенить с ящиком водки на спине, — и пусть вас не беспокоит, что многоярусная «катюша» бутылок готовится бить по врагу почти горизонтально: пока бодр дух и прям стан, ничего ниоткуда не вывалится. К вам также не имеет касательства и ваш крестец, обратившийся в один сплошной синяк.

Трепаная «капуста» в кармане, теплоход, никаких задних планов: на том можно сидеть, на этом плыть. А вдруг не красоты, а простоты всю жизнь искал я в своих метаниях?

Нет-нет, все мои порывы и выходы были попытками прорвать власть материи, выйти сквозь хоть какой-нибудь слабый участок вездесущего фронта, на котором, увы, не было слабых мест: материя законопатилась все щели в каземате духа.

Тобольск — сколько совершенно лишних деревянных выкрутасов на такой простой вещи, как изба! Две чугунные плиты — Бярятинский, Кюхельбекер. Такая дальняя и многозначительная переключка: Пушкин, Лицей, Кюхельбекер, Тобольск...

Я...

Меня неудачно ограбили в Красноярске — ее в Каракумах неудачно укусила гюрза, у меня распухло ухо — у нее... От смеха мы валились с ног — если было куда. Мои сачки вечно толклись в комнате вокруг чайника с пивом — зато ее девочки регулярно задерживались в библиотеке. А если кто постучится не вовремя, то постоит-постоит да и пойдет: каждому случалось хоть раз да забыть сунуть ключ на вахту. Каждому — но не отличнице Вере Уланской: она долбила бесконечно. Я выбрался на гремучий карниз — третий этаж для меня был тьфу! — перемахнул, поприветствовав хозяев, через подоконник в ближайшее открытое окно и посвистывая направился к Вере с ключом на пальце и неотразимой версией на языке: моя измученная семейством жабых подружка была внезапно скошена сном — пришлось запереть ее, чтоб не будить, что, впрочем, вряд ли и...

Когда мы с хмурившейся Верой под мой младенчески невинный лепет распахнули дверь, моя любовь с выражением ужаса стояла на карнизе снаружи, ухватившись обеими руками за подоконник: в последний момент она сочла, что версия «в комнате никого не было» надежнее защитит ее

девичью честь. «Так ты, оказывается, проснулась и, видя, что меня так долго нет, решила выбраться через окно?»

Бледнея, она чернела, со своими змеекрылыми загорев и выгорев до состояния фотонегатива. На груди — и ниже — контраст был еще более впечатляющий, насколько можно было разглядеть от шеи под простыней, где было довольно светло: Айседорой Дункан перепархивая через комнату, она всегда что-нибудь на себя накидывала, да и я отводил глаза, когда возникала угроза разглядеть нечто такое, чего нет у статуй, что-нибудь утилитарное, снабженное сфинктером и слизистой оболочкой.

Она не была статуей. Она «залетела». Хотя я вроде бы и... Но когда и ополоснуться негде... А сперматозоиды были некормленные, быстрые, злые как волки... «Я не хочу, чтобы ты себя уродовала!» — никак мне было убедительно не сыграть фальшивые чувства. Все же формально ребенка не захотела она. Однако в моем предложении руки и сердца она предпочла уже не заметить натянутости: с незамужними на абортах обращались сурово: «Там не стеснялась раздеваться?!»

Но и раскатистая свадьба была бессильна перед токсикозом, а когда после нуднейших хлопот и ходатайств деканат ради нас оставил уборщиц без треугольного чулана и мы оказались заперты вдвоем... Нет, втроем с тошнотой. Растерянная тоска стягивалась в один сверлящий вопрос: как же это из веселой бесшабашности может родиться беспросветная обыденность?..

Поживали мы вроде бы весело, устраивали набитые народом вечеринки, на которых мне не приходило в голову пофлиртовать еще и с ней. На фанерном шкафу у нас в брезентовом мешке трещали хвостами расшитые крестиком змеи, под бесконечно ошпариваемым за его терпимость к клопам топчаном жил небрежно расписанный частью под тигра, частью под стрекозу надменный своей двухаршинностью варан с трехгранным бичом хвоста. Топили хреново, варан сутками лежал бездыханный — правда, сунутую в безгубый рот ложку он без всякого выражения лица стискивал своими терками так, что на дюрале оставались поблескивающие задоринки. Зато, подогретый на теплящейся батарее, он оживлялся и, все так же без выражения лица, начинал носиться вдоль катетов, сясь взбежать на гипотенузу, или лупил хвостом по стене, рассекая обои.

Столь опрошенная — до марксизма-фрейдизма — зависимость от материальных обстоятельств вызывала у меня неоправданное высокомерие. Но тоскливая скука стояла неколыхаемо, как неподвластный никаким норд-остам мочальный дух швабр. У моей сообщницы уголки губ тоже сложились кислой складочкой. Не насытившиеся еще с предыдущей ссоры, мы алчно бросались в звенящие дискуссии из-за любой дребедени. Но что по-настоящему ввергало меня в бессильное бешенство — неподвластность духа доводам разума, духа, самодовольно пошедшего под власть законов для скота, — она была убеждена, что мы ничем не отличаемся от животных: мы танцуем — и фламинго танцуют, мы целуемся — и пиявки целуются, мы плачем — и крокодилы плачут, мы пишем стихи — и муравьеды пишут стихи. «Из вас там на биофаке окончательных идиотов делают! Намешать уксуса с керосином, генов с гормонами — и получится поэзия!» — «Почему ты споришь с Данными Науки?» — ее глаза тоже загорались индикаторами ненависти. Мы были сообщники, зарезавшие веселую школьницу, чтобы не делить с ней мамину холодную котлету из ее ранца. «Какая, к черту, наука — наука прежде всего должна накидываться на наши приятные фантазии, а вы ее ставите им же на службу!» — теперь-то я понимаю, что как раз за это науку и ненавидят.

Она полетела в Кызылкум — я двинул на Таймыр. И когда после нашего изумрудствующего лета внизу открылись огромные снеговые пятна среди черного месива, я наконец додумался, чем мы выше животных — у них не бывает запретным, стыдным то, чего им хотелось бы больше всего на свете. Но торжество сорвалось: в Кызылкуме моя снова любимая взбе-

жала на фальконетовский пьедестал бархана и растаяла в воздухе — только невесть откуда взявшийся варан со значением взглянул на остолбеневшую доцентшу и тоже как сквозь землю провалился.

И теперь я навеки остался сволочью, а она навеки правой во всем. Какой это соблазн — разом покрыть все чужие козыри смертью! До сих пор не люблю хохотать с женщинами. И видеть ящериц.

Еще не зная, что я уже вдовец, в своих рваных туристских ботинках, схваченных в ахиллесовой пяте золотой проволочкой, я прыгал по очугунелым снеговым лепехам, пока не отхватил со склада пудовые (нога сама выбрасывалась вперед, подобно протезу) ботинки рубщика с шарообразными бронированными носами. И тут вдруг все как с цепи сорвалось: весь снеговой чугуун, ополоумев, ринулся с круч к Енисею, взрывая аршинные русла (но бастионы полутораметрового енисейского льда на береговой кромке, усеянной заблудшим лесом, еще долго выстаивали перед этой лавой) и открывая незакатному солнцу сверкающие пространства пустых бутылок: их тут не принимали. Умные люди набивали ими контейнеры, отправляли водой в Красноярск, откуда возвращались, развалиясь в собственных «Жигулях» (в трюме), — дребезжать по «макароннику» — хлипкому горбылю, пачками набросанному в жидкую грязь, куда неиссякаемо, как вода из царскосельской урны, текла серебряная сельдь из разбитой поодаль бочки.

Дома здесь рубят на сваях — «запариваемых» (запаиваемых) в вечную мерзлоту бревнах. Зато все остальное возносится над землей: трехдюймовая труба в утепляющем лубке превращается в метровую бочку, фантазматически, как у Дали, вытянувшуюся на бесконечной веренице андреевских крестов. На земле — с глубины лопатного штыка — лом оставляет лишь полированные вмятинки. Зато прижатая к ней соплом водопроводной толщины труба, из которой свищет перегретый пар, обращает ее в гейзер, булькающий пузырями в кулак величиной. Рассказывают, где-то в такой гейзер «запарили» неуступчивого прораба, но вообще-то бревна в этот двухметровый сосуд раскаленной грязи вгоняют «бабой» — мясницкой колодой, воздетой на две полированно-ржавые рукоятки.

Полупаровозный котел в балке — вагончике на полозьях, мы с Юрой (бритобородый русский богатырь в брезентовой робе) регулируем давление безо всяких там котлонадзоров. Стрелка замызанного манометра и при холодной топке стоит далеко за смертоносной красной чертой, а вместо положенных опечатанных клапанов с одной стороны подвешена на проволоке стальная труба, с другой — половинка кухонной плиты. Если балок бросает в чрезмерную лихорадку, нужно приподнять плиту рукой, пар устрашающе засвищет, превращая балок в прачечную, — и хорош. «Взорвется — так и мы вместе с ним», — утешал меня Юра.

Если не напорешься в глубине на «морену», можно круто подзаработать. Глубочайшей ночью, борясь с соблазном опуститься на четвереньки, бредешь с вахты в заносчивых ботинках — и застываешь над сверкающей сталью Енисея. По солнцу как бы часов пять пополудни, но сразу видно, что все спит. Корабли на якорных канатах развернуты по прихоти капитанов, но кажется — кого как застиг внезапно павший мертвый сон. На другом берегу начинают набираться синевы прибрежные горы (здешний воздух все норовит обвести неоновым ореолом Рокуэлла Кента), но сама береговая кромка заслонена закруглившейся, словно бы вздутой от могучей полноводности холодно спящей гладью.

Три часа на конторском столе, к которому собираются осторожные крысы. Утром, ополоснувшись, иду бродить по тундре, заплетенной похожими на корни бурими кустами, которые однажды вдруг поднялись зеленой опарой, оставив равнине лишь бесчисленные водные зеркала — под утро над каждым устанавливалась неподвижная подушечка тумана.

Бог мой, как я по ней тосковал — никакого предчувствия не было, что больше ее не увижу. Но может быть, это была просто еще одна ласточка

подступающей тьмы, тьмы беззначимости? Хотя к августу, явившемуся в образе сурового октября, я таки поднабрался простоты. Правда, ко мне в бригаде относились все же с юморком за то, что я не сэкономил силы: взбирался на сруб на одних руках, без лестницы, каждый вечер, вразалочку удаляясь со стройки при низком солнце, с разворота метал топор не хуже Чингачгука, пытаюсь срубить голову собственной тени, старался загорать, невзирая на комаров...

В общество питерских бомжей, перекидывавшихся в очко у Бадаевских складов, я тоже вошел равным среди равных: меня обматерят — и я обматерю, меня попробуют тряхнуть за грудки — и я тряхну так, что вмиг охота вылетит: когда я по приезде от души пожал приятелю руку, он сделал невольный книксен. Разовых грузчиков — по принципу кто меньше украдет — надергивал из толпы абитуриентов симпатичный парень в штатском — Арнольд. Я всегда оказывался избранником (как у всех здесь, у меня в паспорт был вписан специальный номер для упрощения бухгалтерских расчетов). Арнольд объяснял по-хорошему: зачем, мол, берете хорошие сумки, вчера вот велели все распороть — он и распорол, не надо наглеть, берите, что хозяин сам дает, — и мне до чрезвычайности льстило, что для меня вполне обыденна грандиозность ленинградского чрева — с целыми железнодорожными разездами, с целыми городами складов, пакгаузов, эстакад, из-под которых, как из брезентовых мешков моей жenuшки, так и перла всякая бомжовская нечисть: дай, дай, дай дыньку, персик, арбуз... Рыжий плечистый мильтон временами терял терпение и гнал маргиналов по шеем, по спинам, по задам буквально поганой метлой. Мы, допущенные к вагону, прежде всех дел скидывались для него на четвертинку «Столичной».

Через проходную, кажется, никто не выходил обратно — все бесследно растворялись в этой империи жратвы. К высоченному бетонному забору было прилажено довольно удобное, хотя и шаткое крыльцо из пустых ящиков, по другую сторону ты оказывался на заброшенном кладбище — мне, юному варвару, и в голову не приходило, что там покоится обожаемый мною Некрасов, выучивший меня сострадать тем, кому мне следовало бы завидовать. У потустороннего крыльца нас встречали заискивающие тетки: чего несете, ребята? Брали за половину магазинной цены — но что человеку надо, кроме чекушки «Московской» за рубль сорок девять, ста «грамм» корейки за двадцать семь коп и четырехкопеечной горбатой четвертушки черного в кругу одноразовых закадычных друзей?

Но как-то мне вздумалось прокатиться на крюке подъемного крана. «Еще краснофлотец!» — укорил меня пожилой кладовщик (я был в матросском бушлате), и я понял, что снова разоблачен как человек несерьезный.

И все же я был мужик среди мужиков. Мужик, который на бабьи попытки умствовать: «Что естественно, то не безобразно» — только ухмыльнется, не станет орать: «Наоборот: что естественно, то и безобразно!» Но, избавившись в простоте своей от подобной егозливости, я выдержал неместимую утрату, как перемагается нормальный мужик, потерявший бабу: сначала месяц пьет, потом заводит новую. Пил я с большими мастерами этого дела, тратившими на закуску исключительно те суммы, которых уже не хватало на еще одну бутылку. Нализавшись, мы в обнимку стонали Окуджаву и Городницкого, хрипели Высоцкого, позволялось и плакать, если при этом рвешь рубаху и грохаешь кулаком по столу, с которого вспархивает небьющаяся тюремная посуда. Не раз после пьяных рыданий я пробуждался слипшимся в панцирном мешке с незнакомой бабой — с ними было просто: тискать надо не человека, а сиськи, ляжки и думать по возможности о чем-нибудь постороннем, а тут разберутся и без тебя.

Любовь с мамой у нас с того и началась, что она страшно меня жалела и корила, что я не только пропиваю свой талант, но еще и оскверняю память о любимой: наша погибшая любовь в мамином изложении выглядела

столь прекрасной и умиротворяющей, что очень скоро я уже не мог обходиться без бесед с нею. И о чем бы я ни плел, я всегда оказывался где-то в главной глубине хорош и прав.

Когда я запускал руку ей за шиворот расстегнуть лифчик (чистый, гигиеничный, безо всяких кружевных завлекашек), я чувствовал себя предателем, извергом, пытающимся намазать на хлеб масло, которым написана «Сикстинская Мадонна». Но ведь если так долго гуляешь с девушкой, то рано или поздно положено радугой поливать морковную грядку! Моя маскирующаяся (от себя) фатовская манера «как бы между прочим» вызвала у нее что-то вроде робкого восхищения: «Привычным жестом...» Нам еще не выдали постельного белья после зимних каникул, и спали мы меж двух дубовых матрацев. На ней была розовая шелковая «комбинация» (до сих пор не знаю, чего с чем). Разрезвившись, я попытался стащить с нее матрац, и она, видя, что ей со мной не сладить, в последний миг вдруг так беззащитно, по-девчоночьи разревелась, что у меня до сих пор сжимается сердце от стыда и сострадания. Она же, я уверен, давно про это забыла — главный источник ее силы даже не доброта, а дар забвения, дар, в котором мне напрочь отказано. С тех пор она ни на миг не отступала от земного предназначения женщины — превращать смерть в жизнь, хаос в космос, грубое мясо в золотистый натюрморт, вражду в мир, изгвазданную комнату в уютнейшее гнездышко, страшный зев могилы в прелестный цветничок. Все, что мне представляется обузой, от которой нужно как можно дешевле отбояриться, для нее и есть настоящая жизнь, исполненная смысла и радости. Время, потраченное на уборку или обед, она считает вовсе не потерянным, а, наоборот, обретенным.

Я-то был, уж конечно, не идеальным — куды! — но, по-моему, сравнительно сносным мужем. Во-первых, я ей почти не «изменял» — правда, на любой попойке с танцами-шманцами-обжиманцами я регулярно впадал в платоническое обожание, стоило мне увидеть дамочку, скорбно отвернувшуюся от общего галдежа и дрыгоножества: это была куда более злокачественная измена, чем трихомоноз, который я ей занес в силу присущих материи инерционных явлений. Сейчас смотрю на нее и вижу — ничего с ней такого не было: она умеет быть хозяйкой в своем скафандре.

А вот со мной было. В регистратуре ко мне, напряженному от грёма и сверкания «больничного», зажатому боками несчастливцев, хлебнувших отравленных капель из источника жизненных радостей, с каким-то пустым вопросом обратила деревенское личико бедно одетая девушка. Столько беззащитной робости, столько мольбы о крохе дружелюбия, столько пронзительности в беленькой самовязке носков, проглядывающих из ее резиновых сапожек, — океан нежности и сострадания в моей груди всколыхнулся мелодрамой «Триппер чистоте не помеха».

С признательными улыбками робкой влюбленности мы свернули каждый в свой кабинет, каждый с задержанной мочой, возникшей из небытия лишь за роковым порогом. Белый халат, фатовские усики в шпагатинку, сугубо научный язык: «Залупи и тащи от яиц», «Ссы в стакан». Покуда доктор обменивался шуточками с востроглазым, как на обыске, щуплым морячком (противогаз, охваченный рыжими перьями): «У вас в кубрике ставят мочу на стол?» — «У нас мочу не разливают в стаканы», — выясняется, что я даже при крайнем нетерпеже не могу отлить под наблюдением. Доктор, не удивляясь, открыл кран. Тугая струя страстно воззвала присоединиться к ней, но гномик в самом корне упорно не желал разжать свой маленький кулачок. Вопреки правилам (а то еще подменю), меня выпустили в клозет, откуда я быстренько возвратился, придерживая, словно пистолет, горяченький плескучий стакашек в кармане расстегнутого пиджака.

Пипеткой впрыскивают какие-то капли в обморочно вялый ротик виновника всех неприятностей. «Провокация, — внезапно взрывается лихорадочным шепотом огненный морячок. — Когда не могут поймать — дела-

ют провокацию, чтоб опять с конца закапало. Бабе семнадцать лет, я уже с ней лежал, все... Если опять не найдут — засаживаю к херам!»

Я лежу навзничь на клеенчатой кушетке, мясник, поседельный над кровавыми тушами, требует, чтобы я вновь растянул вялые губки съездившегося шалунишки, влипнувшего в подсудное дело, и внезапно по рукоятке погружает в меня полуметровое орудие, назначение которого не могла бы угадать самая извращенная фантазия. Собранный гармошкой на шампуре в мизинец толщиной, мой бедняжка вызывает уже не жалость, а ужас. Трясая мелкой псиной дрожью от боли и ирреальности, я слышу, как охает и сдавленно матерится на соседнем верстаке рыжий морячок.

На пронизанной ледяным пескоструйным ветром трамвайной остановке, где я в своей курточке корчился от боли и потрясения, ко мне приблизился коренастый идиот, принявшийся раз за разом пробулькивать один и тот же вопрос, который я был не в силах воспринять (с содроганием я увидел лишь, что у него элегантно — в духе Генриха Восьмого — подбрита грубая щетина). С выстраданного трамвая пришлось сползти у общественного сортира. Но первые же капли обожгли такой болью, что я ухватился за каменную бабу на изъязвленной бурой штукатурке. Однако желание освободиться было еще нестерпимей: я попытался расслабиться и сбросить хоть несколько огненных капель, покуда ослепительный ожог снова все стиснет мертвой хваткой. Так по капельке, по капельке, вроде тех, что раскатываются вокруг сварочного аппарата...

Вот это и есть провокация.

С тех пор я уже никогда не мог до конца освободиться от ожидания: а вдруг снова опалит? И легкое жжение таки не исчезало, изредка пробуждая тот самый корневой зажим. Я начинал потихоньку бормотать, уговаривая себя, словно заупрямившегося теленка: «Ну давай, дурачок, давай...» (привычка бормотать над унитазом прочно закрепилась во мне). Наконец сравнительно недавно (теперь для меня это лет семь) я ощутил жжение в почти провокационном накале: кто-то ввел в измученный ротик шило с раскаленным кончиком.

Ближайший сортир, разумеется, был на замке. До следующего мне было не дотянуть (и не хватало воображения вспомнить, где он прячется). Я ввалился в столовку, где с недавних пор оставили только умывальники, и, придерживая дверь ногой, пробил летку. Слепленный болью, я все же не промахнулся в раковину с метрового расстояния (после этого из умывальника удалили и дверь).

Расплавленный металл ночами требовал подниматься раз по десять, причем каждый сеанс требовал немедленного повтора. От недосыпания начало пошаливать сердце, но я лишь злорадствовал: туда тебе и дорога! Почувствовал жалость к Нему я лишь тогда, когда Он выдал чай с вишневым вареньем. Но тревога не являлась, покуда я не начал чувствовать боль и после *этого дела*, которое уже входило в сферу моего духа где-то неподалеку от зон чести и долга — удовольствия в моем скафандре уже давно ровно ничего не весили. *Человеческое* неуклонно расширяло свои владения: уже и «просто баба» сделалось пресноватым для Его Высочества — приходилось прибегать к пикантным сортирным соусам «грязных» слов: «ж...», «п...», — на эти слова он еще делал стойку.

Вновь утренняя моча, тревожно оберегаемая за пазухой в набитом автобусе. Какое-то «поле», сплошь усеянное микроскопической сволочью, новый мясник за хобот подводит меня к очередной раковине и что-то снова впрыскивает. Дома, пытаясь унять жжение теплой ванной, я на пробу остороженько попытался приоткрыть клапан. Слепляющий ожог заставил меня нанести бесцельный, но могучий, как у кашалота, удар хвостом, от которого половина ванны оказалась на полу. Ежедневные инъекции, кои нынче насобачились делать в стоячку, как скоту, постепенно пустеющее «поле» и — какая-то одеревенелость в корне моего истерзанного, но все еще петушившегося хулиганишки. «Грязные» слова Его еще поддер-

живали, но самое наслаждение как-то осипло, — впрочем, не все ли равно — долг исполнен. Приступы тоски к тому времени достигли такой силы и бесперебойности, что беспокоиться о мимолетных наслаждениях... Но в целом я и по этой части оставался сносным супругом.

Эпоха зрелости... Отказ от невозможного, примирение с неодолимым, ответственная работа на благо общества и семьи... Но мне из этих десятилетий помнятся лишь порывы к невозможному, бунты против неодолимого и смертная тоска поражений — тоска бессилия перед вездесущим и всемогущим скотством.

Хотя на благо семьи я таки потрудился: переселил своих девушек из комнаты в мэнээсовском общежитии в приличную двухкомнатную квартиру, защитил диссертацию. Послужил я и на благо общества: покуда наука была не скромным «познанием» мертвой реальности, а прорывом в некое Черт-те Что, я, как монгольфьер, отделялся от земли, распираемый гордостью за наши гулкие залы с «установками», — восторг дикаря перед чудом стиральной машины «Вятка» и холодильника «Минск-5».

Больше никогда в жизни я столько не работал и не отдыхал. Никогда больше я не читал столько великих книг — не с хлипким восхищением оборванца у парадного подъезда, а с распрямляющим чувством единения: они тоже были обращены к великому во мне. Я успевал возить дочурку в зоопарк и с трепетом читать ей Маршака и Пушкина, стараясь не замечать, как она становится все более покорной и печальной. Старался я не замечать и того, что окружен людьми, которые точно знают, зачем нужна наша наука: в высокопарном смысле — для пользы общества, в будничном — для одобрения (зависти) коллег и служебного роста. И пожалуй, я и в самом деле не замечал, что мною все чаще и чаще овладевает чувство некоей тесноты: стиснутость духа испанским сапожком беззначимой материи мне довольно долго удавалось исцелять суррогатами географических прорывов: в путешествиях-бросках я обретал иллюзию свободы. Это теперь я понимаю, что хоть каким-то подобием хозяина ты можешь быть лишь в собственной норке. Невозможно освободиться от земной тяжести, мечась по поверхности планеты, — для этого нужно устремиться по вертикали. Но мир материи не имеет вертикалей.

Урал, Арал — я раз за разом бросался в мнимые бреши, а материя раз за разом тыкала меня носом в правду.

В издавшем — дух захватывало, какие виды! — рыбацком кузове, словно замызанное цирковое трико блещущем кристаллами грязнейшей соли из Страны великанов, преследуемый вечным моим недругом — гулкой брыкливой бочкой, я был подброшен до крытой бархатом развилки, где непременно раскинул бы тронный зал Пыльной Королевы: босая ступня исчезала в идеальной серой пудре, неосязаемой и всеохватной, как смерть. Но из серых масок глаза раскрывались еще светоноснее — у кого они, конечно, были.

Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто! Я никогда не видел шторма при ослепительном солнце: как ни взбаламучена вода, пена все равно сверкает! И с такой повергающей в одурь силой не ударило морем, а било и било в нозд... — прочь бесы технологичности! — било и било в душу эссенцией морского духа.

Когда я был жив, я любил заплывать, покуда хватит сил, — но добраться до их предела я так и не сумел: либо замерзал, либо надоедало. Подводная вода пружинит в напряженной горсти, лизнет то теплом, то холодком, каждый взмах обращает мир то в царство света, то в ровный полумрак, а когда вывернешься на спину (ноги начинают медленное погружение), видишь в бескрайности истощенную чайку, лениво поводящую костлявым крылом, а припавший на все тысяча четыре лапы берег вырождается в натянутую мурашиную тропку. Но если горы — так только они и оста-

ются в мире. И вдруг понимаешь, что ты наконец-то оторвался от земли — чем глубже, тем выше!

Но в тот раз скользкий полет обернулся задыхающейся дракой — занули позвонки, когда я получил в лоб, не успевши сделать нырок перед накатывающимся с вагонеточным рокотом гребнем, заменившим горизонт на вершухе бескрайней водяной горы. Козлами кудлатыми море полно... Я успел и нахвататься оплеух, и нахлебаться — но болел я все равно за нас обоих, — и я, и море были молодцы! Пантеистический отказ скромной части противопоставлять себя мировому Целому? Нет, доверчивость непорочного щенка.

Я долго не замечал нарастающей тошноты: кто же болеет в море морской болезнью! Но во время очередного взлета я успел поймать не заплеснутым пеной глазом краешек берега и уже не с восторгом, а с тоской понял, в какую даль меня занесло.

Я выбрался из прибоя, мотаясь под ударами как пьяный, и опустился на подломившиеся руки. И тут мне так шибануло в нос морем, что я лишь чудом не вытравил. Перед носом у меня лежалдохлый бычок. Так вот что такое запах моря — это тухлая рыба и гниющие водоросли. Поэзия оказалась гомеопатической дозой гадости.

Бычок — что бычок! Третьего дня он тучами выбрасывался на берег, громоздя трепещущий метровый бруствер, — народ на грузовиках съезжался, греб при свете фар сверкающие сокровища, — главное предательство совершило мое собственное (якобы) тело: если я нахожусь во власти неведомого и даже несуществующего самодура — охоту заплывать это у меня отбило: скотство старалось пометить каждый угол, который я любил.

Бетпак-Дала, Амур, Вычегда — хорошенько тоска пробрала меня на Белом мо... Тоска!.. К чему красивые слова — все это только разновидности страха. И страх неясного и далекого надежней всего вышибается страхом отчужденного и близкого: несколько шагов по барьеру на крыше нашей девятиэтажки снимали самый жуткий душевный спазм на целых полчаса. Насмотревшись на самоубийц, с которыми я возился несколько лет, я понял: ты здоров, пока у тебя хватает сил симулировать душевное здоровье. Поэтому поворотным можно считать тот миг, когда я не просто потерпел очередное поражение в очередной схватке с материей, но открыто дезертировал со свободно предпринятого марш-броска.

Поезд и всего-то с каких-нибудь лишних полчаса продержал нас под бронедверьми — Хаос поигрывал мускулами, не более. Когда-то не только грановитые стены Обводного, закопченные в стиле Тюдоров, но и морские звезды блевотины на перроне пробудили бы во мне ощущение восхитительного контраста, но теперь... Все кругом ворочали предметами — чемоданами, баулами, узлами, тюками, ларями, сундуками, друг другом, друг другом, друг другом...

Подумаешь, фон-барон — от первого же человеческого слова, человеческого жеста, взгляда, улыбки вся моя кожа вспыхнет пламенем стыда за мой — как бы пообиднее выразиться? — аристократизм, ни на чем не основанный, кроме ужаса перед простотой. Ведь это же твои дружки и соседи, тетушки и дядюшки, братаны и сеструхи, которых ты так любил и продолжа... Но невозможно не придирается к тем, кто ходит по твоему лицу. Вот троица — они же не виноваты, что теперь у них такие заплывшие глазки, — но зачем они способны тускло поблескивать только при виде гораздо более глазастой пены в бутылках с пивом?! Зачем с такой набожностью они держатся за рыжие ломтики воблы?.. Ведь и мы когда-то катались за пивом на товарняках с железом от Механки до строящегося Химграда, — только зачем — *зачем!!!* — вместо «сейчас» они произносят «ща», ведь мне же больно, больно!!! Почему им никогда передо мной не стыдно? Они хоть когда-нибудь хоть что-нибудь должны?!

— За полтора куска, — аппетитно выговаривал наливной козырек губы, под которой, плотоядной, вовсе исчезала нижняя. — Поднялся на стольник, на стольничек, на стошку, на кусяру...

Вскрикнула и прогрохотала с подвывом встречная электричка. Уже в пригородных поездах исчезают вкрапления интеллигентных лиц: взгляни в окно — и сразу поймешь, что еще немного — и всю геометрию и ажурность занесет щебенкой, затынет бурьяном «просто жизни», ползучим Хаосом, через который мы прокладываем муравьиные тропки предсказуемости. Но... предсказуемость и простота — разве это не одно и то же? Неужели я страшусь одновременно и порядка, и беспорядка?..

Мимо гремели заводы и пашни, от стертого до неразличимости ампера Дворцов культуры лучами разбегались улицы со страшными именами: ул. Труда, ул. Пролетарская... С какого же седьмого дна рвется на штурм вольных прихотей алчная похоть обожествлять самое скучное и тягостное, что только есть на свете? Улица Скуки, проспект Забот, площадь Нужды... Нет-нет, успокойтесь, я не смею даже помыслить, что я лучше самого наипростейшего из простых и честных тружеников, ради бога — я в тысячу раз хуже, но мне душно, тесно, рвотно, выпустите меня отсюда, выпустите, выпустите, выпустите!..

Но куда? Простота по всей Галактике сражается за свое достоинство, готовясь поглотить чудом выбившиеся из-под нее причудливые рифы человеческого — отовсюду наползают марксизмы, фрейдизмы, биологизмы, утилитаризмы: «Мир — это труд!», «Мир — это трах!», «Мир — это торг!», «Мир — это страх!», «Мир — это война!», и юркнуть можно было только в книгу — единственный предмет, замечавший во мне душу, дар творить мысли и образы.

Вынырнув из безбрежности скафандра обратно в тесноту вселенной, я обомлел: да уж не спятил ли я — с липучего столика сверлил меня глазом строгий попугай. Эта шуточка Хаоса, возможно, и показалась бы мне забавной, если бы в тот миг не продирался мимо наш проводник. Он тоже был не виноват, что у него оттопыренный зад, рыкающая глотка, развешенные губы, — но почему настоящий человек оставил их в лесу, откуда его предки выбрались — ну не может же быть, чтобы только ради жратвы и безопасности! Но этот скот тоже не был животным: его губы, брюхо, ягодицы — все это были *знаки*: не желаю ради вас ну вот ни на столечко потрудиться, чтобы подобрать свои олады, не притиснуть ребрами к переборке замешкавшегося, не протереть задницей физиономии рассеянных.

Промолотила по башке еще одна электричка — и до меня внезапно дошло, что, покинув зону их досягаемости, я попаду в сельву полной непредсказуемости. Но когда я глянул на насыпь сквозь ржавую вязь ступенек, оказалось, что щебенка с бурьяном расчерчена скоростью в рыжую и зеленую продольную миллиметровку. И сколько орудий убийства просыпалось здесь из дырявых карманов позевывающего Хаоса... Труба, пулеметным гнездом нацелившаяся тебе в лоб, шпала, уже перешибленная лбом твоего предшественника, кирпичный бой, железный лом — мементо Механку!.. Мелькнула полоска воды, затянутая тиной, как патиной, взорвался и замахал перед носом огромными руками мост-Бриарей — а поезд вновь начал поддавать да поддавать... Промчались белые пенки на зелени — выводок какой-то кашки...

— А ну, быро закрыл дверь! — даже сквозь гром колес я расслышал этот рыгающий рык.

Сзади надвигалось скотство, а впереди была всего лишь увлекшаяся гонками невинная материя, лишенная злобы и бесстыдства. Я изо всех сил оттолкнулся против движения. Взбудораженным слоновым стадом, испугавшимся в зеленке, на меня летели заросли лопухов. Земля одичало метнулась из-под ног — на третьем безнадёжном топе я уже летел носом и — среди зеленых грамофонных ушей увидел — завершающим гэггом — зеленое зевло чугунной мусорной урны, наклонившейся подобно мортуре, го-

товясь принять вместо ядра мою дурную голову. И — как всегда, когда мне не мешал ум, — я сработал безошибочно: чудом успел выметнуть перед собой свой рюкзачок и впилился лбом в чугунную витую окантовку сквозь так и не початый ватник, рубашку, трусы, полотенце...

Затрещала не голова, а шея. Я поднялся, отчистился от размозженной зелени и поплелся на ближайшую станцию.

Мама всегда очень скучала во время моих географических прорывов. Но, едва разглядевши меня в мертвенно-синем свете лестничной площадки (такими лампочками брезговали даже воришки), она, вопреки обыкновению, не только не бросилась мне на еле ворочающуюся шею, но чуть ли не принялась гнать меня взащей: почуяла, какая тьма на нас надвигается, если уж я прервал свой долгожданный свободный полет.

Но я намертво вцепился ей в юбку и больше уже не выпускал.

Все строится и строится вечный БАМ. Я никогда не езжу на наших необузданных трамволлейбусах (травматоллейбусах), этих прислужниках Хаоса, — лучше шагать по-суворовски под дождем и снегом из года определяющего в год решающий, не заметив завершающего, чем корчиться на затоптанном рубчатом полу, колотясь головой об утопленные в грязь болты, когда трамвай, утепленный лишь барашком инея на стеклах, выныривает из сияющей как дура осенней измороси и, впустив нас, осчастливленных, в свое промерзлое нутро, дожидается, покуда мы продырявим свои проездные талоны, чтобы затем злорадно объявить, что он направляется в парк, — нашим бы детям проводить столько времени в парках!

Не то что жить — даже рассказывать тошно. Высылают Солженицына. Горит огнем Олимпиада. Меня используют на легких работах (стиральная машина «Вятка», холодильник «Минск-13»). Зато для души я подыскал на диво умиротворяющее занятие: складывать лежачую Вавилонскую башню — сменить гордыню вертикали на безопасность горизонтали. И теперь даже босс признает, что я уже наложил на докторскую. Но меня не выманить из норки, где я хоть на грош, да сам себе хозяин!

Тянется без конца и начала война во Вьетнаме.

Когда ломота черной дыры за костяным желобком, составленным из пригоршни собачьих косточек, выходит за пределы привычного, я растапливаю вечную мерзлоту в груди, поднося под нее горячую боль в солнечном сплетении: вспоминаю дочку. Иногда хватает до вечера — пока не увижу ее въяве и сострадание не съезжится под вспышкой раздражения и обиды.

Открывают пси-бемоль-мезон. На первый план выдвигается еще одна каверза железной (каменной, дубовой) Необходимости — необходимость получать зарплату. Канцелярские уполномоченные мировой бессмыслицы складывают нас вдвое, втрое, плетут из нас шевелящиеся кренделя — но почему все вплетаются в крендель кучками, а я изображаю глубокомысленное чтение в одиночку? Ведь умные уважают меня за то, что я умный, деловые — за то, что не деловой, в обращенных ко мне женских улыбках то и дело вспыхивает нечто гораздо большее, чем простая любезность, но — не надо шить из радуги одеяло — начнется гинекология, претензии («борьба за интересы»)..

Минувя пятилетку качества, мы обмениваемся с ученым секретарем полуулыбками посвященных: наш неудачный трах мы в конце концов разрешили в комическом ключе. Упрашивая меня поделиться Чем-то, она смотрела сквозь очки (минус шесть) сильно уменьшенными глазами раненой лани. Она была бы красива, будь она мужчиной. Но мне полагалось восхищаться еще и ее докторской диссертацией, которую она страшно переоценивала. Мой муж очень хороший человек, грустно призналась она, когда мы наконец попали в обшитую лакированным деревом прихожую. Я уже знал, как звучит умалчиваемая половина фразы: «Мне так стыдно настав-

лять ему рога», — ведь любят только плохих, имеющих силу выйти из предписанного.

На ужин гремела в хохломской миске кучка орехов. Вдогонку к убежавшему кофе подавались холодные пирожки из ближайшей забегаловки. В остатках кофе похрустывали льдинки. Она без предупреждения вспорхнула мне на колени, едва не довершив дело краснорубашечников из той роковой подворотни. Ей хотелось быть одновременно женщиной из женщин и мужчиной из мужчин — пушистым робким котеночком и железным научным лидером, восторженной институткой и умудренным скептиком. Она действительно была на редкость умна — когда дело касалось других.

Я целовал ее легкими касаниями, стараясь проникнуться хоть крупницей разнеженности (в нее упирался волевой подбородок и остужал твердый холод ее очков), но она впиалась в меня так, что мои губы вообще утратили чувствительность. Пытаясь привести себя в рабочее рассеянное состояние, когда действую как бы и не я, я поглаживал ее полированные колготки (бедрá слишком худы для ее бюста), пока наконец не добрался до пружинистого седлышка, натянувшегося над пустотой (колготки следовало бы подтянуть повыше), — и указательный палец мой угодил в дырку над самым интересным местом. Паутина оказалась дырявой. Я единственный мужчина, в чьих объятиях она испытывает трепет, с гордостью призналась она.

Выскользнув в ванную, она вернулась в кимоно до пят, поглядывая на меня с непонятым торжеством, которое своей наивностью могло бы показаться трогательным, если бы она царственным жестом не сбросила мантию из драконьих хвостов, явив себя Афродитой из некоей черной пены, поглотившей съезжившиеся шкурки драконов. Но — если не иметь особых причин для снисходительности — в голом виде мы все довольно тошнотворные. Сиськи были, пожалуй, еще и ничего (да и то со слишком черными боеголовками), зато художеским бедрам лилово-лягушачьи разводы были совсем уж ни к чему. А что ягодицы у нее слишком заостренно стесаны, без аппетитной округлости, это было заметно и раньше. Плешивый жирный лобок (черный, хотя она выдавала себя за рыжую) утопал под наплывающим тестом нетренированного живота. Когда любишь человека, еще можно закрыть глаза — если он сам не пихает себя тебе в нос.

Что меня и сейчас злит — она меня же и пыталась выставить в смешном виде, этаким Прекрасным Иосифом. Но главное — до чего же привыкла все выдирать силой!..

Покуда касса удостоивает размотать наш крендель, хельсинкская разрядка сменяется рейгановской зарядкой, а я успеваю одним глазком что-то все же и прочесть. Читать просто ради удовольствия — для меня такой же знак деградации, как отказ от физических упражнений. Но прежде я доискивался в книгах какой-то «правды» — теперь же я прекрасно уяснил, что все духовное творчество — это *бегство от правды*, вернее, противостояние ей, самой главной правде о нашей *незначительности* в реальном мире, порыв возвести иную реальность, в которой ее создатель был бы значительным лицом — был бы если не Хозяином, то его сыном, другом, подопечным, на худой конец — личным врагом, а не просто случайной жертвой, подвернувшейся под бешеные жернова исполинской мельницы, перемалывающей пустоту.

Платон: реальность — тень, а мы на дружеской ноге с высшей Подлинностью. Спиноза: бычье усилие воссоздать живопись посредством чертежа. Гегель: титанический подхалимаж, попытка придать высший смысл рассевавшемуся на наших косточках куражливому Скотству. Шопенгауэр: тщетная попытка нахамить ему же, слепоглухонемому... Всюду бегство от незначительности.

Израильская военщина захватывает Антарктиду. Я бреду через города, годы и климаты; туннели и эстакады сменяются морозом и жарой, мимо

проносятся поезда и автобусы, советские люди многократно вдоль и поперек перекрывают Енисей, объявляют голодовку, требуя соблюдения Конституции, где-то открывают высокотемпературную сверхпроводимость, но — дурачков нет: когда я начинаю оживать, а предметы — что-то означать, ушибает решительно все, все говорит об утрате — вчерашней или завтрашней. В этом подъезде я до смыкания разинутых мостов целовался с моей бедной исчезнувшей женушкой, вот в такой же твердыне чухонского модерна — с богатой, ворчливо-любящей в ту пору, — и такая взвывается симфония горя, любви, жалости, стыда!.. А в этот клуб я водил дочку... Но — дочка бьет живой болью, поддых, а не в нарыв за составной костью. Я никому и ничего не могу рассказать о ней, ибо это чистая боль, без проблеска красоты.

Внезапно на черной воде канала я вижу сразу две косо легшие друг на друга, совсем по-разному растянувшиеся тени одной и той же Достоевской (добужинской) решетки — и догадываюсь, что одна из них тень, а другая — отражение, — и вспоминаю, как в Алма-Ате полчаса не мог оторваться от дышащей узорчатой тени листвы на фонтанных струях. И сколько же этого золота утекло у меня между скрюченными от муки пальцами — и будет утекать, утекать, утекать, куда не заструится сначала огонь, а потом земля.

Принимается продовольственная программа. Снова начинает разбаливаться голова, которую я даже носил показывать врачам («Какие боли — колющие, режущие, давящие, ломящие, жгучие, пекущие?» — поэты!), пока не понял, что лечить надо душу, точнее — уничтожить, ибо единственная ее функция в боли и заключается. К счастью, у меня было только два безупречных друга — лишь поэтому я еще жив. Абсолютная безупречность должна погибнуть еще в колыбели, ибо все живое выживает за счет уступок: отказаться от них означает переложить их на кого-то другого. Но перекладывать-то удастся только на слабых... Один из них преуспел, его почитают или обходят. Другого не замечают или снисходят, ему удалось продать удобные для себя вмятины только в собственной жене. Первому случалось оказывать услуги мне — я не знал, как и отблагодарить, — он указал мне, что я склонен услужать нужным людям. Другого я сам вечно утешал, кормил с ложечки, собственноручно стирая слюнявчички, — он открыл мне глаза на то, что я люблю изображать благодетеля. Что за глыбы: им не нужна любовь — обманный намек, что мы что-то значим, чем-то выделяемся из мира вещей...

Покуда ширится мор членов Политбюро, я опускаюсь в прихожей на бывший детский стульчик и до самой кончины Брежнева не могу собраться, чтобы развязать шнурки. Дочка точно так же когда-то садилась после детского садика, не в силах раздеться, — а мы все требовали от нее бодрости и деловитости.

По мере раздавленности я становлюсь все добрее и добрее, ударившему меня в левую щеку я прямо-таки сладострастно подставляю правую. Мама обнаруживает меня стекающим со стула, и, откуда Черненко борется с единственной подвластной коммунистам стихией — с литературой, а Андропов подтягивает дисциплину, устраивая облавы в банях и магазинах, она энергичными взмахами швабры стирает с окон решетки и намордники, с соседей и сослуживцев — каторжную полосатую робу, а из меня похлопываниями и оглаживаниями ваяет, как из теста, нечто человекообразное, прочерчивая на возникающем лице как можно больше горизонтальных линий (по перетеканию их в вертикальные она замечает надвигающееся Это даже раньше меня самого).

Я забываю решительно все хорошее, что можно обо мне сказать, а мама помнит и то, как одна противная тетка на свое «деньрождение» принесла на работу торт, а его никто не стал есть. Она так растерянна металась со своим угощением (и сейчас сердце сжимается), что я, изображая общий радостный гомон, съел целых три куска — потом весь вечер прому-

чился тошнотой. В своей любви мама не менее тверда, чем праведники в своей беспощадности. Мы неудержимо стареем, но с каждым энергичным движением ее вдохновляющего насоса во мне расправляется и крепнет (хотя до прокурорского звона еще далеко) высший дар всего живучего — дар выносить миру собственные приговоры, а не гнаться под чужими, дар плевать на других, а не утирать чужие плевки. Дар, в совершенстве отпущенный лишь скотам...

Чтобы скрыть влажные следы благодарности, я утыкаюсь в мамины колени, она ерошит остатки моих волос, развеянных радиацией Бессмыслицы. Оживая (превращаясь в животное), я начинаю ощущать не знаки, а предметы, не маму, а *бедра*: поглаживания мои из благодарных становятся алчными. Когда мама обнаружила, что эротический шок приносит мне облегчение, она сделалась потрясающей любовницей — она изумительно делает все, что нужно близким: хоть пироги, хоть уколы, хоть... Я боюсь только собственной капризности — меня может цапнуть любая мелочь, а взбешусь я по-настоящему уже из-за того, что меня задевает такая ерунда. Приходя в себя, с бесследно разорвавшейся черной дырой (осколки начнут шлепаться обратно минут через двадцать), я касаюсь маминой кожи виноватыми поцелуями: мне неловко, что я втянул чистого, доброго человека в какие-то нечистые делишки. Правда, когда я начинаю к ней подкатываться в сносном настроении, подразвlechься, так сказать, она и это сразу просекает: «Не надо есть от скуки. Ведь это же *любовь!*» Я пристыженно отступаю — с червячком сомнения: неужели это и правда любовь?..

Иногда я на целые недели набираюсь животворящей (творящей из людей животных) простоты — дара видеть только близкое и понятное, — но тоска все равно берет свое: сначала слабость в коленях, потом холод в животе, потом сердце от воробьиного чиха начинает трепыхаться с такой безудержностью, что я не могу ответить на пустячный вопрос по телефону... И ведь никто не поверит: все же видели, как энергичное тело, выдающее себя за меня, через три ступеньки взлетает по лестнице, когда душе почему-то вдруг вздумается его покинуть. Зато никто не видит, как я медленно погружаюсь на дно...

Однажды мы с Марком Розенштейном, за сходство с юным Осей Джугашвили носившим кличку Сосо, очень весело отстояв за стипендией, отправились на «Обыкновенный фашизм». Народишко протоптанной тропкой тянулся по льду от Двенадцати коллегий к Медному всаднику, а я решил закоротить к рыдающим львам у Дворцового моста. Морозный снег сверкал так, что зеленело в глазах, когда моргнешь. Я, разумеется, шел впереди, но, когда сыпучий кристаллический ковер взъерошился встряхнутым калейдоскопом накрошенных ледоколом льдин, шутивная приподнятость сменилась спортивной внимательностью. Я старался наступать на верхушки ледяных трамплинов, уже высматривая пару следующих. Вдруг трамплин хрустнул — но я уже был на другом, оглядывая заснеженный каточек, который я перемахнул. «Пошли назад», — по-доброму предложил Сосо. Я сделал шаг обратно, чтобы не прыгать, не доламывать, — каточек в мгновение ока исчез в черной, не такой уж ледяной воде. Я успел упасть на локти на уцелевший край. Сосо засуетился со своим портфельчиком — но я мощным ударом хвоста выбросил себя на берег.

Потом Сосо, на время забыв свои снобистские ухватки, побежал за водкой, а я похлюпал в общежитие (стрелки на взявшихся радужной искрой брюках сделались прямо алмазными). Переоделся, попрыгал, помахал руками, выбулькал из горлышка «маленькую», отплеснувши и Марку в чайную чашку с заносчивым хоботком обломанной ручки, набрехал сбегавшимся девочкам, как меня течением затянуло под лед, как я в полной тьме по светлым столбам высмотрел несколько прорубей...

— Что же ты чувствовал?! — ужасались девочки.

— Жалко было, что стипендию пропить не успели.

И отправился на «Обыкновенный фашизм», который тогда еще не казался мне чем-то обыкновенным. Смысл урока я постиг лишь через много лет: не сосступай с протоптанных троп. Но на них я начинал задыхаться.

Когда я уже считал себя вполне законченным, моему (как бы не так!) остову вздумалось пустить новый отросток, безобразный, как все, что растет без осмысленной человеческой воли: рассмотрите повнимательнее выдранный зуб. Коренастый костяной грибок аппетитно приподнял трескающийся плодоносный слой — у меня поднялась температура, я лежал на общежитской койке, кутая разламывающуюся голову и спасаясь водярой, — мне страшно вредит, что сейчас я уже не вижу в пьянстве красоты.

Благодаря костному новообразованию я стал непрерывно разжевывать себе щеку в тайном уголке, доступном лишь внутреннему врагу. Итоговые зубы потому и называются зубами мудрости, что учат нас не замечать зла, если оно неодолимо. Прочими же зубами природа, насколько она вообще на это способна, меня не обидела.

Но однажды... В зубе мудрости открылась червоточинка, да и с восьмого до седьмого дотянулась. Что, опять эта треклятая мудрость?.. Да ну ее к ...! Что ж, ну так ну, так и запишем: от лечения восьмого отказывается, а седьмой мы в мановение ока, не извольте беспокоиться, вась-сиясь!

Прикосновение холодного металла к теплomu телу — это и есть прикосновение реальности: она может, как мартышка на ундервуде, отстукать что-нибудь антилогическое-онкологическое в вашем генетическом коде, а может и по-простому, по-рабочему, поплевавши на руки, взяться за пилу, долото, фрезу... в моем зубе разверзлась шершавая костяная котловина размером в узбекский казан для семейного плова, по которой кругами, выходящими за пределы моей головы, загуляла фреза, заполнившая вселенную чудовищным скрежетом, клубами костяной пыли и вонью паленой расчески.

В ту пору я еще исполнял солдатский долг, повелевающий хватать за задницу любое подвернувшееся удовольствие. Вечером во время «любовного свидания» я никак не мог избавиться от нетвердости в членах, как ни старался взбодрить себя при помощи развратнейших картин в псевдоноровском вкусе: реальность пасовала перед дымящимся костяной пылью и гарью котлом, на дне которого все перекатывалась и перекатывалась моя голова.

Я не мог понять одного: мама время от времени ходит «к зубному» — уходит, возвращается, копошится, гремит кастрюлями — и почти никогда ничего не рассказывает. При этом она даже в кино боится высоты, опасается всех стихий от моря до тумана, зажимает уши, когда я поддразниваю ее какой-нибудь страшной байкой из арсенала дворовых домохозяек... Я, чувствуя себя непоправимо испорченным, унизился до того, что раззявил перед нею рот. За пределами скафандра это оказалась крошечная точка, с болюшный глазок.

А жизнь шла, каждый делал свое дело, и однажды мой язык в тайном закутке, доступном лишь внутренним врагам, на месте зуба обнаружил револьверное дуло, нацелившееся вниз из левого глаза. Не знаю, сколько лет мой язык продолжал ежеминутно инспектировать недоступную глубину, причмокивая при освобождении из ее костяных объятий, покуда не явился на арену новый сюрприз суверенных органов: попытки кусаться чиненым седьмым зубом (номер выяснился лишь после мучительного расследования) отзывались совершенно невозможной и до садизма затягивающейся болью (собака рванет и отпустит, а рак вцепится и держит, пока не возмутишься наконец: да хватит же, я давно все понял!).

Снова ледяная реальность, револьвером в упор прижатая к щеке: прекрасное — это часть ужасного, которую мы успеваем согреть своим телом, одеть в свои фантазии, перевести из предметов в знаки. На совлекающем

покровы рентгеновском негативчике сияет ломтик правды — оскаленные зубы черепа; там же небольшая светящаяся туманность — зуб, прорезанный трассирующей пулей.

Канал. Пульпит. Но я уже не тот, что прежде: не успел скрежет кости заполнить вселенную, не успела визжащая фреза очертить трех дымящихся кругов ворона над падалью, как я ухватил миленькую сверловщицу за лапку и, находясь в здравом уме и твердой памяти, поклялся всем святым, что скорее умру, чем еще раз по доброй воле отдамся правде о том, что это Я способен так скрежетать и дымиться. По-моему, даже фрезеровщица что-то поняла: она не насмешничала.

И мама уже не кричала: «Ты ведешь себя просто позорно!» — она, как ей свойственно, сразу перешла к делу. Ее медицинская подруга, с которой у меня «ничего не было», а стало быть, не было и причин утратить нежность друг к другу, тоже отнеслась вполне сочувственно, и я был доставлен в сверлильно-клепальную мастерскую, где чинили, предварительно усыпив хозрасчетом.

Это был тихий цех. Сонно жужжало веретено: притулившись к подлокотнику станка, крепко спала девушка с желтым лицом и до отказа разинутым ртом, под мышки выводили сомнамбулу. Металл отовсюду, желтый свет в лицо, замусоленный кляп в половине рта, я прост (вижу только близкое), а потому спокоен. Резиновый жгут под бицепсом, «поработайте кулачком», приятная, отвлекающая от более глубокой правды боль во вздувшейся вене. Я гляжу в никакое небо сквозь фигурную решетку — прозрачную спину черепахи, мне как-то горячо, хочется прикрыть глаза. Желтое пространство наливается красным, прорастает длинными огненными волокнами, это громадный, сложенный вдвое шмат огненного мяса. Он растягивается в бесконечный стадион, на который я гляжу с такой огромной высоты, что ряды стекаются в переливающиеся огненные нити: невидимые зрители размахивают крошечными факельчиками, а я медленно плыву вдоль одного из рядов в автомоби... но нет, я уже огненная капля, текущая в огненной струе...

Черное небо сквозь прозрачную черепаху, распорка во рту, где-то далеко внутри жужжит веретено, у меня возникают пальцы, потом подмышки (за них меня держат), ног еще нет, но что-то внизу перекидывается через порог, клеенка, усатый сицилийский мафиози на встречной кушетке, он безостановочно ворочается, уставясь в меня мутным взором наемного убийцы, его закрывает огромное лицо маминой подруги, она целует меня с бесконечной нежностью, и я с такой же бесконечной благодарностью глажу ее по руке. Я уже хочу уйти из этого полумертвого царства, но я еще не весь возник, у меня еще «глазки совсем сонные».

Вечером я квашней растекаюсь по дивану. Глупый язык все никак не может поверить, что в его интимном уголке, доступном лишь внутреннему врагу, возникла скользкая пустота, — но я-то не так прост: что тут особенного — вырвали зуб или ногу, глаз или печенку, — ужасно другое: в самом страшном сне ты — это все-таки ты, но оказывается, *ты можешь превратиться в каплю* — даже твой «внутренний мир» тебе не принадлежит. *В тебе совсем нет ничего твоего.* Но не может же кто-то и впрямь так надругаться над нами?!

Надо терпеть, никакого другого выхода нет, убитым, но ставшим за слон голосом сказала мама, займись чем-нибудь, завтра тебе будет легче. И поспешила прочь от зачумленного греметь крышками и визжать по дюралевой гари панцирной сеточкой, заслоняясь мелким и посильным от беспредельного и неодолимого.

В ванной я долго смотрелся в зеркало, никак не в силах поверить, чтобы это могло быть так просто: мое лицо. Бесконечно сложное, уникальнейшее и драгоценнейшее «я» — и рядовое изделие из магазина «Маски». Не может же быть, чтобы *это* и в самом деле было *мною*?

Бреясь лезвием «Нева», я всегда истекаю кровью, но это одно баловство: когда надо, им цыпленка не нарежешь.

В ужасе, что теперь от меня потребуют объяснений, с чего это я вдруг остался жив, я изрезал все пальцы, но не добыл ничего стоящего, если не считать мелко клубящегося сала. Растягивая разрезы, я видел алые глазки сосудов, но крови даже под струей размывалось как с прополаскиваемой мясорубки: чтобы накапало для мало-мальски строгой отчетности, мне пришлось бы взять отпуск. Помню, в суетливой резне совершенно серьезно стукнуло в голову: а что, если я и вправду бессмертный?..

Хотите посмотреть на мозгляка, который пытался покончить с собой из-за пары худо эмалированных костяшек? Он перед вами. Я испытал такой стыд, что больше никогда ничего подобного не повторю. Потому что, если опять ничего не выйдет, придется уже стреляться от позора — а значит, я лишусь единственного, что может хоть сколько-нибудь примирить со смертью, — ее добровольности, ее подвластности человеческой воле.

Ну и раз уж пошло о самом стыдном, я согрешил не только со смертью, но и с изящной словесностью: романтику да не подцепить графомании! Я пытался создавать словесные аккорды-диссонансы, калейдоскопы из осколков бытия: как прекрасен мир! как ужасен! мерзок! божественен! Я успел обрести кое-каких поклонников среди эстетов — и ненавистников среди редакционных идеологических сторожей, но погиб я, попавши в лапы борцов за Правду: я поверил, что нужно писать правду о деформациях фабрично-колхозного строя, о тяготах простого человека, и в конце концов написал что-то настолько правдивое, что меня до сих пор корчит от стыда (у искусства есть два врага: первый — Ложь, второй — Правда).

А вот на «осколки» рука почему-то не поднимается. Сами-то они — лишь бы только кто-нибудь когда-нибудь на них не наткнулся: я ведь и не заметил, что пою в хоре неповторимостей: «Смотрите, какой я невероятно чувствительный!» — в хоре маменькиных сынков, ужаснувшихся, что больше никто просто так обожать их не будет. Жалко мне лишь подпочвенного душевного толчка, а плоды — они всегда убоги: значительность человека определяется размерами катастрофы при попытке пройти сквозь материю.

Я сразу подобрался, когда мне позвонил однокурсник Петя Пилипко, перекинувшийся из физиков в психологи. Поскольку ко мне всегда тянулись несамодостаточные личности, мне предлагалось возглавить волонтерскую службу помощи потенциальным самоубийцам. Выяснилось, что я довольно крутой деляга, когда стараюсь не для себя: я сплел целую сеть симпатий, благодаря которой в полчаса мог достать билет или путевку, устроить медицинскую консультацию или юридическую справку, подыскать собеседника или внимательного спутника по кругам канцелярского ада. Немало народу я проводил на тот свет и обратно и убедился, что несамодостаточные убивают себя, а самодостаточные — других. Но причины причин любого самоубийства всегда уходили в глубь времен — за дерзновенных предков расплачивались потомки: я столько раз видел, как Свобода в минуту раскатывает по бревнышку то, что веками возводил Долг, — ведь нас стесняют и стены собственного дома, ибо сквозь них невозможно выйти когда вздумается: нас укрепляет и защищает именно то, что нас же угнетает и теснит.

Я видел, как люди проваливались в полыньи из-за того, что век назад какой-то великий гуманист указал им более удобную тропинку к счастью: самоубийства — плата за обновления. Почему же я в конце концов оставил барахтаться без помощи своих товарищей по несчастью? Потому что они не были товарищами по мятежу: никто из них не восставал против

материи — они всего лишь хотели бежать из невыносимых ее обстоятельств, только и всего. А тот парень, чьи руки выскользнули у меня из пальцев, — после него я лишь «профессионализировался», понял, что дружба дружбой, а скафандры врозь, я не могу вешаться с каждым своим пациентом.

Служение, сделавшееся просто службой, я оборвал, заметив, что обрел отвратительную повадку всеведущего снисходительного гуру.

Петя Пилипко пытался спасти меня для психотерапии, перебросив на сексуальное насилие. Жертвами насилия занимался ослепительный Олег Солнцев — прекрасный, как Аполлон в очках, отпустивший роскошную бровную бороду, — одна только внешность его могла вновь примирить с мужчинами. Он был умный фантазер вроде меня, только витал по земле, что не в пример полезнее, но и опаснее тоже. Олег взбодрил вечерний семинарчик «Тайны секса для начинающих», где растолковал нам, что изнасилование разрушает базовые ценности — чувство защищенности, доверие к людям и тому подобные спасительные иллюзии.

— Но ведь и хулиганство уничтожает чувство защищенности, и мощенничество уничтожает доверие — в чем специфика изнасилования?

Олег задумался (это он умел), но тут в меня выпустила когти черная феминистка — из их новоявленного стана Олег наберновал стайку амазонок от двадцати до семидесяти, от губошлепистых до бритвенногубых: одни (простодушные) желали помочь обиженным, другие (целеустремленные) помочь себе или отомстить обидчикам. Отрядик возглавляли две вожди... хи? цы? — одна из белой, светской, другая из черной, аскетической, ветви ордена.

— Вот он, маскулинистский цинизм! — готовой вот-вот лопнуть струной прозвенела черная (довольно хорошенькая, седеющий спортивный тип с приподнятым носиком и поникшей грудью). — Как только язык может повернуться — сравнивать избиение и изнасилование! А если бы вам выкололи глаза?!

«Это не ответ на мой вопрос», — промолчал я, потому что она хотела бить, а не узнавать.

Это и был семинар по-феминистически: задавать вопросы запрещалось, ибо это оскорбляло память падших. Как дворянину не понять плебея, буржую рабочего, еврею русского, неверующему верующего, так мужчине никогда не понять женщину. Живут исключительно мужчины — вечно веселые, неизменно здоровые, с ликующим ржаньем галопируют они по жизни, не замечая детей и забот, переваленных ими на женщин. Умрет ребенок — мужчина лишь слегка огорчится, — это говорилось на полном серьезе. И секс для мужчины удовольствие, а для женщины — еще один гнет.

— Удовольствие? Да это страшный долг! Кто-нибудь когда-нибудь повесился из-за пирожных?

— Суицидов среди мужчин в три-четыре раза больше. — Олег умел умирять непокорных отрешенным взбросом бороды и чином профессионала — умом тут было не взять.

— Распушенность! — Она прожигала меня взглядом. — А у женщин есть ответственность за детей!

— Но попыток у женщин в несколько раз больше...

— Я вижу, вас это радует?

Знать она уже все знала, ее интересовало одно — за женщин ты или против. Все «измы» стряпаются по одному рецепту: пустить простоту в огород. Распихиваешь людей на два стада по любому тавру — можно взглянуть на мозоли, можно в анкету, можно в штаны — и все, в чем разделенные сотрудничают, отбрасываешь: неполное понимание обратится в полное непонимание, неполная дружба — в полную вражду. Важно не избегнуть изнасилования — важно казнить насильника!

Тоска накатывала мертвая: неужто самое мерзкое, что только есть в жизни — борьба, заливает уже и ту последнюю норку, где что-то еще отпускается по любви?..

Правда, с белой феминисткой у нас выстроился некий флирт взаимоуважений. К мужчинам она вообще относилась прекрасно, меняя мужей безо всякой классовой ненависти. Умная (бойкая), смелостью, щедрой улыбкой, прикидом от голливудских зубов до адидасовских кроссовок она была вылитая американка. У нее у первой я увидел ручной компьютер в плоском чемоданчике — дар заокеанских сестер. Это была сказочная профессия — курсируя по ленинским местам из Стокгольма в Цюрих, стараться всколыхнуть последние заводы, где люди как-то сумели притереться к тому безобразию, которым всегда была, есть и будет жизнь как она есть. Из откинутой крышки чемоданчика, куда обитательницы рабочих общежитий клеят свои фотки плейбойз энд плейгерлз, белая феминистка читала нам перевод леденящей кровь американской книжки, отстаивающей независимость клитора от пениса. Превратив женщину в орудие наслаждения, мужчине понадобилось еще и окончательно доконать ее, внушив ей идеал целомудрия. Но теперь с проклятым рабством покончено! В 1953 году мастурбировали лишь 3% женщин, а теперь 98% (2% пока еще не определились). В 1953 году только 5% женщин рассматривали свои половые органы в зеркале, в то время как 92% старались поменьше о них размышлять. Теперь же 83% женщин регулярно любятся их отражением, 78% частенько их ощупывают (сорвалась фрейдистская описка — «ощипывают»), 71% исполнен по отношению к ним чувством гордости, 63% — восторга, а 59% — благоговения. А давно ли боролись всего только за равенство с животными, за право выставлять сиськи на волю — теперь шерстью, мясом и слизью положено еще и гордиться!

С другой стороны, престиж мужских половых органов неуклонно катился вниз: если в 1953 году обманутые, униженные женщины даже не смели о них судить в отрыве от их обладателя, то современную передовую американку они слишком часто разочаровывают — в отличие, например, от крана в ванной. Однако, если взяться за нее с умом, даже на этой флейте можно просвистать небогатенькую мелодийку. Наконец-то и за нас взялись как за неодушевленные предметы — «Поверни за левую сиську».

Прячась от этой жути, я принялся читать по казенным стенам дидактические плакаты (зальчик Олег выпросил у Электромеханического техникума): «Шпиндель 1 вводится в разъем 2 и поворотом рукоятки 3 приводится в рабочее состояние» — один в один стилистика передового пособия. Белая феминистка с готовностью покатила со смеху всеми своими шестьюдесятью голливудскими зубами, черная же буквально побелела:

— Почему вы думаете, что женщины могут писать только глупости?!

— Совсем я так не... Просто применять к челове...

— Еще бы — вы, мужчины, уж такие утонченные!

— Я согласен, я грубое животное, но бывает, я млею от одного только голоса по испорченному телефону, а иногда меня тискают, и только зло берет. А женщины, наверно, еще более...

— Это вы хотите их такими видеть! Сохранить их как безропотное орудие для хозяйственных и сексуальных услуг!..

Понимая, что превращаюсь в посмешище, я — головой в прорубь — публично поклялся на новом евангелии экс махина, что без женщин я готов обойтись и в хозяйстве (у меня бы и хозяйства не было), и в сексе (что у меня, рук нету!), но вот без их душевного эха, без света, который от них исходит...

Наконец-то я почувствовал, что могу с легкой душой хлопнуть дверью и уйти. Однако даже в черной мстительнице шевельнулось что-то человеческое:

— В институте мальчики меня тоже уважали. А потом их распределили в престижные ящики, а меня в открытую контору на девяносто рублей — только потому, что я была женщиной!

— Конечно, это ужасное свинство, — закудаhtал я, но створки уже хлопнулись. Зато остальной отрядик начал встречать меня улыбками, и пророчица бесперывно, на грани хамства, прохаживалась насчет моей неотразимости — не такая уж, мол, она неотразимая.

Ее чрезвычайно высокое мнение о собственном остроумии было далеко не самым несносным — я не выдерживаю ненависти. Я возвращался из техникума сексуальности настолько раздавленным, что мама, быстро подсекши резкое усиление вертикали в моих чертах, настрого запретила мне там появляться. Да и женщины, она считала, не нуждаются в помощи: «Мы все перемелем. Было бы ради кого». Бедная рабыня — иметь так много для любви и так мало для вражды!

2. ИСПЫТАНИЕ ПРОСТОТОЙ

Выжить можно лишь свернувшись в комочек, стянувшись в спору под защитной оболочкой пиджачной заурядности, чтобы протуберанцем не свистнула безграничность — бежать вина, любви, музыки: после первого же стакана я начинаю боготворить любой женский силуэт, у которого достанет терпения просидеть четверть часа в одинокой отрешенности от житейской грязи, после первого же небесного аккорда вдруг обжигают слезы в совсем уж неприличном обилии — а за ними такое отча... Когда я решил ни за что не высовываться из манекена, стало незачем и пить: вино — только знак, после которого ты все себе разрешаешь. А я никогда ничего себе не разрешаю. Лишь изредка задохнусь от внезапной нежности к случайному прохожему: «Половина шестого!»

Не шевелиться, не колыхать — а то ведь я докатывался и до психиатров, выдавливал на язык таблетки, оканчивающиеся на «пам»... А одна шемаханская царица в белом раскрыла плоский ящичек, в бархатных пазах которого покоились разнокалиберные никелированные молотки с подбитой нежной байкой ударной частью. «Повернитесь к свету, закройте глаза». Паммммм!.. «Ну что, легче? Принимайте три раза в день». Ослабить боль, утратив власть над собою? Я предпочел сохранить власть вместе с болью.

Мужская дружба — единственное прочное светило на асфальтовом небосклоне нашего Ремарка! Но половина материчка друзей юности откололась, когда нам всем было по тридцать (так много!). Я часто ездил к ним в ученый Обнинск, мы — по-прежнему в общаге, только «семейной», с санузлом — пили как звери, с Юркой Сорокиным, зачем-то отпустившим котлетки бакенбард, скандировали «По рыбам, по звездам...», в четыре глотки (жены улыбочиво помалкивали, а Юркина красавица — даже загадочно) изливались, что все оказалось не то — и физика, и жизнь. Я тоже изливался, но еще не верил — просто притязания должны быть безмерными. Потом до меня докатился посмеивающийся слух, что Ерофеич, самый бытовой из нас, *живет* с Юркиной красавицей. А еще чуть спустя я узнал, что Юрка повесился. После обычной пьянки поругался с женой, заперся в санузле и повесился. Клянусь, я никого не обвиняю — но больше никого оттуда видеть не могу.

Я ведь фон-барон, я едва удерживаюсь от стога, когда любящие люди перебивают друг друга, — что ж вы не надеваете друг дружке на физиономии тарелки с салатом? И мама ведь тоже... Как-то я решил дать ей урок: азартный ее рассказ прерывал посторонними вопросами, отвлекался и не переспрашивал, гремел тазами в ванной — но моя изобретательность иссякла прежде, чем сколько-нибудь поколебалась ее готовность продолжать с прерванного места.

Да господи — все плотское требует потупить взор: мне неловко даже мысленно произнести свое имя; имя мамы я тоже выговариваю с трудом — так оно неточно и фальшиво. Маминому же халату, немым укором обвисшему над ванной, мне вообще невозможно посмотреть в глаза. А то еще бритвой полоснут потерянные крошки в седенькой бородке отца, когда я раз в полгода навещаю отчий дом, — и в крошках этих правда, а в бородке — ложь: эта серебряная шерстка — эмблема аристократов духа, совсем было повернувших Россию к гуманности и демократии, и если бы не политические фанатики и разнуздавшиеся дикари...

Но ведь, берясь за руль, надо знать, что наш мир — это мир простых людей, то есть дикарей и фанатиков, и вообще Хаос не тетка... На Троицу вся Механка на грузовиках валила на Коровье озеро, и один сообразительный шоферишка решил проехать покорооче, — помню вопли, березовые ваги, «Раз, два — взяли!» — а он, держась за оскальпированную голову, сидел у перевернутой машины и повторял: «Во, бля, срезал, во, бля, срезал...» Ну хоть бы один возвышенный ум, просвещенный ум схватился за голову!..

В своей разящей беспомощности отец, как все благородные люди, был неуязвим для правды, а мать, чтобы я не расстраивался, опрокидывала мне на голову фарфоровый жбанчик (чужой, не из детства) малинового варенья.

— Никогда не надо анализировать людей, — как-то по возвращении обронила мама. — Анализа не выдержит никто.

— И... ты давно это знаешь?..

— Кто же этого не знает! Без жалости людей выносить невозможно.

Нет, нам, спорам, не по плечу ненавидеть грех и безмятежно любить грешника, да еще вблизи! Вы замечали, как бросаются друг к другу бывшие одноклассники? Я хлопал по бескостным и твердым, как детские лопатки, ладоням директора ресторана, инструктора райкома, алкоголика, убийцу: мы так и остались — Витька, Санька, Блин, Длинный, Шкет, — зато бабы оказались ужасно настоящие — не хуже наших бывших мамаш! Когда Верка Рюхина, — бойкая девчонка и разбитная бабенка — все-таки не одно и то же, — на каждого набрасывалась с вопросом: «Сколько получаешь?» — я лишь отчески улыбался. Внезапно она высветила меня: «А мы все думали, что из тебя черт-те что получится!..» Я даже не успел смутиться, как тихая Соня Сорокина очень спокойно и мелодично разъяснила: «Из него все, что нужно, получилось, когда он только на свет родился». Изображая (слишком похоже) полупьяную откровенность, Верка воззрилась на нее и вынесла неодобренный вердикт: «Ты, Сорокина, мне всегда на внешность нравилась!» Вдовья фамилия Юркиной жены... Я напрягся и впервые взглянул на Соню повнимательнее.

Передо мной сидела красавица. На прежнем смутном отпечатке смутлело что-то миленькое, но чрезвычайно тихое, поникшее — дика, печальна, молчалива, — а мне в ту пору нравились... дальние странствия, великие открытия, ослепительные победы, грандиозные поражения — в этом чаду с меня было более чем довольно той Прекрасной Дамы, к ногам которой я слагал завоеванные сокровища, которая, завернувшись в синий плащ, следовала за мной в изгнание. С опережением перепорхнув в университет, я с опозданием прослышал, что Сорокина получила золотую медаль, — а я и не замечал, что она такая уж круглая отличница, это я блистал и знанием, и незнанием.

Умненькие девочки никогда не оставались ко мне равнодушными, но она впоследствии отрицала эту очевидность: «Я не люблю суперменов. Вечно всех восхищать, никем не восхищаться...» Почему же тогда, сталкиваясь со мной, она не поднимала глаз с особой тщательностью? Зато в первый взрослый вечер глаза ее, чуточку, оказывается персидские, двигались с полной непринужденностью, но так упорно избегали моего взгляда,

что я заподозрил в этом урок. Как прежде, изнывал «Маленький цветок», и меня слегка покорило, что некоторые, танцуя, обжимаются как неродные. Я пригласил Соню со всей возможной церемонностью — и не удержался (не очень-то и хотелось) от простодушного: «Какая ты тоненькая!..» Когда радиолка смолкла, она школьническим и одновременно женственно-властным движением повела меня за руку к длиннейшим, припавшим к полу гимнастическим скамьям.

Как истинный мужчина-лоцман определяет судорожность русла по глубине погружения руки в незримое, так я первым делом исследовал допустимую глубину откровенности: жизнь, мол, нельзя мерить ее итогами, что из кого «получилось», из всех в конце концов получается... На всякий случай я говорил с улыбкой, но она ответила с полной простотой: «Я всегда знала, что тебе нужен какой-то собственный путь». И я решил отпустить лот на полную глубину (ворот заметался в пазах): меня преследует невозможное сочетание ничтожности жизни и одновременно ее кошмарности, временами на меня наваливается...

Я говорил, однако, прежним легким тоном, но она — умница — его не приняла:

— Наверно, ты слишком много работаешь.

Это была та самая ненавистная манера — движения человеческой души выводить из тупых «обстоятельств», но ее голос, глаза — музыка и свет — говорили другое: они говорили, что я слишком хорош для этого мира.

Готовый ответно пред всем склониться, я узнал, что она после столичного вуза работает в Химграде (богиня в такой дыре!..) главным специалистом в проектно-институте Проммясо (гм...), что она больше не Сорокина, а Ершова, хотя с Ершовым давно в разводе (я благоговейно потупился), что сын ее в душе очень хороший, только вечно утопает в авантюрах... Кажется, единственное существо, которое ее любит, — это собака.

Она была такой светлой, грустной, радостной, независимой, послушной, наивной, мудрой, что... Но тут меня утащили к новым стаканам — я был нарасхват, — а когда под утро начали расходиться, я снова не сумел поймать ее взгляд, хоть и глядел нельзя прилежней. Но и следов Татьяны прежней в законодательнице зал...

Впрочем, мне и в голову не приходило, что одно из бесчисленных далеких солнц начало свое испепеляющее приближение.

«...с очень светлым чувством (банальность — рок всех искренних эпитетов)... Чтобы ты знала, что о тебе помнят не только четвероногие...»

«...несколько дней мне живется теплее после твоего... Когда я увидела его в почтовом ящике, я сразу подумала о тебе. Но это ничего не...»

Но пытка не тетка: в те годы всякое прикосновение Хаоса — непредвиденных обстоятельств — наводило на меня такой черный ужас, что на борьбу с одними только наружными выбросами — подкашивающиеся ноги, подпрыгивающее сердце, перехваченное горло, помертвевшие руки, обвисшее лицо — уходили все мои душевные силы. Она позвонила, когда я не ждал, — и сделалась *принудительным обстоятельством*: хотя все положенное меню, — Эрмитаж, тронутый морозцем Медный всадник — далее везде, — я сервировал недурно, натянутость (знала бы она, что ее развлекает приговоренный к казни!) от нее не укрылась. «И чего приехала?..» — стучалось в мое сердце. В разрезе ее глаз, в небольших резных скулах, в отливке темных волос было что-то от Таиланда или Гонконга. Но ярко высветленные зеленые глазищи придавали ей что-то нездешнее.

Я понимал, что все испортил, но мне случалось портить и не такое. Через год по междугородному я поздравил ее с Международным женским, еще через год — с Новым годом, и лет через десять — двенадцать в ее голосе снова зазвучала музыка. Среди моих ржавых топей она сделалась еще

одной светлой полянкой, где моя мысль могла передохнуть — только недолго, чтоб под изумрудной травкой снова не задышала хлипкая глуть.

Но оказалось, что коготок все-таки увяз.

Однажды палач забыл обо мне, и моя душа целых три дня вкушала блаженство скуки и наконец обнаглела. В двухэтажном цилиндре институтской «Вятки», оплетенной семейством удавов теплообменника, мне вдруг открылся комнатный миражик Химграда: Химград — это была *она, она, она, она, она...* Маета требовала прорыва наружу, и однажды я вдруг воровато припал губами к теплой стальной анаконде — и на миг отпустило. Но долго было не поднять глаз: не выходки своей я стыдился — мне казалось, что я оскорбил ее. Это было насилие!

Едва заметно встряхнуло на стыках Брежнев — Андропов — Черненко. В вечном круговороте простот каждая очередная фигура карусели является на свет облагороженная бледностью ростка, отсидевшего во тьме, — и вот возвышенные просвещенные умы вновь берутся направлять рост квашни, меняя форму кастрюли. Я тоже выбрал неизвестность с добрыми намерениями: аплодировал на митингах, разносил агитлистки за кандидатов партии Правды.

Когда в стиральную машину «Вятка-104» стало нечего закладывать, а холодильник «Минск-62» пришлось отключить ввиду нехватки запчастей из Белоруссии, когда урезанные полковники перестали кормить нас договорами, а дирекция выдала впрок бумажные полоски, предупреждающие об увольнении, — я впервые за десятки лет почувствовал гордость: наконец-то передо мной оказался значительный противник — *переломный миг истории*. И значительные соратники, смело шагнувшие ему навстречу. В километровых завьюженных очередях я притопывал валенками и хлопал рукавицами с невозмутимостью крестьянина, проехавшего на санях семьсот верст, чтобы взглянуть на усопшего Ильича. Перед нагой витриной я чувствовал некое эстетическое удовлетворение — вот что значит по-настоящему «ничего нет». Но мы покажем, с каким презрением нужно смотреть в сонные глазки тупой материи! Плевать — пойду хоть в грузчики, бицепсы у меня еще вполне. Правда, с моими обмираниями и сердечными переплясами... начхать, подтянемся, начинаю вечерние пробежки! Вот только левая пятка очень долго не проходит, мне-то, конечно, начхать, но какой из тебя грузчик, если на каждом шагу прикусываешь охи! Может, там трещина? Нет, пяточная кость (аппетитно) дробится только на мелкие осколки, а это называется бурсит, попробуйте припарку.

Хрен вам, проклятые хрящи, я и без пяток как новый Мересьев — было бы во имя чего! Однако и «во имя» незаметными неумолимыми муравьями растащили благородные люди — неясное ворчание понемногу слилось в стройный хор: нас обманули.

Провозглашая «каждому по выручке», благородные люди имели, оказывается, в виду: «каждому по благородству». Похоже, я один повторял: я пожинаю плоды собственных усилий — и не жалею об этом! Пока ты не начал обвинять других, ты хозяин своей судьбы, а не игрушка Хаоса. Но благородные мошенники овладевали все новыми и новыми теноровыми партиями, и уже просто неприлично стало не голосить, что мы и хотели другого (как будто бывает *другое!*), и вожди-то не те (как будто бывают *те!*), и реформы-то надо проводить не за счет народа (как будто хоть что-то можно сделать за счет еще кого-то!)... Становилось ясно, что мы не отряд храбрецов, шагнувших навстречу неизвестности, а нашкодившие дети, норовящие увильнуть от расплаты.

Оказалось, как всегда, — ничто ничего не означает: отрежут ногу — это не наказание, не предупреждение, не испытание, а просто будешь жить без ноги. «Он не может обеспечить семью!..» Мама как-то незаметно, вечерами окончила бухгалтерские курсы, начала обсчитывать какую-то торговлишку не то пивом, не то молибденом — «Он сидит на шее у жены!..». Я старался не есть мясо, сметану, творог, хотя деньги изредка

дозволяли. Кое-кто из наших двинул в учителя, но — принудительно общаться с людьми, четверо которых из пяти *простые*...

За половинкой зарплаты я, конечно, прихрамывал, одолевая хромотой тоску, а поддельной рассеянностью — сердечные коленца. Ничтожно и невыносимо, невыносимо и ничтожно... И только у колец оледенелой анаконды безжалостный кулак в груди на минутку разминал пальцы, и я начинал слышать веселый плотницкий перестук: арендовавшая научную площадь артель сколачивала ларьки-теремки. Я был всего лишь человек, когда возжелал обнять выдумку, умыться радугой, пообедать симфонией...

В тот вечер я подорвался на вульгарной водке: по обязанности зашел в гости, по обязанности выпил, полюбезничал — и магма всколыхнулась. Нет, поминутно видеть вас, желать обнять у вас колени — этого я не привирал даже в помрачении, — я писал лишь о неотступности ее образа: даже изредка встречающиеся кольца колбасы говорят мне не о еде, а о Химграде — то есть о тебе, о тебе, о тебе... Но когда через неделю или через год от ее голоса подкосились ноги, я не стал им противиться — плюхнулся на пол вместе с трубкой.

— Я получила твое письмо. — Виолончель звучала строго, но мило-стиво.

— Я не знаю, что сказать, — наконец ответил я хрипло и отрывисто, как хулиган на допросе у завуча.

— Я понимаю. — Скромное торжество деликатного гобоя.

Альт, кларнет, валторна — к счастью, я знаю лишь волшебное звучание их имен, и в этом оркестре мне принадлежала партия проколотого барабана. Сердце влипало в горло, как заедающий клапан из теннисного шарика. Но когда я оказался у окна даже пяток под собой не чуя, то есть чуя лишь себя, я увидел вложенную чемоданную бесконечность корпусов такой манящей, словно это был песчаный мыс, за которым открывался другой мыс, за ним третий, четвертый, тысяча тридцать четвертый покров счастья...

Через час я снова ей позвонил — тема повиливающего соучастничества: что, мол, подельваешь? «Обед готовлю», — юмористическая нотка проголодавшегося божества, начинающего нежиться в струях моего обожания. Наконец-то мусорный бак будничных реалий обратился в сокровищницу знаков какой-то упоительной несказанности.

— Ты что, очень много зарабатываешь? — Партия ласковой взрослой тети.

— Да нет, наоборот. Но лучше я лишний раз не пообедаю. — Мальчишество умного мужчины — знак весьма восклицательный.

— Подожди, я сама тебе перезвоню.

— Ты что, очень много зарабатываешь?

— Пока хватает. Из Промыса меня сократили, теперь мотаюсь в Польшу. «Как», «как»... вожу товары. А что там уметь — стоишь держись. — Она отбивала с какой-то забубенной бойкостью. — О, оказалось, я еще и не на такое способна!

Она способна даже возить шопников: покупается ваучер, билеты — столько-то тысяч рублей, столько-то долларов... Меня поразил не гром тысяч, а абортивная кособокость фарцовщицких «долларов» из виолончельных уст богини.

— Скажи, а какое право ты имел мне писать?!

— Н-ну... Свобода слова... Гласность...

— Так и писал бы в газету! Меня-то зачем трогать?!

— Я только обонял твое обаяние...

— Обоняй сколько влезет — мне-то зачем сообщать?!

— Я не по... Чем тебе это может повредить?..

— А тем, что я сегодня всю ночь не спала!

— Извини, я не... Но вообще-то у нас вся смерть впереди — отоспимся...

— Я теперь совсем другая! Теперь мне ничего не стоит с человеком порвать! С Изабеллой я недавно расплевалась — и все! — Голова неведомой Изабеллы в поучение мне была встряхнута за слипшиеся испанские волосы.

— Уважаю... Но я никак не... Я думал, тебе будет...

— Ты мне доставил ма-ассу положительных эмоций... — Сквозь грохот бронепоезда наконец-то снова послышалось воркование. — Но я же психодиночка, я и в поездах никогда не сплю...

— Да-а?! Я тоже !.. — Ура, у нас так много общего!

Уфф... По ее стремительной обеспокоенности моим сном я понял, что она тоже ждала боковой стрелки. Но прогремевший под ногами полированный чугун оставил несколько нечистых заноз — «расплевалась», «совсем другая»... «Не на такое способна»... Неужели и...

Время — лучший палач: простой кучерский кнут — и через годик-другой-десятый минутка палаческого перекура будет грезиться тебе безмернее вечности.

— Мне кажется, прижаться к твоему плечу — и больше ничего-ничего не надо...

— Но я же старая, — подставляет новый бочок.

— Я вообще хотел бы, чтобы ты была старушкой с палочкой — чтобы точно никому, кроме меня, была не нужна.

— Красиво говоришь, — упоительная ирония. А ведь «ничего не надо» — это просто-напросто страшная правда. — А вдруг я приеду?

— Конечно, это было бы... Но я сейчас не могу взять расходы...

— Какие расходы — три бутылки шампанского!

— Я давно не пью шампанского. Я же не рискую.

Когда она коснулась моего плеча, я обернулся как на ожог и, ослепленный ее сверкающим обликом, стиснул, чтобы только не сломать, и все никак не мог остановиться, словно не верил, что действительно держу ее.

— Что рассматриваешь? — Она сияла и переливалась, как пруд под солнцем. — Палочку ищешь? Знаешь, бывают такие старушки — маленькие, сухонькие?..

Потом я видел у нее эти шмотки. Конечно, только в шкафу у богини можно наткнуться на свернутую радугу, но — это были всего лишь вещи, даже серьги, напоминающие поставленные на макушку изогнувшиеся индийские пагоды, — а тогда в аэропорту они были дивными и грозными знаками ее надмирности и одновременно прикосновенности к какому-то чуждому и страшному миру, где торгуют и пьют шампанское. Чтобы она не запросилась куда-нибудь в кафе, я стащил для нее из холодильника два бутерброда с корейкой, а на кофе из бачка у меня хватало. Но даже умирая под забором, я отшатнусь от любой партии, в имени которой рычит, бычится и подбоченивается что-нибудь «рабочее» или дудит «трудовое», — не пойду спасаться от одной простоты к другой, намывливающейся загрести по праву то, что ей причитается лишь по закону милосердия.

Ведь я ночевал дома, значит, видел своих, но в моем скафандре остались только я и она (смешение чистот и есть грязь, чистота есть простота?). Мир, как в былые времена, слепил глаза, а звучал так освобожденно, словно я только что вытряхнул воду из ушей. Но плеск волн и визг тормозов, небывало самоварные колонны Зимнего и хладеющие пески Озерков («по вечерам, над ресторанами...»), закутавшись в багрец и золото нашего бабьего лета, скатались в какой-то исполинский солнечный апельсин, усеянный проглядывающими из золотой толщи склеротическими россыпями рябиновой и кленовой крови. Напрягаюсь изо всех сил — но тщетно: ну не было у меня пятков! И бережный поцелуй в меркнушем Летнем саду,

зеленый свет ее глазищ (цвет спелых виноградин), ее проникновенное «Спасибо за праздник» (скрипка, флейта, виолончель!) были бы идеальным завершающим аккордом. Но... улицы становились все темней и туже, лиловость и беззубость рож сгущались с каждым шагом — и все же это было Елисейские поля среди ее густеющего повествования: баранок, рэкет, таможи, шмон, высадки с вещами, взятки. «Запираешься с ним в купе...» — я мечтал об одном: дотащить ее до кухни, прежде чем кто-то ее *употребит*.

Но в завершающем кошачьем заповедничке имени Раскольниковова, у окошка выломанного электрощитка, где были выставлены две бутылки отделившейся от нас «Алазанской долины» (приемщика посуды замуровали), она вдруг с силой потянула меня назад, в облупленность просторную. Закапал дождь, она непримиримо выдернула из пугающе элегантной сумки черный плащ, тщательно изжеванный заморским теленком, и, колыхая сложенными черными крыльями, продолжала влачить меня по осыпающемуся брошенному городу. Дождь превратился в ливень, мои лопнувшие кроссовки алчно чавкали всеми десятью беззубыми пастями, но пощада не шла.

Среди асфальтовой детской площадки мы сидели на зыблущейся подвесной скамейке, а ливень молотил по пластиковой стиральной доске над нашими головами. Поцелуй меня, приказала она с ненавистью, и ее мерцающее лицо было прекраснее и безжалостнее, чем лик забабахинской овчарки. Дожлыми улитками губ я промусолил всю ее шею Нефертити, прежде чем отказался поганить последнюю, еще пульсирующую тайну. Сердечный клапан влипал в глотку. Бесчувственными пальцами я выдавил в кармане третью валидолину, страхась, что она заметит или не заметит.

Как всегда при обнажении реальности, возникло чувство ирреальности: с ногами в воде, я заперт ливнем в неведомой трущобе с незнакомой женщиной, которая может добить меня одним движением языка. Я попробовал снова обнять ее мертвой рукой — как бы в рассеянности, будто это вовсе и не я.

— Тебе что, плохо? — Она заметила, как я, стараясь распрямиться при вдохе, раскачиваю скамейку: со мной уже была даже не сестра, а кошка, встревоженно мурлыкающая над подслеповатыми котятками.

Дождь уютно барабанил по крыше нашего домика, я грел ноги в тесных теплых ванночках, из последнего горящего окна на нас снисходительно поглядывала закутанная в платок повешенная старуха — кто-то очень удачно составил мешки на подоконнике.

— Почему ты так безответственно относишься к своему организму?..

— Потому что я его ненавижу. У меня от него один стыд и позор.

— Это все из-за меня!.. Я как представила, что ты сейчас отправишься к жене под бочок...

У замурованного приема стеклотары она чмокнула меня в губы, будто в лобик.

Но следующим утром она уже ждала меня у витринки с «Алазанскими долинами» тоже невыспавшаяся (не торчат же ей одной в пустой квартире!) и хмурая. Лишенная каблуков, в джинсиках, она гляделась почти кнопкой. Из оперения жар-птицы остался только внезапный огненный отлив петушиной шеи в ее рекламно струящихся волосах.

— Ты вроде была брюнетка?

— Это парик. Шучу. Краски переложила. Я же седая вся. И правда скоро буду старушка — дождался...

Транспорт по случаю перманентной революции был отменен. Тщетно стараясь проморгаться, мы брели (проклятая пятка!) сквозь песчаные бури Мыловаренной, Дегтярной, Моисеенко, и я уже подавлял безнадежное раздражение, когда она останавливалась вытряхнуть камешки из кроссовок совершенно кукольного размера.

Билетов не было. Я занимал очереди за пустотой, она, что-то разнухивая, потная и зачуханная, шныряла среди потного и зачуханного гулкого люда. Я чувствовал: еще немного — и неодетая реальность вяло дожует едва завязавшуюся почку наших общих воспоминаний и сплюнет кашицу в канализационные струи медленной Леты.

Строгой распрямляющей поэзией (проверенной, типовой) дохлали лишь колоннада Казанского собора, да кое-что излучала щербатая воронихинская ограда за спинкой нашей скамьи. Почти слыша, как шипит гасимый в плевке окурок, как, потягиваясь, похрустывает суставами мастер у меня за плечами, берясь за отложенный кнут, я лихорадочно нашарил бронбойный заряд чего-нибудь попоэтичнее. Трепетно касаясь ее резной мексиканской ручки, в порыве откровенности я признался, что возвышенность моих чувств не оставляет места низкому вожделению.

— Угу. Так. Угу. Так. — От этого зловещего перестука при внезапно оцепеневшем взгляде во мне дрогнула некая даже медицинская тревога. — А тебе бы понравилось, если я бы вышла замуж? — Зеленые морские льдинки ее расширившихся, с безуминкой глаз наконец обратились на достойную жертву. — Больно? А почему? Я бы тебя продолжала любить. Платонически. А мне, думаешь, не больно? Мне сегодня показалось сквозь сон, что ты меня обнимаешь... ты хоть замечаешь, что я не икона, а живая женщина?

— Не понимаю, чем плохо быть иконой?.. — Мой язык еще подергивался, как потерянный ящерицын хвост.

— А я не хочу висеть на стеночке! Я хочу быть любимой женщиной!

— Так ты и есть... Куда ж еще?..

— Куда? Куда ты меня не пускаешь!

— Я привел тебя в светлый зал, а тебе нужна кладовка?.. — лепетал потерянный язык. — Кухня, прачечная?..

— Да, да, да! Я нормальная женщина, я хочу *все!* А ты и знать не хочешь, чем я живу! Ты что, думаешь, я эти годы в гробу пролежала?

— Умоляю!.. Не рассказывай, с кем ты лежала!..

— Какой эгоизм!!! — С чего это взяли, что горгона Медуза обращала в камень безобразием, а не красотой?

— Хорошо, рассказывай. — Я склонил шею под милосердный топор.

— Ну скажи, ну зачем ты мне в другом городе? — горько допытывалась она, и уж мне ли было не знать, что «зачем?» — это не вопрос, а разговор. Но освобожденный от меня язык молот, как ни странно, не полный бред — только сам я не осмелился бы произнести этокое вслух: «Я наполнил твою жизнь смыслом и красотой», — я понимал одно: последний кирпич — и приемщик знаков будет окончательно замурован и мне придется звать к стенке.

Когда бывший мой язык рассказывал, как я резал вены после посещения сонного царства, я лишь хотел еще на минуточку затянуть перекур палача. Кажется, она ахнула и по-старушечьи всплеснула руками.

Бредом вдоль каналов Каменного острова, никак до конца не обращающих в простые каналы. Пятка то есть, то нет. Я изю всех сил стараюсь быть попроще, пытаюсь не приобнять ее, а приоблапить. Стрелка Елагина острова, тщетно тянущаяся к заливу. Тяжелые причальные кольца — каковы же те быки под гранитом, в чьи ноздри они продеты! Приплюснутые баржи, грубое железо, обмятое, как ком теста. Скамейка среди мозаичных кустиков с осыпающимися золотыми чешуйками. Я как бы в рассеянности поглаживаю ее небольшую, монгольскую грудь. В мое время что-то не помню в лифчиках этой скрытой арматуры.

— А какие женщины в твоём вкусе?

Игривость, множественное число, «вкус» — боже правый...

— Буфетчицы — пятый номер, лимонный начес, из прорехи под мышкой черная щетина — железный подбородок торговца хурмой с Кузнеч...

Отблеск неположенной зари заставил меня скосить глаз.

— Даже покраснела... — Новый прилив девственности. — А я читала, что мужчины после сорока тянутся к двадцатилетним.

Чтобы опрощаться дальше, следовало уже хрюкать.

— Зачем ты эти мерзости собираешь? — по-простому, по-хорошему спросил я и без всяких красивостей, как другу-психиатру, растолковал, что вкусы у меня есть только в кулинарии, а человеческое тело представляется мне лишь ужасно неловким средством выражения — это, скорее всего, результат психоза.

И — о чудо — со мною вновь была кошка-мама в сопровождении скрипичного трио! Какое счастье, что у меня психоз, а то у нее уже нет сил жить и притворяться среди здоровяков, Ершов никогда не мог ее понять...

Какое счастье, что мы оба нытики и меланхолики, только, пожалуйста, не надо нам сюда Ершова! На нежно-зеленом небе засветился тоненький месяц, удивительно совершенный, как краешек божественного ногтя. Что для нас источник света — лишь грязь под ногтями Всевышнего. Но долг до конца так и не рассосался — его облачко стояло в стороне, отбрасывая зноблящую тень. Потом я не раз говорил ей, что она все получила бы гораздо раньше и без всяких вывихов, если бы так открыто не тащила меня «в койку» (выражение одной ее утонченной подруги), — оказалось, что в неволе я не размножаюсь. Она яростно отрицала — она совсем другое имела в виду: «Почему это меня куда-то не пускают?» Дело, однако, думаю, было гораздо паскуднее. Затопляемая резко возросшей сексуальной культурой населения, свою чистоту она начала ощущать обойденностью: ведь туманное некогда слово «счастье», как теперь открыла передовая наука, вполне исчерпывается ведрами перенесенных оргазмов. Рыцарская почтительность, которую она внушала влюблявшимся в нее мужчинам, тоже виделась ей знаком ее ущербности — но мог ли я помыслить, что нынче и богини стыдятся человеческого в себе!

Под сверкающим грановитым навесом она вдруг заткнула рот невидимому злопахателю: «А мы все равно будем счастливы!» — и квадратный тамбур грубо утащил ее прочь, чертя опущенными черными ее крылами. Возле своего жилого секретера я впервые за столетие вскинул голову и над многослойной мозаикой зажженной фонарем кленовой листвы увидел упоительную темную бездну.

Я хромал, а пятки не было. «Просто сам идешь по улице и улыбаешься?..» — не верил столкнувшийся со мной приятель. Даже в вывертах Хаоса мне начала мерещиться некая «мудрость жизни» — открылось, например, что дочка, прогуливая университет, пролеживая в коме нахлынувшего со свободой попугайского глянца «фэнтези», тоже осуществляет священное право на прихоть. Ее университетский приятель Гоша, зыблущийся где-то в вышине, как грот нависая над тобой впалой грудью, тоже обрел во мне понимающего, то есть поддакивающего, собеседника. И впрямь кругом тоталитаризм: один раз выбираешь — и на всю жизнь: профессию, жену, страну. «Сколько же надо в себе ампутировать!» — изгибался он знаком вопроса — духом, вытекшим из сказочной бутылки. Одобряя хороших, старательных мальчиков, мама всегда с усилием продавливала пленку презрения. А дочка — та прямо заливалась столь редким для нее счастливым смехом, когда Гошу окончательно изгнали с моего дегенерировавшего физфака: мы все готовы рукоплескать героическому озорнику, который покажет язык осточертевшим гувернерам и боннам — долгу, порядку, дисциплине.

Когда мои девушки расходились спать, я расстилал на кухне старое пальто и укладывался грезить, пригасив звонок у телефона. Однако и жужжание подбрасывало меня, как электрошок инфарктника. Правое ухо постоянно побаливало — так я плющил его трубкой, чтобы лучше расслышать самую короткую симфонию нежности: «Привет», исполняемую един-

ственным в мире оркестриком на мелодию далекой кукушки. Еще, еще, еще, молил я еле слышно (сидя мне было бы так не заметить), и аранжированная Шубертом кукушка не скупилась: «Привет, привет, привет...» Голос без тела разом смыл с ее образа слой дерьма, которым мы его оштукатурили.

Гошу вышибли из общежития, он ночевал чуть ли не по подвалам, и дочке это тоже нравилось: наше искреннее «я» презирает только послушных. Гоша подкармливался у нас, гулко бухал нишей груди, от него пахивало. Правда, когда я оставлял его ночевать, я не думал, что мама так надолго (по-мещански) перейдет спать к дочери, оставив меня в крошечной тьме слушать потусторонние Гошины стоны и скрежет зубов. Человек имеет право на дурь, если готов за нее расплачиваться, но мама очень неинтеллигентно вынудила его позвонить к себе в Североморск-Камчатский, где его папа командовал полком крылатых ракет, и Гоша убил прятаться от армии к нему под крылья. Сначала он звонил чуть не каждый день, дочка отвечала еле слышно («Как неживая!» — непривычно бесилась мама) — и Хаос понемногу начал уносить его в небытие, то есть туда, где нас нет.

Внезапно, как все неподдельное, замусоренный прибор Хаоса выбросил выигранный номер — командировку на Химградский комбинат: перехватить заказ у границы — у хохлов. Реальная встреча — реальная тревога: невыплаченный мужской долг — насилие — неволя... Я начал готовиться к экзамену: просыпаясь или засыпая, я раздевал ее, крутил, вертел, усаживал и устанавливал так и этак, используя всю мыслимую мебель до книжных полок включительно, — но мое воображение было человечнее меня: в качестве жертвы оно неизменно подставляло мне «просто бабу», у которой вообще не было лица.

Я отправился к изумленному ученому секретарю и сдал техминимум на твердую четверку (оставил неприятную вдавленку в душе ее слишком твердый мужской нос). И все же шеренги пятнадцатизэтажек Химграда, в которых бесцеремонное электричество выщелкивало из стекол меркнувший закат, внезапно восстали передо мной из тьмы лесов, из топей блат бастионом нагого Долга, без нейтральной полосы окраинного захолустья единым ударом кладущего предел гибельной свободе во имя невыносимого порядка. Я постарался затаить дыхание на мучительном, как для отключки, переполненном вдохе: в компрессоре сердце почему-то слегка усмирилось. Прислушавшись к вечно тлеющему тайному гейзеру, я поспешил, пока не заперли, высвободить хоть часок независимости от его припекающего мягкого устьяца. Туалет дохнул детством, зверинцем. Но в преддверье Долга кратеры тоже подтянулись — я напрасно похлопывал себя по спине: давай, дурак, давай, ну, поехали... «Для пуска воды нажмите педаль внизу», — педаль подействовала. Привычный легкий ожог.

Мимо шагали проеденные электричеством жилые башни, комоды, пластины на упрямо расставленных кабаньих ножах, аквариумом тропической ослепительности просияла километровая теплица. Океанским лайнером проскользила элегантная тюрьма с опушкой из проволочных соле-ноидов, усвоенных канцелярскими галочками колючек, из-за которых внезапно выныривает двускатная сараюшка с осененной крестиком луковичкой, неумелой, как самодельная новогодняя игрушка из бумаги: Бог получил доступ к разбойникам. Протрещали палкой по забору многослойные тупые пилы слившихся крыш гаражного городка. Замаячили темные колбасные пирамиды комбината — наша институтская «Вятка» здесь гляделась бы консервной банкой в макаронных объедках. До-долг, до-долг, заикаясь, долбил неумолимый чугун. Но когда на полутемном перроне я разглядел девчоночью фигурку, с заносчивым видом вышагивающую в ногу с издыхающим вагоном, наши тела испарились в магниевой вспышке счастья на ее мордочке.

Поедем на тринадцатом до третьего, а там до юности рукой подать, спешила она поделиться привалившей радостью. «Дали квартиру в пятьсот втором, возле шестого, на десятом три остановки от одиннадцатого», — каждый химградец сразу поймет, что пятьсот второй — это корпус, шестой — универсам, десятый — автобус, а одиннадцатый — микрорайон, — но как это звучит для очарованного чужестранца! Город-Лаокоон был оплетен полуметровыми трубами — они взмывали, ныряли, огибали... В бесконечной магазинной витрине струился такой же бесконечный российский флаг — расплавленное отражение неоновой витрины напротив. На мост пропеллерным изгибом уносилась цепь горящих бабочек — добела раскаленных фонарных лепестков. В черной бездне под ногами, среди дрожащих золотых веретенев магия высветила ряды извилистых кольев, к каким чалются венецианские гондолы.

Универсам «Юность» был осыпан осколками разорвавшейся неоновой радуги, причудливая кровля — снежные горы для зоосадовских белых медведей. Поодаль чернел швеллерный острог Дворца культуры «Полистирол», под которым зеленой травкой светилось «Химербанк» и еще ниже — «Обмен валюты». В отвесах сияющих пустот закрытого универсама кипел прибор свободы — торговали мясистыми жезлами колбасы, слоновой костью майонеза, хищно многопальными кистями бананов, головастыми заморскими яблоками, пузатым пивом, кичащимся нуворишской роскошью своих наклеек, подсвеченной прибедряющей прозрачностью водки «Слеза лжеца»... Над этой суетой на возвышенном крыльце надменно распростерся пожилой бродяга, небрежно закинувший пустую штанину за согнутую ногу.

Через площадь, вымошенную шестиугольными распилами исполинского бетонного карандаша с выпавшим грифелем, мимо распластавшейся пятиконечной звезды («Летом у нас такой красивый фонтан!») мы подошли к девятиэтажному книжному шкафу. Из решетки, запершей таинственное подземелье, валят роскошные кучевые облака — какой же дивный иней здесь жирует в морозы! Подъезд отлично настоян на молодой моче, лифт обуглен, как дупло. В непроницаемой тьме скользим, постукивая, головами вперед.

Ее легендарная колли, очевидно, тоже была феминистка — начала знакомство с ширинки и разочарованно удалилась, роняя клочья древней шерсти. Легендарный сын — оглаженный нежным жирком красавец, которому ужасно пошло бы имя Марчелло, — ни за что не желал делать что положено, но все бросал сам — кучу секций, двух жен и одну дочку, — и только из института его выгнали. Последней девушкой он увлечен до безумия, кажется, это настоящее; настоящее не значит единственное, уточнил я, сорвав радостные аплодисменты. Мои афоризмы о дури как высшей драгоценности были подхвачены и проглочены в прыжке.

Ее однокомнатная квартирка вполне годилась бы для этнографического музея: «Жилище технического интеллигента конца семидесятых», но все было преисполнено значительности дома-музея. Стол был накрыт фигуристо, как в ресторане; выскользнув, она явилась в чем-то ослепительном, в круглых разноцветных блестках, перехваченных ниткой почти невидимой, однако напоминающей о шурупах. Меня настораживало все, что говорило о ее способности блистать и царить. И торт был опасно роскошен, как «Девятый вал» Айвазовского.

Но было упоительно и просто. Дуплетом осветивши ванную и сортир, она одарила меня улыбкой хлебосольной царицы. Не благоговеть, не благоговеть, — вот же и вязанный золотистый ореол вокруг ее головки — всего лишь умело организованные клочья шерсти. Смотри — тем же золотистым ореолом окружены ее игрушечные ступни: собачий мех годился и на носочки.

Когда мне было постелено на кухне на явно одноместном раскладном кресле, разжал зубки последний желвачок. Я долго стучался локтями в подлокотники и переглядывался с многозначительнейшим совком, веником, трубным коленом под раковиной — эмблемой Химграда — в ответах разлетевшейся радуги. Свищ дремлющего гейзера на радостях расщедрился на целых пять часов — увы, пробудив и обычную благородно-бессмысленную тревогу. Держась за видимость простоты, я посетил клозет в трусах («Давай, дурак, поехали!..»). Древесно-стружечный хомут на унитазе подпрыгивал с ксилофонным звоном, когда с него встаешь, — я сжался как вор и понял, что за увертюра для ударных предваряла ее вчерашний выход. Но отсебятина, видно, еще дышала: чересчур уж легконоги были здешние — ее! — невиданные жуки с наострившимися усиками червонных валетов. Появилась она, удивительно ладненькая в тренировочном, уютно заспанная, гостеприимно нежная. Чмокнула, дохнувши младенческим теплом, отправилась во тьму выгуливать безрадостную псину, скрылась в уборной, грянула вода, потом ксилофон...

Ее уши по изяществу изгиба вполне сошли бы за ювелирные изделия. От пионерски алой пластмассовой доски просветленно обернулась ко мне: «Это такое счастье — готовить тебе еду!»

— Только не надо роскошеств...

— Мне же хочется праздника!

Жизнь как она есть, восталдыченая чахоточными пророками реализма, — это просто жизнь без нас. То есть смерть. А я, живой и ловкий липнут, юмористически кривясь, бесстрашно хромал среди колбасных сплетений тупорылого великанского Хаоса.

Конфликт «Север — Юг» я кончил миром: я не стал хаять методику киевлян (один, как положено, моложе и умней, другой — солидней и главней), а навешал лапши, будто ее можно усовершенствовать.

— Не надо, может Женя прийти...

Ура — раз она не хочет, значит, я не раб долга, а нормальный повелитель! К двери придвинут стул — успеем, если что.

— Халат «Испытание верности», только у истинной страсти хватит терпения на все три тысячи пуговиц...

— Выключил хотя бы свет... — пионерски алая заря надежды.

— Не надо, я должен видеть, что это ты.

— Совсем высосаны, — с закрытыми глазами оправдывалась она. — А когда кормила, не поверишь, был четвертый размер — как у твоей любимой буфетчицы. Потом мастит, резали, теперь шрамы...

— Зато они оживают, приподнимаются мне навстречу. — Рассеянно обводя пальцем вянущие кнопочки, я должен был что-то молотить без умолку, чтобы удержаться на первых планах, чтобы не всколыхнулась глубина. И все же я подпрыгнул как спросонья, когда кто-то чем-то твердым ткнул меня в ногу. Не имея в виду ни шутить, ни мстить, псина безнадежно смотрела на меня слезящимися глазами.

— Рина, уходи! Вперед! — Мой идеал повелительно взмахивал крылами халата, но только я подавлял порыв прыгнуть куда велят.

— Успокойся, хорошая, хорошая собака, дядя меня не обидит, пойдем, молочка дам, пряничка...

Новые объятия, халат на полу (пуговицы — рассыпавшийся позвоночник), она внезапно высвобождает губы:

— Рина! Сколько можно свистеть!

— Да черт с ней...

— Нельзя, у нее слабое сердце.

— У меня, что ли, сильное?..

— Ты хотя бы понимаешь, что происходит.

— Это-то и плохо.

Собака впущена. Снова схватываемся. Я берусь за ее резные трусики в простенький цветочек.

— Она подглядывает... Я так давно не загорала...

Я на коленях борюсь со впившимся в плоть трикотажем. Это страшно опроцает. У нее неожиданно широкие бедра с аппетитными валиками на боковых косточках, которые так мешают спать на третьей полке. По внутренней стороне бедер растеклась волосяными струйками ало-фиолетовая марганцовка.

— После родов все вены... А теперь еще баулы эти...

Новый прилив спасительной простоты. Я скидываю трусы, будто в венкомате. Мы скользим друг по другу кожей, я мну ртом ее губы, руками — ягодицы, — есть за что подержаться, только маловата для меня, этап и радикулит недолго заработать. Сначала я обнял ее за спинку, но она была такая шелковисто-нежненькая, тронутая младенческим жирком, что я почувствовал себя развратником пионервожатым, растлевающим вверенную ему юную пионерку. Голая баба, баба, баба, накачиваю себя простотой, но до полного звона все же чего-то недостает.

— Возьми в рот, — по-дружески прошу я на ушко, и она приседает с такой проворной готовностью, что — «кому она еще это делала?» — отдается мрачным эхом.

— У меня плохо получается? — жалобно вскидывает она свои спелые виноградинки в персидской оправе, и собака тут же прилаживается обнюхать, словно намереваясь немедленно показать, как это делается по-настоящему.

— Гениально, изумительно... Видно только, что языком работать не привыкла... Bravo!.. Финикийский храм!.. Царица Савская!..

Я опрокидываю ее на диван, собака раздражается горестным лаем, мой ангел внезапно обвивает меня ногами («Научилась же где-то...» — откликается под угрюмыми сводами), с позевывающей простотой разбираю, где там нужное отделение в новом бумажнике. Под пальцами мягко пружинит крупный пушистый волдырь. Такие венозные вздутия я видел только на икрах... Но тем проще: это просто мясо.

ТУКК!.. Весь напор ушел в этот гидравлический удар сердечного мешка. Я поспешно перекатился на правый бок; собака выла как по покойнику. Ничего, ничего, сейчас это просто голая баба... ТУККК!!! — тычок из моей груди на этот раз ощутила и она.

— Что с тобой?! Балда, балда, балда, почему ты никогда не говоришь, что с тобой делается, зачем ты над собой издеваешься?!

— Потому что я себя ненавижу! И ведь так до конца и не сдохнет эта кляча проклятая — китайская казнь какая-то!..

— Обидно даже — ты как с чужой!.. Пойми, что бы ты мне ни рассказал, я все пойму и приму.

И мясá снова отряслись с нас — реальным (чужим) остался лишь переползающий через колдобины мой обессилевший голос: хаос, насилие, обращение в неодушевленный предмет...

— Все понятно! — Она снова сделалась деятельной и светящейся: я был несчастен и немощен, а значит, нуждался в ней. — Выдумал какое-то насилие! Ты просто балда, теперь просить будешь — не подпущу!..

Спиной ко мне под халатом «Испытание верности» невидимо, но ловко натянула съезжившиеся испуганным паучком трусики, сделав неуловимое лягушачье движение коленями, чтобы лучше схватилось.

— Стыдливость — первая добродетель юной девушки... — Я все-таки чувствовал себя обязанным хотя бы нудно протестовать против исчезновения голизны.

— Я люблю чувствовать себя одетой. До чего надоело жить на складе!.. — мимолетный взгляд на пузатый штабель, где плющили друг друга огромные раздувшиеся баулы.

— Наоборот! Мобильность, кочевая культура...

— Издевайся, издевайся.

Тоненькая персиянка в халатике татарской расцветки, она летает из кухни в гудящую ванную с такой стремительностью, что собака каждый раз успевает сделать за ней лишь три-четыре понурых шага.

— Невольник не должен входить в ванную к госпоже — он должен поставить поднос у порога не поднимая глаз.

— Не может же повелительница раздеваться сама! — Я ввинтил палец под врезающуюся резинку ее цветущей лужайки.

— Я, по-моему, там облысела... — жалобно.

— Ленин тоже рано облысел. — Я был добр и прост, как сам Ильич.

Она, мгновение поколебавшись, залихватски управилась со своим портативным цветничком, мгновенно съезжившимся на половичке, и перешагнула в пенящуюся ванну. Нормальные подернутые рябью дряблени бедра зрелой женщины, просачивающаяся марганцовка. Я заставлял себя смотреть, смотреть, набираться ума. Подспущенные мешочки с глянцевою регулярностью шрамиков среди белой причудливости затянувшихся трещин...

— У меня была хорошая грудь, — поймав мой взгляд, жалобно прикрылась ладошками.

— «Буфетчица»?

— Нет, небольшая, но хорошей формы, — с достоинством отличницы.

— Она и сейчас лучше не надо. — Черт, двусмысленность... — Главное, чтобы это была ты. А я никак не могу поверить.

— Я тебе, наверно, не нравлюсь?.. — Теперь она прикрыла наименее уязвимый треугольничек размываемой подводной травы.

— В тебе одно плохо — ходишь без палочки.

— Тогда принеси мне поднос.

Она положила поперек ванны деревянную решетку, я поставил на нее приготовленный ею подносик на две элегантные персоны — примирение Марата с Шарлоттой Корде. Она с робким аппетитом жует бутерброд, робко испытывая на мне свою наготу. Или меня испытывая на ней? Это тело — тоже она, тоже она, тоже она, тоже она...

Что-то углядев хозяйским глазом, она стремительно утерла у собаки тягучую алкогольную слюну и принялась азартно протирать краешком полотенца белые скопления гноя в уголках ее глаз.

— Умоляю, пощади!..

— А я когда кого-то люблю, мне ничего в нем не противно: это ведь тоже он! А чужую собаку я и поглажу не всякую.

Раннейшим утром, выгуляв собаку, шелковая, прохладная, в одних трусиках, дыша свежестью зубной пасты, она забралась ко мне в кресло, оказавшееся все-таки двухместным. «Как вкусно пахнут у тебя волосы!..» — сам я старался дышать в сторону. «Это не я, это злато скифов». — «Что-что?» — «Духи». — «Так что, значит, и духи — тоже ты?!» — «Спи, болтунишка. Как ты удобно устроен — только в плече надо ямку проделать, а то голова скатывается. До чего хорошо, что больше не надо экзамен сдавать, я так боялась тебе не понравиться... Ты такой удивительно красивый, а я...» — «Я червивый. Раньше бы ты на меня посмотрела...» — «Так где ж ты был раньше? У тебя удивительно нежная кожа...» — «А тебе на ощупь вообще лет двенадцать — чувствуешь себя растлителем», — я попытался проникнуть под стиснувшую ее полоску. «По рукам надаю! Спи!» — «Я после пяти часов никогда не засыпаю». — «А со мной за-снешь».

И чудо — я действительно заснул! Нас застучал Марчелло, но — никаких Эдипов. Внезапно моя персидская княжна пристукнула резным кулачком по столу, но длинноногий червонный валет оказался проворнее. «Что ты делаешь, это же твои жуки!..» — «Щас! Еще тараканы мои...»

Прелестные неузнаваемые тараканы-подростки, волшебная прачечная, чарующий универсам, надменный одноногий столпник над торговым обновлением — даже мой должок почти рассеялся бензиновым выхлопом на

трескучем перекрестке. Но какими многозначительными восклицательными знаками маячили в окне бесчисленные трубы, дымные и бездымные, полосатые, как шлагбаумы, открывающие пути в зеленую и рыжую безбрежность российской сельвы!.. Она беспрерывно ладилась ко мне прильнуть, а то и вскарабкаться на колени, оказываясь неожиданно увесистой, и когда я, целуясь, одним глазом косил в дурацкую телемельтешню, делала вид, будто сердится, оправляя при этом перышки от гордости, что такого мрачного умника сумела превратить в мальчишку: она понимала, что жизнь — это не мудрец в кабинете, а мартышка, раскачивающаяся на хвосте.

Праздно уставясь в вечно дождливый мир какой-то старой хроники с похоронами римского папы, я вдруг понял, что мы все тоже умрем, а мои старенькие папочка и мамочка так даже и очень скоро — исчезнут вместе с греческим языком и вечным беспокойством, что я в обед не съем спасительного супа, — и я — последнее чудо — неудержимо расплакался, даже с поползновениями на рыдания. Я отворачивался, а она все заглядывала, борясь со слезными потоками и с бесконечной нежностью и терпением повторяя: ну маленький мой, ну что случилось? — пока я не сумел кое-как растолковать, что, если я плачу, значит, уже как-то примирился, предал, отрекся, углядел какую-то красоту. А сама-то она боится смерти? «Я думаю, с этим без меня разберутся».

(Окончание следует.)



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

НА ЗОЛОТОМ ПЛЯЖЕ

Зеро

После поминок мы в подвал спустились,
и человечек в розовом костюме
давал нам пояснения —
магнистерий и красный лев —
все это было здесь. — Смотрите, —
он сказал и вынул гвоздь
и положил его в реторту,
закипела какая-то бурда.
Я все глядел, припоминая.
Мелкие черты, набухшие подглазья...
что-то где-то уже я видел.
Тут вошла полячка, держа в руках фальшивый документ,
и гвоздь достали из реторты.
Он по шляпку стал золотым.
И я захохотал.
Ну да, конечно, тридцать лет назад
я видел этот фокус,
только прежде показывал он все это тайком,
рассказывал, что в Датском королевстве
был удостоен звания магистра,
заглядывал в глаза, и люди, люди
кормили его, честно удивляясь
двум-трем словам по-датски и по-польски.
Над головой шумел ночной Нью-Йорк,
а здесь в подвале было глухо, тихо.
Столетний человек, лауреат,
с вдовой беседовал и подливал ей водки.
Все утомились. Даже с облегчением,
отяжелев, жевали бутерброды,
лишь он один сновал, неутомим,
и важным господам в полупоклоне
свой гвоздь показывал.
Я обратил внимание на женщину
с фальшивым документом — Дзенкую, пани, —
но она уже все спрятала
и, прислонясь к стене,
кольцом стучала что-то вроде Морзе.
Какой-то знак. По этому сигналу
в подвал спустился обладатель кубка
Индианполиса, сухой и ладный малый,
весь в черном, и за ним внесли
два ящика Клико. Приободрились гости.

Пир воспрям. Полячка подняла бокал
и снова кольцом позвякала по хрустало,
и человечек в розовом костюме
дотронулся до локтя чемпиона,
тот обернулся полупрезрительно,
но что-то вдруг припомнил,
как будто расшифровывая Морзе,
и руку протянул, и в эту руку
был вложен гвоздь.

Все вскоре разошлись.

На набережной под зеленым небом
в стране Гольфстрима я вошел
в какой-то угрюмый дом и произнес пароль.
Слуга провел меня по коридору в бесцветный зал.
Там за столом сидели пять человек.
Квитанции, кредитки, какие-то жетоны
вперемешку лежали на расчерченном сукне.
Подпольная рулетка — так и было.

Я знал всех пятерых. Но только
не мог припомнить, что же с ними стало.

Крупье сказал мне — вот и ты, пора —
и бросил шарик на воронку.

Голый череп его отсвечивал от трехлинейной лампы,
гвардейский галстук был повязан туго.

И все проигрывали. Впрочем, шла игра по мелкой.

Крупье был холоден,
как будто бы его все это не касалось.
Я на черное поставил и выиграл часы,
отстегнутые с грязного запястья.

Никто не удивился. Полумрак
рассеивался, явственно утрело.

На углу стола сидел тот самый в розовом костюме,
свободно развалившись, так бывает
с официантом, что решил гульнуть. Он выжидал
и умными глазами следил за шариком.

Мне показалось — игра не клеится.

Все отбирал крупье.

— Сегодня не идет, — сказал губастый
с пробором равнодушный человек.

Я не видал его с тех самых пор,
как проводил на пристань в кругосветку.

— Сейчас покончим, — возразил крупье.

— Ты не играл еще, чего ты ждешь, —
сказал он розовому человечку.

— Я не спешу, — ответил тот, — приятно
со всеми вместе посидеть. А впрочем, вот ставка. —

Он за пазуху полез и вытащил...

И я узнал, узнал — та самая фальшивка от полячки.

Крупье внимательно ее перечитал
и холодно сказал: — Вполне годится.

— Ну, то-то. — Я поставил на зеро.

Другие ставки кто во что горазд.

И завертелся шарик, все привстали.

И долго-долго суетился шарик,
отыскивая сектор, и как будто
крупье его подстегивал: «давай, давай, ищи что надо».

И остановился. Зеро, конечно.

Розовый вскочил. И подлинная вспышка на минуту преобразила благородный шик его ухваток фокусника.
 — Что же, ты человек ноля, теперь хватай. —
 И все придвинул розовому.
 Куча рублей советских, замогильных бирок, просроченных билетов проездных, какое-то письмо без уголка.
 — Бери, бери, — сказал крупье, — счастливчик, надолго хватит.
 — Что вы, господин? А золото?
 — А золото сам сделай. Ты, кажется, когда-то промышлял алхимией.
 А тут другие игры.
 — Отдай тогда хотя бы документ.
 — Ну, знаешь, не смей, придет пора, он будет продан на аукционе. —
 И розовый заплакал. Боже мой, невыносима участь человека, решившего обманом захватить хотя бы тень, хоть промельк Абсолюта.
 На набережной был густой туман, и мы стояли, словно бы боялись расстаться в этом млечном киселе, потом уж не отыщут, не спасут.
 И только тот, кто выиграл зеро, так безнадежно помахал рукой.
 Шаг в сторону — и он исчез в тумане.

«Волна»

До новогодья оставались сутки...
 Тогда мы заскользили вниз к заливу и вышли на заснеженный припай.
 В полднейной мгле Кронштадт едва виднелся, и все-таки яйцеобразный купол собора различался над долиной из льда и снега, он подернут был какой-то мелкою лиловою штриховкой.
 Мы двинулись вдоль берега залива, проваливаясь по колена в наст, и так прошли полкилометра вроде до вывернутой и громоздкой дамбы обледенелых валунов огромных — какой-то циклопической затеи чужих и отдаленнейших эпох.
 А полдень миновал, и стало явно темнеть, и колкий прыткий ветер промозглую порошу закрутил.
 И надо было скрыться. Только где?
 Шаг в сторону, шаг влево, шаг назад — все бесполезно, всюду мрак и вихрь.
 И вдруг на дне его мерцающим пунктиром мне обозначилась цепочка огоньков малиновых, вишневых, голубых, то вовсе затемненных, то, напротив, сверкающих из бездны что комета.

А вот и башенка в гирляндах и огнях,
с полуоткрытой точно веко дверью.
И мы вошли. И тут все началось.
Квадратный зал был празднично украшен
еловым лапником и местною омелой.
Столы накрыты — матовый фарфор
и мельхиор и баккара светили
в приглашенных огнях фигурной люстры.
Ночную маленькую серенаду
из-под оборок пела радиола.
На торцевой стене резьба из дуба —
эскадра на Неве и бригантина
вплывала галсом в этот малый зал.
Из-за портьеры выскочил хозяин,
почти что двухметровый человек,
в костюме бархатном, с прореженным пробором
и низким баритоном возопил:
— Пожалуйте, — мы развели руками —
видение? — Ничуть, — ответил он, —
зовусь я Станиславом Козырицким,
сегодня день открытия, теперь
у нас свобода зрелищ и торговли,
я приобрел «Волну» и обновил.
Вы первые. Вы гости на удачу.
Приказывайте. — С этими словами
он вытащил рифленый прейскуртант
и распахнул, и первое, что там увидел я:
«Рекомендуем пороссячье заливное».
— Вот это, — я сказал, и он поддакнул.
— Вы угадали, это из моих родных и собственных,
есть у меня свинарник, есть у меня конюшня скаковая
и скотный двор и три оранжереи,
и все это снабжение «Волны».
Простите за назойливость. А вы? А вы кто будете?
— Мы гости из Москвы. Ничем не примечательные.
Только вот разве тем, что эти дни для нас
начало странствия совместного земного,
последняя и первая попытка
сложить фундамент на речном песке.
— Тогда отложим пороссячьи ножки, —
воскликнул Козырицкий и пропал.
Через минуту, впрочем, появился
с ведром серебряным, откуда рдел затылок
в фольгу обернутый, бутылка «Редерера»,
шампанского, которое, как помню,
ценил Освободитель Александр.
Каким-то неразгаданным движеньем
он вынул пробку, и сухая пена
наполнила широкие бокалы,
и музыка сменилась, Мендельсон,
уже не Моцарт шел из-за оборок.
— Бог в помощь, — произнес вдруг Козырицкий.
И мы ответили: — Удачи в вашем деле.
— Да что мы прячемся? — хозяин заворчал,
и люстра вспыхнула гранеными огнями.
И тут внесли свинячье заливное,
лаваш и водку, лобио и суп.

— А все же заливное, заливное — вот лучшее...
 Когда-нибудь и свинок я покажу вам.
 Свинки... — Он хотел еще добавить что-то,
 но, ругаясь, по взгляду моему сообразил,
 что я не понаслышке знаю свинок,
 что повидал я свинок и вполне
 согласен с этим кредо.
 Он затих.

Териоки. 1946

Линия Маннергейма, глыбы дотов разбитых,
 пионерский лагерь Архитектурного фонда...
 Артур Челенгаров, Генрих Штейнберг, Битов...
 На пляжах — колючка Ленинградского фронта.

Физкультурник Боб, пионервожатая Валя,
 директор Иван Николаич.
 Валуны на дамбах в ледниковом развале,
 над которыми удочку наклоняешь.

Девочка Ира из Хореографической школы
 имени Вагановой с улицы Зодчего Росси.
 И все булькают, булькают пузырьки альвеолы
 и растворяются в прозе.

Сорок шестой. Шоколад на полдник,
 Сережа Юрский приходит с дачи.
 Вот и бреду, унылый колодник,
 повторяя: «Ну и что? Тем паче!»

«Горнисты и барабанисты — на флаг! Тревога!» —
 орет военрук в гимнастерке и планках.
 И мы выстраиваемся у порога
 нашего дома в пилотках и плавках.

На Золотом пляже — трупы в бушлатах
 еще зарыты там, где кабины.
 И финский закат в багровых и лиловатых
 цветах полушария, затонувшего до половины.

Еще можно найти и «шмайсер» и «трехлинейку»,
 «Железный крест» и «За боевые заслуги».
 А будущий самоубийца Светлан Охрименко
 утужит матрасом белые брюки.

Так и тянулось с мая до школы
 лето за летом, за летом лето,
 а самый веселый капитан футбола —
 Рафа́ Гуревич — пропал бесследно.



ЕЛЕНА УШАКОВА

*

В КАПЛЯХ ВОДЫ, МУРАВЬЯХ И ОСАХ

* *
*

Новый адрес как бы... Аллея
На участки поделена, Хомченко-генерала
Узнаю памятник и этого, как его, вытягиваю шею,
Чтобы прочесть, — Христофиса; отстала
От сестры, не проявляющей любопытства праздного;
Какой-то гибрид, думаю, Христа и офиса,
Сколько мусора в голове разного!
Какая-то сорная работа желез, мозжечка, гипофиза,
Поделом, думаю, подвержены тлению!
А вот и соседи: Смех Григорий Иванович, Косая
Фаня Наумовна... Если их тени
Видят, как я стою здесь, травинку кусая,
Что думают: «Грустит, бедная»? Или
Не думают, не чувствуют, а что-то другое?
Что-то третье, нам недоступное? Странной силе
И верим, и не верим, не понимаем покоя
Потустороннего, только прижизненный ценим.
Упираемся мыслью в эти плиты,
Сажаем цветы, сгибаем колени...
Родная тень, чувствую, разлита
В небе, в преображении облака быстром,
В дрожании листиков круглых березы,
Во всем, чего касаемся бескорыстно,
Без цели, радуясь или сквозь слезы...
«Спокойно? Ну да, спокойно.
Тепло ли?» Ну нет, едва ли.
Ах это присутствие безличное, многослойное!
Тайные знаки внимания и печали!
И смотрят, взгляд преданно-кроток,
Как если бы знали ответы на вечные вопросы,
Бордово-оранжевые головки бархоток
В каплях воды, муравьях и осах.

* *
*

Увидев револьвер, я подумал, что наконец-то нашел идеальный способ избавиться от скуки...

Грэм Грин.

Револьвер был маленький, дамский, с шестью гнездами на барабане, —
Ничего не говорить брату! —

Похожими на крошечные рюмочки для яиц, — ни о чем заранее
Не думать! — родители, следовательно, патологоанатом...

Скука была такой сильной, как любовь, — переводчик, не ведая,
Вместо слова «тоска» взял «скука», но я поняла сразу,
Еще до признания: «МДП как у деда» —
Есть там такая неприметная фраза.

Шанс расстаться с собой — один к пяти; «русская рулетка» —
Увлекательная игра называлась; и не надо, не надо
Думать, что бешеного стука не выдержит грудная клетка;
Сердце невротика — безумная рекордсменка-наяда!

Никогда не забыть преступно добытого ликования:
Как будто на темной, захлавленной улице вдруг с моря подул
И засияли огни карнавальные,
Когда вынул из правого уха холодное дуло.

После психоанализа не видел красоты мира, только хмурое его соседство,
Был забытым, непроявленным негативом.

Рильке писал: «Психоанализ слишком мощное, слишком универсальное
средство,

Исцеляет от всего сразу». И от способности быть счастливым!

Только мгновенная угроза потери зримого мира
Может вернуть его в лучшем виде однажды.
Оттого-то над пропастью, под дулом, под взглядом тапира
Так упоительно («Есть упоение...»), так отважно!

* *
*

Американо-российское СП «Расифик Фиделити корпорейшн»
Предлагает содействие для вступления в брачный союз
С гражданами США. Только обратитесь — все дальнейшее
Уже предусмотрено, все удобства и на любой вкус!
Информация обрабатывается на современных
Компьютерах, которыми по этому случаю располагает Москва.
С вашей стороны желательны и непременно
Искренность и правдивость, хотя кое-что немножко, едва-едва
Вы сможете приукрасить в своих ответах.
Имя, отчество, дата рождения и вес
Должны быть точными, но кроме того в анкетах
Фигурируют: вероисповедание, национальность (и там? — о, йес!),
Увлечения и лучшие ваши качества твердые.
Пока будущая супруга (супруг)
Легкомысленно решает шахматные задачи или кроссворды,
Мудрый посредник, механический друг,

Порученец небес, проводник загадочной звездной воли
 Толково соединяет в пары по возрасту и по росту поверх помех
 В виде океана и горных хребтов; католики
 Высокие и стройные, ненавидящие грех
 В одну небольшую стопку со стройными католичками уложены,
 Осталось среди них заботливо отобрать
 Любителей рыбной ловли, хоккея и мороженого,
 Что, впрочем, не так существенно, как цвет шевелюры и стать.
 Да. И я подозреваю, что более всего солгут четыре фотографии
 (Две в полный рост) в конверте, запечатанном сургучом.
 И потом, как? — юрист с юристом, чтобы общие объемистые
монографии

Экономно стояли на полках, а врач — с врачом?
 Или машина так умна, что учитывает широкие интересы
 И знает, что главное — легкий нрав?
 Но где ж его взять? Ах, кесарю — кесарево,
 И в конце концов, страсть побеждает, любовью смерть поправ!

Положитесь, положитесь на новоявленную, снабженную экраном,
 В кнопках и клавишах, таинственно мигающую судьбу!
 Чьи-то данные к вашим заветным приникают данным,
 Когда она дует по старинке в трубу.
 Воображаю эту встречу: улыбка счастья растягивает губы, —
 Все расходы (и авиабилет!) за счет фирм.
 Открытые намерения — ничего постыдного, ничего грубого,
 Без каких бы то ни было ширм.
 И нет этой внезапности, неожиданности и неуместности нет тоже!
 Вас не застали врасплох, не сбили с пути, не повергли в дрожь!
 Поистине неисповедимы новейшие пути Божии:
 Стреле Эрота предписана траектория! Что ж...

На выставке Дега

1

А та, что, вытираясь, выгнулась дугой?
 Какое странное как бы коленце
 Плечо выделяет, если ты рукой
 К спине прикладываешь полотенце.

Овражек возле шеи, талая вода,
 И кажется: лицо слепое отражает
 То место под лопатками, куда
 Рука скользит, скользит — не попадает.

Глаза косят, как будто смотрят внутрь себя.
 И рот отсутствует, в беспамятстве проглочен.
 И каждый мускул трудится, соседний торопя,
 Расстаться с вкрадчивым намереньем не хочет.

Ты знаешь, между цветовым пятном
 И вещью вкралась лишняя прокладка —
 Понятие. Убрать! На языке одном
 Заговорить! Сказать: твой мозг — сетчатка.

Когда, нагнувшись к креслу, надо мной
Склонишься ты, протягивая руку,
А я, прогнав глухую мысль, осой
Приставшую, как будто вечную разлуку

Отдвигаю распрямившимся плечом,
Ложится в складки и к локтю сползает ситец,
И Бог сочувствует нам, знаю, горячо,
И это знает также живописец.

2

И вот, когда ты хочешь что-то взять,
Взмахнул рукой, всем корпусом подался
Вперед, но на пути стоит кровать
И тумбочка, один шажок остался, —
Тут ты художником и взят врасплох,
Твой жест невразумительный, неловкий,
Незавершенный замысел и вздох,
Который служит как бы маскировкой
Пугливому движению души...
Никто не знает, что она в обиде,
Но это чувствуют карандаши
И линия взволнованная видит.

* *
*

Эту радость кому предъявить? И возможно ль?
Эту бабочку на золотящейся шторе?
Пыль спроси на дороге, спроси подорожник.
Радость так неподъемна бывает, как горе.

Еще в детстве заметила я, ученицей,
Как сочувствовать пламенно могут подруги
Хлопотливые, если дурное случится
С кем-то, руки к лицу прижимая в испуге.

Нет, лишь облаку, солнцу, домашнему зверю,
Лишь самшитовому жестяному листочку,
Дневниковой тетради беззвучно доверю,
Буду медленно пить в тишине по глоточку!



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН



ИРУНЧИК

Маленькая повесть

В отделении сосудистой хирургии проходила утренняя пятиминутка. Сосудистая хирургия — в принципе, привилегированное отделение, таким оно и открылось лет шесть-семь назад, но привилегий не получилось, оно стало просто-напросто «второй хирургией», именно второй, отделением травматологии. Сюда «скорая» сваливала бомжей, обитателей свалки, случайных проезжих с близлежащего вокзала.

Зав. отделением доктор Хомин, высокий, еще не старый и хорошо сложенный мужчина, не обладал, однако, бойцовскими качествами: он не мог завернуть обратно коляску с больным, даже если все койки и в палатах и в коридоре были заняты. Мало того, он самолично (правда, вместе с сестрой-хозяйкой) ходил к главврачу и на склад больницы и выпрашивал, и требовал, и устраивал скандалы: почему нет наволочек и простыней? Почему бинтов нет? Лекарств нет? Почему ничего нет?

Пятиминутка заканчивалась, доктор Хомин, усталый — ночь провел в операционной с двумя тяжелыми больными (один из них умер), — на обходе не был и теперь судорожно зевал, хотя был до крайности возбужден. Он будто бы куда-то ужасно торопился, а в то же время никак не мог пятиминутку закончить и зло спрашивал:

— Голубятникова как?

Хомин прекрасно знал, что фамилия больной — Голубева, но почему-то назвал ее Голубятниковой.

Доктор Несмеянова отвечала, что у больной Голубевой побледнела левая нога: гангрена.

— Очень может быть, никакой неожиданности — очень может быть...

А — Сивков?

— У Сивкова черное пятно на правом бедре. Наверное, гематома. Хотя могут быть и запущенные пролежни. Не исключено.

— Хорошего мало. Мало хорошего! — комментировал Хомин, как бы заканчивая пятиминутку, но тут ни с того ни с сего высунулась, всегда очень сдержанная, очень деловая, старшая сестра Колосова (по имени Ирунчик) и, всхлипывая, проговорила:

— Невозможно работать. Невозможно работать без бинтов. Без наволочек, без простыней!

В отделении была молчаливая договоренность: ничего от доктора Хомина не требовать, беречь доктора Хомина, — но тут Ирунчик, сорвавшись, заревела в голос. С ней такого еще не бывало.

Собственно, отделение держалось на плечах троих: доктора Хомина, доктора Несмеяновой и еще Ирунчика, все остальные врачи и сестры приходили, хватались за голову: «Ад!» — и уходили. Куда-нибудь. Все равно

куда. При том, что в городе была жуткая безработица и редко где выплачивали зарплату...

Доктор Хомин сорвался, сестра Колосова сорвалась, все притихли, боясь общего срыва. Исправить положение могла только доктор Несмеянова. Очень нервная, она умела успокаивать других и к тому же была влюблена в Хомина. Не без взаимности...

Красивая, с продолговатым, изможденным лицом, она встала и, улыбаясь, сказала:

— Хоть убейте, не понимаю, что происходит. Что у нас произошло? Ничего не произошло: простыней как не было, так и нет. И с бинтами та же история. И с лекарствами. И со всем на свете. Оттого, что мы заревем в голос, ничего не изменится. Ты, Ирунчик, это лучше всех знаешь — и вдруг?!

Доктор Несмеянова была серьезным врачом и очень скромным человеком. У нее в роду был академик Несмеянов, на весь мир знаменитый химик, президент Академии наук СССР, — так она ужасно стеснялась этого родства, скрывала его и смущалась, если кто-то, знакомясь с нею, спрашивал: «А вот Несмеянов Александр Николаевич, он — как? Не родственник ли вам?»

Что же касалось ее отношений с Хоминым, тут не было ничего удивительного: Хомина любили все, потому и позволяли ему время от времени срыватьсь, а сорвавшись, говорить глупости.

Доктор Хомин был человеком высоким и сутулым, с седыми космами и неухоженной бородкой, с выступающими из впалых щек скулами, но вся эта ничем не примечательная внешность почему-то говорила: Хомин — доктор. И еще раз — доктор.

Так или иначе, Несмеяновой удалось успокоить коллег, доктора Хомина — прежде всего. Правда, он еще сказал:

— И что это больная Голубятникова от нас требует? Без конца требует? Или хочет перевестись в правительственную больницу?

— Она просит переменить ей бинты. А бинтов нет, — еще раз всхлинула Колосова-Ирунчик, но всхлинула как бы в заключение, сняла вопрос.

Доктор Хомин зевнул раз, другой, третий и сказал:

— Ладно. Расходитесь. Может, куда-нибудь пойдете, где молодым бабам хорошо платят?

— Никуда мы не пойдём, молодые и не очень, — сказала Несмеянова. — Никуда! Потому что мы все вас очень любим.

Врачи и сестры ушли, Хомин положил голову на стол и захрапел.

Только Хомин уснул — случилось ЧП: украли две совершенно новых простыни. Из тех, что Хомин на днях лично вытребовал на складе. Виновной оказалась сестричка Молина — молоденькая, неопытная, она на свой рабочий столик в коридоре положила эти простыни, а тут кто-то срочно вызвал ее в палату. Вернулась минут через пятнадцать — простыней на столике нет, пусто.

Она, конечно, плакать. А что толку? Ничего из ряда вон выходящего, в больнице воровали все — кусочки вонючего хозяйственного мыла из умывальника, чашки, ложки, тарелки. Выписываясь, больной норовил унести наволочку или полотенце. Воры по сути своей, они уже давно не считались ворами, а были как все и все одинаково отвечали на упреки: «А что такого? Начальники не воруют, что ли? Миллиардами! А тут подумаешь — наволочка! Почему им там можно, а нам здесь — нельзя?»

Хомина по этому случаю будить не стали, постеснялись. Вот уж, думали, проснется, тогда и скажем. Может быть, даже и не сегодня — завтра скажем. Впрочем, завтра тоже не хотелось бы: Хомину предстояли еще две тяжелые операции.

* * *

В седьмой палате лежал Попов — среднего возраста человек, с проломом черепа.

Врачи — и все та же Несмеянова — так и не могли от него добиться, кто и чем проломил ему голову. Попов отвечал:

— По пьянке, должно быть.

Ирунчик относилась к Попову настороженно: вот она позволила себе психануть на пятиминутке, а Попов, казалось ей, из психования не выходил. Он лежал молча, громко вздыхая, а если начинал говорить, то ни к кому конкретно не обращаясь:

— Сволочное государство!

— Всех перерезать — в самый раз!

— Пропади все пропадом. Чем скорее, тем лучше!

И дальше, дальше в том же духе и с тем же остервенением. Притом он все время сильно икал.

Ирунчик не удивилась бы, если бы Попов оказался психически больным. Ей казалось, что и доктор Хомин думает о том же. Он подсаживался к Попову и пытался завести с ним разговор на какую-нибудь тему — о том, например, где и чем тот занимался, пока был здоров. Больные любили, когда кто-то интересовался их жизнью, Попов, однако, на все вопросы талдычил свое:

— Сволочное государство!

А однажды вышел на середину палаты, на свободный от кроватей пятючок, и начал такую речь:

— Народ — ик! Мы сколько еще — ик! — будем терпеть? Над нами издеваются, как над скотинами, день и ночь, а мы — ик! — молчим и молчим! Айда все на городскую администрацию. Ик! Выйдем, провозгласим, и к нам присоединятся массы, и мы пойдем и камня на камне не оставим — все порушим, всех перебьем! Ик! Займем ихние места! Я лично во весь голос объявляю себя президентом! Да здравствует искра — ик! Бросим искру, а из нее обязательно возгорится пламя на всю Россию. И пойдет пожар, и пойдет, а я — ик! — как президент клянусь перед народом вести дело честно и правильно. Вперед с красными знаменами! Ик! Все след в след — за новым президентом.

С коек Попова подначивали:

— Давай, Попов! Давай высказывайся от души, а не как-то вкось-вкривь!

— Да здравствует президент Попов!

Попов, седой уже, тощий и пучеглазый, икая, крыл дальше:

— Нынешнюю олигархию — в пропасть. Ик! Из коей и выползти невозможно! А то дак — на вешалку! Учителя объяснят детям, что и как и почему произошло, почему народ восстал.

Кое-кто пытался утихомирить скандалиста:

— Заткнись, Попов! Или — в морду хочешь?

А сосед Попова по палате, огромный, голодного вида мужик Сысоев — ему недавно отняли левую ногу выше колена, — начал, кряхтя и матерясь, подыматься с койки. Встал, оперся на костыль, в другую руку взял палку и медленно двинулся на Попова.

Не то чтобы Сысоев был возмущен речью Попова, нет, просто ему предоставился случай огреть человека костылем. Он был поддавши: незадолго до того «строили» в туалете — один одноногий, один однорукий и еще один — с пулевым ранением в живот; все остались довольны.

Гот, что с пулевым, был не из второй, а из первой хирургии, и оттуда пришел слух, что бедняга погибается. Врачи суетятся, но толку не видать. Должно быть, это тоже подействовало на Сысоева, и вот он медленно, не

очень уверенно двигался на Попова, примериваясь шарахнуть его костылем в живот.

Попов стоял неподвижно и улыбался.

И тут в палате появился доктор Хомин.

При виде доктора Сысоев тотчас развернулся и заковылял к своей койке. Хомин погрозил ему пальцем, подошел к Попову, приобнял его:

— То, что вы говорили, надо обсудить вдвоем. Пойдемте ко мне в кабинет.

Уединенная беседа продолжалась минут двадцать, потом Хомин проводил Попова к его койке:

— Вам надо лечь и отдохнуть. Постарайтесь заснуть...

Хомин вышел в коридор и подозвал Ирунчика:

— Оформляй, Ирунчик, документы на перевод Попова в психлечебницу.

— Ой! — отозвалась Ирунчик. — У них там еще хуже, чем у нас. Гораздо хуже!

— Конечно, хуже! — согласился Хомин. — У нас — как? Мы между нами и психическими разницы не делаем, а там все на этом построено: чуть что — смирительная рубашка! Оформляй, Ирунчик!

В соседних палатах завидовали:

— В седьмой интересно, а у нас ничего не происходит. Не случается. Нам бы своего Попова либо еще кого.

Вся эта сцена не произвела на Ирунчика особого впечатления — грубость и глупость, больше ничего. Конечно, было жаль Попова — уж в психушке-то ему достанется, — но перед глазами стоял доктор Хомин, она мысленно могла повторить чуть ли не каждое его движение, каждый его жест и слово. Как приобнял растерянного, с выпученными глазами Попова, как отвел его в свой кабинет, как из кабинета проводил обратно в палату, уложил на койку, стал уговаривать Попова уснуть. И надо же — Попов действительно уснул!

Мужская доброта, мужское желание кому-то помочь всегда трогали Ирунчика. У женщин, казалось ей, это в природе вещей, женщины вынашивают детей, рожают их, выкармливают грудью и еще много-много лет, чаще всего до самой своей смерти, заботятся о них.

Не удивительно, что часть этих забот они переносят и на больных — в случае, если становятся медиками.

Другое дело — мужчина. Происхождение такой заботливости у мужчин Ирунчик не могла объяснить, гораздо проще было объяснить грубость и звероватость Сысоева, который еще секунда-другая — и ударил бы Попова костылем. Нет, доктор Хомин был человеком и впрямь исключительным. Не зря в отделении только и слышалось: «Хомин велел...», «Хомин назначил...», «Хомин ругался...», «Хомин сделал операцию...». Все говорили так, а Несмеянова — с особенным чувством, словно о каком-то чуде.

И для Ирунчика тоже было удовольствием внушать молодым сестричкам, таким, как Молина (у которой со стола недавно украли две простыни), что работать в отделении Хомина — большая честь. Не было врача, который вот так же просчитывал бы в уме болезнь человека — словно шахматист шахматную партию, который понимал бы больных так, как понимал он. А ведь зав. отделением — это не столько лечащий врач, сколько хирург и администратор. Требовал же он от сестер и врачей больше и больше потому, что все больше и больше требовал от самого себя.

Итак, Попова перевели в психушку, но неприятности в седьмой палате на этом не кончились. Дня за три до выписки Сысоев сильно помрачнел, сидел неподвижно и постукивал костылем об пол. Должно быть, выписываться не хотелось: в больнице он жил хоть и голодно, но все равно

в льготно. И вот он ткнул ножом в живот своего соседа Басманова, который был наперсточником и обыграл Сысоева.

Тотчас из горздрава приехали два чиновника. До сих пор горздравских никак не могли дозваться, чтобы они своими глазами посмотрели, в каком состоянии больница, какие на койках простыни, какие на больных пижамы, какие лекарства есть, а каких нет, — а тут сразу двое явились. Безо всякого запроса.

Им тут же стали показывать палаты, жаловаться, спрашивать, когда же наконец выплатят зарплату за последние три месяца.

— Не наше дело! Для этого в аппарате другие люди, а мы приехали по делу поножовщины во втором отделении хирургии!

И принялись допрашивать Басманова с Сысоевым.

Басманов, скорчив скорбную физиономию, официально заявил, что у него к Сысоеву нет никаких претензий:

— Пошутил человек! Ну и что? Я с ним в наперсток тоже пошутил.

Сысоев же сделался куда как серьезным и стал молоть чушь: это, мол, доктор Хомин подговорил его ткнуть Басманова ножом в брюхо.

Инспектора горздрава и те не поверили, но все равно потребовали от главного врача уволить Хомина.

Главврач сказал:

— Ухожу и я. Наконец-то появился убедительный предлог. Давно жду предлога уйти, чтобы совесть при этом осталась чиста! Кто из вас желает занять мое место?

Все оцепенели. Хомин не говорил ни слова, Несмеянова побледнела. Первой пришла в себя Ирунчик:

— Какое, спрашивается, это отделение — без Хомина? Без Несмеяновой? Вот и мне тоже пора кончать эту жизнь... Да как они смеют?

В итоге все осталось как было, но Сысоев задержался в больнице еще на несколько дней...

Именно в эти мрачные дни Ирунчик заметила, что к больному Казанцеву она относится не так, как к остальным больным. С особым интересом... Все некогда, все бегом-бегом — а с Казанцевым, однако, успевала поговорить.

Его койка стояла в углу все той же седьмой; придвинешь стул, сядешь — и остаешься как бы один на один. Русая борода, голубые глаза, голос не хриплый и не крикливый. Нормальный... Лежал Казанцев с ножевым ранением правого плеча, поправлялся медленно.

Больные — как? Чуть мужик среднего возраста оклемается, уже норовит похватать сестричку за коленку, а то за грудь. А Казанцев — тот ни-ни. Лишь раз его рука оказалась на коленях Ирунчика, но тотчас руку отдернул и заморгал-заморгал — смутился.

Разговаривали редко и недолго, однако Ирунчик знала о нем больше, чем о ком-либо другом.

Бомж-то он бомж, ночевал на вокзалах, на чердаках высоток, на свалках промышлял, но и подвизался в каком-то театрике на незначительных ролях или же рабочим сцены. Был он хром... Не так чтобы очень, но и не так чтобы совсем незаметно. Выходя на сцену, наращивал подошву на левом ботинке.

Он кончил три курса филологического факультета, а уж Ирунчик-то знала, почему и как люди бросают вуз...

Мечтой Казанцева было сыграть чеховского дядю Ваню, обязательно — хромого. Когда он сказал об этом Ирунчику, она тут же назвала его дядей Васей-Ваней. Смешно...

Дядя Вася-Ваня успел-таки убедить ее, что именно так и должно быть, что чеховский дядя Ваня чем-то обижен от природы...

Выписали Казанцева неожиданно и как раз в тот день, когда Ирунчик не была на дежурстве.

Вообще-то она радовалась, когда больной выздоравливал и уходил домой, но тут на тебе — грусть, беспокойство: как-то он там, без больницы? Где ночует? Что ест?

А еще случилась неожиданность: к ней подошла доктор Несмеянова и торопливо, с отчаянием заговорила:

— О Господи, чего только с нами не происходит! Ни объяснить, ни понять! У меня с Хоминым... У него двое детей, нищенское существование — у меня двое детей, нищенское существование. Сумасшествие, что ли? Может быть, свинство?

О романе Несмеяновой и Хомина знал весь персонал отделения, в соседних отделениях тоже знали, но молчали. Никто ничего не обсуждал.

Тем удивительней была для Ирунчика откровенность Несмеяновой, но эта откровенность не сближала, скорее — разобщала.

— Ты знаешь, — говорила скороговоркой Несмеянова, — мы с ним и в театре-то вместе не бывали, в ресторане не бывали: времени нет, денег нет. Мы только так — где и когда придется. На ночных дежурствах. Ужасно все это, а порвать — невозможно. Пытались — не выходит.

Ирунчик хотела ответить, что лично у нее романа нет, но догадалась, что Несмеяновой обязательно нужно, чтобы и у нее был. Чтобы обязательно был!

Однако после этого разговора ей подумалось: а вдруг что-то все-таки было? Странный и хромой дядя Вася-Ваня — это же было!

* * *

Ирунчик думала — она ведь не знает, что такое личная жизнь, для нее это отвлеченное понятие.

Во-первых, для личной жизни не было времени — она с ног валилась от усталости, а во-вторых, личную жизнь ей заменяла любовь к маме. Ирунчик продолжала по-детски любить маму, доверяться ей, слушать ее, любоваться ею. Какими счастливыми были дни, когда маме давали выходной в детском садике, где она работала воспитательницей, а Ирунчик оставалась дома, потому что не дежурила в больнице. Вдвоем готовили что-нибудь простенькое на обед, супец какой-нибудь, кашу, а то, было время, и мясо поджаривали с картошкой, делали котлетки.

Обед проходил деловито, мать и дочь с серьезным видом потребляли свою готовку в заранее предусмотренный час. А вечером пили чаек — и час, и два, случалось, и больше. Беседовали... Чаек был индийский, хлеб был с маслицем... Мама рассказывала о детском садике, о детях, которые ее очень любили, — о Саше, об Оленьке, об Игоречке, об Олежке... Не миновала и родителей, бабок и дедов, которые появлялись в детском саду, чтобы забрать деток и внучат домой, а бывали случаи, дарили маме цветы. Не только по праздникам, не только в дни рождения деток и воспитательницы, но и просто так, ни с того ни с сего.

Если кто-то из детей начинал кашлять или жаловался: «Болит головка», — она с тяжелым сердцем звонила родителям, сообщала неприятную новость. Если кто-то хорошо рисовал, пел или с выражением рассказывал сказку, она с нетерпением ждала вечера, чтобы поделиться радостью с мамой или папой, бабушкой или дедушкой, когда они придут за ребенком.

Вот, например, мальчик Дима принялся рисовать дракона — страшного-страшного, с тремя головами, на каждой голове по несколько глаз, а пасти извергают огонь. Все у Димы шло как надо, дети его окружили, ждали завершения творческого акта. И вдруг Дима заплакал. Что такое?

А вот что: хвост у дракона оказался совсем не страшный, и это привело художника в полное отчаяние.

Или, скажем, мальчика Игоря мама спрашивает:

— Как говорит кот?

- Мяу-мяу! — отвечает Игорек.
 - А собачка?
 - Гав-гав! Гав-гав!
 - А ворона?
 - Карр-карр!
 - Ну а как говорит человек?
- Игорек задумался, потом вспомнил:
- Алё! Алё!

Но то было в прошлом, хотя и недавнем, нынче же разговоры матери с дочерью приняли иной характер: как страшно стало кругом, как ужасно, как еще страшнее и ужаснее будет завтра! Когда позже Ирунчик припомнила эти сокровенные беседы, ей казалось, будто они с мамой, тесно обнявшись, ходили по краю какой-то тайны, какой-то бездны, в которую в конце концов они должны были броситься, но не бросились. Этой бездной была окружающая их действительность.

Спасала больница: она отвлекала Ирунчика от страшных мыслей. Правда, о своих больных она маме не рассказывала: что было рассказывать! То ли человек выздоравливает, то ли умирает — всего-навсего два варианта. Кроме того, нельзя сказать, чтобы Ирунчик вот так же, как мама детишек, беззаветно любила своих больных. Просто она чувствовала перед каждым из них свой долг. Долг — вот и все.

Ирунчик с мамой жили в двухкомнатной малогабаритке, которую когда-то получил отец, — в общем-то, считали они, вполне приличная квартира. Мамин муж, отец Ирунчика, погиб в автомобильной катастрофе, когда ей было два годика, она его не помнила. Еще у мамы был сын, младший брат Ирунчика Бориска, о котором сестрица только и знала, что, если бы не папа, Бориски на свете не было бы.

Мама очень любила папу, всю жизнь об этом говорила, а Бориску любила еще больше, только молча. Разве что радостно удивлялась, как похож Бориска на папу: такой же рослый и красивый.

В глазах мамы он рано стал мужчиной, и она любила ему подчиняться:

— Боренька, ты что хочешь — погулять или посидеть дома?

— Дома! — отвечал Бориска. — Дома ты будешь у меня царевной-лягушкой!

Но уже класса с седьмого-восьмого Боря говорил матери:

— Мама! Ты вот что, мама, сегодня вечером ко мне придут друзья, нам надо поговорить, а ты иди-ка куда-нибудь, погуляй на свежем воздухе!

Два года тому назад, после окончания железнодорожного училища, Бориску забрали в армию. Мама плакала, а Бориска, отправляясь с вещичками на призывной пункт, не велел матери провожать его:

— Еще не хватало! Там бабы в голос будут реветь, а ты — громче всех. Сиди дома!

С сестрицей Борис попросился как бы между прочим — молча чмокнул в губы. Ирунчику показалось, что чмокнул с пренебрежением.

Из армии он писал редко, несколько раз в год, и все по принципу «жив-здоров, чего и вам желаю». Где он служил, мать с сестрой так и не знали толком, — номер полевой почты — и все дела.

И вот недавно Бориска из армии вернулся.

Взрослый, что-то взрослое знающий, что детям и женщинам знать не положено, и не такой уж красивый.

С матерью он обнялся крепко и несколько раз сказал, что она выглядит хорошо,нисколько не состарилась — «так держать!». Сестрицу же охлопал по заднему месту:

— Созрела?! Смотри не перезреешь!

Вынул бутылочку хванчарки — любимое Сталина! — распили, еще посидели, и Бориска лег отдохнуть.

Отдыхал он беспробудно почти трое суток, через трое суток проснулся, умылся, поел.

— Ну — хватит! Делом надо заниматься, пойду искать работу!

Ушел и не появлялся до поздней ночи. Мама извелась — не случилось ли чего?

Ничего не случилось: далеко за полночь Бориска пришел, от него пахивало винцом, он сказал:

— Нашел работу. В понедельник выхожу!

— Нашел?! Так быстро?! Даже не верится! — всплеснула руками мама не столько оттого, что сын устроился на работу, сколько потому, что он вернулся домой живым-невредимым.

— Корешки помогли! Армейские! Вместе последний год дедковали, но их, чертей, на полгода раньше демобилизовали. Везет некоторым!

В понедельник Бориска ушел на работу — он стал охранником в какой-то частной фирме. В какой — женщинам знать незачем.

Каждый месяц он выдавал матери деньги: на собственное содержание, то есть на еду, а также свою долю квартплаты.

Мама с Ирунчиком сселились в одну комнату, в другой царил страшный беспорядок, в беспорядке и жил, вернее, ночевал Бориска. Он жил на манер квартиранта, из-за которого маме с дочкой было неудобно даже устраивать чаепития. Раньше они по утрам выходили каждый из своей комнаты: «С добрым утром, мамочка!», «С добрым утром, доченька!» — а нынче какие встречи, если уже в постелях они видели друг друга?

* * *

Время шло, и дядя Вася-Ваня в те дни, когда он был более или менее сыт, ждал Ирунчика у подъезда больницы. Она возвращалась домой пешком, он провожал ее. Идти было минут двадцать.

В разговорах дядя Вася-Ваня нередко употреблял такие выражения, как «человеческое мышление», «нравственное мышление», «беспредельность мысли», «внутренний и внешний монолог», и еще нечто подобное.

Для Ирунчика все это было если уж не детством, так чем-то подростковым, ранней юношеской наивностью.

Она все это давно проходила. Во время своего пребывания на первом курсе медицинского института и еще раньше — в старших классах средней школы.

В те времена она не только посещала разного рода тусовки, но и участвовала в глубокомысленных разговорах, пытаясь высказать что-нибудь «от себя». Тогда она увлекалась рассказами Антона Чехова, теориями Льва Толстого и еще какими-то теориями.

Потом она довольно быстро поняла, что слова — ничто, главное — дело, прежде всего — излечение больных, и посвятила себя этому. Хотя и понимала уже, что самое суровое рабство — это то рабство, которое принято добровольно. Уже тогда она заметила, что из врачей редко выходят политики и ораторы, и это еще раз подтвердило правильность ее решения.

Ей нравилась детскость дяди Васи-Вани, нравилась его подчиненность идее «хромой роли». Дядя казался ей младше ее, хотя на самом деле был старше.

Однажды речь между ними зашла о нынешней власти в России — неизбежное дело, — и дядя Вася-Ваня, приподняв правую руку, сказал:

— А чего там! Давно известно: чем выше, тем грязнее! Так?

— Не знаю... — ответила Ирунчик. — Кажется, так. Лично мне — без разницы.

Ей и в самом деле было без разницы, потому что слишком много разниц она видела вокруг себя: видела божей, слышала обещания высоких государственных людей и привыкла не обращать внимания на разницу.

В другой раз дядя Вася-Ваня сказал:

— Люди Богу не нужны! Если Он и произвел их на свет, так не раз пожалел об этом. А вот людям Бог нужен. Независимо от того, кто кого произвел — Он их или они Его...

Дядя Вася-Ваня приглашал ее в свой театр смотреть современные пьесы, которых Ирунчик не понимала, но чеховского «Дядю Ваню» она перечитала дважды, и ей снова и снова верилось, что дядя Ваня действительно мог быть хромым. Что-то было в этом герое очень искреннее, но в то же время и злое. Была какая-то неудачливость, было и благородство, а хромота, казалось ей, позволяла все это открыть полнее.

В театре, где работал Казанцев, он часть заработанного получал билетами в средние ряды крохотного зрительного зала и торговал ими у входа по цене чуть ниже той, что была в кассе. На этих-то местах и сидела Ирунчик, бок о бок с Казанцевым, отсюда-то и смотрела спектакли.

Странное чувство вызывали в ней эти зрелища.

Она не только не любила, она ненавидела всех и всяческих звезд, потому что подлинных звезд среди них было очень-очень мало, зато множество тех, кто выдавал себя за звезду. Это тоже было искусство — выдать себя за звезду, но Ирунчику оно было противно, она его не терпела вплоть до того, что ее начинало тошнить.

Она понимала, что мнимые звезды — люди несчастные, все они страдали и страдания свои пытались выдать за гениальность, за что-то такое, к чему люди должны относиться только так, как сами они того требовали. Требовали нахально и безоговорочно.

В то же время в театрике было несколько актеров и актрис совсем другого склада, которые играли, будучи до глубины души оскорблены тем, что до сих пор никем не признаны, хотя в действительности заслуживали признания.

Иногда она видела дядю Васю-Ваню на сцене с прилаженной к левому ботинку толстой подошвой — разумеется, в эпизодах. Эпизод сам по себе ничего не говорил о сегодняшнем дяде Васе-Ване, тем не менее убеждал ее в том, что роль хромого дяди Вани — это и вправду его роль, Богом ему предназначенная.

Когда Ирунчик все это увидела, она спросила его:

— А ты — какой? Тот или этот — тоже ждешь не дожدهшься своего признания?

Дядя Вася-Ваня задумался, повременил с ответом.

— Я об этом не думаю. Я думаю только о том, как я сыграю хромого дядю Ваню. Вот это я знаю в подробностях. Не только днем, но и ночью, когда сплю, — знаю. У меня в жизни только одна роль, другой нет, другие я себе не представляю — что и как. Если другой хромой человек хорошо сыграет хромого дядю Ваню, я буду не в обиде. Правда, и не в радости.

— Дядя Ваня — это твой герой? Собственный?

— Почему — мой? Он — всеобщий. «Проснуться бы в ясное тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова...» — кто такого утра не хочет? «Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего», — а это? Разве это не для всех? Может быть, это не для прагматиков-авантюристов? Ну так Бог с ними, с авантюристами!

— Ты что же хочешь? Сыграть самого себя?

— Ни в коем случае! Я хочу сыграть Чехова.

— Ты хочешь сказать — в пьесе Чехова?

— Да нет же — самого Чехова. В тот момент, когда он момент упустил. Это для него большая редкость...

— И что же? Кто это заметил? Никто не заметил, совершенно никто.

— Я заметил. Ты заметишь. Еще несколько человек. С меня хватит. Много ли божьих надо?

— Все-таки странно...

— Ничего странного: все-таки я буду знать, что чего-то достиг. Чего-то исполнил.

— А шансы у тебя реальные? Собирается режиссер ставить «Дядю Ваню»?

— Режиссера надо воодушевить. К сожалению, я воодушевлять не умею. Но два-три актера в нашей труппе умеют, они тоже очень хотели бы по-новому сыграть в «Дяде Ване». Один — доктора Астрова, а другая — Елену Андреевну. Они с режиссером работают.

— Но они-то согласны с тем, что дядя Ваня должен быть хромым?

— Ну еще бы! Им этот вариант очень по душе. Очень!

Разговоры на тему о хромом дяде Ване снова и снова восстанавливали в памяти Ирунчика времена, когда она увлеклась рассказами Чехова. Давно-давно это было, едва ли не в школьные годы, но ведь было же! Не только больные были когда-то ее уделом, но что-то и помимо них.

И все-таки дядя Вася-Ваня не был бомжем до конца, нет, не был...

И если бы Бог дал Ирунчику возможность, она бы сделала так: взяла бы дядю Васю-Ваню на свое иждивение. Она мыла бы его в ванне, причесывала бы ему жиденькие волосы на голове, иногда подстригала бы его; она одевала бы его по-человечески, готовила бы ему завтрак: кашу-геркулес, два яйца всмятку, хлеб с маслом, обед и ужин — что-нибудь поразнообразнее...

Она уже сколько лет только и делала, что ухаживала за больными, за множеством больных, но ей мечталось поухаживать, сосредоточиться еще и на одном каком-то человеке. Кажется, дядя Вася-Ваня был для этого подходящ.

* * *

Ирунчик не любила воспоминания о своем единственном студенческом годе — было в этом что-то унижительное, что-то очень несправедливое.

Девчонки шли на медиков, потому что — женская специальность; среди мальчиков было больше тех, кто чувствовал призвание, но немало и таких, которые надеялись быстро выдвинуться среди женского персонала.

Впрочем, всякие на этот счет были у Ирунчика соображения, главное — что ей придется уйти по окончании первого курса, потому что не на что жить.

Между тем она-то и была истинным медиком: еще в детстве, с тех пор как она себя помнила, приносила она в дом заброшенных, больных щенят и котят, выхаживала их, всем давая человеческие имена: Людочка, Петька, Павлик, Оля.

В конце концов, лечить людей стало в ее представлении самым высоким занятием. Выше уже не было ничего. Ничего, и только.

Одна мамина знакомая, врач, должно быть очень хороший врач, заметила у Ирунчика эту склонность и подарила ей анатомический атлас:

— Когда поступишь в институт — пригодится! А ты обязательно поступишь — призвание!

Но Ирунчику атлас очень пригодился в тот же вечер — уже в кровати она стала его рассматривать самым внимательным образом, и то, что все люди — самые выдающиеся и самые незаметные, самые умные и самые глупые, белые, черные и желтые — устроены совершенно одинаково, поразило ее. И еще: в организме человека нет ничего лишнего и ненужного, а если лишнее появляется, значит, человек болен.

Первый курс медицинского института ничуть не рассеял этого удивления, но ни с одной студенткой или студентом она не могла об этом поговорить. Не получалось.

Впрочем, один такой студент был, Толя Морозов, личность весьма примечательная: он приезжал в институт на собственном автомобиле, он мог покупать любые книги и любую девушку мог запросто пригласить в ресторан. Его родители были очень богатыми людьми, и это еще в ту пору, когда подобные люди были редким исключением.

Не то чтобы Толя Морозов природой был предназначен для размышлений о медицине, но они не были ему чужды, он был к ним всегда готов, а это уже привлекало Ирунчика.

Он же явно положил глаз на золотистую головку Ирунчика и не стесняясь рассматривал ее карие глазки на беленьком личике.

Когда Ирунчик ушла из института, Толя Морозов не потерялся совсем и окончательно, раза два-три в год он звонил ей:

— Ирунчик! Ну, как дела? Может, поговорим?

И они встречались, Толя угощал Ирунчика в каком-нибудь приличном кафе, но разговор чаще всего шел о том о сем, в общем — ни о чем. Толя вел себя сдержанно — не приставал, не уговаривал, анекдоты рассказывал приличные:

— Как называется женщина, которая в любой час, в любую минуту знает, где находится ее муж?

Ирунчик задумывалась.

Тогда Толя объявлял:

— Вдова!

И так — несколько лет и неизвестно зачем и почему. Чем дальше, тем неизвестнее. Впрочем, нет, это только казалось, что неизвестно, на самом же деле Ирунчик догадывалась, в чем тут дело.

Недавно Толя позвонил Ирунчику, рассказал, что он теперь зам. главного врача в лечебном заведении какого-то ведомства, что заведение это живет богато, так как при нем существует частная фирма, пообещал, что теперь уже скоро он станет главным врачом и тогда обязательно возьмет ее к себе в штат.

Она ни за что в Толин штат не пошла бы — но Ирунчик знала, что рано или поздно Толя заговорит о том, ради чего он все еще ей звонит, ее помнит.

На этот раз так и было. Толя сказал:

— Вот что, Ирунчик. На неделе я у себя дома устраиваю вечеринку. Устраиваю по первому классу, редкостно устраиваю. И приглашаю тебя. Советую согласиться. Тебе давно пора перестать быть слишком серьезной и слишком замкнутой. Это — вредно. Иногда необходимо встряхнуться! Ну как? Соглашайся! Я советую: соглашайся. Это ненормальный человек, который не хочет встряхнуться!

И Ирунчик согласилась:

— Хорошо! Я приду!

Свой ответ она выслушала не без удивления.

Дом Толи Морозова выглядел вполне современно: не очень высокий, красного кирпича.

В подъезде сидел охранник, Ирунчик представилась ему, он кивнул и взял под козырек:

— Проходите! Пожалуйста!

С охранника начался незнакомый, совершенно незнакомый Ирунчику мир.

Пятикомнатная квартира с картинами и гобеленами, каждая комната своего цвета — искрящейся белизны, голубоватая, слегка оранжевая, темно-коричневая, розовая. Мебель под цвет стен. Камин. Ирунчик не удержалась, заглянула в ванную — множество полочек, на полочках множество пузырьков, футляров, упаковок неизвестного назначения и прямо-таки огромное пространство — ставь раскладушку, ставь две и живи себе.

Приглашенных оказалось, кроме Толи и ее самой, еще три мальчика и три девочки.

Сели за стол с винами и закусками. С икрой.

Мальчики — а один, Альберт, не мальчик, а уже мужчина — держались уверенно, все им было ясно и понятно, девочки, уступая им в уверенности, в общем-то тоже не смущались, все, кроме одной, называемой Аней, — у Ани на лице то и дело проступали гримасы. Странные — не то от страха, не то от смеха.

Не торопясь, хорошо закусили, еще лучше выпили, потанцевали, посмотрели по виду порнографический фильм, еще выпили по бокалу шампанского, и Толя сказал:

— Ну а теперь пора. Не всякий день случается такой случай: родители со старшей сестрой уехали за границу, я здесь полный хозяин, холостякую. Значит, так: Аня — со мной, Людочка — с Павликом, Эдуард — с Варенькой, Ирунчик — с Альбертом. Сейчас занимаем отдельные номера! Ну а там видно будет.

Ирунчик удивилась: что значит «видно будет»? И почему Толик не с ней, а с Аней? Так старательно приглашал, и вот...

Ни одна девочка не походила на другую: Аня — беленькая-беленькая, Людочка — черненькая, Варенька — рыженькая, ну а Ирунчик — пестренькая. Белая с рыжеватым.

Коллекция.

Все они были на всё согласны, черненькая и рыженькая согласны вполне, а вот блондиночка Аня вдруг покраснела, стала кричать, бросилась в прихожую.

Ее стали удерживать, она принялась биться головой о дверь, и тогда Толя сказал:

— Да ну ее! Дура какая-то! Без нее обойдемся!

И Анечку вытолкали за дверь.

Аня побежала, не вызывая лифта, вниз-вниз по лестнице, оставив на вешалке пальтишко, в одном платьице без рукавов. А дело было к часу ночи.

«Дура и есть! — мысленно согласилась Ирунчик. — Что она, не догадывалась, для чего ее пригласили? Для чего поили, кормили, танцевали с ней? Все здесь и в самом деле организовано по первому классу!»

Ирунчик пошла в комнату — шикарную, с небесно-голубой мебелью, — разделась и легла в кровать. Кровать была большой-большой. Она ни о чем не думала, разве только: «Не все ли равно где? Когда? С кем?»

Между тем в дверях разгорелся яростный спор.

— Ирунчик — со мной! Так было оговорено с самого начала! — утверждал Альберт, человек с темной бородкой, по виду женатый, может быть, не один уже раз. — Твоя Анька убежала — сам виноват: не надо было выпускать!

— Хватит пустых разговоров! — кричал Толя. — Кто здесь хозяин — я или ты?

Толя вытолкнул Альберта и бросился к кровати.

Ну а потом Толя в ужасе хватался за голову:

— Что мне теперь делать? Ты хотя бы по-человечески предупредила! Ты посмотри на простыню — будто человека ножом резали! Ладно — простыня, а матрац? Что он собой представляет? Что мне прикажешь делать?! Тебе все условия создают, а ты?

Ирунчик слушала, молчала. Толя ужасался все больше и больше:

— Ну ладно, я матрац переверну, но это — на время! А потом? Таких матрацев в России нет и не может быть, это батька с мамочкой прихватили с последними эшелонами Западной группы войск, не растерялись.

Матрацы и мебель. Что мне-то прикажешь делать? Чего молчишь? Отвечай — что мне делать?

Толя чуть не рыдал — словно маленький мальчик. Ирунчик не отвечая отправилась в ванную, оделась и пошла прочь.

Толя задержал ее на лестничной площадке, все еще надеясь, что она ответит на вопрос: что ему делать?

— Как тебя угораздило-то? — говорил он. — Девке за двадцать пять, а она, видите ли, девочка шестнадцатилетняя. Пятнадцатилетняя! И не стыдно тебе?

— Нет, — сказала Ирунчик, — мне не стыдно. У меня была знакомая женщина, так та только в тридцать семь лет позволила себе. Вот ей, наверно, было стыдно! — (Такой знакомой у Ирунчика не было, она выдумала.) — Ну, будь здоров! — Еще обернулась: — Какой ты, однако, малыш! Расслюнявился-то как? Я и не представляла себе, что Толя Морозов может быть таким слюнявым. Заместитель главврача!

Ирунчик шла по темным-темным улицам, представляя себе, что сейчас еще какой-нибудь хам выскочит. «А мне все равно — выскочит, не выскочит».

Сама же на часики то и дело смотрела: три часа тринадцать минут, три часа двадцать одна минута, четыре часа... Время шло медленно и в никуда, ничего не предвещая, даже смену ночи утром... Она послушала — часы постукивали клювиком в собственной скорлупе, как бы собираясь вылупиться. Но зря. Все зря...

В больницу бы скорее, что ли. К полуголым, к совсем голым мужикам с их культями и шрамами на руках, ногах, груди, спине. Там ее место, другого нет. И, видимо, не может быть.

Что ее все-таки поразило, так это богатство дома, в котором она побывала, — богатство в каждой безделушке, в каждом предмете мебели. Эта страсть во всем демонстрировать роскошь напоминала Ирунчику принципиальную апатию к жизни у бомжей: одним жизнь вовсе не нужна, другим нужна только для мебели. Разница невелика. Ничтожность и сопливость Толи Морозова были сродни безразличию бомжей, и обидно было, что ни одному на свете человеку, даже из тех, кого она выходила, не было никакого дела до того, что с ней, с Ирунчиком, только что произошло.

Узнай дядя Вася-Ваня обо всем, он бы и ухом не повел. «Ну и что?» — спросил бы.

Разве не обидно? Не больно? И она что было сил обиделась на дядю Васю-Ваню.

* * *

Обида была не только на него, но и на ту роль, которую она называла «хромой ролью». Ей-то, в конце концов, какое дело, что она, театралка, что ли, завзятая? Она-то почему за эту роль переживала?

И вот она стала избегать встреч с дядей Васей-Ваней, когда он терпеливо и так безропотно поджидал ее у подъезда больницы.

Ирунчик никогда не играла: ни на сцене, ни в жизни. Какая она есть — медицинская сестра, — такая и есть. Вообще думать о себе не любила. Хорошо, если б было посытнее жить, хорошо, если б у нее была шуба, зимние сапожки и две пары приличных туфель. Институт ей не дался. А замужество? Это уж как сложится. Пока не складывалось, и сил у нее не было складывать. Ни сил, ни времени. Больница ее поглощала. И если б больница была нормальной, как у людей, не говоря уж о каких-то там привилегированных лечебных заведениях! Ничего... В тех заведениях и без нее обойдутся, не заметят ее отсутствия. А здесь еще как заметят!

С одной стороны больницы Ирунчика — городской вокзал, второстепенный, но любимый бомжами, с другой — окраинные высоты, и совсем неподалеку от них — свалка. Удивительно ли, что «скорая» ежедневно доставляла сюда как местных пациентов, так и проезжих бродяг, доставляла с пренебрежением:

— Эй! Куда девать-то живого! Поторапливайтесь!

Свалка, собственно, была и совсем рядом с больницей — мусор, в котором попадались части человеческого тела из-под скальпеля хирурга Хомина: их сутками не убрали. Больничное начальство бесновалось, звонило в санэпидслужбу, в районную администрацию, грозило вспышками эпидемий, и только тогда приезжал мусорщик и требовал, чтобы больничный персонал помог загрузить самосвал:

— Ваше добро-то, не мое...

Впрочем, и весь-то город погружался в мусор, уже на проезжую часть жильцы выбрасывали донельзя изношенную одежку, стоптанную обувь. О банках-склянках, полиэтиленовых пакетах и говорить нечего — они заполняли и дворы, и улицы, и скверы (где скверы еще сохранились), свалка приближалась к городу, город к свалке — вот-вот соединятся.

* * *

Бомжи и мужского и женского пола начинали в больнице одинаково: лечить их не надо, они давным-давно мечтали умереть. Но стоило только к умирающему приблизиться доктору, назначить больному какое-нибудь лекарство — и дело менялось, больной уже с надеждой смотрел на свою судьбу: а вдруг?

Собственно, на то и врач: он мог и не обладать человеколюбием, мог не любить человечество, но человека-то обязан был лечить независимо ни от чего. Ни от того, какой этот человек, какого возраста, пола и цвета, ни от того, была или совсем не было уверенности, что человека можно спасти, ни от того, какой срок у этой жизни оставался — несколько часов или несколько лет. Ну а если кто-то и поставил Ирунчика на ее должность, так сам Господь Бог. Только Он мог ее от должности и отрешить. Но не отрешал, не освобождал. Не было никаких признаков освобождения.

Кроме того, она помнила, никогда не забывала тех нескольких случаев, когда она — она сама, не доктор Хомин, не доктор Несмеянова, но она сама — спасла больных.

У нее было безобманное чувство: вот от этого больного отходить нельзя. Дежурство ее кончалось, а она не уходила, и вправду наступал момент, когда больного надо было увезти из палаты и подключить к искусственному дыханию, или не дать ему уснуть, или сосчитать ему пульс и срочно дать лекарство. Не будь ее в ту минуту рядом — все, одной жизнью на земле стало бы меньше.

Ирунчику всегда было ясно: что-то в ней есть такое, что надо беречь как зеницу ока, но что это было — она не знала, тем более не знала, как это надо беречь. И что это значит — беречь?

* * *

«Хромая роль» ее больше не интересовала, но этот исчезнувший интерес надо было чем-то заменить. Вполне могло быть, что, если присматриваться к больным еще внимательнее, если не пропускать мимо ушей их разговоры, жалобы и жестокие между собой споры, можно услышать что-нибудь не менее интересное, чем «хромая роль».

У Ирунчика теперь был опыт: пусть всего одна фраза больного, пусть один возглас или обрывок спора с соседями по палате, но если вдумать-

ся — можно из обрывков составить довольно полное представление о человеке.

Кроме живых, умершие тоже оставляли о себе те или иные впечатления.

Смерть бывает разная. Каков человек, такая у него и смерть: одни проклинают жизнь и призывают смерть — скорее, скорее, где ты там запропастилась? Другим надо подышать еще пять минут. А кто-то умирая как бы делает важное дело, и неплохо делает...

Женских палат в отделении доктора Хомина было только две, обе небольшие, но услышать там что-то определенное было невозможно: все, кто мог говорить, говорили со всеми сразу.

Другое дело — палаты мужские, тем более что там лежали не только бомжи, но и «приличные», они не были заброшены, им из дома ежедневно приносили обеды: первое, второе, третье, все в стеклянных баночках; у каждого имелись собственные ложки-вилки. Им и лекарства, и бинты, и книги тоже приносили, но похоже было, что эта помощь их не столько успокаивала, сколько возбуждала: политика, а заодно с ней и всяческие обиды так и перли из них, так и перли, то и дело становились важнее самой болезни.

И вот уже один старичок в сотый раз повторял и повторял, что он тридцать три года проработал в Госплане, в лесной отрасли, что его дважды принимал тогдашний предсовмина Алексей Николаевич Косыгин, один раз двадцать, а другой так и тридцать минут были приемы, что он имел персональную машину и телефон-вертушку.

— А теперь? — спрашивал с надрывом этот безусый и безбородый старичок с морщинами на подбородке. — Теперь я никто! Теперь у меня пенсия двести тысяч, потому что, видите ли, в моем пенсионном деле какой-то бумажки не хватило. А куда пойдешь за бумажкой? Спрашивается — куда, если Госплана нет, Министерства лесного хозяйства тоже нет? Нет и нет — не дожить мне до справедливости, до прихода к власти товарища Зюганова, до того момента, когда народ сметет с лица земли нынешних правителей!

Все старички, подобные этому, были горячими сторонниками Зюганова и Анпилова, только выражались по-разному. Один из них, пока Ирунчик делала ему уколы то ли в правую, то ли в левую ягодицу, объяснял ей положение дел в государстве таким образом:

— И вот еще в чем дело, дочка: все наше государство, вся законодательная, вся исполнительная власть стоит нынче на соплях начальства... Скоро, очень скоро соплей наберется столько, что все государство развалится на все стороны! Обязательно на все!

Был один старик-чудак, тот все время возмущался:

— Молодость нужна для продолжения рода. Раньше молодостью умели пользоваться и для других целей, а нынче — нет, не умеют. Ну а если так, пусть молодежь занимается своим делом и не лезет в философию, в высшее мышление. А то какой-то тридцатилетний сопляк изображает из себя то ли Фрейда, то ли Кафку, то ли Гельмута Коля! Изображает начало новой эпохи, новой литературы, нового человечества, а старики тем временем помирают. Несправедливо! Мне надо прибавить годочков, вот кому! Я заново ничего открывать не буду, я знаю, что таких открытий было тьма-тьмушная, и все — курам на смех!

Еще один больной, в годах, в недавнем прошлом ответственный работник военно-промышленного комплекса, часов десять в сутки излагал свою непоколебимую точку зрения:

— Пустили на ветер мировую технику. Все страны нам завидовали, Америка, бывали случаи, нас догоняла, а нынче вэпэка нет, армии нет,

завтра нас Эстония завоюет, недорого возьмет! Теперь у нас две остались надежды: Иисус Христос и ядерный щит!

Его спрашивали:

— Ты что же — церковный коммунист? Серп и молот, а посередине свечка! И — крест?

— Вот именно, вот именно! Придать коммунизму православие — это какая получится сила?! — соглашался бывший работник военно-промышленного комплекса.

Еще был один:

— Почему за Чеченскую войну не судят Грачева? Он что, как был лучшим военным министром, так и остался? Да у него на личике написано, кто он, каков он есть! Это надо особой пронциательностью отличаться, чтобы вот так приблизить к себе Грачева с Коржаковым! Лестью берут! Не хочу, не хочу жить в этом кошмаре — невозможно!

Но лечился этот больной очень усердно.

Кто больше всех молчал — это неудавшиеся самоубийцы, как правило, молодые ребята. Их тоже лечили, они тоже кое-как выздоравливали, но молча, как будто что-то все время обдумывая.

Ирунчик-то знала: ничего они не обдумывают, мысли им не нужны. Они смотрят в потолок, вот и все их нынешнее занятие.

А недавно все в ту же седьмую палату положили не очень старого человека, но с семью космами и с красным носом, которым он беспрерывно фыркал. Этот заговорил против всех:

— Великая Октябрьская революция — вовсе не праздник, а день траура и позора! Как же иначе, если двадцать пятое октября — первый день Гражданской войны, когда мы, русские, четыре года подряд безжалостно, жестоко, дико резали друг друга?! Плакать надо в этот день, а мы гордо ходим с красными знаменами. Очень гордо! Говорим: мы всему миру, всему двадцатому веку преподали великий нравственный урок! Вот до чего может быть искажено человеческое сознание!

Октябрьская революция была для Ирунчика чем-то таким же, как освобождение крестьян, если она не ошибалась, царем Александром Вторым, но лохмач-то ее сильно заинтересовал: такого мнения она еще ни от кого не слыхала. Она стала к нему прислушиваться и услышала, как он отрекомендовался соседу по койке:

— Архипов Николай Семенович! Некогда широко известный театральный критик!

Перебинтовывая Архипову правую ногу с раздробленным коленным суставом, Ирунчик на всякий случай спросила:

— А как по-вашему, если бы дядя Ваня в «Дяде Ване» был хромым? Можно?

Ирунчик думала, Архипов засмеется: «Кому это в голову пришла такая блажь?»

Ничего подобного, Архипов подумал и сказал:

— А — что? Это идея! Правда, несколько фраз в тексте придется чуть-чуть изменить, а вообще-то — идея! Хотя есть трудность: актер должен быть настоящим хромым. Имитировать тут нельзя. А где его взять — настоящего-то? Не знаю таких...

Ирунчик обомлела. Хотела сказать, что есть, есть настоящий, но промолчала.

Архипов, бывший известный театральный критик, не отказал себе в удовольствии еще немного поговорить о чеховском «Дяде Ване». Урывками, когда Ирунчик подбегала к нему:

— Очень странная пьеса... Ну, зачем было дяде Ване стрелять в Серебрякова? Притом — дважды стрелять в упор и не попасть? Ну, выскочил бы дядя Ваня с револьвером в руке, а Елена Андреевна тотчас бросилась бы к

нему, вырвала у него револьвер, упала в обморок! Достовернее и сильнее. Это все гениальная способность Чехова имитировать искренность... Была у него пьеса «Леший», длинноватая, конечно, так и сократи ее, сделай второй вариант. Нет, Чехов пишет другую пьесу, но с теми же действующими лицами и с тем же сюжетом, — разве не странно? А все — неподражаемая чеховская искренность...

Через два дня после разговора с Архиповым Ирунчик встретила с дядей Васей-Ваней. Оказалось, что встреча эта была необходимой. Была необходима и еще одна встреча.

* * *

Мама!

Мама — вот кто был тем единственным человеком, которому можно и нужно было рассказать обо всем... Обо всем, что с Ирунчиком произошло в последние несколько лет. О дяде Васе-Ване.

В детстве, да и позже Ирунчик иногда укладывалась к маме в постель, и они захлеб говорили, ничего не скрывая.

Ирунчик стала взрослой, но мама по-прежнему оставалась мамой, Ирунчик — по-прежнему ее дочерью.

Мама придумала ей когда-то имя Ирунчик, и так придумала, что и до сих пор в больнице ее редко-редко называли как-нибудь иначе — Ирочкой либо Иррой.

Мама, несмотря на то что была женщиной не первой молодости, оставалась женщиной во всем. Чувство пола никогда ее не покидало, оно выражалось в движениях, в походке, в голосе... Трудная и даже нищенская жизнь, может быть, и смогла бы сломить в ней человека, но женщину — ни в коем случае.

Лет десять тому назад к маме приехал человек и рассказал, что отец погиб потому, что хотел спасти на горной дороге встречную легковую машину, которая нарушила правила движения.

Мама сказала, заливаясь слезами:

— Да-да, Ирунчик, очень похоже на твоего отца. Таким он был.

Таким он был человеком — смелым, веселым. Был тем мужчиной, который разбудил в маме чувство женщины. Чуть ли не в семнадцать лет вскочила замуж...

Мужчины все еще обращали внимание на маму, и дело не обошлось без нескольких романов, о которых позже мама не без грусти говорила:

— Конечно, не то! Но что поделаешь?

С год тому назад у мамы завязался еще один роман, по-видимому серьезный. Мамин возраст этой серьезности не мешал, скорее наоборот...

Алексей Алексеевич был человеком хорошо скроенным, умным и деловым, был если уж не седым, так седеющим и знал себе цену. Он довольно часто навещал маму дома, но с возвращением Бориски положение усложнилось, они стали встречаться реже. Мама переживала.

Ну а теперь им есть чем поделиться между собой — маме и дочери.

Так и было: они легли, прижались друг к другу и долго друг друга молча гладили. Может быть, и всплакнули, вполне может быть.

Первой начала мама:

— Как хорошо, доченька, что ты ко мне пришла, как хорошо! Ты у меня очень чуткая, я очень нуждалась в тебе, очень, очень, но все как-то не решалась, ждала, что ты сама догадаешься. Ты и догадалась! Спасибо, деточка! Мне много нужно тебе рассказать, я буду говорить, а ты слушай и не перебивай. Дело в том, что Алексей Алексеевич любит меня. Очень...

— А ты его? — перебила Ирунчик.

— Я? Я не так уж и страстно к нему отношусь, но если речь идет о семейной жизни, я несколько не сомневаюсь: он вполне мог бы стать моим мужем. И мы были бы счастливы, я уверена.

— А тогда в чем же дело?

— Дело в том, что...

И мама рассказала: Алексей Алексеевич сделал ей предложение на вполне определенных условиях: во-первых, мама немедленно переезжает в его квартиру, во-вторых, в течение года родит ему младенца.

— А ты — можешь? — спросила Ирунчик.

— Господи Боже мой! Да хоть каждый год! Уж кто-кто, а я-то себя знаю! Ему и нужен-то всего-навсего один — это же пустяки! Мне твой папа в какие сроки велел родить тебя и Бориску — я в те ему и родила. В точности до одного-двух месяцев.

— Ну, это когда было-то!

— Это было, это есть — не сомневайся! У меня для этого еще пять-шесть лет верных. И даже больше. И не в этом дело — дело в том, как я вас с Бориской здесь оставлю? С тобой-то ничего особенного не случится, а Бориска? Он окончательно свихнется. Да и кто ему будет готовить — ты? Так ты день и ночь на работе. А кто будет его обстирывать? Кто — следить за его нравственностью?

В общем, для мамы вопрос был решен, ей оставалось поделиться с дочерью своим решением.

Мама уже вырвалась из бедности, когда на завтрак и ужин были чай с хлебом, а хлеб далеко не всегда с маслом, обед — детский в детском садике, когда три кофточки надо стирать и гладить через каждые несколько дней, потому что их всего три. Нынче у мамы появились замечательные вещи: прекрасные серьги, прекрасная оренбургская, легкого пуха шаль, две пары прекрасных туфель.

Мама умела вещи ценить, любовалась ими, разложив на кровати. Или, одевшись, подолгу смотрелась в зеркало.

Бедность маму угнетала, она ненавидела ее неизмеримо больше, чем Ирунчик.

* * *

После того как мама ушла к Алексею Алексеевичу, Бориска будто и в самом деле сошел с ума. Он вел себя так, словно сестрицы в квартире вовсе нет, словно она в этой квартире просто-напросто какое-то недоразумение, какая-то случайность.

По утрам из его комнаты выскакивала какая-нибудь полуголая девка и с недоумением говорила Ирунчику «здрасьте», а то и ничего не говорила, молча таращила непроставшиеся глаза.

Далеко за полночь из Борискиной комнаты раздавался дикий хохот парней и еще более дикая матерщина.

Жить Ирунчику стало нестерпимо.

А тут еще случай: застрелился физик Нечай, руководитель крупнейшего в России атомного центра под Челябинском. Об этом по радио говорили, по телевидению, и доктор Хомин возьми и скажи на утренней пятиминутке:

— Вот молодец физик Нечай! Побольше бы таких, чтобы доказывали нам всем, правительству в первую очередь, что так жить нельзя! Он на правительство работает — на кого же еще, — а ему ни копейки, у него даже банковские счета арестованы. Молодец! Весомое доказательство! К сожалению, врачи не могут позволить себе такой роскоши — им людей лечить, а люди-то здесь при чем? Здесь при чем нелюди! И револьверов у врачей нет — откуда? Застрелишься — никто и не спросит почему, а толь-

ко будут спрашивать: откуда у врача появился револьвер? Всю родню замучают допросами.

Хомин никогда не задевал ничего политического, а тут разразился. И с завистью разразился-то. Завистью к Нечаю. Эта зависть произвела на всех присутствующих страшное впечатление: если уж доктор Хомин так, тогда что же происходит у нас! Хомин, видимо, и сам был смущен своей похвалой Нечаю, но это уже не меняло дела.

Несмеянова схватилась за голову, встала и ушла, Ирунчик на минуточку другую омертвела: не могло этого быть! Однако было, все слышали.

Что-то надо было в жизни менять, не могла Ирунчик оставаться в квартире с глазу на глаз с Бориской, не могла не вспоминать слов до крайности доведенного доктора Хомина и того выражения лица Несмеяновой, с которым она Хомина слушала.

* * *

Дядя Вася-Ваня пришел утром в воскресенье. Так договорились — Ирунчик была дома, дежурства у нее не было. А вот у Бориски дежурство, слава Богу, было.

Дядя Вася-Ваня принес свое имущество в картонной коробке, перевязанной двумя веревками — мохнатой и гладкой.

Ирунчик эту коробку и пальтишко его тотчас вынесла на балкон вымораживаться — зима была, температура ночью минус двадцать шесть. Сколько сегодня утром во вторую хирургию поступило обмороженных бомжей, Ирунчик и представить себе не могла.

Каждую осень так было. И каждую зиму. Каждую осень и каждую зиму умирающих становилось все больше и больше, но, когда Ирунчик бросала взгляд в сторону телевизора и видела там депутатов, министров, президента, предсовмина, а также актеров, она замечала, что никому из них не стыдно.

А вот ей было стыдно: она-то продолжала жить, да еще захотела жизни личной. И доктору Хомину, и доктору Несмеяновой, она знала, тоже было стыдно. Недаром же Хомин заговорил о физике-самоубийце Нечае.

Ирунчик, тщательно вымыв дяде Васе-Ване голову, велела домываться самому и ушла на кухню. Завтрак приготовила: кашу-геркулес, два яйца всмятку.

Дядя Вася-Ваня после бани покраснелся, она потрогала лоб, который показался ей подозрительно горячим. Пришлось мерить температуру. Оказалось — тридцать шесть и восемь.

Дядя Вася-Ваня сказал:

— Ну вот, я же говорил — нет у меня никакой температуры! А вообще-то вот что: пока на свете есть такие доктора, как Хомин, как Несмеянова, такие сестры, как ты, Ирунчик, люди еще смогут оставаться людьми.

Ирунчик согласно кивнула, но сказала:

— Ты тоже — скажешь...

Самой же приятно было, что дядя Вася-Ваня сказал такое. Сказал — и попал в самую точку.

Теперь нужно было позвонить маме. Ирунчик позвонила:

— Мамочка! А я привела к себе мужчину. Можно сказать, мужа.

Мама долго молчала, потом сильно изменившимся голосом спросила:

— Кто такой?

— Да из моих больных. Бомж, можно сказать. Да-да, и так сказать можно.

— Доченька! Так ведь ребеночек может быть! А тогда как?

— Мало ли что может быть? Никто не знает, что может быть!

Ирунчик хотела объяснить маме, что она жила, живет и будет жить среди пациентов доктора Хомина, такое у нее назначение, но там, в больнице, перед нею проходит множество больных, она всех запомнить не может, а ей нужен еще один больной, постоянный, на котором и сегодня, и завтра, и всегда будет сосредоточено ее внимание.

Она на секунду-другую задумалась, как лучше всего объяснить это маме, но тут неожиданно ввалился Бориска с двумя друзьями. Дружки не поздоровавшись стали стягивать одинаковые, серого, почти черного цвета, куртки, стучать в пол одинаковыми, на толстой подошве, ботинками.

Дядю Васю-Ваню ни Бориска, ни его друзья вовсе не заметили, хотя он и вышел в прихожую.

Бориска сказал:

— С матерью разговариваешь? Передай ей от меня привет!

— Привет, мамочка! Будь здорова, дорогая! — крикнула Ирунчик и повесила трубку.



АНАТОЛИЙ КИМ

*

ДВА РАССКАЗА

ЗАПАХ НЕУСТРОЕВА

1

Будущее есть у нас, оказывается, иначе как бы я увидел себя в прошлом, когда еще жил в Москве, на Пресне, и фамилия моя была Селютин. Проживал я тогда в квартире, которую раньше до меня занимал Неустроев, мой институтский приятель. Вот и вижу теперь, как этот Селютин, то есть я, спустился в лифте с шестого этажа и направился к выходу, почему-то все время думая о Неустроеве. Вышел через стальную дверь из подъезда — и сразу увидел его. Тот Селютина не видел. Шел, прижимая подбородком кусок желтого батона, обеими же руками копясь сзади в штанах. Когда сравнялись, Неустроев вздохнул, закашлял и, чтобы не уронить хлеб, прижал его крепче к груди подбородком, при этом широко разинув беззубый рот. Глаза его выпучились от напряжения, через нижнюю губу вылетела нитка слюны и повисла на обломленном батоне. Оказывается, у Неустроева сзади выбилась рубаха, и он запихивал ее вздрагивающими непослушными пальцами. Уже пройдя мимо Селютина несколько шагов, тот приостановился и тогда уже сумел кое-как справиться с делом. Но ремня на штанах не оказалось, пояс был широк, и короткий подол рубахи снова выскочил, как только Неустроев сделал первые шаги. Теперь он держал батон обеими руками. Эти руки, и штаны, и рубаха были так грязны, что оказались все одинакового серого цвета. Но не столько грязь — поразила больше всего помоечная вонь, когда от проходившего рядом человека колыхнулся живой ветерок. Селютин догадался, что бомж добыл обломок батона в мусорном баке, обычно стоявшем за углом дома, на проезжей части улицы. Какими-то неуверенными движениями впивался Неустроев в хлеб, засовывая конец батона в рот, затем вынимал его обратно и облизывал. И все это на ходу. Вдруг споткнулся на дороге, нога от боли как бы сама поджалась и затем ступила пяткою на асфальт. Таким образом и заковылял далее — упираясь в землю пяткою. Тут и заметил Селютин, что бомж был босиком и ноги у него такие же серые от грязи, как и одежда, руки, — оттого и незаметно, что человек идет по городу без обуви. Поранился, видимо, сбил ноготь — на камнях ступеней появилась яркая кровь, когда Неустроев заковылял по крутой лестнице, ведущей по склону горки к верхней улице.

Селютин проводил его взглядом, затем отвернулся и пошел в направлении метро. Он ни за что не догадался бы, что чумазый бомж — Неустроев, если бы еще зимою тот сам не приходил к нему домой. Первый раз это было ночью, я тогда смотрел в глазок двери. Дверь была стальная. За нею на освещенной лестничной площадке человека три-четыре замерли, одинаковым образом опустив глаза и по-собачьи вывернув головы, прислушиваясь. Среди них, укутанная рваным платком, была одна женщина. Панорамная линза дверного глазка искажала лица, раздувала их в пухлые мор-

ды с толстыми носами и губами. Когда я осевшим со страху голосом спросил, чего им надо, Неустроев ответил за всех: «Хозяин, пусти погреться!» Было больше двух часов ночи. Был декабрь. Морозы стояли жуткие, по ночам с треском разрывалась древесина деревьев. За спиной в затылок мне дышала жена. «Не пускай, не пускай, не сходи с ума», — шепотом говорила она, заходясь со страху. Как будто я собирался их пустить! Тогда через глазок я узнал Неустроева, его еще можно было узнать в лицо — зимою прошлого года... И как-то он сумел ведь пережить эту зиму.

Еще раз тот приходил, но днем и один. Селютин тогда его впустил, жены не было дома. Вспомнилось, что когда-то давно Неустроев помог ему получить перевод арабской книги. Захотелось узнать, как же тот докатился до такой жизни... По последним сведениям, лет семь-восемь назад Неустроев вроде бы преуспевал, стал даже заведующим отделом в издательстве. Потом, слышно было, жена у него умерла, женился на другой, но как будто с новой женою прожил совсем недолго... Кроме этих сведений, до Селютина уже ничего не доходило. Теперь Неустроев сидел на кухонном стуле в неимоверно грязной одежде, и Селютин ни о чем не осмеливался у него спрашивать, а тот как будто бы не узнавал нового хозяина квартиры и в скупых выражениях поведал ему, что он, Неустроев, когда-то владел этой квартирой, а потом потерял ее. Селютин угостил его чаем с баранками. Тот мочил кусочки баранки в чашке, потом пальцами доставал их и, причмокивая, съедал. Перед Селютиным был как будто другой человек. Он рассказал, что вышло у него с сыном. Сначала сын отказался содержать отца, разделил лицевые счета на квартиру. Себе с женою забрал две комнаты, одну оставил за родителем. Потом пришли маклеры, и с ними сын заключил договор: они отселяют его с семьей в отдельную двухкомнатную квартиру, но она будет в районе Строгино или в Чертанове. К тому времени Неустроев уже год был без службы, издательство разорилось и закрылось. До пенсии было еще далеко. Скоро сын съехал, а потом пришли маклеры, принесли Неустроеву его паспорт и заявили, что он теперь должен переехать или к сыну в Строгино, или в город Подольск, на свое новое место жительства. Оказалось, что он, Неустроев, передал им свою комнату в обмен на комнату в Подольске и за это получил денежную компенсацию. Все это было на бумагах. И даже был в паспорте штамп с новой пропиской. И на бумагах всюду стояла его подпись. Но он не помнил, когда подписывал эти бумаги, когда отдавал паспорт... В комнате были вещи, оставшиеся после совместной жизни с покойной женою, и он хотел перевезти их к сыну, однако тот и на порог не пустил отца. Неустроев удалился, было теплое лето, и он некоторое время спокойно прожил в овощных рядах Строгина. И как-то напрочь забыл новый адрес сына, а также потерял паспорт — или его вытащили, когда он валялся пьяным среди ящиков из-под фруктов. Неустроев тогда впервые пробовал жить без дома, без паспорта, без кровати — спать на земле, подстелив раздавленные картонные коробки из-под продуктов. Получилось. Только по ночам бывало холодно. Заработать на водку, которой в Москве стало море, можно было, перебирая фрукты и овощи. Этим же можно было закусывать и питаться. Виноград или груши попадались иногда великолепные, прямо из Франции.

Домой на Пресню попал он только к осени. Вспомнил — и решил взять из имущества хотя бы теплую одежду. Когда он вошел, в квартире стояло облако пыли, словно густой туман, и кричали друг другу ремонтные рабочие. Ломали перегородки, сдирали со стен старую штукатурку и дранки. И уже сшибли потолок, подняли доски пола, чтобы перестлать их поновому. Пройти было некуда, да никто из работяг и не знал, где какое барахло тут было оставлено. Неустроеву показали его комнату, от которой, собственно, осталось всего две стены — две другие были снесены, чтобы образовалась большая комната, объединенная с прежней прихожей. По-

среди нового пространства возвышался дымящийся пылью курган строительного мусора.

Это был мусор полной перестройки квартиры, которую купили Селютин с женой. Он знал, чья это была квартира, когда в объявлении прочитал, что она продается. Но не знал, что жилплощадь уже не принадлежит Неустроеву. Селютин когда-то учился вместе с ним в Институте иностранных языков на арабском отделении, и в один год они закончили институт. Прошло много лет, Неустроев ушел на дно, а Селютин женился заново, в третий раз, съездил с молодой женою за границу, сделал деньги и вернулся назад. Купил на Пресне бывшую квартиру Неустроева, в которой прежде несколько раз бывал и куда в былые времена довольно часто названивал.

И вот Неустроев сидел напротив, лысый, с бородою сосульками, запущенный, неузнаваемый, дурно пахнувший. Он спрашивал про какие-то свои вещи. Селютин ничего не мог сказать о них. Ремонт квартиры происходил без него, когда они с женою были в Алжире. А при вселении ни жена Селютина, ни он сам не обратили внимания, какие там были вещи. Что-то было, правда, — в квартире тогда временно проживали некие люди маклеров, после оформления купли-продажи они сразу исчезли. Вместе с ними исчезло все, что находилось раньше в трех отремонтированных комнатах, и остались одни глянцевые стены под дорогими обоями... Неустроев повздыхал, услышав неутешительное сообщение. Затем вдруг спросил, варит ли Селютин для себя гречневую кашу. Когда тот сказал, что никогда не варил никаких каш, Неустроев улыбнулся и, глядя на свои рваные колени, где через прорехи виднелось голое тело, стал подробно объяснять, как надо варить жиденькую гречневую кашу с мелко накрошенным луком.

Денег он не просил. Я же не предлагал. Я беспокоился, как бы до возвращения жены успеть выпроводить Неустроева. Тот настолько изменился, что я никак не мог представить своего прежнего сокурсника в этом отупевшем лысом бродяге, который толкует о гречневой каше с лучком. За те годы, что мы не виделись, Неустроев постарел лет на тридцать. И никак не мог понять новый хозяин, узнаёт ли бывший сокурсник того, кто купил его квартиру. Казалось, что не узнаёт, окончательно повредился в уме. Селютин он ни разу никак не назвал, каких-нибудь чувств, подтверждающих прежнее знакомство и некоторое приятельство, не проявил. Почти не глядел на него, да и ни на что вокруг не глядел, сидя с тупым, отсутствующим выражением на лице. Только раз улыбнулся, молвив про гречневую кашу. О себе и о сыне, о потере жилья рассказывал равнодушно, словно речь шла про другого человека.

Такова была наша встреча прошлой зимою, и до самой весны Селютин больше не видел этого бомжа. Тот не беспокоил его новыми визитами. Дела у Селютина пошли очень хорошо, израильские мясные продукты внедрились в Москву, арабская кожаная одежда пользовалась спросом. Немцы из Бохума взяли медь от старого военного кабеля и готовы были в дальнейшем брать ее в неограниченном количестве. Он купил «мерседес» в хорошем состоянии, самого рабочего пятилетнего возраста, и поставил на машину дорогую сигнализацию. Будучи осторожным, Селютин не создал никакого торгового дома, не открыл офиса и свою деятельность свел к чистому посредничеству, зарабатывая лишь на комиссионных. Но партии товара были весьма большими, партнеры надежными, и Селютин быстро разбогател. У него настала проблема, как переправить медные и мясные доллары на свой заграничный счет. Он не хотел в этой стране вкладывать деньги в недвижимость или держать их на рублевых или валютных счетах в русских банках. И сегодня он как раз шел на одну важную встречу, для пущей конспирации назначенную на станции метро «Водный стадион». Человек из Германии должен был привезти сообщение о том, кому, когда и как передать деньги, чтобы они благополучно осели на счете одного немецкого банка.

И в такой важный день встретился мне этот бродяга Неустроев, прошел мимо, едва не задев локтем. Но кажется, он и на этот раз не узнал меня — или попросту не обратил внимания, как и не обращал ни на что. Селютина эта встреча не испугала, он не был суеверен и не был мнительно задет за живое неважным видом своего бывшего однокурсника. Что ж, одни тонут, другие всплывают на самый верх. Такое в России наступило время, кончился социализм. Нет, не был Селютин задет, не дрогнуло суеверно сердце. Просто выступил очень рельефно тот факт, что Неустроев жив, никуда не делся за минувшую зиму, когда производили широкомасштабную зачистку столицы от бомжей и бродяг, — теперь знакомый бомж по-прежнему обитает в районе своего прежнего проживания. Поэтому, надо полагать, возможны его новые визиты. Хотя и, спрашивается, кто велит пускать бродягу в дом? Тем более, что в подъезде поставлена новая стальная дверь с домофоном и цифровым кодом.

2

Прошел мимо Селютина, как бы не узнав его, даже как будто и не взглянул в его сторону. Но и узнал, и мельком исподтишка разглядел гладко выбритую щеку, белый провислый второй подбородок, также тщательно выбритый. И, поднявшись по разбитой бетонной лестнице, стоя за кустами, смотрел на Селютина, пока тот не скрылся за углом дома. Узнал его и зимой, зайдя в квартиру, хотя и тогда не подал вида. Узнал, конечно, удивился, но скоро и думать забыл о нем, потому что зима подступила очень холодная. Никогда я не знал раньше, что холод бывает таким лютым. Надо было где-то устраиваться, чтобы тепло было и можно было полежать. Такое место Неустроев нашел в своем прежнем доме — в машинном отделении лифта, под самым чердаком. Возле громоздкого корпуса мотора, который щелкал тормозами, гудел и вращал шестеренками, на полу было свободное пространство. Дверца моторного каземата была металлическая, как и пол, и стенки, но на металл можно было бросить картонные листы от разодранной коробки из-под печенья, которая раньше валялась у метро рядом с торговыми будками. Если не ломался лифт, то никого в лифтовой не бывало, в случае же поломки заявлялись слесаря в спецовках. Поначалу они не гоняли его, не шумели, когда заставляли в моторной, а молча давали ему возможность встать и уйти. Даже не заставляли убирать за собой картонный мусор и пустые бутылки, что натаскивал я с улицы. Слесаря особенно не заговаривали со мной. Что-то в их глазах мелькало одинаковое. Они смотрели на меня с пролетарским страхом. Я сам знавал в жизни этот страх — он стал особенно силен во мне в последние годы моей жизни. Это ужас малоимущего при виде человека, который ничего не имеет и никогда ничего больше не будет иметь. Какой-то из них, пожилой с седыми висками, вдруг узнал во мне прежнего жильца дома и стал ругательски ругать за то, что я пропил свою квартиру. Столь искренно возмущался работяга, что позволил я каким-то аферистам отнять жилье, — настолько яростно, будто хотел своей руганью бить меня по лицу, как молотят при драке кулаками. Слесарь набросился на Неустроева, словно тот был в чем-то виноват перед ним. И Неустроев от неожиданности даже как бы очнулся на минуту и внимательно осмотрел пожилого морщинистого слесаря: худые втянутые щеки, замасленная спецовка, руки с кривыми пальцами, как у обезьяны... И Неустроев улыбнулся. На что слесарь еще пуще озлился: чего, мол, лыбишься тут. Тогда Неустроев молвил хриплым миролюбивым голосом: «Не учи меня жить, дядя. Лучше помоги материально». Но шутку не приняли. Второй работяга, помоложе, в круглом берете, курносы, заговорил с ним: «Вали отсюда, пес. Поднассал тут везде по углам. Еще попадешь рукой в редуктор, потом отвечай за тебя», — видимо, он у них был за старшего...

Пришлось уйти из лифтерской, потом на улице долго стоять в кустах и ждать, когда рабочие закончат и уйдут.

После этого случая все наладилось, лифт долго не ломался, стояла сырая теплая осень, слесаря не приходили. Однако вскоре повесили на двери лифтовой камеры большой висячий замок. Пришлось ему перебираться в самый низ дома, в подвал бойлерной.

Наверху, в лифтовой машинной будке, было холодновато, электродвигатель гудел, тормоза тяжело лязгали возле самой головы. Но там было сухо, не хлюпала жидкая грязь на полу. В бойлерной же эта грязь образовывалась сама собою — от горячих труб всегда шел пар, по кирпичным стенам и с котлов натекало. Кочегары, правда, навевывались туда нечасто и только днем. Ночевки бывали спокойными. Очень долгими. Света не было, все лампочки перегорели, в кромешной тьме лежать и спать было бесконечно долго и тяжело. Забывалось, что ты еще живешь, и порой с удивлением вслушиваешься в стоны и всхлипывания, которые вдруг раздаются где-то совсем рядом. Это означало, ты еще находишься в жизни и около тебя ночует какое-то другое, схожее с тобою, существо. Однажды кто-то из гражданских жителей встал на пороге бойлерной и осветил вниз электрическим фонариком. В его луче поднялась с полу и утвердилась на раздвинутых ногах серая одноцветная фигура, заморгала светящимися на черном лице глазами — и в этой призрачной фигуре Неустроев узнал бомжиху, которая приплелась однажды вслед за ним от самого здания метростанции. Луч фонаря двинулся в сторону — и я увидел и узнал самого себя, вскочившего с полу бойлерной. Лежать там можно было только на самой середине узкого прохода, между трубами, и то если лечь боком. Когда на одном боку становилось невмоготу, надо было подыматься и переворачиваться. К постоянному шипению пара и влажному, как в бане, воздуху можно было привыкнуть в потемках. И мокрая грязь, которая скользила под руками, когда упираешься в пол, также была терпима в полной темноте.

Плохо бывало, когда надо было выходить из подвала на улицу. Набухшие от влажного пара, какие-то одежды на нем сразу начинали дубеть и покрываться ледяной коркой, какие-то ботинки без шнурков, оказавшиеся к зиме у него на ногах, дырявые в неизвестных местах, сначала на морозе испускали пар, затем покрывались белыми разводами льда и соли. Приходилось шибко бежать в сторону метро, к подземному переходу. Зимой в основном кормежка была там, возле метро, хотя в иные дни, не особенно холодные, можно было с утра что-то собрать в мусорном баке около самого дома. Зимой о выпивке и курении Неустроеву пришлось окончательно забыть. На холоде постоянно хотелось только есть. Но и в темной бойлерной, в подвале, во влажном пару, хотелось только есть. Зимой ни о чем, кроме еды, не думалось. Которой в Москве стало много, очень много, небывалым образом вдруг завалило прилавки огромного количества магазинов самой лучшей в мире едой. Все уличные лотки, столики ларьков у метро и в подземном переходе оказались заваленными едой. Она дымилась паром над металлическими судками, в которых что-то варилось и жарилось, продавцы ворошили там длинными ложками и затем раскладывали по бумажным тарелкам и продавали облитую томатным соусом еду. Использованная посуда и объедки сваливались в пластиковые мусорные контейнеры. Но только к концу рабочего дня продавцы разрешали кому-нибудь из таких, как Неустроев, снести мусор к большому уличным бакам. Там можно было спокойно покопаться и набрать обычных объедков, но можно было найти и что-нибудь совершенно необычное. Как-то Неустроев увидел в стаканчике из-под пепси-колы маленькую черепашку, которая шевельнула хвостом и задвигала ногами, царапаясь по вощеной бумаге. Он черепаху бросил в мусорный бак.

В другие дни не выходило кормление близ ларьков и лотков — гамбургеры и хотдоги отчего-то исчезали с площади при метростанции. Даже продавщиц горячими пирожками и чебуреками словно ветром сдувало. В подземном переходе появлялись новые стеклянные будки с цветами. В других стеклянных ларьках выставляли напитки в ярких коробочках и батючках, всякие блестящие импортные вещицы, кошельки, зонты и батарейки, кожаную одежду. На витрины ставились бутылки, бутылки, бутылки — вино, водка, коньяк, виски, мартини, виски, водка, шампанское, вино, водка, вермут, шампанское, джин, вермут, водка, коньяк, виски, виски, водка, шампанское, вино, водка, водка, джин, вино, водка... Неустроеву из-за подобной резкой перемены рынка одно время пришлось снова стать в ряды нищих с протянутой рукой. Хотя он давно уже прошел эту ступень и существовал на более низком, спокойном уровне. На таком, где можно без денег. Забыть о них, никогда не заходить в магазины. Нищему же с протянутой рукою что-нибудь да подавали, и деньги приходилось потом реализовывать. На это у Неустроева сил уже не оставалось. Он теперь хотел подойти к еде самым простым, прямым путем. Он смотрел на людей, которые проходили мимо или останавливались поблизости, попадая в поле зрения, как на существа совсем иного ряда бытия. И нищие с протянутой рукою, и другие, более обеспеченные нищие — с аккордеоном ли, со скрипкой или с каким-нибудь другим музыкальным инструментом, — и очень богатые нищие с разными уродствами, с какой-нибудь инвалидностью или владеющие маленькими детьми, на шею которых вешается картонка с надписью: «Хочу есть», — эти нищие были связаны с деньгами и хотели денег, как и все остальные люди, мелькающие в глазах Неустроева. И все они не были спокойны — так, как был теперь спокоен он.

И когда его, в силу конкуренции, прогоняли другие попрошайки из подземного перехода или они же, действуя через свою контролершу метро, не пускали туда, Неустроев ничуть не огорчился. Ибо денег он просить не хотел, а в метро ему было худо, несмотря на то что там можно было отогреться. В тепле метрополитена одежда его оттаивала и распространяла вокруг себя такое сильное зловоние, что на него сразу же начинали коситься, женщины зажимали носы. И очередной дежурный по станции или патрулирующий милиционер выводил его наверх, на свежий воздух.

Больше всего он хотел бы, чтобы попалась недолгая легкая работа за еду. Но зимой с этим стало трудно. Овощные и фруктовые ряды исчезли. Арбузные горки тоже. Уличных торговцев едою становилось совсем мало. Дешевых столовых и кафе вовсе не стало. Их истребило новое время, и на месте старых советских едален всюду появились богатые рестораны, куда и сунуться было невозможно. При дверях маячили такие здоровенные молодые вышибалы, что даже приблизиться к ним было страшно. Возле ресторанных подворотен трудились кухонные мужики, которые приезжали на работу в собственных автомобилях. У таких дуриком выпросить что-нибудь или подработать никак не удавалось: с гнилой капустой и морковью или с мороженой навагой в ледяных блоках эти рабочие дела не имели. Из каких-то красивых пикапов-иномарок доставали они аккуратные упаковки и картонные короба с яркими наклейками. Клали все это добро на удобные ручные тележки и увозили на кухню с бодрым видом, как будто свою собственность.

И приходилось больше по помойкам. Но надо было прийти пораньше, оранжевый мусоровоз приезжал еще затемно. После него ничего не оставалось. До вечера бак мог простоять пустым, пища туда не попадала. Мало было ее по сравнению с летом и с осенью. Хотя, конечно, теперь она не пахла гнилью. Но он давно привык к воню, и зимняя пища для него не казалась лучше. К тому же она была холодной, лед хрустел в ней, у него вылетели и поломались все зубы. Зимнюю пищу можно было замачивать в

теплой воде. Однажды кочегар показал Неустроеву, где находится кран. Вода оттуда хлестала слишком горячая, чтобы мыть руки. Но он давно не мыл рук, ничего не мыл, не стирал. Он научился мочиться в штаны, потихоньку расхаживая по улице или сидя на ступеньке подземного перехода, не сходя с места. Но там одна старуха, мордастая нищенка с красными отмороженными культиями вместо пальцев, подняла крик и побила его. Желтая лужица натекла с верхней ступени прямо ей под ноги, и старуха больше не пустила рядом Неустроева. Произошло это давно, должно быть, в начале зимы. Тогда он еще был в силах зарабатывать нищенством с протянутой рукою. Потом ослабел, видимо, или заболел — и все активные нищие вслед за той мордастой старухой стали его отгонять, не давая места рядом с собою. Пришлось ему окончательно переходить на одно лишь добывание пищи.

Однажды он шел где-то неподалеку от дома, падал снег — вдруг почувствовал себя старым зверем, который подыхает. Пошатывает его само собою, водит из стороны в сторону. Глаз поднять от земли невозможно. В этом и было все дело. Когда все ниже и ниже клонишься, а подняться обратно нет сил. Старый зверь где-то в чем-то промахнулся, с того и началось, — а в чем был промах, того уже старому зверю не вспомнить. Слишком много промахов было. И как-то вдруг очень ясно, отдельно от всего этого, возникла какая-то человеческая мысль из моего далекого прошлого. Мысль была хороша, чиста, кристально прозрачна, имела живой характер и как-то очень, очень убеждала, обнадеживала в том, что ничего никогда нельзя подвести к концу, что никакого конца, собственно, ни в чем не бывает... Я чуть не вспомнил, в связи с чем в моем прошлом возникла эта мысль. Тогда жива была одна женщина, еще молодая, — непосредственно ее касалась эта мысль. Ее — и той ночной темноты, в которой прятались жужжащие летающие осы, укусов которых надо было опасаться. Но и это оказывалось каким-то невероятным образом вовсе не страшно, а, наоборот, чрезвычайно хорошо и весело... Так и не осознав до конца, что же за мысль была из прошлого, Неустроев через минуту позабыл об этом и, остановившись, прислонился к какой-то твердой и холодной стене.

Из пролома бетонной ограды высунулась голова без шапки, с длинными растрепанными волосами, затем и весь человек вылез, такой же одичавший, как и Неустроев, столь же запущенный. Он поспешно проскочил через дыру, но не убежал — обернулся и, топчась на месте, зябко поводя согнутыми в локтях руками, стал посмеиваться, словно дурачок. Вслед за ним пролез в бетонную дыру еще один оборванец, и еще один, смуглый и черноволосый, похожий на китайца, и еще одна бомжиха, отошавшая как узник Освенцима. Все они выскакивали из пролома бетонной ограды и одинаковым образом оборачивались, никуда не убегая, и посмеивались, глядя друг на друга. Это были мутанты нового времени, оказавшиеся неспособными заниматься бизнесом. Был уже ранний зимний вечер — все эти бездомные оборванцы оказались пьяны к вечеру. А днем их зазвали в мастерскую к одному богатому скульптору-миллиардеру, там их раздели донага, всех вместе, поставили на длинный помост из свежих досок и заставили позировать. Скульптор и на самом деле лепил для города группу фигур, узников Освенцима, — но его задачей было вылепить не самих узников, а их посмертные призраки.

Обо всем этом Неустроев узнал и все сам увидел на следующий же день, когда вместе с остальными бомжами пошел позировать призраком к знаменитому скульптору. Его мастерская была огромной, как ангар, но удивительно теплой, даже жаркой, там хорошо топили, и голые натурщики не мерзли, усевшись на помосте, как большая стая обезьян. Им запрещено было шуметь и разговаривать, чтобы не мешать работе, и только изредка по команде молодого усатого кавказца, секретаря скульптора, под-

нимали то одного, то другого натурщика и отдельно ставили в конце по-моста, заставляя принимать какую-нибудь неудобную позу: запрокинув назад голову, заломив над нею руки. Приносили обед в солдатском бачке, кормили раз в день, зато к вечеру выдавали по бутылке красного вина на двоих. Выдворяя из мастерской, секретарь договаривался с каждым по отдельности насчет завтрашнего позирования.

С этой ватагой бомжей-натурщиков я и пережил суровую зиму. Не был отловлен и отправлен в какие-то отдаленные места, куда по решению столичной мэрии чудесным образом были выдворены тысячи бездомных бродяг. Дом, в котором я жил раньше, куда приводил, чтобы ночевать в бойлерной, некоторых своих артельщиков, находился недалеко от мастерской прославленного скульптора. В Москве он делал что хотел и портил своими монументами столицу, как портят девок. Но благодаря именно этому скульптору я прожил на свете несколько дольше, чем было мне положено. Это стало понятным уже тогда, и поэтому, погруженный в темноту своей ночевки, под шипение бойлерного пара, лежа между двумя широкими трубами, я не думал о том, что загрызу миллиардера-скульптора, когда вскоре умру и превращусь в такого же чудовищного вурдалака, какого ваял тот, с добродушным азартом поглядывая на того или иного голого натурщика. Думал же Неустроев о том, что после превращения в страшного оборотня он непременно загрызет Селютина, этого белолицего толстенького Селютина, который с таким наглым комфортом расположился там, на самом верхнем этаже сталинского дома.

3

Жена Селютина настаивала, чтобы под ее патронажем была создана фирма «Гименей» по торговле немецкой мебелью. Он не захотел участвовать и денег на это не дал, тогда жена вложила свои и вошла в совместное предпринимательство со знакомыми Селютину немцами из Бохума. Магазин находился в отдаленном районе, в Черкизове, однако ровно через два месяца после создания фирмы Селютину позвонили пресненские бандиты. Именно ему позвонили, не жене. Она сразу же предположила, что вычислили, видимо, по машине: говорила, мол, чтобы он не брал «мерседес», а надо было «опель-кадетт» или хотя бы старенькую «вольву». Что бы там ни было, но Селютин вынужден был встретиться с теми, кто ему звонил, и бандиты назвали такую сумму, что он сразу же занемог, слег в постель, как только вернулся домой. Он заперся в квартире и почти перестал выходить из дому, не разговаривал с женой. Она-то по-прежнему ездила на фирму и на самом деле купила себе «опель», заимела газовый пистолет — и не пыталась найти для отчаявшегося мужа хоть какое-нибудь утешение. Словно происшедшее и на самом деле никак не касалось ее и угроза нависла не над их общим домом, над семьей, а исключительно над ним одним. Что и возмущало Селютина больше всего — жена делала вид, будто не она послужила причиной наводки... Но однажды он внезапно подумал... сличил суммы... сделал вывод — и весь похолодел от ужаса. Бандиты требовали именно столько, сколько Селютин договорился в скором времени передать своему надежному немцу... Но тот ничего не мог никому сообщить: не такой был человек и к тому же ни разу еще он не приезжал из Германии — с тех пор, как эмигрировал туда, так и сидел в своем Бохуме. Но кто же тогда мог бы столь аккуратно и точнехонько информировать этих пресненских бандитов, один вид которых вызвал в Селютине такой шок ненависти и страха, что он серьезно заболел? С температурой и рвотами, словно при сильном пищевом отравлении. К тому же еще и саднило в глотке, там образовалось болезненное кольцо, будто кто-то железными пальцами похватал и помял эту глотку.

Неустроев после того, как в новой бронированной двери на входе поставили домофон с кодовым замком, никак не смог попасть в свой подъезд и оттуда пробраться в лифтовый машинный каземат. Пережив зиму в сыром подвале, где была бойлерная, он захотел пожить там, где посуше, и решил освоить чердак. Пришлось лазать туда через соседний подъезд, где еще не успели поставить бронированную дверь с кодовым замком. На чердаке он оказался по соседству с голубями. Птицы за десятки лет существования этого дома сталинской постройки загадили все чердачное помещение. Шлаковая засыпка от времени уплотнилась, сцементировалась, высохла и стала как глинобитный пол. Я пробирался к тому краю, где находилась внизу, под потолочным перекрытием, бывшая моя квартира. По верхам косой крыши торчали, ржавыми концами вниз, длинные гвозди — ими были прибиты к обрешетке тонкие листы жестиной кровли. Продвигаясь по низкому чердаку не на ногах, а на четвереньках — чтобы не напороться головой на невидимое острие гвоздя, — я всюду втыкался руками в скелетики голубей. Они здесь рождались, здесь и умирали. Скелетов было много, их плоские косточки вросли в шлак чердачной засыпки и выглядели как целиком сохранившиеся останки птиц юрского периода. От них и родился, наверное, тот густой, неподвижный запах мертвизны, что пропитал воздух под нагретой железной кровлей. О, хорошо помню, как я дышал этим безжизненным воздухом склепа, чувствуя, что и сам становлюсь таким же экспонатом древней юры, как эти белые скелетики! Так же помню, как Неустроев лежал спиной на закаменевшем угольном шлаке, затылком на деревянной балке, сплошь заляпанной высохшими брызгами птичьего помета, и пытался вспомнить в конце своей жизни, что он такое и кем был в далекий период своей человеческой жизни, когда некоторые замечательные мысли приходили ему в голову. Как и эта вот мысль, которая сейчас слетела к нему и стала рядом, вблизи его. И опять это очень хорошая мысль, сверкающая радостью и дышащая теплым покоем, — но беда была в том, что голова Неустроева совсем не могла распознать ее, потому что тут же забыла о ней. Может быть, это была мысль о том, что он ведь не зря когда-то учился в институте, занялся почему-то арабистикой...

Как раз в это же самое время — на три метра ниже, под тем самым местом, где находился Неустроев, покоясь головой на твердой деревянной балке, — сидел в кресле и смотрел телевизор господин Селютин. Он вдруг услышал, что на чердаке завозились, и это были не голуби, потому что вместе со звуками передвижения по чердаку оттуда ясно послышался звук хриплого мужского кашля. Громоздкое тело проволочилось от одного чердачного края до другого. Голуби обычно так тяжеловесно и грубо не возились, и воркование их ничуть не напоминало человеческий кашель. Селютин сразу же догадался, что на чердак забрался именно Неустроев. После того как весной они встретились на улице, бомж долго не появлялся — теперь, оказывается, он сумел-таки пробраться на чердак.

Поскольку настало лето и был уже второй звонок, по которому бандиты объявили, что включают на него «счетчик», Селютин долгими июньскими днями просиживал дома, только изредка ходил за продуктами в магазин да к метро за газетами. И почти каждый раз видел Неустроева, шатавшегося по скверику в одиночестве или в компании себе подобных... Теперь залез на чердак и возится там, устраиваясь на послеобеденный отдых. Почему он все бродит вокруг да около меня? Может быть, ему кажется, что кто-то виноват во всех его несчастьях, — и винит, может быть, в первую очередь тех, кто купил его квартиру? И тут Селютин болезненно застонал, остро сожалея, что купил-таки эту проклятую квартиру. Не будь этого, не было бы сейчас кошмарных краснопресненских бандитов с пистолетами, поджидающих его где-то за стальной дверью. Да что там стальная дверь — вон по телевизору только что показывали, как бабахнули

взрывом точно такую же дверь в квартире одного банкира... А этот несчастный бомж кружится вблизи, словно черт, и чего-то хочет... У Селютина дыхание перехватывало от ненависти ко всем: к шевелившемуся на чердаке существу, к бандитам, ко всем немецким, арабским и израильским партнерам, к жене-сволочи, которая носится на машине по Москве и вообще не боится пресненских ребят с бычьими затылками — и не случайно, видимо, не боится их... Этих вчерашних дикорастущих мальчиков, над которыми в недавнем прошлом добродушно подшучивали: мол, если хорошенько кормить их, акселератов, то ведь в армию не возьмут, не подойдут они по размерам. И вот вымахали как раз под размеры бандитов, с огромными телами, с монолитными плечами, раздобыли себе автоматическое оружие и установили свою власть.

Селютин соскочил с кресла, выключил дистанционно телевизор и, надев тапочки, вразброс валявшиеся на ковре, быстро проследовал к двери, припал к смотровому глазку. Только что он услышал, как там, на чердаке, с шорохом и скрежетом проволока к тому краю, где находился выход с чердака — небольшой лаз с деревянной дверкой. Про этот лаз Селютин раньше как-то и не подумал, а сейчас я хотел посмотреть, убедиться, что чердачным посетителем точно является он — бомж Неустроев... Хорошо различимый в панорамный глазок, по железной лесенке спускался, согнувшись по-обезьяньи, лысый и бородатый мутант с опухшей физиономией, в котором я несомненно узнавал своего институтского товарища.

И пока его разглядывали исподтишка, Неустроев проследовал до площадки лифта и вызвал кабину. Да, он мутировал, стал дикарем. Мозги его, все тело, и, очевидно, все внутренние органы, и сама кровь, и ногти на ногах и руках, и не стриженные два года волосы на затылке, борода — все в нем изменилось и стало другим. Возвратное перерождение зависело, оказывается, от того, что ты ешь и каким образом содержишь тело. Если ты жрешь то же самое, что могут жрать крысы, кошки и бездомные собаки, если спишь на земле, не имеешь денег, с помощью которых только и можно достать себе одежду и постель, — то вполне возможно снова стать как эти звери... Вдруг словно очнулся, стоя на безлюдной площадке в ожидании лифта. Оказывается, я стою и размышляю — и никуда не делюсь, не разлетелись мысли после того, как они пришли ко мне! И не разучился я вызывать лифт, чтобы поехать в нем — вверх или вниз... Вниз, все ниже и ниже, — и незаметно окажешься на таком уровне, откуда назад уже нет ходу. Неустроев стоял перед дверью лифта в смиренной позе, потупившись, стиснув сложенные на груди руки. По-птичьи отводил в сторону голову и сверху рассматривал растоптанные, покрытые грязью и засохшей кровью ноги. Неторопливо поднимался лифт, гулко постукивая где-то на нижних этажах, и времени его восхождения вполне хватило на то, чтобы Неустроеву полностью понять все, что с ним произошло и что с другими произошло — со всеми, со всеми, кто только появлялся на земле в образе человека и затем бесследно исчезал. Их было очень много.

Лифт пришел, дверцы разъехались в стороны, в кабине никого не было, и Неустроев шагнул туда. Поехал вниз. На каком-то этаже произошла остановка, дверцы раскрылись — перед ним оказалась девочка лет десяти, светленькая, совершенно прелестная, ухоженная, в чистом коротком платьице, в белых гольфиках. Таких ухоженных, благополучных детей, как эта девочка, он давно не видывал вблизи себя — это было существо другого мира, откуда он выпал и для которого он умер *не случайно*... Девочка смотрела на него с бездонным ужасом — и вдруг звонко, с горловыми переливами, оглушительно завизжала. Лифт словно испугался этого крика, самопроизвольно закрыл дверцы и ухнул вниз.

Он не помнил, с чего, с каких событий его жизни и с какого времени это началось, но очень хорошо знал, что начиналось все с того едкого ду-

шевного состояния, в котором находился он в прошлом и сегодня — в эту самую минуту, которая еще не прошла. Одна арабская пословица гласила, что никто не умирает случайно. Но об этом он знал давно, еще задолго до того, как начал изучать арабский язык. Также он всегда знал, что придет время — и не случайно он будет идти по московской улице босиком, весь в грязи, воняющий голубиным кладбищем. Чердак, с которого он только что спустился, был завален костями голубей, которые тоже умирали не случайно. И я не случайно перешел улицу, впереди были зеленый скверик, замученные деревья, затоптанная трава, круглое сооружение общественного сортира. Невдалеке на маленькой площади расположились торговые палатки с едой, с заморскими цивилизованными напитками, со столиками на открытом воздухе, с пластиковыми урнами для мусора. Все это было не случайно. Наконец-то и в Москву пришла настоящая цивилизация, она пришла из Америки и с Запада. И день стоял солнечный, душный, и время было пополуденное, если верить круглым уличным часам, неуклюже повисшим на железном столбе. В худосочной тени деревьев, между круглым зданием сортира и станцией метро, в этот час виднелось не так много негражданского бездомного народа — всего три-четыре фигуры маячили по разным концам замусоренного скверика. Он примыкал к метростанции и небольшой площади, на которой разворачивались троллейбусы и по краям которой стояли палатки закусочных. Все это пространство, заваленное сплюснутыми банками из-под пива, разорванными бумажными пакетами, смятыми стаканчиками и другими отходами наступившей цивилизации, было местом обитания новых московских мутантов.

Впереди стояла, наполовину высунувшись поверх куста живой ограды, какая-то негражданская фигура с серым лицом, с лохматыми длинными волосами, повисшими вдоль головы. Кажется, это она, подумал я, — это женщина. Да, женщина — когда вышла из-за кустов, то оказалась в коротком платье, с парю худых длинных ног, не то голых и очень грязных, не то обтянутых приросшими к ним останками колготок. Совершенно непонятно, старая или нестарая. Серое чумазое лицо со светящимися глазами, которые как бы разрисованы розовыми ободками. Это лицо покрыто бородами более светлых, чем остальная кожа, грубых стариковских морщин. Женщину эту я знаю, приводил ее зимой ночевать в бойлерную. На ступнях ног еще держатся останки зимних сапожек, у которых съехали поломанные застежки молний, и поэтому голенища сапог распластались по сторонам, свисая до земли, волочась по ней, цепляются за кусты, загибают бумажный сор и жестяночную пивную посуду — что сильно затрудняет передвижение мутантки.

Как только она заковыляла вперед, тотчас встрепенулись на своих местах отдыха и другие московские мутанты. Настороженно глядя на лохматую бомжиху в коротком платье, остальные тоже стали выдвигаться из своих укрытий. Время было далеко за полдень, но Москва дней моей жизни никогда не обедала точно в определенные часы. Видимо, не считала, что жить и работать надо только для того, чтобы вовремя и сытно пообедать. Скорее всего, Москва деловая занималась как угорелая своими хитроумными делами и, проголодавшись, хватала куски на ходу, запивала навязчивой пепси-колой. Но все равно — хотя и не устанавливалось точное время для обеденного кормления — примерно с часу, с двух пополудни начинали подходить к киоскам некие гражданские лица, способные, очевидно, заниматься мелким бизнесом. А негражданские бомжи в это время вылезали из кустов скверика и, опережая бомжиху в неудобной обуви, двигали во все лопатки по направлению к уличному кафе. Там они, кружась возле столиков с обедающими, стерегли минуту, когда можно будет броситься вперед и первыми захватить обеды...

И я так же внимательно и ревниво следил за тем, как начала свое продвижение через скверик лохматая мутантка в коротком платье, — и когда

стало очевидным, что она и на самом деле устремилась к столикам, думая опередить других, я тоже вышел из своего укрытия и уныло поплелся вниз, к маленькой площади, месту кормления новых московских мутантов. А позади этой площади, за деревьями ближайшего контрбульвара, виднелась вознесенная в небо узкая коробочка московской мэрии. И, глядя на эту коробочку, я, Неустроев, один из этих мутантов, не способных к выживанию бизнесом, снова вспомнил, что каждый умирает не случайно. Все было predetermined — даже я, даже это длинное стеклянное здание, которое столь уверенно врежется в синеву.

4

В один из дней домашней отсидки, после включения бандитского «счетчика», господин Селютин взял молоток и гвозди, забрался по металлической лесенке к лазу на чердак. Он открыл маленькую деревянную дверку и просунул голову в квадратную дыру. Как будто заглянул в некий параллельный мир, откуда шибануло в нос тяжелым, гнусным смрадом, не имеющим аналога среди запахов привычного мира. Селютин поскорее хлопнул дверцу и затем, неустойчиво балансируя на перекладине лестницы, с трудом, но зато надежно и основательно забил большими гвоздями дверцу лаза. Возможно, после этого решительного действия он и набрался духу, взял деньги и отправился с ними к бандитам. Эти пресненские ребята все были молодыми, здоровыми, как бычки, спокойными и насмешливыми. Сумма, которую принес Селютин, похоже, ничуть не удивила их. К этой сумме они педантично присчитали все проценты за включенный «счетчик» и выбрали из Селютина еще и эти деньги — штраф за его нерешительность и проволочку. Но затем один из авторитетов потрепал седого, толстого Селютина за ухо и примирительно заявил, что отпускает его на оброк и дает ему свою «крышу». И если теперь другие наедут на него, Селютин может сказать им, что он уже под наблюдением, — и если захотят, то пусть назначают «стрелку», встречу, где-нибудь на нейтральном месте. Однако Селютин признался, что он принес все деньги, которые имел, и теперь у него ничего нет, кроме машины и квартиры, а фирма «Гименей» полностью принадлежит жене, и оттуда ему лично ничего не перепадает. И он попытался убедить бандитов, что не хочет больше заниматься бизнесом, устал, и теперь намерен устраиваться на государственную службу, зарабатывать пенсию. Но бандиты только посмеялись над ним, и один из них, со скандинавской бородкой и бритыми усами, похлопал Селютина по спине и сказал: «Не думай, папаша, что ты умнее всех. Иди и работай — не на государство, а на нас, понял? Пенсии тебе все равно не видать, потому что мы тебе не дадим дожить до нее. Ты будешь стараться для нас, делать валюту, это ты умеешь. А если не сможешь больше — я сам пристрелю тебя, будь спокоен». И они пояснили, что машину оставляют ему для успешной работы. Насчет жены и ее фирмы они и словом не обмолвились. Пропустили информацию мимо ушей.

А вскоре жена заговорила с ним о разводе. Он давно ждал этого. Она была почти вдвое моложе его, сразу же по возвращении из-за границы мечтала только о том, как бы еще куда-нибудь съездить... Но потом появился «Гименей», и она зажила своей жизнью. Будучи третьим мужем третьей жены, Селютин не надеялся на что-то очень хорошее, но он никогда не думал, что когда-нибудь станет бояться жену. Она не хотела делить жилплощадь и предложила ему такой вариант. Селютин уходит, помня, что он все же мужчина. А она покупает ему приличную однокомнатную квартиру в хорошем районе. На робкий вопрос Селютина, почему же ему однокомнатную, а ей трехкомнатную, жена ответила: она еще молода и ей надо устраивать будущую жизнь, а для него будущего уже нет, чего там закрывать глаза на правду, — так что хватит ему и однокомнатной квартиры...

Оставшись без денег, Селютин словно враз потерял все силы и всю удачу. Начать заново оставленное дело никак не получалось. Немцы из Бохума и израильские торгаши давно уже нашли других посредников. Заработать на алжирцах или марокканцах ничего не получалось — рынки страны были перенасыщены импортной кожей. Жене он не говорил, как-то выедал с бандитами, — а она ни о чем и не спрашивала. Обсуждая с ним объявления в газете «Из рук в руки», она просматривала цены квартир и тут же отвергала слишком дорогие — ни разу не сделав предположения о том, что он мог бы и доплатить из своих денег. И у меня уже не оставалось никаких сомнений, что она знает все о судьбе моих прежних комиссионных. И когда она стала склоняться к тому, что центр все же очень дорогой, поэтому мне следует, может быть, подумать о каком-нибудь не очень далеком микрорайоне, я особенно возражать не стал. В душе я Бога молил, чтобы хоть этот вариант благополучно состоялся. Поскорее переехать в микрорайон — о, я посчитал бы это большой удачей! Ведь могло же ей прийти в голову — очень даже запросто могло прийти, — что потратиться на заказное убийство выйдет гораздо меньше, чем заплатить за однокомнатную квартиру даже где-нибудь в чертовом Орехово-Борисове. Однако на это она не пошла, значит, имелись какие-то более веские причины, чем ее обычная расчетливость. Но что бы там ни было, данным обстоятельством надо было поскорее воспользоваться. Широкий выбор на рынке жилья облегчал задачу, я взял для просмотра несколько квартир и методично начал их объезжать.

Однажды, возвратившись домой и поднявшись на лифте, Селютин ощутил какой-то едва уловимый, вызывающий тревожное возбуждение запах. Однако он не стал задерживаться и вынюхивать, чем пахнет, а сразу же прошел в квартиру. Которая стала для него местом печали, а не радости, как было еще совсем недавно, год назад, когда он вернулся из-за границы и вселился сюда с женою. А теперь надо было убираться — и как можно скорее. Жена торопилась с выбором и настаивала, чтобы он переехал на новое место жительства еще до официального развода, который мог произойти не так быстро, как хотелось ей. Такая нетерпеливость жены пугала и беспокоила Селютина, он не мог догадаться, что же за всем этим кроется. Она уверяла, что просто не желает больше подчиняться невольному воздержанию, ей нужен мужчина — и он есть, но обыкновенная порядочность не позволяет, мол, ей приводить мужчину в дом, когда там еще находится неразведенный муж... Селютин не решился напомнить ей, что с предыдущим мужем она так и поступила — еще не разведясь с ним, привела нового, то бишь Селютина, к себе на квартиру и жила с ним в большой комнате с выходом на балкон, а прежнего супруга, вторичного, выселила из спальни в маленькую комнату возле кухни. Но этот вторичный был молод, намного моложе Селютина, и в силу молодости еще имел будущее... Разменявшись после развода, жена получила однокомнатную в Ясенева, а второй муж попал куда-то в коммуналку. Год назад, вернувшись из Алжира, она продала ясеневскую квартиру — а теперь уверенно урывала трехкомнатную почти в центре Москвы... Примерно такое будущее для нее и предполагал Селютин, год за годом проживая рядом с молодой женою в жарких арабских странах... Но он и подумать не мог, что будет когда-нибудь так сильно — до леденящего сердца ужаса — бояться ее.

Для ускорения процесса он решил привлечь специалистов, тех же маклеров, которые продали ему бывшую квартиру Неустроева. Они быстро и хорошо проводили бумаги, у них были свои прикомандованные нотариусы, и комиссионные они брали весьма умеренные. Бандитов они вроде бы не боялись, может быть, имели надежную «крышу». Главным был широкоплечий гладкий мужик казацкого вида, красноносый, с вислыми усами. Помощниками у него были молодые люди настоящих бандитских размеров, с широкими, как пни, неподвижными загривками. Когда Селютин

обратился к ним за помощью, маклеры быстро откликнулись и приехали на переговоры. Поднявшись пешком на шестой этаж — в тот день лифт не работал, — главный молвил, отдуваясь сквозь пшеничные усы: «А у вас тут, однако, трупиком пахнет». И он выразительно повел своим могучим красным носом, подергал усами. «Да что вы, не может быть! — воскликнул Селютин, чувствуя, как пол уходит из-под его ног и он зыбко повисает над бездной. — Впрочем, может быть, кошка какая-нибудь залезла на чердак и сдохла», — быстро приходя в себя, предположил он. «Нет, милейший, это не кошка, а очень серьезный труп, килограммов на семьдесят, — с улыбкой молвил маклер и почему-то подмигнул Селютину. — Уж этих трупиков пришлось мне понюхать в Афганистане — ой-ёй!»

Когда маклеры ушли, Селютин через некоторое время вышел на лестничную площадку и, стоя напротив лифтовой шахты, стал принюхиваться, поднимая нос кверху, туда, где была заколоченная дверца чердачного хода. Затем я ушел обратно в квартиру и запер за собою обе двери: стальную наружную и деревянную внутреннюю. Теперь-то я осознавал до конца причину столь неодолимой, глухой, великой тревоги последних дней. Разве я сам выбирал время, в котором мне жить? У меня нет, оказывается, будущего, а есть одна эта тревога. Она была не только из-за того, что у меня отняли все деньги те господа, которые умеют это делать. Они отнимут квартиру и, может быть, скоро отнимут машину... Тревога была и не в том, что уже ничего не получается как прежде и что не заработать мне больше комиссионных. Может быть, задвинув меня куда-нибудь в район Выхино, этот страшный, вдруг совершенно изменившийся мир навсегда лишит меня радости еще раз заработать зеленые американские доллары... О, эта великая, бездонная тревога не имела за собой единственной и конкретной причины, зато она имела конкретный запах. И в голове Селютина родилось понятие, что этот сладковатый, возбуждающий запах и есть запах Неустроева. Которого он, Селютин, совершенно непреднамеренно заколотил гвоздями на чердаке. И хотя ему ничего судебного не грозит, наверное, за одного одичавшего бомжа, который лазает по чердакам, — но может ведь так получиться, что следствие все-таки начнется и это как-нибудь помешает квартирному делу и задержит его. А там, глядишь, оно и вовсе не состоится... Перед Неустроевым я не виноват! Я ведь не знал, что он на чердаке и что у него тоже нет будущего. На чердаке было тихо. Я заглядывал туда. Неустроева там не было! И ничего я ему не должен. Квартиру свою он продал маклерам, а я купил ее уже у них, покупать и продавать жильё никому не возбраняется. И никогда мы с ним не были друзьями. Правда, сто лет назад, в молодости, Неустроев помог мне получить в издательстве один арабский перевод. Тогда Неустроев был старшим редактором в издательстве. Однако с этим переводом я только замучился, ничего у меня не вышло. Вот за это — что не вышло, что подвел рекомендателя — я и виноват перед ним. А не за то, что заколотил его большими гвоздями на чердаке дома... Никто не видел, как я заколачивал. Никому не придет в голову... Никто не поверит, не подумает, не поймет. И не пойду я никуда. К черту! Не хочу я. О, Боже!

Но если бы знал Селютин, что он и на самом деле ничуть не виноват! Ведь я, Неустроев, на чердак забирался с другого подъезда! А узеньким лазом, прорезанным возле камеры машинного отделения лифта, я пользовался лишь в том случае, когда надо было спуститься с чердака. Так было удобнее и ближе. Ведь Неустроев, забираясь на чердак, долго полз по нему, пробираясь к тому месту, где под потолочинами, засыпанными угольным шлаком, находилась его прежняя квартира. И однажды, лежа затылком на деревянной балке, этот Неустроев вдруг умер, так до конца и не осознав, что с ним происходит и для чего это было нужно — жить и умереть не случайно.

РЫБА SIMPLICITAS

1

Я вижу ее в норе, которая находится в атолловом рифе, коралловый же атолл находится в Тихом океане, а подводная световая зыбь океана качается где-то во мне, наверное, в моей голове, и я предстаю рыбе в своем ясновидении и слышу ее беззвучную речь на русском языке.

Она родилась и выросла в коралловой норе, никогда из нее не вылезала. Для нее стало давно привычным, когда за продолговатой щелью входа, снаружи, мимо проплывают тени огромных рыб, неведомых, как таинственные миры. Иногда в нору просовывалось щупальце спрута, который, видимо, методично обшаривал атолловую банку, и рыба *Simplicitas* кусала этот усеянный присосками слепой отросток чудовища, и спрут быстренько убирался.

Острыми треугольными зубами рыба ломала коралловую стенку, обломки относила к выходу и ловко укладывала в край пещерки. Таким-то образом за много лет она существенно и надежно укрепила оборону своего жилища, поднимая порог входа все выше и выше.

Как ей помнилось, очень давно она вдруг оказалась в норе одна, совсем маленькой. Для нее тогда это была громадная пещера, потому что сама-то она была крошечным мальком, и небольшие полосатые рыбки, проплывавшие снаружи, казались ей огромными чудовищами. В первое время рыба тщательно запрятывалась, хоронясь в коралловые складки, а на ночь укладывалась в какую-нибудь замысловатую узкую щель. Однако по мере роста тела прятаться стало все труднее, и тогда, заснув нечаянно, рыба могла внезапно проснуться и обнаружить, что ее голова почти наполовину высунулась из норы. Она спохватывалась и отплывала задним ходом в пещеру — с того времени и начала она строить стенку на входе. Работа продолжалась многие годы, одновременно рыба и сама росла, — и вот наконец, когда ее голова стала шире пещерного лаза, пришла полная безопасность.

Отныне она могла, набросив широко разинутый рот на входное отверстие, кормиться сколько угодно, сама же оставаясь в надежном укрытии. Питалась рыба *Simplicitas* всем, что умирало наверху, в неизвестном ей верхнем слое океанической воды, и медленно оседало в виде органического мусора: кусочки растерзанных рыб, миазмы от разложения трупов, ошметки ракообразных, ослизлые останки планктона. Крутой склон атоллового рифа, уходящий вниз, в черную бездну, был испещрен витыми воронками, разверстыми каменными карманами, в одной из таких скважин и был расположен отшельнический скит рыбы *Simplicitas*.

Из пещеры ей был виден лишь кусок сизой коралловой глыбы с единственной дыркой в ней — очевидно, отверстием норы другого отшельника. Но наблюдать за этой соседней норой было возможно лишь вползрения, одним глазом, приставив его к самому верхнему краю входного отверстия. Находиться долго в таком положении рыбе было трудно, к тому же надо было кормиться, на что уходило все время бодрствования, потому-то на протяжении многих лет ей так и не пришлось увидеть соседа. Лишь порою замечала она грязевые фонтанчики, которые с силою вылетали из скважины его пещеры, — таким образом сосед справлял нужду, не выходя из своего жилища. Впрочем, точно так же обходилась и сама рыба *Simplicitas*.

Но вот однажды, в пору, когда выбраться наружу уже стало невозможным ввиду размеров ее головы, превосходящих ширину лаза пещеры, рыба увидела круглый выпуклый глаз и кусочек жаберного щитка, выставленные во входном отверстии соседней норы. Глаз смотрел на *Simplicitas* с огромным интересом.

Это был первый и единственный живой взгляд постороннего существа, брошенный на нашу рыбу. И она через этот взгляд была мгновенно подключена ко всеобщей системе ясновидения, которая существует на земле со дня творения. Тогда же и я стал видеть ее, эту странную рыбу, которая всю жизнь проводила в своей норе, никогда из нее не вылезая, — а уж через абсолютно чистое зрение рыбы *Simplicitas* мне стал доступным и мой собственный феномен свободного и необузданного ясновидения.

2

Сидеть в каменной яме, глотать органический мусор, что падает сверху, никуда из пещеры не выбираться и никого не видеть — только раз в жизни чей-то круглый глаз да часть жаберной щели — это ли не самое ужасное времяпровождение на свете? Так думалось мне — не *Simplicitas*, которая о себе никогда не размышляла. Застыв с широко разинутым ртом, куда должна была медленно оседать океаническая муть, рыба могла бесстрастно созерцать самые дальние уголки и самые древние наслоения земного психического мира.

Это примитивное животное подводного царства, не хищница и не травоядное, однажды разобрало скрытые мотивы некоего печального для меня обстоятельства. Не понимаю, как это получилось, — но изо всех видений, во что превращаются быстротекущие дни нашей жизни, именно мои сахалинские страсти прошли через поток внимания *Simplicitas*, впрочем никак не отразившись на ее поведении. Даже хвостом не дрогнула и не взмахнула расписными, словно японские веера, широкими плавниками.

Но почему именно эта история пробежала через ее равнодушное провидческое сознание, словно импульс электрического тока? Зачем она *здесь* принялась все расставлять по местам, выискивая причины моего позора? Почему бы ей было не увидеть что-либо другое, вовсе не связанное со мной? Но как бессмысленны мои вопросы, до чего бесплодны эти попытки как-нибудь оправдать или немного утешить себя! Рыба же созерцала, как бы находясь в состоянии глубокого оцепенения, — ей хотелось поскорее добраться до конца этой истории, потому что в ее разинутый рот в этот момент упало что-то довольно крупное, нежно-филейное, кроваво-свежее. И рыбе надо было поскорее проглотить добычу. Так что она с торопливым небрежением пробежала весь финал моей истории — для того, чтобы в следующий миг сделать с огромным наслаждением свой вожделенный глоток.

Что же она проглотила? Возможно, кровавый ошметок мяса, выдранный зубами касатки из бока кита. Черный с белыми пятнами хищник впился, мотнул... потрянул головою, запустив свои страшные зубы в рыхлое тело морского гиганта, и мясо отскочило цельным куском от его тела... с глубоким чмокающим звуком... словно чудовищный поцелуй... в тугих фонтанах крови... в брызгах растерзанной, изорванной плоти. Кровавые ошметки мяса медленно, словно нехотя, стали оседать вниз, вниз...

Что же было тогда, поздно вечером, с моей Беатриче, когда она вернулась домой?

В тот же самый вечер, возвратившись в гостиницу, я все еще не догадывался, что это была она. Хотя имя и отчество, названные мне при встрече, были ее. Как же так? Отчего такое затмение?

Но ведь прошло столько лет с тех пор, как рыба *Simplicitas* начала крошить стенку пещеры зубами и, отломив кусочек коралла, относить его ко входу и укладывать на порог, в начатую ею ограду от внешнего мира. И лет через пятьдесят рыбе удалось поднять достаточно высокую баррикаду, сுவившую пещерный лаз до размеров ее пасти.

Но и моей возлюбленной, стало быть, уже далеко перевалило за сорок, ведь мы с нею были одногодками. А что может случиться с любой красави-

цей, когда годы ее подбираются, увы, к пятому десятку... *Я не узнал ее, я не мог узнать ее, я не должен был узнать ее в тот раз — иначе, может быть, произошло бы что-нибудь пострашнее моего прискорбного пострамления.* Рыба созерцала ничего не понимая — как было ей понять, что, впервые увидев М. Т. в семнадцать лет, я мгновенно сошел с ума и в болезни этой, в испугленном помрачении, провел всю остальную жизнь! Девушка действительно представилась мне божественно красивой — встретив ее лет через тридцать, я и на самом деле не узнал богиню своей юности. Крашенные в цвет ржавчины седые, должно быть, жидковатые волосы... Не очень удачные вставные зубы... Пощадите! Рыба *Simplicitas*, пощади!

Ведь мне всю жизнь представлялось, что у М. Т. были небесно-голубые глаза, а у этой крашеной дамы оказались глаза невнятного цвета, намешанные, болотного оттенка... Значит ли это, что сокровищ никогда не было? Или это значит другое: сокровища унесены ворами? Но так или иначе — как же, наверное, я сделал ей больно! Ничего еще не понял даже тогда, когда был задан мне прямой, отчаянный вопрос:

— Это правда, что вы в детстве полюбили меня и потом всю жизнь любили?

На что я ответил удивленно:

— В детстве?.. Где это? В детстве мне приходилось жить в самых разных местах... Так где же?

— На Шикотане, — был поспешный, пожалуй, слишком поспешный ответ.

— Ну что вы! — едва ли не возликовал я. — Никогда не приходилось там бывать. В детстве я жил, правда, с родителями на Камчатке. Но на Курилах мы никогда не жили...

— Значит, это ошибка, — опять торопливо, как бы даже нетерпеливо произнесла она и быстро, с выражением легкого пренебрежения на лице, отвернулась от меня.

В проявлении этой нетерпеливости, в том, как она произнесла последние слова и резко отвернулась в сторону... — что-то едва узнаваемое, очень и очень далекое, кольнуло в край моего сердца. И я все же решил уточнить.

— Мне скоро будет пятьдесят лет. На Сахалине в последний раз я был лет двадцать пять назад... Это полжизни, знаете ли... Скажите, пожалуйста, не сердитесь на меня — но на сколько лет я старше вас?

Ах, рыба, рыба *Simplicitas*! Это я с такой примерной галантностью выспрашивал у немолодой женщины, сколько ей лет. И она ответила, усмехнувшись:

— Лет на пятнадцать, пожалуй.

— Вот видите! — я, понимаешь ли, едва не захлопал в ладоши. — Мое детство прошло намного раньше вашего...

Но что бы там ни было, каких бы нелепостей ни нагромождалось в нашем дальнейшем малосодержательном разговоре, — но убийственная истина все же прошла, словно острое ножа, сквозь все слои ложных ухищрений и достигла ее сердца. Истина, вонзившаяся в это сердце, была такова. *Значит, никогда не было той любви, на гробе которой вырастают красивые цветы и произносят клятвы все новые и новые влюбленные.* Я не узнал женщину и тем самым невольно нанес ей смертельную обиду и боль... Значит, не было любви?

А что же было тогда? Я-то полагал, ссылаясь на *свою* боль, которая оставалась со мною всю жизнь, что любовь была. Что благодаря ее утрате я обрел свое могущество ясновидца, имеющего связь со всеведущей рыбой *Simplicitas*. Подобно тому как Беатриче духовно породила великого поэта, в моем случае тайны ясновидения открылись мне благодаря одной хрупкой, прелестной натуральной блондинке. Произошло это в самую страшную для меня минуту, когда мне *стало ясно видно*, что кое-как и пройдет вся моя жизнь — но без нее, совсем, совсем без нее.

3

То есть у истоков моего ясновидения и чудодейственного врачевания находилась моя собственная Беатриче. Так я считал, тем и утешался. Великая любовь к М. Т. оказалась для меня недоступной, как звезда небес, но взамен несвершенности и во искупление моих горьких юношеских слез судьба дала мне дар пророчества и способность бесконтактного лечения людей. Небо пожалело и вознаградило горемыку возможностью творить чудеса. И те государственные мужи, которым я предрек точную дату получения ими власти, матери, узнавшие через меня, где находятся их пропавшие на войне дети, безнадежные больные, которых я исцелил, — все они должны благодарить свою счастливую звезду и еще — одну миниатюрную блондинку, которую я когда-то утратил. Произошло это не по какой-нибудь моей вине или промашке, а единственно потому, что был я очень молод, беден, ничем не примечателен — совершенно не интересен для той, которую я любил.

Многие мои пациенты, приходившие ко мне, чтобы получить исцеление, потом так и не смогли поверить, что это я их вылечил. Им было непонятно, хотя я всем терпеливо объяснял, что их опухоли являют собою, несмотря на свой порою чудовищный вид и размеры, жалкие призраки каких-нибудь умерших надежд, фантомы насильственно убиенных страстей — оборотней любовных самоубийств. И мне, научившемуся целенаправленно направлять внутреннюю энергию, ничего не стоило проникнуть своей волей в пределы больных органов пациента, туда, где царят эти призраки, и изгнать их оттуда силою своего духа.

Чтобы проводить подобное лечение, мне вовсе не обязательно было встречаться с больным, контактировать с ним — достаточно было его фотографии, какой-нибудь личной вещи, одежды. В иных случаях мне просто надо было поговорить по телефону или узнать имя человека — и я мог поставить диагноз и лечить его. А можно было и безо всякой информации — очень часто я сам узнавал, через *ясное видение* рыбы *Simplicitas*, об опасной болезни какого-нибудь совершенно незнакомого мне человека и, находясь от него на огромном расстоянии, полностью излечивал его. Разумеется, эти-то больные никоим образом никогда не могли узнать о том, что были на волосок от смерти и спаслись благодаря моему незримому вмешательству.

Конечно, было бы справедливо, если все эти выздоровевшие и спасенные узнали бы, что я свои магические подвиги, все до одного, посвящал некой Дульцинее, подобно Дон Кихоту. И как он, я хотел бы каждого спасенного отправить в паломничество по направлению к ней, своей возлюбленной, чтобы тот предстал перед красавицей и открыл ей имя своего благородного спасителя. Но увы! Сапожник, как известно, часто без сапог — пророк и предсказатель, ясновидец и фантастическая ищейка, я, потерявший однажды в московском универмаге, в толпе покупателей, свою несравненную, нигде потом не мог ее обнаружить. И рыба *Simplicitas* ни разу не показала мне, где, как поживает на белом свете этот самый желанный для меня человек...

Но что могла бы сделать рыба, если я сам не захотел больше искать девушку. Странное вышло дело — моя любовь как бы покончила самоубийством. В одно мгновение я потерял всякую надежду и отказался от всех попыток следовать за волшебной флейтой...

Что же произошло на самом деле? Почему я не захотел больше искать ее, увидевшись с нею еще раз — предпочел похоронить ее в своем сердце? Неужели причина была в том, что *такой любви не было* — потому что просту ее не бывает на свете? И мне все это пригрезилось?

Но как же тогда дар прорицателя и могучая сила целительства? Какую же тогда я дал цену, чтобы получить их от судьбы? Я-то полагал, что за-

плачено моей отчаянной юношеской любовью. Заплачено ценою светлого счастья, которого я никогда не получил.

Итак, мало кто верил мне, когда я излечивал их от рака или туберкулеза, обходясь всего лишь тем, что рассказывал им о своем бесконтактном методе, и после этого отсылал домой. И хотя семьдесят — восемьдесят процентов из тех, что обращались ко мне, получали полное и окончательное выздоровление, слава моя как народного целителя была не очень громкой. К тому же я не назначал никакой платы за лечение, хотя и не отказывался от нее, если человеку хотелось отблагодарить меня. А недорогой целитель всегда вызывает сомнения, большой славы ему не видать. Однако я не гнался за нею.

И все же большая международная слава пришла к мне, она была связана не столько с целительством и врачеванием, сколько с прорицательством и ясновидением — с рыбой *Simplicitas*. Два чужедальних президента, болгарский и южнокорейский, оба в разное время побывали у меня перед тем, как им выставляться на выборах. Обоим я правильно предсказал получение самой высшей власти. Бывали у меня и премьер-министры, и просто министры, спикеры парламента, сенаторы, думцы и прочая, прочая — вся королевская рать, желающая узнать от прорицателя, удастся ли и на этот раз обмануть всех и заполучить в руки вождеденные рычаги власти. И хотя мне вовсе не по душе была эта публика, столь откровенно жаждавшая пограбить свой народ, при этом еще и обезопасить себя парламентским иммунитетом, — но я не мог не сообщать им того, что было у них на роду написано. И они через мои прорицания еще больше укреплялись в своей сверхъестественной наглости и даже могли пробудить в себе ее дополнительные резервы, что и обеспечивало их дальнейший неукоснительный успех. Однако, получив свое, никто из этих проходимцев не вспоминал обо мне, ни разу никто не посчитал нужным каким-нибудь образом отблагодарить меня. Все было в порядке, рыба! Получающие даровые блага от государственной кормушки — на то и нацеленные всей страстию души, — эти баловни судьбы считали и мои прорицания безвозмездной народной данью для себя!

С тех пор, как почувствовал я в себе способность прорицать и исцелять, я живу странной, непостижимой, как чужой сон, беспокойной жизнью. Я много работаю, поправляя или заново воссоздавая разрушенное здоровье тысяч людей, которые в большинстве своем не особенно верят в мое искусство или даже вовсе не знают о моем существовании. Рассказывая про удивительные видения рыбы *Simplicitas*, которые вскоре должны стать явью — словно стихи, что вначале приходят к поэту бессловесной болью сердца, а потом становятся хрестоматийным текстом, — я добиваюсь необыкновенных успехов у публики, стремительно и неотвратимо возвещаю, грозно прорицаю. Но до чего бессмысленна и пуста моя работа! Излеченные от рака больные вдруг умирают от дифтерии, напророченные мною властители совершают неслыханную мерзость, а потом их смещают. И сам я оказываюсь неизлечимо болен надвигающейся старостью, ясно предвижу полное одиночество перед смертью — как у всех пророков и не пророков. Конечно, обо всем этом я знал и раньше, мне кажется, что всегда знал, — о, сколько помню себя, столько и было мне одиноко и грустно.

Но я полагал, что в моей жизни была М. Т., и одно это уже делало мою жизнь несколько иной, чем у всех.

4

Ясновидящим я стал буквально в один день, тот самый, когда, будучи еще студентом химического института, однажды совершенно нечаянно встретился в огромном магазине, на переходе, со своей Беатриче. Я ее знал еще по Сахалину, учась в средней школе, но она жила в другом горо-

де, приезжала в наш погостить у своей подруги, с которой я учился в одном классе... Я подошел к ней, поздоровался и, не чуя под собой ног, зашагал рядом, спускался по широкой лестнице вместе с нею с какого-то верхнего этажа универмага, мучительно искал повода заговорить о чем-нибудь интересном.

И в эту самую минуту вдруг обрел способность чистого зрения. *Я увидел, что эта девушка, женщина, миниатюрная, прелестная, проживет свой век без меня.* Пробыв несколько секунд в глубочайшем трансе, я не заметил того, что М. Т. куда-то незаметно исчезла, затерялась в магазинной толчее. Вполне возможно, что лукавая девушка сбежала от меня, докучливого типа, который еще на Сахалине надоедал ей, а теперь в Москве умудрился найти ее в огромной толпе, — шмыгнула куда-нибудь в сторону... А я был весь в холодном поту, я стоял пошатываясь посреди густого людского потока. Меня толкали, бранили какие-то женщины, с возмущенным видом обходили мою нелепую несчастную фигуру. Отстраняющую каменную руку судьбы ощутил я на своей груди, и далее мне не было ходу. *Я встречаюсь с нею еще один раз через много лет — на Сахалине. Передо мною был пыльный, с ободранным асфальтом, невзрачный переулок где-то на окраине Южно-Сахалинска. Серого цвета некрашенные заборы, какой-то жесткий урбанистический пейзаж впереди, черная труба на растяжках — и две женщины, идущие рядом со мной.*

Все так и свершилось в точности. Была неказистая улица южносахалинской окраины, на широком перекрестке сухая пыль неслась по асфальту, словно поземка. Две женщины вели меня куда-то, пригласив на чай в дом одной из них. А только что перед этим я выступал на встрече с рабочими вагоноремонтного завода, которая состоялась прямо в цехе.

Столичная Академия народных целителей и магов, коей членом являлся и я, послала меня на остров Сахалин, чтобы нести в отдаленную провинцию свет новых знаний нетрадиционной медицины и познакомиться сахалинцев с практикой белой магии и провести сеансы ясновидения. Но местные власти, еще не достигшие новых уровней мышления, представляли еще все по-старому, мыслили прежними категориями, поэтому и послали меня встретиться с рабочим классом на вагоноремонтный завод. И бедная рыба *Simplicitas*, вытаращив глаза и широко зевая от скуки, просмотрела один из самых рутинных спектаклей из той жизни. Где без всяких шуток считалось, что работники верят тому, о чем говорили им их надзиратели-чиновники: *вы не рабы, рабы не вы, вы хозяева.* Считалось, что работягам надо давать побольше культурных знаний, но так как чумазные хозяева слишком заняты на работе, времени у них нет — пусть знания сами-де придут к ним. Да прямо в цеха, и лучше всего — в обеденный перерыв, минут на двадцать, на полчаса, что остается у них после приема пищи, — прежде чем рабочие снова по-хозяйски приступят к работе.

Так мы и жили — вынуждены были так жить, — но я уже давно научился выходить за пределы своего бездарного времени и уноситься, как правило, в будущее, где меня уже не окажется. Это я больше любил, чем уходить в прошлое. Но иногда мое *чистое око* могло обратиться и туда — и там, в далеком прошлом, частенько набредал я на самого себя, который с чувством тоскливого отчаяния в душе занимался какой-нибудь очередной хреновиной с морковиной вроде встречи в цеху с рабочими. Это, значит, для того, чтобы рассказать им о бесконтактном врачевании и о передаче информации вне фактора пространства и времени — о том, чего нет, не будет, никогда не может быть и, главное, не должно быть в их жизни.

Все, все мы предстаем в видениях рыбы *Simplicitas*. Но не каждому из нас дано самому увидеть ее. Может быть, не каждый из нас и существует, несмотря даже на наш гражданский паспорт и на твердые трудовые мозоли на руках.

Однако чего ради искать в прошлом встреч со своим внутренним гением? *Simplicitas* всегда в настоящем. Я смотрю на рыбу — рыба смотрит на меня. И мы в том самом мире, о котором было сказано: *И увидел я новое небо и новую землю: ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.*

Моря уже нет! На земном шаре перестали быть все моря и океаны — Тихий, Ледовитый, Индийский, Атлантический. На их месте раскинулись цветущие просторы нового глобального континента. Таким образом и создались на обновленной планете огромные жизненные пространства, достаточные для того, чтобы на них могли разместиться все воскрешенные праведники.

Да, места стало много, и вместо океанов водный баланс всей земли обеспечивают многочисленные новообразовавшиеся реки пресной воды, большие и малые, которые замыкаются в общей колоссальной единой водоносной системе планетного организма.

Итак, земля была, вода была — но не было воздуха! Того самого неосязаемого безвкусного воздуха, которым дышали мы все, пока жили. А было недоступное для нас, прежних, грешных, какое-то особенное «новое небо». И рыба *Simplicitas* со скорбью и сожалением смотрела на меня, выступающего перед вагоноремонтными рабочими. Все мы до единого были и лжецами, и любодеями, и, вполне возможно, даже убийцами — а потому и недостойными существовать под новыми небесами. Рабочие сидели на длинных деревянных обшарпанных скамейках и внимательными, недоверчивыми глазами закоренелых грешников взирали на меня, прибывшего из столицы лектора-экстрасенса, одного из многочисленных чародеев конца второго тысячелетия.

5

После того, как я закончил свою нелепую встречу с рабочими, все же попутно излечив двоих из них — одного от цирроза печени и другого от пиелонефрита (о чем работяги и сами не ведали!), — а также изрек пророчество о том, что через год и два месяца Империя распадется и в ней наступит предапокалиптический ужас, а непосредственно на Сахалине произойдет страшное землетрясение, — я направился к выходу сквозь расступившуюся толпу рабочих (их стало гораздо больше: должно быть, пришли те, что уходили обедать в рабочую столовую), и тут меня остановили две женщины, которые отрекомендовались журналистками местного радиовещания. Во время лекции, когда я, должно быть, погрузился в транс, эти две женщины пробрались в первый ряд и затем поставили свои записывающие устройства на широкий стол, сколоченный из некрашенных досок, посреди которого валялись разбросанные фишки домино...

И потом мы шли по пыльным южносахалинским улицам к дому одной из них, куда меня пригласили на чашку чая. Я неожиданно для самого себя принял приглашение, хотя обычно этого не делаю, избегая ненужных утомительных знакомств со своими пациентами, — все, все, кого мне только приходилось узнавать на этом свете, непременно становились моими пациентами. И когда мы пришли на какую-то безликую, неуютную квартирку и там разговаривали, пили чай — ни разу я не вспомнил о том, что когда-то впервые предстало моему ясному видению. Не вспомнил, как рыба предсказала мне, что я встречу М. Т. еще только раз в жизни и эта встреча произойдет через двадцать пять лет на Сахалине.

О, разумеется, это большой срок, за такое время многое изменилось во всем мире, и на Сахалине, и во мне самом, и в моей постаревшей на четверть века Беатриче. Но она так хотела помочь мне! Она старалась вести себя и разговаривать со мною таким образом, чтобы я мог узнать ту своеобразную, гордую, прелестную девушку, уверенную в своем высоком пред-

назначении. Эти внезапные умолкания посреди фразы... Резкие перемены темы и уходы в сторону при разговоре... Эта неожиданная чарующая улыбка, обнажавшая не только зубы, но и розовые влажные десны... При этом глаза остаются серьезными, даже как будто хмуроватыми.

Рыба *Simplicitas*! Ты наблюдала из своей засады за жестокими терзаниями этой гордой души, но сама ты оставалась при этом холодной и бесчувственной, как и всегда. Конечно, М. Т. было известно мое имя, ставшее довольно популярным в Империи периода распада, когда весь народ и его правители на самой верхотуре государственности вдруг усиленно заинтересовались всякими магами и чародеями, экстрасенсами и колдунами, астрологами, знахарями, шаманами, ворожеями, ясновидящими и народными целителями.

Отбросив всякий идеологический стыд и прежний воинствующий материализм, гомо советикус кинулся в астрологию, побежал к знахарям, прильнул к экранам телевизоров, с которых маги с обличьем мелких уголовников проводили на всю колоссальную державу сеансы одновременного лечения всех от всех болезней. Некоторые из нас были использованы в государственной службе, лечили правителей, гадали им, состояли при военной разведке и секретных органах специального назначения. Обслуживали мы и новорусскую элиту — разбогатевших бандитов, народившихся капиталистов и коммерсантов, крупных банкиров. Реклама для чародеев была создана неслыханная... И М. Т. не могла не знать обо мне, тем более что работала сама много лет на радио.

Она вдруг стала мне рассказывать, что муж ее де в каком-то долгосрочном отсутствии, что дома с нею семнадцатилетний сын, которого она очень любит, балует... Я с недоумением смотрел на нее (рыба впоследствии беспощадно, в замедленном действии, продемонстрировала всю эту постыдную для меня сцену), я не понимал, к чему все это. Ну что мне до какого-то семнадцатилетнего парня, *который здоров как бык, но у него в носу аденоидные полипы, их надо бы попросту вырезать, однако я попробую, пожалуй, их удалить другим способом...* — зачем мне знать, что он ушел гулять и оставил матери записку: мол, вернется очень поздно или, может быть, даже задержится до завтрашнего утра? Возникший в поле моего внутреннего зрения еще один неизвестный человеческий субъект ничем не выделялся из тысяч и тысяч других таких же, существующих где-то и, скорее всего, навсегда безвестных для меня. От бесконечного сонма подобных призраков я так уже устал. И этой усталостью можно объяснить ту беду, которая случилась со мною тогда, — за весь вечер, что провели мы вместе на квартире у подруги и сотрудницы М. Т., ни разу в моей провидческой душе не промелькнуло хоть что-нибудь близкое к догадке...

6

Я находился в двух шагах от нее (кажется, я даже вел ее под руку вечером, в темноте, когда любезные радиодамы решили проводить меня до гостиницы, и мы шли через какой-то широкий пустырь — кажется, моя рука запомнила нежное, шелковистое, беспомощное ощущение мимолетного прикосновения к ее телу), несколько часов был рядом с тою, которую только и любил в жизни... и я не узнал ее.

Так, может быть, и на самом деле ее вовсе не было, этой любви? Тогда что же было? А ничего не было. Ни рыбы *Simplicitas*, ни угаданных мною заранее президентов и министров, ни тысяч и тысяч излеченных от смертельных недугов людей — ни самих этих людей, ни того странного, томительного, бессмысленного мира, в котором они якобы должны были вести свое бессмысленное существование.

И все же — я есть и что-то со мною происходило. Если то, что со мною происходило, нельзя называть любовью, можно ли ею называть то,

что бывает почти со всяким, даже с косматым дикарем тропической сельвы, который ходит голым и вместо штанов носит какую-то интимную бамбуковую трубку? То, что умеет делать с женщиною дикарь, размонтировав эту трубку, ничем не отличается от того, что может и какой-нибудь господин киноактер Н. М., сняв свои цивилизованные штаны, — и *это* моя душа не признавала любовью.

То, что пробудилось и буйно произошло в этой душе, когда мне было семнадцать лет, да так в душе и осталось, никуда не вырвавшись, — несомненно являлось любовью. А то, как я испугался чего-то и перестал искать М. Т. — после встречи в универмаге никогда больше не пытался найти, увидеть ее, — имело причиной мистический страх потерять или, точнее, самому умертвить свою любовь. Убить эту любовь тем, чтобы затащить ее в разряд унылых действий, доступных и дикарю, и мужскому секс-символу, киноактеру Н. М.

Но я не захотел следовать за нею — потеряв ли надежду, испугавшись некрасивости жизни — и тем самым все равно убил любовь. Я как бы принес ее в жертву, ею заплатил за то, чтобы стать одним из популярных чародеев двадцатого века. Вместо призрачного счастья, вызывающей в человеческих сердцах спазм пронзительной жалости к быстротекущей жизни, я заполучил рыбу *Simplicitas*, которая живет в каменной норе, никуда из нее не выбираясь.

И я, находясь рядом с тою, которая была моей Беатриче, недоумевал, почему эта крашенная, немолодая, неизвестная мне женщина так волнуется и разговаривает со мною несколько странным образом — нетерпеливо и с какою-то плохо скрываемой досадой. Я выслушивал неинтересные для меня истории про семнадцатилетнего парня — *с врожденной сатанинской гордыней, что и станет причиной многих неудач в его жизни, а однажды он попытается выместить их на родной матери...* Я скучал, томился чуждостью всего окружающего, ненужностью этой встречи — я любил ее всю свою жизнь, она стала причиной перелома моей судьбы, причиной того, что я не захотел быть инженером-химиком, а стал целителем-экстрасенсом... — и вот я не узнал ее.

Она же захотела со мною встретиться, когда я стал уже толст, лыс, некрасиво знаменит, морщинист, с набрякшими мешочками подглазиев, с тяжелой усталостью на душе. И я не узнал ее даже тогда, когда она отчаянно и откровенно намекнула, кто она, задав вопрос, *правда ли, что я любил ее в детстве?*

Но откуда она-то сама могла узнать об этом, равно как и о том, что я всю жизнь продолжал любить ее? Кто мог открыть ей такое? Или в Эпоху Всеобщей Растерянности, словно перед концом света, маленькая крашенная женщина стала, как и многие из нас, пророчицей и яснознающей, читавшей в чужих душах? Рыба *Simplicitas* не ответила мне на этот вопрос.

Зато она сделала интимное признание, которое каким-то отдаленным образом могло объяснить мне причину возникновения того конфуза, постыдного для меня и мучительно оскорбительного для М. Т., имевшего место при нашей встрече — последней на этом свете. Рассказ рыбы касался того, что и она, *Simplicitas*, в своей жизни любила...

— У тебя любовь была, — говорила мне рыба *Simplicitas*, — потому что в молодости твоей, как и у многих, был избыток энергии выживания. Его бывает гораздо больше, чем надобно для этого выживания, а ты был к тому же особенно щедро наделен от природы. И вот, значит, твой излишек и был твоей любовью, и его оказалось довольно много. Но с годами энергия выживания, отпущенная человеку, постепенно оскудевает, и к старости ее остается ровно столько, чтобы только поддерживать само существование. На любовь уже нет энергии. И ты не узнал свою Беатриче не потому, что твоей любви в этом мире никогда не было, что она оказалась лишь ложной тревогой юности. Нет! Не печалься. Ты не узнал М. Т. не

потому только, что она постарела и катастрофически изменилась, как то бывает со всеми женщинами. Ты не виноват. Ибо не узнал свою любимую по той простой причине, что к этому времени уже не осталось у тебя лишней жизненной силы, которая и есть любовь. Не ты не узнал — *ничто* не могло узнать самое себя.

Далее последовал такой рассказ. В какое-то определенное время юности рыба *Simplicitas* впервые увидела, припав глазом к верхнему краю входного отверстия, соседнюю пещеру и в ее темном отверстии — чей-то круглый глаз и кусочек серой жаберной пластинки. Когда рыба стала взрослой, пришла к ней любовь, и она полюбила хозяина того загадочного глаза. Настал день, когда она, охваченная небывалым волнением, заворочалась в своей пещере, и невыносимым стало для рыбы пребывание в ней. Опустытели ей тревоги ночи и дневное насыщение унылой пищей — падающим сверху мусором моря. И, сделав над собою небывалое усилие, *Simplicitas* свернулась в кольцо и стала крутиться в норе, словно беличье колесо. Неизвестно, как долго она пребывала в этом круговращательном движении, — но в какое-то мгновение вся ее воля к жизни, которую она ни у кого не вымолила, не забрала, а получила совершенно непонятным образом, вдруг сосредоточилась на едином неимоверно сладостном действии. Рыба замерла перед входным лазом и, выставив в него нижнюю часть брюшка, мучительно напрягаясь, извергла из себя красную как кровь, длинную струю икринок. Затем успокоилась, повернулась и, взглянув на соседнюю нору, увидела, как оттуда выливается молочно-белая, мутная, дымящаяся струя. Облитые этой струей, красные икринки *Simplicitas* медленно утонули, ушли вниз, в черную бездну.

— Вот какова была моя любовь. Оказывается, мы любим в своей жизни всего один раз. Оплодотворенные икринки моей первой и единственной любви плавно опускались вниз, скользя по отвесной стене кораллового рифа. Некоторые из них были тут же подхвачены и проглочены плавающими вблизи атолла пестрыми рыбами, другие же медленно, как бы нехотя, но неотвратно уходили в бездонную темную глубину. А иные попадали в такие же пещеры, как и моя, где обитали другие отшельники *Simplicitas*, и прямиком опускались в их разинутые пасти, подставленные в виде широких корзин ко входным отверстиям. И лишь одна из тысячи икринок оказывалась в какой-нибудь свободной, никем не занятой пещере и там, пролежав определенный срок в укромной расщелине, однажды вдруг начинала шевелиться, дышать всей оболочкой... И вскоре, разорвав ее, на свет являлся крошечный малек *Simplicitas*, потомственный жилец пещеры, новый отшельник атоллового рифа. Таким образом появились и я, и тот соседний житель, моя первая и единственная любовь, в своих пещерах — все мы, никогда не выходящие за их пределы, во внешние воды, потому что там опасно и, что там говорить, — ничего интересного, ну, ничего интересного ведь нет для нас.



ЭЛЬМИРА КОТЛЯР

*

ТЫ

1

Твой дом на снегу — как храм!

И еще он мне кажется белой высокой свечой. Она горит в ночной тьме и не сгорает.

И еще белый, холодный, неудобный куб твоего дома похож на глыбу льда, на айсберг. Он неприступен.

И еще он твоя обитель, хранитель твоего очага, крыша над твоей головой. Он становится твоим телом. А сам ты в нем — душа и сердце.

И стена под моей рукой теплеет, как будто это твое плечо, или, может быть, стены передадут мне твое касанье.

Все-таки ты там дышишь, ходишь, живешь, все углы обжил.

Каждый предмет ты трогад, каждый клочок стены, зазубрины на полу, выступы — все твое, во всем — ты.

2

И вдруг ты идешь мне навстречу и я воочию вижу твое лицо.

И я могу смотреть и не ослепнуть, а только водить по нему взглядом.

Кто счастливей меня, кто безумней?

Кто не позавидует мне, тот пуст, как барабанная шкура!

Я тебя увидела! И не могу поверить и все повторяю в уме твое лицо, и голос, и речь, полные чуда и радости.

А я уже не знала, что мне и делать в последние дни. Путь мой был во что-то черное и безвыходное, куда и заглядывать невозможно постороннему человеку.

Я была мертва и только обманывая окружающих двигалась как кукла, с пустыми, выжженными глазами.

А теперь у меня ничего нельзя отнять, ни этого ликования, ни моего безмерного богатства.

Ты — больше самой жизни. Ничего больше нет.

3

Все в тебе, и хорошее, и плохое, я принимаю как должное.

Все люблю, всем дорожу. На всю жизнь ты один. И сейчас последний час, последний раз в жизни я люблю.

Без тебя я бедна, нища, слаба. С тобой была бы немислимо высоко!

Ты — моя вершина, потолок, верх надо мной.

А кроме тебя за всю жизнь никто не был верхом. Ты надо мной, как небо!

4

К сожалению, меня нельзя остановить, как поезд на полном ходу, как самолет на лету. Поезд врежется в насыпь. Самолет упадет в чашу и полома-ет фюзеляж и крылья, и сгорит в воздухе или на земле. Какая разница? Он летит!

5

Сказать, что я люблю, значит ничего не сказать. Я люблю все, что застала, что еще есть и сохранно в тебе. Что будет и развернется... Тысячу раз жалею, что не дано было видеть тебя и знать всегда, раньше, раньше и совсем рано. А какая глупость! Пятнадцать лет мы ходим по одной дороге. Мы, наверное, видели друг друга мельком, проходя мимо, и сейчас мимо.

6

Вся моя любовь не в состоянии растопить маленький кубик льда в твоём сердце. От него горят руки, он быстро тает, вынутый из холодильника...

7

Целые дни я ликую, что ты у меня есть, что тебя не отнимут никакие обстоятельства, что любовь моя независима. Она ни в чем не нуждается. Ей нужен только ты, а ты существуешь. Я знаю, что ты есть. Глаза мои все время видят тебя, не налюбуются твоей некрасивостью, твоей дивной природой. Солнце, весна и ты, ты, солнце и весна — все это во мне. Мой тихий оркестр из камерного превратился в симфоническую громадину. Да еще орган, да еще человеческий голос! Что за чудо такое, чтобы поднять на дыбы мою душу, такую сморщенную, ссохшуюся, давным-давно мною истребленную за ненужность?! Как славно говорить о тебе, заливая нежностью, как зарей, все вокруг до макушек высоких сосен!

8

Минутами мне кажется, я начинаю понимать, что означает «не любит». Это холод, подобный антарктическому айсбергу, вечной мерзлоте, ничем не растопимой, холоду Заполярья, запредельному холоду, неподвластному человеческой воле. Моей слабой, теплой, но бесполезной воле. Такой человеческой и малой...

9

И подумать только! Ты есть, ты светишь, ты сияешь, а я, как слепец, в темноте. Я тыкаюсь в углы своей холодной комнаты и не нахожу тебя. И весь город, и весь мир — одна холодная комната, где нет тебя, где я тебя не нахожу, а мне так необходимо видеть тебя — стать зрячей!

10

Когда ты уходишь, прощаешься так резко, как будто обрываешь ниточку и конец ее уносишь с собой. Хотя другой конец у меня, но его не привяжешь.

Ты и руку не подаешь, а убираешь, чтобы не оставить случайно.
Будто я могу ее схватить и не отдать.

11

Я хотела бы с самого рожденья знать твою жизнь день за днем, быть свидетелем каждого часа.
Я пытаюсь угадывать, выдумывать, додумывать, по крохам собирать, как будто бережный археолог на месте бывшего поселения.
Черепки, черепки!..
Нет! Сосуд твоей жизни полон. Она перелилась в другую, самую большую и полную амфору.
Но я из нее не пью. Мне бы увидеть те пустые сосуды прошлого.
Они тебе, может быть, больше не нужны, а мне необходимы.

12

Огромная, не слышная никому музыка заполнила весь купол моей груди и уже, кажется, вырвалась из горла наружу, на улицу.
Она в моей руке, как в смычке.
И как будто твоя рука очертила тушью переулки, которыми мы проходили, как главные во всем городе. И там был совсем другой воздух и свет!

13

Страшно просыпаться и смотреть в лицо своей изуродованной совести!
Считать подлость подлостью. Глядеть в глаза правде. И все-таки стремиться к счастью, как будто имеешь на него право.
Я надеюсь, что у тебя не бывает таких дней, что тебе не надо растрчивать и убивать силы на суд совести твоей.
Если же ты не прав, я прощаю тебя..
Я беру на себя твоя зло, бедный!

14

Твое лицо, твои глаза — сегодня я видела их поближе. Они были спокойно округлены, не светились, и потому их цвет выступил определеннее.
Они какие-то крапчатые, не сплошные... Где-то коричневый тон, а рядом потемнее и посветлее. А вместе — светло-карие.
Я разглядывала рельеф лица, к которому так и не успела привыкнуть.
Брови почти медно-красные. Под ними прочерчены полукружия морщин, один круг, другой. Много штрихов и линий на лбу. И уже глубоко откатившийся назад к затылку лоб. И волосы сочные, рыжие.
И прядь седины между ними. И волосок, который оторвался, но еще не опал.
И руки твои, они оказались до самых запястий в пушистой рыжеватой ровной соломке.

15

Каждый штрих твоего карандаша отлит в типографии. Кажется, что движение твоей руки еще не остыло, карандаш еще чиркает по бумаге.
Мне хочется потрогать губами страницу, как лошади руку хозяина.

16

В черной блузе с закатанными рукавами и в джинсах, рыжий, ярко-медный, с острым птичьим клювом, но очень соразмерным, плавно изогнутым, ты как будто большим ястребом летел с неба. Оно было светлое, полное глубокой ясности, и ты был хорошо виден летящий, с распростертыми руками. А может быть, то был летящий медно-рыжий вестник неба!

17

Я стояла возле тебя, ловила твоё дыхание, смотрела на то, что попадалось глазу: на блузу, на шов джинсов, линию бедра, ботинок, и снова вверх, туда, где ореол головы, где шевелятся губы!..

18

Твои глаза! Как жаль, что я не вижу ими. И как они говорят до странности ясно, осязаемо, будто словесно, расставляя знаки препинания. До чего много они могут сказать молча!

19

У тебя там, за городом, наверное, запушился лес, трава по обочинам вылезает плешью на оттаявшем снегу. Ты выходишь, и твои меткие, жадные глаза вдыхают весенние дни. Я давно уже не видела весны, а теперь увидела. По колено в воде породистые, густые елки. Березы полыхают тоненькими стволами. Островки снега среди воды и прошлогодней листвы, мокрой глины и травы оттаявшей, бурой, заспанной. Застекленные льдом лунки. Сквозь них, как сквозь хрусталь, светит вода. А слышишь, как шлепает, всхлипывает, сопит дождь, точно у него от голода бурчит в животе, а ручки захлебываются, как младенец соской?

20

Зачем я с таким напором пробиваюсь к твоей душе? Я толкаюсь в нее, как в безнадежно запертую дверь. Нет, не так. Я отпираю все свои двери, распахиваю настежь и, еще не зная, кто на пороге, говорю: «Войди, путник, погрейся, здесь тебе будет тепло. Я постараюсь, чтобы тебе было хорошо». А сама хочу только сидеть у огня и смотреть, как играют его отблески у тебя на щеках.

21

Ты, наверное, дома. Ведь уже девять часов вечера. А я внизу, как бродяга, вокруг дома хожу, топчусь, голову задираю. И горько и сладко мне, что хоть стены узрела, хоть парадное увидела, хоть подержала за ручку входную дверь. И случается же такое чудо, что тыходишь в дом, поднимаешься на лифте или едешь вниз, выходишь из дому, вот из этого подъезда. Счастливые стены! Счастливые двери!



РАССКАЗЫ ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Не проходит дня, чтобы на редакционный стол не легло несколько пакетов с рукописями. Иногда — толстых, подчас очень толстых, иногда — совсем тоненьких. Иногда — из больших городов, иногда — из населенных пунктов, которых даже нет на карте. Нам присылают свои произведения авторы, которые никогда не видели напечатанным свое имя, и шлют те, кто публиковался уже не раз, в том числе и в нашем журнале, но в последние годы по разным причинам связь с ними оказалась прерванной. Почта — при всех наших нынешних претензиях к ней — помогла восстановить этот утраченный контакт.

Все рассказы, которые вы прочтете сейчас, взяты нами из редакционного почтового ящика. Это — первая подборка подобного рода и, дай Бог, — не последняя.

ВЛАДИМИР НАСУЩЕНКО



ПЛОТНИК И ЕГО ЖЕНА

Так уйдем с этих игр, уступим место хватающим!
Пусть они зарятся на эти ненадежные блага, чтобы вся их жизнь стала еще более ненадежной.

Сенека. «Нравственные письма к Луцилию».

Борис Федорович купил дачу на Карельском перешейке за тридцать пять тысяч долларов и теперь благоустраивал ее. Все было в порядке, кроме туалета, который не нравился: узкий, темный. Надо перенести на новое место и расширить. Тут плотник подвернулся. Пришел из города искать работу. Договорились. В субботу должны приехать гости, поэтому Борис Федорович поторапливал. Плотник все сделал как полагается. Понукать не было нужды. Он был одет в афганку, штаны с карманами, на голове жесткая полевая шляпа. Видно, что служил в армии. Запомнились его торчащие, как корчётка, усы. Он приволакивал ногу. Борису Федоровичу он понравился своей напористостью. Переубедить его было невозможно. Когда плотник копал яму, наткнулся на валун. Борис Федорович приказал рыть яму в другом месте. Но плотник не согласился, подкопал камень, принес вагу и вывернул валун из гнезда на подставленную доску.

— У нас это делается так, — сказал он.

Наверное, он хотел получить большие деньги, старался. Взгляд у него был спокойный, такие люди способны на многое: хоть к стенке ставь — сделают по-своему. Борис Федорович больше не вмешивался.

Владимир Насущенко родился в 1930 году. Живет в Санкт-Петербурге. Первый рассказ напечатал в 1968 году в альманахе «Молодой Ленинград», автор четырех прозаических книг. В «Новом мире» опубликовано два его рассказа (1984, № 9).

Плотник поставил новые столбы, сбил каркас и приступил к внутренней отделке, вылизывая рубанком каждую доску. Работал дотемна, поужинал и лег спать на летней кухне. В пять утра был на ногах. К вечеру следующего дня туалет был готов: внутри блестели желтые, как яичко, выструганные доски, окошко большое, воздуха и света хватало.

— Не ожидал, что справитесь за столь короткий срок, — похвалил Борис Федорович, принимая работу. — Трапик сбейте, чтобы с улицы грязь не заносить, катушку для туалетной бумаги прибейте.

Плотник беспрекословно все выполнил. Борис Федорович принес три рулона шелковистой немецкой бумаги, собственноручно прикрепил один на валик, два положил рядом с сиденьем.

— Гости должны приехать, — пояснил он.

— Хозяин, как ни три задницу, глазом не будет, — скептически заметил плотник.

Борис Федорович обрезал:

— Вы лучше мусор уберите и заройте старую яму, а ваши неуместные шутки держите при себе.

Плотник собрал щепки, отнес на летнюю кухню для растопки, заровнял яму землей.

— Какие еще будут приказания?

— Помогите принести воды из канавы, артезианская скважина плохо работает: труба забилась жидкой глиной.

— Это можно.

Плотник взял ведра. Мелиоративная канава глубокая, внизу — мостки. Чтобы не таскать ведра наверх, Борис Федорович взялся черпать воду. Плотник принимал. Отнесли ведра к теплице, где была бочка. В воде плавали черные головастики. Борис Федорович поморщился:

— Терпеть не могу этих тварей...

Стал процеживать воду через материю. Головастики шевелились в тряпке.

— Штук тридцать малявок, — сказал плотник, собрал головастиков в консервную банку, плеснув туда воды. — Отнесу их обратно.

— Зачем?

— Пусть живут.

— Да выбросьте вы их, — досадливо сказал Борис Федорович.

— Нет, отнесу. Мы-то чем лучше их? — Плотник засмеялся.

Его было не прошибить. Стряхнул куртку и понес банку с головастиками на канаву. Вернувшись, вытащил из плотницкой сумки нож, стал строгать палку.

— Нога разболелась, сделаю подпорку, — сказал он.

Борис Федорович обошел туалет и крикнул:

— Одолжите на минуту ваш «перочинный ножичек», траву обрежу, чтобы ноги не мочить по утренней росе.

Плотник метнул нож и попал острием в дерево, рядом с Борисом Федоровичем.

— Вы что, спятили? — возмутился он.

— А что?

— В меня могли попасть!

— Не попал бы. Я метил в дерево, — добродушно ответил плотник. Он был великолепен, настоящий моджахед: усы свирепо топорщились, не хватало зеленой повязки на лбу.

Борис Федорович раздраженно сказал:

— Много себе позволяете. Где это вы нашустрились ножи кидать? В цирке?

— В спецназе, хозяин.

— Вот как! Прямо не верится. Часто вам приходилось применять холодное оружие?

— Только в порядке самообороны, — уклончиво ответил плотник и, задрав штанину, показал шрам на коленке: — Один баран угостил. Две пули. Комиссовали подчистую. — Он опустил штанину и ухмыльнулся в усы.

— Не представляю, — сказал Борис Федорович. — В жизни никого пальцем не тронул... Не хотел бы быть на вашем месте. Сочувствую вам. И убить могли?

— В сущности, все мы смертны. Греки просвистели, скифы просвистели — и мы свистим.

— Хотите сказать, что жизнь быстротечна?

— У вас что, другое мнение? — спросил плотник.

Борис Федорович заткнулся, не хотел с ним больше разговаривать. Какой-то осадок остался, будто провинился перед ним. Коленку показал, сукин сын, вздумал разжалобить, чтобы ему побольше заплатили...

— Помойтесь и приходите обедать.

— Такой приказ я выполняю с удовольствием.

Махая палкой, плотник направился к озеру. Сапоги тяжело шаркали по жесткой августовской траве.

Алюминиевая крыша дома блестела на солнце. Было тихо. Летали стрекозы. Кругом сосны. У леса поднималась мелкая поросль.

Борис Федорович обрезал траву, полюбовался работой. Косу придется завести. Ножичек был ничего себе, острый, таким чикнешь под ребра — не услышишь, конец тяжелый, а рукоятка легкая, набрана из березовой коры. Он бросил нож в плотницкую сумку, брезгливо вытер руки. Надо было ехать к фермеру, купить у него свинины — гостей потчевать.

Он вывел из гаража «форд-скорпио», стал копаться в моторе. Зачистил контакты прерывателя алмазной шкуркой и пошел в дом. Жена, Маргарита Артамонова, лежала на диване с книгой. Увидев мужа, отбросила книгу и сказала:

— Не понимаю поклонников Набокова... Квазиписатель. Фи... Ты куда собрался?

— К фермеру.

— И я с тобой. Договорюсь с фермершей насчет молока и творога.

— Плотника накорми. Потом поедем.

— Я ему отдельно сварила.

Она встала и пошла переодеваться. Он тоже решил переодеться. Не терпел небрежности в одежде на людях. Стиль выработался. Отгуженные в стрелку брюки стального независимого цвета, в тон — шерстяная рубашка, мокасины, сплетенные из тонких ремешков. Посмотрел на себя в зеркало. Лицо холеное, строгое, не терпящее возражений. Можно подумать, что у него в кармане по меньшей мере депутатский мандат. Хорошая одежда влияет на психику людей: по одежке встречают, по одежке провожают... Он служил чиновником в управлении, занимался оргвопросами: встречи делегаций, выступления, распорядок. Первое время курировал гуманитарную помощь. Был правой рукой шефа. Составлял для него краткие досье на оппозиционеров. Патрон фамильярно называл его: «Мой номенклатор». Среди коллег тоже пользовался авторитетом. Кличка за ним ходила «Ирландец». Волкодав, мертвая хватка. Борис Федорович не обижался. Он прошел хорошую термообработку в политике и не считал свою должность холуйской: в кулуарах власти важна любая мелочь. Он не первый. Иной молодец начинает карьеру с нуля: проводит супругу премьеру до машины, в непогоду раскроет над ее головой зонт, отворит дверцу, подержит под локоток. Глядишь, он уже в курии сидит, «небрежно откинув сюртук». Понимать надо. У Бориса Федоровича счет в американском филиале Банк-Сити в Лондоне. Дочка учится в лицее. Борис Федорович невозмутимо спокоен за будущее, аккуратен, вежлив, уравновешен, из колеи его трудно выбить, краток в разговоре, любит цитировать Септимия Севе-

ра, Марка Аврелия, Сенеку. Для непосвященных он — человек большой культуры. Так оно и есть...

Гостей приглашено девять персон, по числу муз, чтобы застолье было общее, не разделялось на группки. Жена предусмотрела. Приедет железнодорожный чин, от которого зависела переправка пятидесятитонных цистерн с нефтью за кордон, роспись-крюк железнодорожника имела магическое свойство держать наливные составы крепче американской сцепки. Еще будет молодой, но ранний таможенник, на которого у Бориса Федоровича была заведена папка с компрометирующими документами: если таможенник начнет требовать исключительные комиссионные, можно припугнуть. Главный гость — директор нефтеперерабатывающего предприятия. Актриска приглашена веселить застолье. Гости займется жена. Она понаторела в салонах, ей не впервой, политесу учить не надо — направит беседу в нужное русло. Умела обворожить. Одевалась нестандартно. У дизайнера голова кругом шла от ее фантазий. Бывало, наденет на презентацию сногшибательное черное платье с синим отливом, разрез на спине до ягодиц, вдоль бедер серебряные заклепы. Элегантная змея... Телевизионщик с камерой за ней вприпрыжку; комплименты выдает: «Маргарита Артамоновна, вы как субмарина, идущая в плотном тумане!» Лукавые халдейские штучки, намек на ее скрытую агрессивность и «обводы»...

У Бориса Федоровича было меланхолическое настроение — виноват плотник: «Скифы просвистели...» Вспомнил, как нож прошуршал над ухом. Что у него на уме... Не хватало здесь спецназовцев в черных намордниках...

Он вышел во двор. В открытом парнике краснели помидоры, за ними ухаживает старуха Доливановна, дальняя родственница, которую сейчас отпустили в город как лишнего свидетеля. Солнце прямо глаза резало. По дороге шла девушка, в руке — хозяйственная сумка, из которой выглядывала шерстяная кофта. Остановилась:

— Не подскажите, где садоводство?

— Недалеко, — ответил Борис Федорович, с любопытством разглядывая пришлицу: стройная девушка. Длинноносенькая, глаза — черничины, ситцевое платье просвечивало, обрисовывая ее ноги, кожа на руках и шее обгорела на солнце. Славная, милая, сразу видно породу. Не из тех «жевательных резинок», что шляются по улицам: нимфетки размножились. Борис Федорович был старомоден, ему претило заигрывание с первой попавшейся. В этом вопросе он тверд и неподатлив, такого не переделаешь: лепят только мягкое. Самое полезное — сторониться людей, особенно женщин.

Он поклонился:

— Вам воды?

— Пожалуйста.

Он принес ковш воды. Она благодарно кивнула, стала пить, проливая на грудь воду, руки у нее дрожали. Она отдала ковш и вздохнула:

— Сил нет идти... Я не уверена, что он там.

— Кто?

— Мой муж. Он сказал, что будет работать в садоводстве. В одном я уже была, там его нет. Пошла сюда. Он обещал быть дома во вторник, сегодня — четверг. Я вся изнервничалась, приехала искать его.

— Не зная адреса?

— Да.

— Простите, это глупо.

— Пусть глупо. Я не хотела больше ждать. — Голос ее дрогнул. Она поправила прилипшую ко лбу кудряшку, виновато улыбнулась: — Не думала, что так далеко, на автобус я опоздала и пошла пешком. Прошла двадцать километров. Если его и там нет, придется идти обратно.

Похоже, она говорила правду, вид был измученный. Бориса Федоровича удивила ее наивность.

— Я освобожусь и подброшу вас.

Она обрадовалась:

— Буду очень признательна. Вы так добры...

Борис Федорович приосанился. Его прямо распирало от собственного благородства.

— Не нужно меня благодарить. Люди должны помогать друг другу. Почему не помочь? Потерпите, я сейчас.

Он отнес ковш, захватил коробку под мясо, попросил жену, чтобы она накормила плотника.

— Скажи ему, что я скоро вернусь.

Он поставил коробку в багажник, улыбнулся ждавшей его девушке.

Она сказала:

— Его зовут Илья. Он плотник.

Борис Федорович хлопнул себя по лбу:

— Какой я рассеянный! Совершенно вылетело из головы. У меня работал один парень в военной форме. Наверное, это он и есть? Хромает на правую ногу. Верно?

Лицо девушки озарилось бесподобной улыбкой.

— Что же вы молчали? Где он?

— Пошел купаться.

— Пойду поищу его.

Она побежала к озеру. Совершенная дурочка.

— Придет, никуда не денется! — крикнул Борис Федорович, но девушка не оглянулась.

На крыльцо вышла Маргарита Артамоновна в голубом спортивном костюме с золотой вышивкой «Нью-Йорк». Лицо лоснилось от индийского снадобья.

— Милый, кто приходил?

— Жена плотника. Ты бы ее видела! Еле на ногах стоит — прошла двадцать километров. Самообладание изумительное. Это, я понимаю, выдержка! Когда я ей сказал, что он ушел купаться, она как ненормальная побежала туда. Я свезу их на станцию.

— Дойдут сами. Фермер ждать не будет. Скажи им, что руль отвалился, — и дело с концом.

— Но я обещал.

— Что из того? Пусть думают что хотят. Между прочим, плотник грубиян, нахал высшей степени. Вчера его кормила, забыла тебе сказать: сидит грязный, мясо руками берет, ножик и вилка лежали. Пялится на меня, как таракан. Мне даже неловко стало. Говорю: «Вам моя блузка приглянулась?» — «Да, хочу своей половине такую купить. Где брали?» — «В Лондоне». Знаешь, что он ответил? «Замечательная блузка, прозрачная, невесомая, будто ее и вовсе нет». Я даже покраснела. Каков нахал! Он добавил, мол, вы такая женщина, что и без блузки неплохо выглядите. Видно, он подглядел, как я вчера загорала за домом. Не знала, что и сказать ему. Неприрученное животное!

— Дорогая, надо снисходить. Он в университете не учился.

— Оно и видно. К университету и близко не подходил. Я сделала вид, что не слышала его.

— И правильно. Но жена у него редкостная женщина.

— У тебя все редкостные. Вон они идут.

Плотник шел у коровьего спуска, жена плотника — по другой тропе. Пути их разошлись.

— Илия, Илия! — закричала девушка, побежала к нему. Ноги ее не слушались, заносили вправо, влево. Опустилась перед ним на землю, обхватила колени мужа, что-то лепетала. Трогательная картина. Он поднял жену, довел до участка.

— Рассчитаемся, хозяин! Конвой за мной прибыл.

Шутки у него были...

Борис Федорович вынул деньги. Не считая, плотник всадил их в карман, сходил за инструментом. Поднялась черно-синяя туча и закрыла солнце. Ехать сорок километров туда и обратно? Ради чего? Маргарита Артамоновна опередила:

— Мой муж хотел вас подвезти, но бензин кончился. Скоро автобус придет. Вы уж извините...

Плотник посмотрел на нее и усмехнулся:

— Не беспокойтесь. Нам не привыкать...

Он обнял свою жену за плечи, повел ее к дороге. Шли прижавшись друг к другу.

— Занятная парочка, — сказала Маргарита Артамоновна и покривила губы: — Мне кажется, она влюблена в него.

— Разумеется, — сказал Борис Федорович. — С какой стати ей притворяться? Недавно поженились, видно сразу.

— Сколько ты заплатил ему?

— Двести тысяч. Он их честно заработал.

— Хватило бы и половины. Благодетель выискался...

Борис Федорович вспыхнул:

— Уйди, прошу!

Лицо у него побагровело. Ей показалось, что он сейчас ее ударит.

— Ты смешон! — Она пожала плечами и ушла в дом.

Из-под тучи пахнуло могильным холодом. Сразу стемнело. Ударил гром. Дом подпрыгнул. Борис Федорович не мог успокоиться, не знал, что с ним. Тошно, будто зарезал кого. Пробормотал:

— Чертов плотник.

Хотел загнать машину в гараж, но решил подождать: если автобус не придет — они часто отменялись — и плотник и его жена вернутся, он отвезет их на станцию. Он выходил на дорогу, но они не вернулись. Расстроенный, он поставил «форд-скорпио» под дом, запер бронированные ворота, обошел двор. Кухня была закрыта. Хлынул дождь. Он встал под навес: в дом идти не хотелось. Вода бежала по желобу, не успевая скатываться в водосток, лилась стеной. Гроза расходилась не на шутку. Сетка молний дрожала. Было жутко. Борис Федорович не успел уйти. Щелкнуло, будто бичом. Слепила яркая вспышка. Вдоль желоба плыл голубой светящийся шар, плавно опустился к крыльцу. Борис Федорович понял, что это такое, хотя никогда прежде не видел шаровую молнию. Плазма дышала, пульсировала, меняла очертания. Он как замороженный смотрел на нее. Шар описал вокруг него эллипс, коснулся рубашки, запахло паленой шерстью. Борис Федорович помертвел, тело покрылось липким потом. «А как же счет в банке? — мелькнула мысль. — Иди отсюда, иди... Ах ты, боже мой!»

Шар споткнулся, немножко помедлил и со свистом ударился в землю. Не помня себя, Борис Федорович рванул дверь. Жена стояла раскрыв рот. Она подумала, что в него выстрелили: рубашка на нем разлезлась до самого локтя.

— Тебя ранили? — Глаза у нее дрожали.

Он ничего не сказал, схватил кожаную куртку и выбежал в гараж. Молнии полыхали.

«Сейчас, сейчас», — бормотал он, не попадая ключом в «Цербер». Ворота распахнулись. Он нырнул в мягкий успокаивающий салон «форда» с механическим люком на крыше. Взвыл мотор в сто двадцать лошадиных сил. Нежно покачиваясь на амортизаторах, машина выехала на дорогу. Лобовое стекло омывал слой воды. Фары едва пробивали мглу. Ехать было нелепо. Он был уверен, что плотник с женой на остановке. Тащился километра два. Дорогу размыло в нескольких местах. Фары высветили две сжавшиеся фигурки под навесом. У него будто гора с плеч свалилась. Затормозил, распахнул дверцу:

— Эй, что стоите? Я нашел бензин в старой канистре. Решил подкинуть вас. Садитесь!

Они глядели на него, как на Бога из машины, но не двигались. Он оторопел.

— Что же вы? — Он зажег свет в салоне и распахнул заднюю дверцу.

Они стояли как вкопанные. Это было чудовищно! Плотник махнул рукой:

— Езжайте. Жена не хочет ехать!

— Я мигом доброшу. Мне в ту сторону! — В голосе Бориса Федоровича слышались заискивающие нотки. За шиворот стекала вода, но он этого не чувствовал, был растерян. — Ну?

— Мы не поедем! Жена сказала, что вы обещали довезти, но теперь мы не поедем. Что это вы вздумали возить нас? Совесть заела?

— Не говорите чушь! — вспыхнул Борис Федорович.

Дрожа от холода, женщина плакала. Плотник сделал угрожающий шаг к лимузину, замахнулся палкой:

— Езжай, пока фары не выбил!

Борис Федорович захлопнул дверцы, выключил в салоне свет, надавил на газ. Машина рванулась. Дождь внезапно стих. Борис Федорович крутил баранку, бормоча ругательства:

— Свинья! Грязная свинья! Кнехт! Такому ничего не стоит убить на дороге... Вот она — человеческая неблагодарность!

Его душила злоба. Было плохо, испытывал унижение. Лобовое стекло очистилось. Из-за поворота показался опоздавший автобус. Борис Федорович включил дальний свет, ослепил водителя. Представил, как шоферюга материт его. Машины разминулись, Борис Федорович потрогал под кожанкой плечо, ожога не было, включил автомагнитоу. Певец ревел, как бык: «Папа римский!» Борис Федорович подумал: «При чем тут папа римский? Ничего святого не осталось...» Он успокоился, лицо приняло холодное, безразличное выражение.

ВИТАЛИЙ СНЕЖИН



СВИДАНИЕ

— **Ж**енщину? Вы сказали — *женщину*?

Надзиратель, совсем еще юный сержант, посмотрел на меня с любопытством. Кажется, он меня наконец расслышал. Непрерывный ляг и грохот ночной смены поглощали всякое человеческое слово. Испугавшись, что он опять не услышит и уйдет, я придвинулся вплотную к огражденной сетке:

— Да, да: *женщину*! Если можно!

Словно прикидывая, стоит ли иметь со мной дело, он в сомнении покачал головой:

— Нет. Это невозможно.

Слишком он был молод, этот сержант, слишком старался быть правильным — эта напускная строгость, эта нарочитая тяжесть осанки и твердость в голосе. Он стоял напротив, как монумент, не сводя с меня при-

стальных серых глаз, в которых ничего нельзя было угадать, кроме присяги. Неужели я ошибся? Неужели он ничего не знает о *ней*? Нет, не может быть. О *ней* знает каждый. Каждый хоть что-нибудь да слышал о *женщине*.

— Послушайте, сержант, у меня отпуск... Я заплачу.

Не отходя от сетки, я вынул из-за голенища сапога отпускной талон и скукожившуюся от пота пачку купюр — все заработанное за последний год. Минуту он колебался, пощелкивал пальцами, беспокойно косясь на сторону, потом ответил так тихо, что я понял только по губам:

— Ладно. Иди за мной.

И мы пошли, потом побежали вдоль сетки, огораживающей цех, мимо сварочных автоматов, брызгавших белой искрой, мимо чадающих серой доменных желобов, мимо бесконечных конвейерных модулей, ползущих в разные стороны стальными гусеницами. То и дело из общего гула и чада выезжали мрачные морды «сварщиков» и, подозрительно исследовав нас холодным рыбьим глазом, прятались обратно. В горячке они могли моментально нашинковать из нас дюжину недостающих деталей; приходилось замирать на месте, как перед бешеной собакой, преданно глядя в темные щели датчиков. Скоро, впрочем, ошалев от грохота и серы, я перестал их замечать, проскакивая с ходу, чувствуя уже затылком жутковатую электрическую щекотку.

Внезапно все оборвалось — мы влетели в яму изолятора. Тишина. Тусклое освещение. Тяжело дыша, но сохраняя бравый вид, сержант уверенно двинулся по центральному коридору. Я шел следом, стараясь попадать с ним в шаг. Сахарный хруст песка под нашими сапогами повисал долгим эхом под потолком, рассыпался по многочисленным рукавам боковых ходов.

Через сотню шагов я вдруг поймал себя на мысли, что начинаю чувствовать *ее*. Что-то появилось такое вокруг, какое-то особенное напряжение, вибрация воздуха, словно от бегущих по нему издалека тайных шорохов и шепотов. Мне даже казалось, что я могу указать направление движения и то, насколько мы уклоняемся от фарватера на том или ином повороте, но тут же меня охватывало сомнение: да точно ли это была *она*? Что я, в сущности, знал о *женщине*? Ничего. Или почти ничего. Слухи. Сказки. Обрывки текстов на истлевших страницах старинных книг.

«...Пугливы и легки, как серны, женщины, по слухам, держатся поодиночке в укромных местах, часто меняя убежище. Видевшие ее утверждают, что женщина удивительно похожа на человека, но при этом что-то совершенно другое. Взгляд ее, слишком осмысленный, отличает ее от других существ, а кожа ее, оливковая с голубым отливом, так тонка, что солнечным утром в просвет можно увидеть алую пульсацию сердца и крупных сосудов, а на закате — изумрудное сияние вен. Говорят также, что в холодные ночи они роют глубокие норы и, выстав их отборными травами, живут там в оцепенении по несколько суток. Изредка в предупреденный час можно услышать их пение, полное тоски и нежной страсти. Песнями спасаются они от холода и одиночества».

— Сержант, я хотел спросить...

Не оборачиваясь, сержант махнул рукой: мешаешь! Дальше пошли молча, еще осторожнее ступая по хрустящей каменной крошке. Совершенно неожиданно на одном из поворотов в глубокой нише обнаружилась ветхая лестница. Сплошь покрытая лишайником, выросшая, казалось, прямо из-под земли, она круто уходила вверх и терялась в далекой полутьме каменного колодца. Карабкаясь за сержантом по бессчетным перекладинам, напитанным влагой, как мочало, и горько плачущим при каждом прикосновении, я все ждал, что лестница вот-вот стряхнет нас, словно перезрелые смоквы.

Мы приближались к *ней*, и это было главным; я чувствовал, что *она* уже входит в меня гулким разбегом сердца, путаницей мыслей, сладкой жутью, от которой ладони покрывались холодным потом. С каждой ступенькой, с каждым шагом мы приближались к *ней*. И с каждым шагом росла моя тревога, обретали рост и плоть книжные суеверия.

«...Питаются женщины, по свидетельствам очевидцев, лепестками роз, которые в изобилии растут на склонах гор, причем в холодное время смешивают их со свежим снегом. Когда же корм найти не удастся, ограничиваются солнечными ваннами. В этот момент они совершенно беспомощны и могут подпустить к себе очень близко. Однако, соблазнившись такой легкой возможностью — здесь все свидетели единодушны, — человек подвергает себя страшной опасности. Стоит приблизиться к женщине шагов на тридцать, начинается страшное: человек чувствует беспричинную тревогу, потом сердечную тоску и, наконец, тихое помешательство овладевает им. Подобно ребенку, подойдя к женщине, начинает он вдруг утирать с лица слезы, жалуясь на свое сиротство и безмерное одиночество, грезит вслух о небывалом, точно она пробудила в нем воспоминания о какой-то другой, счастливой, но утраченной безвозвратно жизни. В отчаянье простирает он руки, пытаясь уловить ее, но та всякий раз ускользает в последний миг, оставляя несчастного безумца с разбитым сердцем. Никому еще не удавалось поймать женщину, никто еще не сумел разгадать ее тайны».

— Скажите, сержант...

— Стой. Теперь сюда. Держись правой стороны.

Лестница внезапно окончилась, и мы перебрались на небольшую площадку. В мелкой лужице под ногами плавало несколько окурков. И снова потянулся каменный лабиринт; узкий ход то расширялся до небольшой пещеры — с гигантских сосуллек над головой срывались звонкие капли, — то сужался, и мы едва протискивались, задевая головами скользкие своды. В прибывающем мраке я уже с трудом различал упругую фигуру сержанта. Однажды мне показалось, что он исчез; я припустил со страха не разбирая дороги и несколько минут в панике нырнул из одного тоннеля в другой, пока он не окликнул меня из-за спины.

«...Некоторые, однако, говорят о женщине совсем другое. Женщина, по их мнению, — это род цветка из семейства однодольных, который большую часть времени скрывается под землей и лишь на несколько весенних дней выбрасывает свои побеги на поверхность. Побегии эти, жаркие и жадные, напитанные горячими соками земли, вырвавшись на свободу, устремляются во все стороны. Денно и ночью блуждают они в слепом вожделинии по предгорьям и равнинам в поисках существ, которым можно передать свой жар, свое однодольное томление. А если вдруг попадается им человек, устремляются за ним, морочат его сладким дурманом, пока тот не падает в изнеможении. Тогда, насытившись человеком и охладившись от него, цветок этот расцветает и плодоносит».

Редкие лужи под ногами мерцали зеленоватым светом, от которого становилось как-то не по себе. Мои первоначальные планы запомнить маршрут провалились. Сначала я еще пытался отмечать повороты и тоннели, загибая в кармане длинную бумажную палочку, но потом, когда ходы и отверстия размножились бесчисленно, это стало бессмысленным. Я не смел и подумать о том, что будет, если я вдруг потеряю своего проводника по-настоящему. Кошмар обреченных блужданий по каменным темницам, когда пропадает последняя надежда и во всем свете не остается ничего, кроме вопящего на все голоса утробного ужаса (без сомнения, малодушие безнадежно заблудившегося — то же самое, что и малодушие утопающего, толь-

ко нестерпимо растянуто во времени), — кошмар этот с отрочества преследовал меня и нет-нет да и поддевал душу на острый коготок.

На одном из поворотов сержант неожиданно вскрикнул и отскочил в сторону, чуть не сбив меня с ног:

— Черт!.. Никак не могу запомнить.

Я посмотрел вниз. На полу лежал ком истлевшего тряпья — форма командного состава. Из штанины торчала серая костяная коленка.

— Что это?

— Адъютант. Застрелился год назад.

— Застрелился?

— Крыша поехала. Ходил сюда каждый день.

— Зачем?

— ...

Осторожно обогнув мощи адъютанта, я догнал сержанта и уже не отставал от него ни на шаг. Не прошло и минуты, как я снова услышал его голос:

— Кажется, где-то здесь. — Он остановился у одного из боковых ходов, отличавшегося от других только тем, что дно его было сплошь покрыто водой. — Да, точно: здесь.

Он как будто хотел сказать что-то еще, но, обернувшись и встретившись со мной глазами, промолчал. Была долгая пауза, наполненная шумным мужским дыханием. Потом я почувствовал легкий толчок в плечо:

— Теперь иди один... Там в самом конце — стена...

«...Говорят также о рыбе. Будто же н щ и н а — не что иное, как глубоководная рыба, лунными ночами всплывающая из толщи вод, чтобы поражать случайных путников сиянием своей чешуи. Показавшись над волнами, она начинает играть и резвиться в лунном свете, сверкая тысячами крохотных зеркал на своем теле, пока зачарованный путник не падает в забытьи у кромки прибора. Добившись своего, же н щ и н а подползает к человеку и, устроившись рядом, всю ночь рассказывает ему удивительные истории о далеких землях, подводных городах и затонувших сокровищах. Перед самым рассветом она переворачивает человека на другой бок (так он вернее все запомнит) и, укрыв его морскими травами, возвращается в глубину».

Не помню, как я одолел первые метры; когда я пришел в себя, вода уже поднялась до колен. Каждый шаг давался все трудней, и все громче становился плеск под ногами; отраженный бесчисленно от стен, он создавал впечатление водопада. Пройдя еще сотню метров, я задохнулся и прислонился к мокрому камню. В наступившей тишине отчетливо слышался скрип сержантских сапог. Трудно было понять, приближается он или удаляется, возможно, он бродил по кругу. Останки застрелившегося адъютанта никак не выходили у меня из головы. Новая волна страха захлестнула меня; я не выдержал и окликнул сержанта. Через несколько секунд тишины и сердечного спазма он нехотя отозвался.

Что-то новое приобрел его голос, догнавший меня в узком тоннеле, — какую-то неприятную мяукающую интонацию. Сказывалось ли мое изнеможение или напряжение нервов, но я отчетливо почувствовал перемену. Что-то случилось. Не только в голосе его, но и в самом сумрачном пространстве тоннеля точно подменили тон и звук, будто какая-то скрытая, запретная сущность вещей вылезла разом наружу и глядела теперь со всех сторон вострыми глазами. Пошатываясь и подгребая руками — вода поднялась уже до пояса, — я побрел дальше.

...Через три часа произошло непредвиденное: вдруг обнажившееся впереди слизистое дно разверзлось, образовав яркую полынью, — и в нее пахнуло пыльным летним полднем. Минуту прыгали по стенам солнечные зайчики, плыли по воде сухие травинки, крутился среди них на одном крыле стеклянный мотылек...

...Нет, рыбой *она* быть не может. Совершенно исключено. Я не поверил бы в это, даже если бы рыба вынырнула у моих ног и заговорила человеческим языком. Кстати, когда это случилось — отчетливо помню влажный проникновенный взгляд, — я отвернулся. Просто отвернулся и пошел дальше. Не люблю рыб. Слишком они холодны, слишком мало в них воображения.

...Зачем? Зачем я здесь? — спрашивал я себя в который раз, вылезая саламандрой на редкий клочок суши. В стенах тускло поблескивали слюдяные жилы. Чуть замешкавшись, падала капля. Где-то тихо копилась следующая. Ответа не было. Была лишь смутная догадка. Эта догадка, обозначенная глумливой кошачьей мордой, то путешествовала, стоило повернуть голову, с одной стены на другую, то появлялась из воды, притворно фыркала (вода ее не мочила) и подозрительно косила в мою сторону оранжевым глазом. «Зачем?» — спрашивал я кошачью физиономию, но та под влиянием моего прямого вопроса обращалась в темно-лиловую муть, отлетала легким дымком вдаль. Ответа не было.

...Сержант все время держался где-то рядом. Я ясно слышал его шаги то позади, то сбоку. Затихни он на минуту, я, наверное, тут же умер бы от страха. Но почему он не хотел, чтобы мы шли вместе?

Потом появилась стена. Не знаю, как описать мою радость. До того я был точно в забытьи, во сне, с налипшей со всех сторон мутью. И вдруг такая ясная, такая сокровенная минута! Будто очнувшись и сделавшись вновь самим собой, я начал лихорадочно обследовать стену, камень за камнем, шов за швом, и когда до отчаяния оставалось мгновение — словно нежнейшее щекотание пробежало по пальцам: она была там.

Не помня себя, я приник всем телом к кирпичной кладке — холодные струи побежали по лицу, срываясь с подбородка: да, *она* была там! Я чувствовал *ее*, я осязал *ее* всем существом, всеми тайными сердечными нитями. Это было больше чем чувствовать. Это был восторг и слезы! Сколько усилий, сколько голодных, бессонных, безумных дней. Наконец я узнал *ее*, наконец я мог ощущать *ее*, улавливать легчайшее *ее* движение: вот застучали по камню острые коготки, вот полился певучий воркующий вздох, вот невосомым белоснежным веером распахнулись крылья — полетела...

— Полетела!.. Ты слышишь, сержант, полетела! Это птица. Теперь я знаю — птица!

Никто не ответил. Срывались с потолка и падали в воду тяжелые капли. Тишина была нехорошей. Чего-то в ней не хватало. Важного, необходимого, как дыхание. Холодная струйка ужаса побежала по груди, подбираясь к сердцу.

— Сержант?.. Они ошиблись — это птица... Ты слышишь, сержант?!

Долго стояла полная тишина. Первым звуком, пришедшим от сержанта, было странное мурлыкающее ворчание. Минуту я прислушивался, пытаюсь понять, что происходит, все еще надеясь разубедить себя в страшном подзвонии. Чудный и жуткий звук, победный вопль хищника пронесся над водой!.. Уже сквозь обморок я слышал яростный плеск воды: существо мчалось ко мне не разбирая дороги, повизгивая в жадном детском нетерпении!..

«...Иные из женщин отличаются поразительным коварством. Так, приняв человеческий облик и выбрав себе жертву из людей доверчивых и простодушных, она соблазняет его безумной мечтой и уводит за собой в каменные лабиринты. Там блуждают они и терпят лишения, пока несчастный не ослабевает и не смущается рассудком. Тогда возвращается к женщине ее природное хищное обличье и вступает она в свои полные права над человеком. Что происходит потом между ними — никому не известно. Но, разумеется, итог этой встречи всегда печален. Таково это существо, называемое женщиной, храни вас Бог от встречи с ней».

СТАНИСЛАВ СЛАВИЧ



ЦАЦКА

... **А** теперь решил заняться *цацкой*. Интересовался этим с детства, однажды с приятелями чуть школу не взорвал. Взрывчатки-то времен войны — гранат, мин, неразорвавшихся снарядов и бомб — в Крыму было навалом. Да и сейчас находят.

И в армии был минером, и в институте на военной кафедре шел по этой части. Однако весь прежний пацанский, солдатский, студенческий интерес мерк перед тем, что испытывал сейчас. Цацка и внешне была хороша. Не то что армейское железо. Игрушка. Коробочка, похожая на школьный пенал, но покороче, пошире, потолще. Заряд.

Отдельно лежала в прозрачной капсуле некая штуковина. Взрыватель, детонатор. Вскрыв капсулу, Сергей вставил штуковину в отведенное для нее гнездо, пальцы ощутили при этом легкий щелчок. Сработал фиксатор.

Однако тут же штуковину вынул, подчиняясь непреложному правилу: держи заряд и детонатор порознь. От греха подальше.

С особой уважительностью взял третий предмет — карболитовую коробочку с двумя кнопками. Нажал черную кнопку, и красная будто налилась кровью, засветилась. А теперь поаккуратней. Потому что, если вдавишь красную — последует взрыв. Не нужны ни бикфордов шнур, ни провод, ни таймер.

Разобрать бы, посмотреть внутри... Не стоит. Все еще побаливает рука. К тому же за дверью на лестнице послышались шаги.

Старуха, как всегда, зашла без стука.

— Там какие-то двое спрашивают тебя.

Сказала так, будто имела что-то против тех двоих. Или против него самого?

Сергей подошел к окну и, не трогая шторы, глянул на улицу. Там замерла, уткнувшись носом в ворота, скромненькая на вид, но вполне надежная и как бы знающая себе цену работяга «тойота».

Машина была припыленной и даже слегка забрызганной. Ну прямо наглядная иллюстрация к сводке погоды за последние сутки: в Москве, Центральном Черноземье и на севере Украины — временами дожди, а на юге Украины и в Крыму — сушь и жара, желаем вам приятного отдыха на Черноморском побережье, господа...

Оставив дверцы открытыми, рядом разминались после долгой, видимо, дороги, с любопытством (а может, и с завистью) поглядывая на растительное изобилие вокруг (персики, груши, яблони, виноград, устремленные в небо пирамидальные тополя), те самые *двое*. Добрых и тем более радостных чувств не вызвали. Одного и узнавать не пришлось: Олежек — губастый (что нисколько, однако, его не портило), русоголовый кудряш, начавший, впрочем, плешиветь. Такие нравятся барышням и дамам из сферы обслуживания: собой недурен, обходителен, тороват, и все это прямо на лице написано. Подстричь, накормить такого или помочь ему выбрать покупку — одно удовольствие.

О втором подумалось, что похож на интеллигентного мента, перекинувшегося в поисках лучшей жизни из наших замечательных правоохрани-

Станислав Славич родился в 1925 году. Живет в Ялте. С 1958 по 1981 год опубликовал в «Новом мире» несколько подборок рассказов и две повести. Автор многих книг, изданных в Москве и в Симферополе.

тельных органов в коммерческие структуры. Все они будто чем-то мечены. В принципе, ничего против них не имел, но *здесь* и *сейчас* этот бывший старший оперуполномоченный был Сергею решительно не нужен. Как, кстати, и Олежек. Что бы это их сюда принесло? И как отыскали?

Накануне от жары, наверное, и духоты снилось шут знает что. Будто убежал от кого-то. По странной местности — то заросли, то нагромождения камней. Убежал почему-то с собакой, которую временами приходилось нести прижав к груди. Это его-то, огромного пса, натасканного отнюдь не на бегство!.. А пес временами становился жалким и маленьким, что уже во сне вызывало недоверие и удивляло. Словом, в самом деле снилось неведь что, но вот оказалось — к месту.

Старуха между тем ждала поджав губы. Надо принимать решение. Выбор, верно, небогатый. Если откровенно (хотя бы с самим собой), то выбора совсем нет. Похоже, все уже решили за него. И он сказал:

— Пускай заезжают во двор. Только собаку сначала запри. Обо мне скажи, что не совсем здоров. Встретимся за ужином.

Старуха ушла.

Так... Значит, вычислили, как найти, и нашли. Сам виноват! Однажды (а если точнее — полгода назад) имел неосторожность позвонить из московской квартиры, где поселил его Олежек. А как не позвонить, если забыл в последний момент сказать о заказанных лекарствах для старухи? Однако же явный прокол: должен был понимать, что связь хоть и автоматическая, а разговоры на станции фиксируются, место, куда звонил, и номер абонента узнать при желании можно без особого труда. Как бы оставил визитную карточку. Лопух! Тем более, что накануне был доверительный разговор с Олежком: нынешнее дело — последнее. Закончили — и забыли друг о друге. Навсегда. Именно так — *забыли*, и *навсегда*. Олежек при этом не просто соглашался, а говорил: «Да-да! конечно! пропади оно пропадом! сколько можно?!» Даже голос от сочувствия и волнения звенел. Телефончик между тем на заметку взял.

Дать от ворот поворот? Не получится. Раз отыскали — значит, держат на прицеле. А поскольку приехали за полторы тыщи километров, то дело важное. Дергаться бесполезно — только глубже сядешь на крючок.

Ворота между тем открылись, и машина въехала во двор. Номера не московские, а какие — не понял. Впрочем, это не имело значения. Номера можно повесить какие угодно.

Олежек, как и предполагалось, тут же попытался очаровать, обаять старуху, но та притворилась то ли глухой, то ли немой, то ли просто дурочкой. Артистка! В конце концов губошлеп махнул рукой и отвалил в сторону. Потом достал из машины дорожную сумку — одну на двоих.

Старуха буркнула что-то насчет цветов — сумка примяла край клумбы — и повела мужиков в маленькую гостевую.

Интересно, о чем они там говорят? Включил тумблер домофона (никак не мог уговорить бабку научиться им пользоваться) и услышал:

«Старуха — она что, прибацанная?» — это мент.

«Да я сам ее первый раз вижу», — а это оправдывается Олежек.

«Ну мужик! Даже выйти не соизволил...» — Мент только что не скрипел зубами.

«Может, окунемся? — предложил Олежек. — А то я после этой дороги будто из помойки вылез».

«Небось и плавки захватил?»

«Конечно. Ехать к морю и не окунуться — просто грех».

«А я даже бритву не взял».

«Сам виноват. Я же говорил — давай заедем».

«Тебе легко говорить, а мне приказали: ехать немедленно, не терять ни минуты».

«Фу-ты ну-ты, какая строгость...»

«А вот это не твое дело. Ты думай о своем. Завтра с утра в обратный путь, а этот господин, видите ли, нездоров... Нет, братец мой, такие номера у нас не проходят. И ты это учти».

«Вылечим, — сказал Олежек. — Ну так что — пойдем?»

Вот даже как... На аркане решили тянуть. А мы, представьте себе, упираться не будем.

Сергей видел, как они вышли во двор, еще раз с любопытством поглазели вокруг и двинулись по улице в сторону моря.

— Так что с тобой? — спросил Олежек, когда встретились под вечер.

— С рукой... Снять бинты? Хочешь посмотреть?

— Да брось ты, Серега. Не злись. Я же говорю: безвыходное положение, потому к тебе и обратились.

— Что-то пока не слышал обращений.

— Ну так сейчас послушай. Надо помочь людям, и они в долгу не останутся. Не думай, что это от меня пошло. Вот и Петрович может подтвердить. Нужен профессионал высшего класса. Чтобы чисто, грамотно и наверняка. Ювелирная работа. Ну и вспомнили — о ком еще? — о тебе. А поскольку связь через меня... Сам понимаешь. Брыкаться не приходится. Ни мне, ни тебе. Так что извини...

Все верно. Чего-то подобного и ожидал. А теперь надо сбавить обороты. Не раздражайся! Петрович, мент, и без того уже пальцем стол ковыряет, когти точит.

— Ладно, — сказал Сергей. — Давайте выпьем и закусим. — И неожиданно для самого себя добавил, глянув на Олежка и кивнув в сторону бутылки: — Наполни чаши, Ганимед.

Олежек с облегчением согласился:

— Так-то лучше. Как в старые времена. А Ганимед знаешь кто? — начал тут же просвещать Петровича. — Виночерпий у господ бога.

Однако Петрович накрыл свою рюмку ладонью и сказал наставительно-предостерегающе:

— На рассвете в дорогу и целый день за рулем...

Уж не замполитом ли был этот мент, такой весь из себя правильный?

— Ништяк, Петрович. По граммулечке — и на боковую. Крепче спать будем. — Налил кудряш, однако, по полной и, словно подводя черту под дискуссией, предложил: — Со свиданьем.

А выпил на рабоче-крестьянский манер — залпом. Как водку. Не научился еще. Коньячок, подумалось, такого отношения к себе не заслуживал...

— Так что с рукой? — спросил Петрович, цепляя вилкой кусок балыка. — Для дела это важно.

— Уже проходит, — сказал Сергей. — Обжег. Приваривал тягу к культиватору в совхозе.

— Приходится подрабатывать? — удивился Петрович.

— Приходится с людьми ладить. Я здесь за мастера на все руки.

— Свое дело надо открывать, — то ли присоветовал, то ли просто высказал суждение мент.

Такой умный и рассудительный мент! Только какого же хрена сюда примчался? Уж не затем ли, чтобы именно это присоветовать?

А он между тем, подзаправившись, поднялся:

— Пойду отдыхать. И вы, хоть и молодые, не засиживайтесь — рано вставать и дальняя дорога.

Дал понять, кто здесь главный. Не иначе как с опытом руководящей работы.

Олежек, когда остались вдвоем, слегка завибрировал:

— Что это за бабка у тебя? Будто карлица... Немая?..

Ты что, подумалось, за этим сюда ехал — личность бабки устанавливать? Или больше не о чем говорить? Дружески посоветовал:

— Лучше сразу переходи к делу.

— Ладно, начинаю. Гонорар — двадцать штук зелеными. — Олежек взял паузу и попытался ее держать, ожидая выражения чувств. Не дождался и продолжил: — По-свойски скажу: если потребуешь тридцать — тоже заплачат.

— А этот мент — от заказчика?

— Какой мент?

— Петрович.

Олежек расхохотался:

— А ведь похож! В самом деле похож. Только ему лучше не говори — обидится.

— Я знаешь где видел его обиды? В гробу. Он — кто? И зачем он?

Губошлеп замялся:

— Ладно, считай — от заказчика.

— А ты что — вместе со мною на дело намылился? Может, прикрывать будешь? Или подстрахуешь?

Несерьезный получался разговор. Оба знали, что никуда Олежек не мылится. Его дело — найти подходящего заказчика, уточнить цель, передать ее, кому найдет нужным (Сергей понимал, что сам он не единственный исполнитель у губошлепа: малый не так прост), получить комиссионные и отвалить в сторону. Маклер... Стоит ли базарить? А получился базар потому, что *наильно* подключали к делу. До сих пор было по-другому — по взаимному согласию. В самый первый раз сумел даже распалить себя, уверить, что именно так и нужно. Очень нехороший был человек, которого он подстрелил в Чертанове на выходе из дома. По рассказам Олежка (да и газеты об этом писали), мир избавился от страшной гниды.

— Значит, тридцать... — сказал Сергей. Комиссионные Олежка его не интересовали, тот сам отстегивал себе — может, и незаслуженно много. — Когда готовы платить?

— Хоть завтра. — И добавил: — По прибытии на место.

Резонно. Теперь следующий важный вопрос:

— Сроки?

— Хотят побыстрее, но я выторговал две недели.

Это тоже о чем-то говорит: предстоит повозиться.

— Сложный объект?

— Бизнесмен. Имеет охрану. Рвется в депутаты.

Расспросить было еще о чем, но пока не стоило, да и не следовало.

— Именно тебя потребовали, — говорил между тем Олежек. — Хотя варианты были: взорвать офис к едрене фене или пульнуть из гранатомета. Но нет: «Давай того парня, который сделал Чучмека». И никого другого. Что мне оставалось?

А в самом деле — что? Однако выходит, что Чучмека он, Сергей, сделал тоже по их заказу? Или нынешним заказчикам проболтался о Чучмеке, набивая себе цену, Олежек? В любом случае становится что-то слишком горячо.

— Кто это скребется? — спросил кудряш.

Сергей — вместо ответа:

— Бэр, заходи.

Дверь отворилась — ее открыл лохматой башкой огромный черный пес. Посмотрев с порога на хозяина, направился напрямик к гостю. Олежек невольно поджал ноги. Пес подошел, обнюхал.

— Чего это она?

— Не она, а он. Сук не держим. Интересуется, что за человек. и блокнотик у тебя просит.

— Какой блокнотик?

— Где адрес мой записан.

— Да брось ты, Серега...

— А я уже один раз, как ты знаешь, бросал.

— Да нет никакого блокнотика.

— Правильно. Все в уме держим. Но бумажечка с моим адресом имеется. Тут ты меня не уболаешь.

Псу было жарко. С языка собаки на колени Олежка капала слюна. Но выглядел зверь столь устрашающе, что губошлеп не осмеливался пошевелиться. Только еще больше вдавился в спинку стула.

— Черт с тобой, — сказал. — Не бумажка, а карта. В бардачке машины. Завтра возьмешь.

— А зачем откладывать? — возразил Сергей и позвал: — Бэр, ко мне.

Послушание пса вызвало, как всегда, нечто близкое к умилению. Даже пожалел, что некому эти послушание и преданный собачий взгляд оценить. Олежек был явно на это не способен.

— Ключи с тобой? — спросил у губошлепа.

Тот кивнул.

— Тогда пошли.

Пока Олежек ковырялся в машине, Сергей стоял на крыльце. Рядом тяжело дышал пес. Вечер опять выдался душный. Однако, подумалось, скоро этому конец. Вовсю кричат цикады, и над горизонтом стало появляться похожее на опрокинутый поплавок созвездие Ориона — гонца осени.

Порывшись в бардачке, Олежек захлопнул дверь, пнул переднее колесо, а потом наклонился — что-то ему захотелось пощупать или посмотреть...

Удивительное совпадение, но именно так было и с Чучмеком: тот наклонился к колесу, когда Сергей, проходя мимо и почти не задерживаясь, выстрелил ему в затылок.

Никто ничего не услышал (глушитель плюс обычный городской шум), и не сразу заметили: один амбал телохранитель зашел в подъезд с картонным ящиком (покупки), а другой как раз доставал из багажника следующий ящик...

Олежек, когда вернулись в дом, положил на стол книгу. «Атлас туриста».

— Вот.

А что, собственно, «вот»?

В книге торчала закладка. Развернул... Карта родной и милой округи. И крестик возле названия его села.

Однако полистал другие страницы и кое-где тоже нашел крестики.

Олежек растянул губы в улыбке.

— Знал, что придется тебе показывать. Единственный настоящий адрес — твой. Остальные крестики — для отмазки. И заметь: есть объяснение — каждый крестик у автозаправки либо у станции техобслуживания. Так что успокойся и не горячись. Конспирацию блюдем.

Упрекать кудряша в чем-либо не стоило и не хотелось.

— Ладно. У вас есть еще дела?

— Какие дела? Серега! Ты себе цены не знаешь — за этим только и ехали.

— Тогда смотри сюда. Хорошо, что есть карта. Возвращаться будем другим путем. Вы как ехали — через Перекоп или Чонгар?

— А черт их упомнит... У Петровича надо спросить — за рулем он был. Я дрых всю дорогу. Мы договорились: сюда он ездит, а назад я.

— Ладно, с этим завтра разберемся. А возвращаться будем в объезд Симферополя — через Белогорск и Джанкой. Смотри сюда: вот этой дорогой.

— А может, ты сам и сядешь за руль? А я опять посплю. Люблю спать в дороге...

— Сяду. Только не к вам, а в свой «жигуль». Вместе с Бэром.

— То есть как?

— Так. До Джанкоя едем порознь. Там оставляю машину у кореша, собаку и пересаживаюсь к вам. Тогда и поспишь.

— Да на фига тебе...

— Боишься, что сбегу? Правильно делаешь. И спасибо за подсказку...

— Что ты несешь? Какая подсказка?! Не вздумай с Петровичем эти шутки шутить — мужик суровый.

— Тогда сам ему объясни, что здесь мне собаку оставить не с кем. Машину — тем более. Вы меня что — заранее предупредили? Дом закрою. Сосед присмотрит.

— А старуха?

— Божий одуванчик этот пару раз в неделю приходит борщ сварить... Если хочешь, вещи могу у вас в машине оставить. Так даже удобнее, чтобы в Джанкое не перетаскивать... А теперь належ по последней и катись спать. Мне собираться надо.

Поднялся вверх вместе с Бэром. Пес, как обычно, лег у двери.

Единственное существо, на которое можно полностью положиться. Иногда, глядя в печальные собачьи глаза, испытывал острое — ей-богу! — сожаление, что не может с ним объясниться.

«...А ты что скажешь?» — Это был голос Петровича.

«О другой дороге?»

Сергей представил, как Олежек пожимает плечами. Не потому, что нечего сказать, а так, на всякий случай. Отстраняясь.

«Смешной парень — говорит, что вы похожи на мента...»

Чтобы увильнуть от ответа, попутно продал.

«Может, и похож, — несколько неожиданно согласился Петрович. — Я тебя о дороге спрашиваю...»

«А хрен ее знает».

«Ты и есть этот хрен. Идея, в принципе, правильная. Перед постами ГАИ меньше будем мельтешить. Но не замышляет ли чего? О чем еще говорили?»

«Предупредил, что Петрович — мужик строгий».

Тут губошлеп наверняка подмигнул и заулыбался.

«Это ты правильно...»

Господи! С кем приходится иметь дело! Почувствовал себя подобием безответной шлюхи, которую, было бы желание, может употребить каждый.

«Сказал, что вещи его беру с собой. Чтобы, дескать, не перегружаться в Джанкое».

Сергей усмехнулся. Значит, это ты сам надумал взять к себе мое барахлишко? Очень хорошо...

Что ж, будем собираться. Дело привычное и скорое — не первый раз. Задуматься и как бы запнуться заставили лишь две вещи — «макаров» и цацка. Однако и это решил: пистолет все же возьмем с собой, а цацку, повертев в руках и шелкнув фиксатором, сунул на самое дно сумки.

Встали затемно. Петрович с одобрительной ухмылкой, словно беря реванш и заодно отпуская грех за вчерашнее, посмотрел на пакеты с едой и корзину с фруктами, приготовленные в дорогу. Рядом стояла дорожная сумка Сергея.

Завтракали по-быстрому, однако все, что нужно, обговорили. Сразу за селом дорога по холмам уходит от моря. Вполне приличный асфальт, но

много поворотов. Отрезок километров в двадцать. Потом шоссе опять спустится к берегу, и вскоре развилка. На ней круто берем влево, пересекаем горы, Симферопольское шоссе и ждем по степи хорошей дорогой на Джанкой...

До развилки первой идет «тойота». Здесь ее догоняет «жигуль» и до самого Джанкоя становится ведущим.

Мент слушал оценивая и взвешивая. Обижаться, наверное, не следовало: иначе слушать он просто не умел... И тут с вопросом вылез Олежек:

— Может, без доганялок обойдемся, поедем вместе? Ты впереди, а мы скромненько следом...

Ответил, почти не скрывая раздражения:

— Докладываю. По соседству живет участковый. Отношения у нас вась-вась, иногда даже помогаю мотоцикл ремонтировать, но объяснять, что за иномарка с зарубежными номерами пасет меня, не хочется. Кстати, и документы у владельцев иномарки может спросить — участковый у нас любознательный...

Никакого участкового поблизости не было, сказал первое, что пришло в голову, но вралось легко.

— Кончаем базар, — решил Петрович. — По коням.

Оставив их одних, Сергей вышел открыть ворота и гараж.

Светало. Солнце, еще даже не появившись над горизонтом, высветило розоватым кромку гор, которые стеной прикрывали побережье с северо-запада. Во дворе напротив подал голос петух, стало слышно, как где-то гулит горлица...

Открыв замки, сел за руль, включил зажигание, завел мотор, проверил свет и приборы. Не забыть бы чего... Подумав, положил в багажник еще одну канистру с бензином. И все время прислушивался. Чувствовал себя как игрок, который сделал ставку и теперь ждет, что выпадет.

Когда вышел из гаража, Олежек был уже за рулем, а Петрович закрыл багажник.

— Если не будете гнать, догону минут через пятнадцать.

Мент кивнул, уселся поудобней, и «тойота» почти бесшумно попятилась со двора.

А теперь — в темпе. Метнулся в прихожую. Ни пакетов, ни его сумки не оказалось. Едут в багажнике «тойоты».

Вывел «жигуленка» и закрыл гараж. Приказал Бэру: «В машину!» — и пес привычно улегся на заднем сиденье, не переставая тревожно следить за хозяином.

Записку для старухи: «Больше не приходи» — она поймет, — приготовил с вечера и вместе с сотней долларов мелкими — для удобства — купюрами положил на стол.

Последний раз, проверяя, все ли на месте, ощупал себя: бумажник, ключи, пистолет... Бросил в машину кейс и выехал со двора. Закрыл дом и ворота. Вперед!

Село только просыпалось. Дорога и пляж были пустынные. Однако огляделся: нет ли сопровождения? От таких, как этот мент, можно всего ожидать.

Сразу за селом пошли виражи. Одна из труднейших горных дорог. Недаром каждый год летят под откос машины. Особенно — приезжей публики, настроенной на то, что «мы и не такое видали».

Выскочив наверх, увидел прямо под собой «тойоту». Она бойко и уверенно шла по наружной стороне вырубленной в скале асфальтовой петли. Впереди у нее был очередной крутой, как бы нависавший над обрывом поворот. Сам обрыв уходил в поросшую кустарником глубокую балку.

Пора... Вынул цацку и нажал первую кнопку. Налился кровью красный глаз. Приблизил к нему палец. И нажал в тот самый миг, когда Олержек должен был повернуть руль, чтобы вписаться в поворот.

Взрыв словно прибавил «тойоте» силы. А потом она, безобразно куврыкаясь, полетела вниз, ломая редкий кустарник, поднимая пыль, и под конец хряснулась, как черепаха кверху лапками, о каменистое дно балки. И почти сразу ее охватил огонь.

Ничего не поделаешь, ребята... Извините, если что не так. Сами же посоветовали открывать собственное дело.

Еще раз огляделся — ни впереди, ни сзади по-прежнему никого. На развилке повернул налево. Неторопливо — главное, не суетиться, не давить кур, не привлекать внимания — пересек придорожный поселок. На выезде пришлось притормозить: по дороге гнали стадо. За ним шел, волоча в пыли длинный бич, пастушонок. Когда машина поравнялась с ним, пацан заглянул в окно и сразу же отпрянул: «Ого, какая собака!» За мостом стадо пошло вверх по речке, а «жигуль», прибавив скорость, рванул по дороге в горы, которые зеленели впереди.

И тут Сергея догнала и обожгла мысль, что самое трудное, собственно, только начинается, что самое опасное для него — впереди. Он — в бегах. От кого? Неизвестно. Но дом, соседи, старуха, «жигуль» и сгоревшая «тойота» с двумя трупами, собака, которую наверняка запомнил пастушонок, даже маленькая карболитовая штучка — дистанционный взрыватель от цацки — становятся источниками информации, метами, опутывают, грозят потянуться ниточками следом, стоит лишь кому-нибудь взяться за дело с умом и прилежанием.

Уже поднявшись в горы, свернул с асфальта на лесную дорогу. Справа километрах в двух был родничок.

Остановился под разросшимся лещиновым кустом, вышел сам и выпустил собаку. Бэр вел себя спокойно, значит, никого рядом нет. Места и обычно нелюдные с началом нынешней смуты стали просто пустынными. Раньше туристы забредали, а сейчас откуда им взяться?

Для начала разбил, раскрошил и рассеял то, что осталось от цацки. Устройство ее не вызвало на сей раз никакого интереса. Мысли бежали вперед. Надо уходить за пролив, на Кавказ, и по возможности неприметней. А как неприметней — с таким-то красавцем!

Бэр лежал на прохладной земле в классической позе готового к прыжку зверя. Голову, правда, положил на лапы. И словно исподлобья наблюдал за хозяином. Так было всегда — глаз не спускал, когда оставались вдвоем.

— Идем, — позвал Сергей, и пес легко, с готовностью поднялся.

Они подошли к обрыву, откуда открывался вид на всю прибрежную холмистую долину цвета охры, на приморскую дорогу, речушку и голубеющие вдаль мысы. А над всем этим медлительно кружил, высматривая поживу, орел — то ли черный гриф, то ли белоголовый сип... Впрочем, какая разница — и тот, и другой питаются падалью.

— Судьба, — сказал Сергей. — Видишь?

Пес привстал на задние лапы и лизнул хозяина в лицо. Сергей вынул из-за пояса пистолет и, мягко отстранившись от ластившейся собаки, выстрелил ей в голову. Смерть наступила мгновенно. Бэр не успел ни разочароваться, ни даже усомниться в любимом хозяине. Что значит точная и верная рука...

Выстрел прозвучал негромко, однако гриф (да, это был черный гриф) сразу же чуть изменил полет.

Сергей столкнул собаку в пропасть и не оглядываясь пошел к машине. К концу дня надо быть на той стороне, за границей, в Тамани.

АРКАДИЙ ПАСТЕРНАК



ИВАНОВ НА КРЫШЕ

Эту полулегенду рассказывали в Афгане «старики» молодым, а те, когда сами становились «дедами», передавали по эстафете новым салабонам, из которых не каждому суждено было состариться в свою очередь, пройдя через долгие полтора-два года конвоев, атак, засад, прорывов, операций по прочесыванию, блокированию, разблокированию.

Энский полк притулился у горы, рядом — кишлак. Прапорщик полка Иванов тайно по ночам навещал многодетную вдову-пуштунку. Была она старше его и, как и все ее соплеменницы, никогда не мылась. Поэтому когда начальство, как ему полагается, все про все прознало-вызнало, пошли гулять по штабу шуточки типа: «Слышь, лейтенант, а он перед тем, как с ней того, — он, ха-ха, по флакону одеколona в каждую ноздрю, хи-хи», «Да нет, у них как в песне: а когда отстегнула протез и челюсть вставную в стакан положила!..».

Но если какой-нибудь такой «штабс-поручик Ржевский» встречал эту пуштунку у родника, скажем, то надолго замолкал со своими хохмами. Глаза у нее были необычные для афганцев. Глаза — как синька, яркости такой, что жмуриться приходилось, как на сухое, пустое, до боли синее небо, потому что трудно было выдержать ее прожигающий взгляд. И так же как небосвод меняется с переменной погоды, так и глаза ее меняли оттенок от сиреневого до блекло-голубого — в зависимости от освещения, настроения и бог еще знает от чего. Знатоки переводчики-востоковеды поговаривали, что в этих местах, упершись в Гиндукуш, осела одна из фаланг Александра Македонского. Оттого, мол, светлые глаза у местных могут попадаться.

Темным мраком, звездной ночью лежали на ковре за дувалом прапорщик со своей «Гюльчатай». Прижавшись друг к другу, они шептали каждый на своем и каждый об одном, и не нужны им были переводчики-востоковеды и все полководцы македонские, генералы русские, разбойники афганские. Воняло кизяком, орал соседский ишак, вскрикивали во сне дети ветреной пуштунки. Шептали звезды.

Этой ночью в кишлак вошло соединение Гульбеддина Наздрати. До рассвета звучали выстрелы: кончали, как это принято у них, активистов, партячейку, бойцов отрядов самообороны, часто вместе с их женами, детьми, стариками родителями — в зависимости от освещения, настроения... Утром кишлак разбомбили. Вместе с некоторыми душманами под нурсами погибли и многие недорезанные воинами Аллаха мирные жители. Ромео-прапорщик считался погибшим вместе со своей афганской Джульеттой.

На самом деле Иванов с подругой и ее детьми, отстреливаясь, отошли в горы и укрылись в пещере. Дядюшка синеглазой афганки был большой человек в банде и покаялся самолично вырезать ей некоторые места за то, что она спуталась с шурави, с неверным. Штурм пещеры ничего не дал: у осажденных было два «калашников» и афганка тоже умела стрелять.

Тогда учредили осаду. Поставлен был пост из шести вчерашних мирных дехкан. Они время от времени постреливали с некоторой ленцой в

Аркадий Пастернак родился в 1960 году. Живет во Владимире. Публиковал рассказы, очерки и сказки в местной прессе, «Независимой газете» и газете «Демократическая Россия». Принимал участие в коллективных прозаических сборниках Верхневолжского книжного издательства. В 1993 году выпустил во Владимире книгу стихов, в 1996 году — книгу прозы. В «Новом мире» печатается впервые.

темный гулкий пещерный зев — так, для острастки, — да потом и эту затею оставили. Часовые не знали, что у пещерных заточников и патронов-то почти не осталось. Дехкане денно-нощно сидели на корточках у пещеры, валялись на кошме, почти не разговаривали, а просто, жмурясь на солнце, балдели оттого, что ни в кого не надо стрелять и в них никто не стреляет. Время шло. Полк поменял дислокацию. Банда ушла в другие горы. Только злопамятный дядюшка через гонцов все справлялся о здоровье заточницы пещерной и ее русского друга.

Шесть сторожей неизменно ответствовали, что да, они еще живы, из пещеры доносятся голоса, сдаваться пока не сдаются, но, видно, скоро, скоро... Нет, штурм никак невозможен, у этой синеглазой стервы семеро детей, но хоть они и маленькие — у каждого по автомату. Сторожа исправно получали американскую тушенку, а иногда пакистанский гашиш и уже начинали тосковать потихоньку по своим женам, потеряв счет дням.

Выручил их приземлившийся у пещеры вертолет. Дехкане бодро подняли руки и толком объяснить не смогли, кого они тут стерегут. В пещеру, шаря лучом фонарика, полез новобранец-узбек (никто уже сейчас не помнит, из какой армии: афганской ли, советской). Под лучом фонаря сверкнуло что-то яркое синее, как два небесных осколка. Не ожидал такого в адском мраке молодой солдат, заорал диким басом: «Шайтан!» И с перепугу пальнул по этим диким пещерным глазам.

Когда Иванова вывели из пещеры, он от яркого света ослеп. Просидел он в пещерном мраке почти год. Питались они сырым мясом нетопырей и слепых бледных рыб пещерного озера. Все семеро детей погибли от нервного истощения, депрессии, не выдержав абсолютного мрака, сырости, разлуки с родным ярким, прокаленным солнцем небом.

Прапорщик долго не знал о гибели своей подруги, он помнил только всполохи выстрелов в пещере, потом удар солнцем по глазам — и снова мрак. Его отправили в Ташкент, подлечили, он стал немножко видеть. Наградили орденом, уволили в запас, дали небольшую пенсию по инвалидности. На этом, собственно, афганская история заканчивается. Вот и все, что знали об Иванове и рассказывали в Афгане.

Отставной прапорщик вернулся в родимую Москву. С женой развелся, оставив ей квартиру и отдав все чеки, заработанные кровью, потом, игрой со смертью в прятки. На все плюнул и перебрался жить к матери на последний, шестнадцатый, непрестижный, неудобный, но такой поднебесный этаж.

В Москве стояла обычная для послезимья слякотная, промозглая, серейшая погода — не поймешь, то ли снег с дождем, то ли ветер с градом. На работу отставной прапорщик никуда не устраивался. Мотался целыми днями по городу, и поскольку асфальт под ногами был безрадостный и плоский, а лица прохожих одинаково-мимолетны, сведены холодом, ополовинены шарфами, он стал все больше любопытствовать насчет неба. Остановится, поглядит, да так и останется с задранной головой посреди улицы, извиняясь поминутно перед раздраженными, толкающимися людьми.

«Какое же оно серое — небо? — сам себе удивлялся Иванов. — Вон жилка чуть синеватая дрожит, вроде как край тучечный, и такая в ней чистота, свежесть, даль, что до костей пробирает, и кажется, что это твоего тела жилка трепещет там, в бездонной глубине, и ты сладким замиранием взлетаешь, внутри же все падает в какую-то нежность-жуть, а на губах прозрачный привкус сосульки розовой, солнечной, вешней». Неба глоток оживил его, будто бодрое, с гулками пузырьками ситро, выпитое в детстве в жарком бору, и звонкие эти пузырьки толкаются по всему телу, отзываясь мурашками в кончиках пальцев. Так мнилось, так чудилось ему.

После этого он стал так на небо засматриваться, что голова шла кругом, и он обрушивался в грязь, в слякоть, припечатывая ребрами асфальт,

который из-под грязи подло бил по затылку. Случился перелом. Он так и не понял, чего перелом, и не ощутил перелома. А чтобы не падать, Иванов пристроился лежать на скамейке у собственного подъезда: ложился на спину и острым подбородком упирался в небо.

Теперь он гурманствовал. В своем небосозерцанье он стал уже различать какие-то инфра- и ультрацвета и оттенки просто запредельные для обыкновенного человеческого глаза. Да и сам свет он теперь уже различал на вкус, звук, запах. Он обонял, осязал, обнимал каждый луч небесный. Радовался восходу, печалился вместе с закатом, с аппетитом пожирал фотонные потоки, так что булькало в горле и в животе ощущалась приятная тяжесть.

Теперь он витийствовал: кончиками пальцев, цоканьем языка, смехом лучезарным, мрачным вздохом; весь заходился до пят. Перед ним была величайшая в мире сцена со своими задником, рампой, двумя юпитерами, ночным и дневным, режиссером-ветром, со своей цветомузыкой, постоянной труппой из сплошных звезд и статистами, набранными из облаков и туч (они же — занавес).

Ничего Иванову было уже не надо, только оставьте ему его небо. Он наскоро перекусывал, поднявшись к себе на последний этаж. Мать тяжело вздыхала. Иванов мчался обратно на скамейку.

Несколько раз его забирали в вытрезвитель. Ну как же: лежит на скамейке, руками размахивает, то смеется, то плачет, а то вдруг заплодирует, и что совсем подозрительно — иногда становится тихим таким, вдумчивым; все всматривается куда-то, соображает чего-то, а чего соображает — непонятно. Не говорит. Да и чего тут соображать-то: небо, оно и есть небо. Чего от него ждать, кроме жары, града со снегом да ветра с камнями. Так, погода одна. А кто в него будет пялиться? Только дурак или пьяный. Вот и забирали.

Потом отпускали. Заглянув в удостоверение инвалида боевых действий в Афганистане, «вытрезвители» понимающе, гадливо усмехались: «А, контуженый». И отпускали.

Приставали пару раз пьяные хулиганы. Но, ткнув в Иванова кулаком, почувствовав, что кулак как в холодную пустоту проваливается и не встречает никакого живого отклика, в виде ответного, скажем, удара, теряли к нему всякий интерес.

А вот бабушки соседские были не таковы. Они потеряли выгодный плацдарм — одну из двух лавочек у подъезда. С двух противоположно стоявших скамеек было так привольно всех проходящих обсматривать, обсуждать всесторонне. А тут труп какой-то валяется сутками на важнейшем наблюдательном пункте, ни на кого не смотрит, в разговоры не вступает, зря занимает место. Они его сначала уговорами: ослобони, мол, касатик, по-хорошему; потом — матюгами; потом, собравшись с силами, спихивали несколько раз со скамейки. А он и ухом не ведет: опять — плюх, во всю ширь нагуленных в армии телес. И что самое обидное — не замечает их хлопот-забот. Тогда скамейку покрасили (когда экс-прапорщик харчеваться бегал на свою верхотуру). Так он и в краску плюхнулся и провалился в ней до вечера, присох как следует, а потом встал, оставил на скамейке полплаща — и тоже не заметил.

Плохо дело — решила бабка Кукулиха, заводила и мозговой центр скамеечных старожил. После этого она самолично поднялась на шестнадцатый этаж и имела продолжительную беседу при закрытых дверях с гражданкой Ивановой.

«Да, понимаю, странный, — вздыхала мать афганца. — Но ведь после этой проклятой Афгани кто вешается, кто спивается, кто в шпану идет. А он — ничего, не пьет, не хулиганит, курить вот даже бросил!» — «А бывает, и свихиваются», — бдительно прищурилась Кукулиха. «Да что вы, борщ от салата отличает и отвечает все так вразумительно насчет хлеба

или там перца, солонку всегда так вежливо подаст. Это он отходит, случай-то у него какой там был. Намаялся. Пройдет, пройдет».

Все же мать согласилась на уговоры Кукулихи показать сына психиатру. Доктор наскоро поспрашивал Иванова, на какие мысли наводит его эта вот картинка, да вот эта геометрическая фигура, да сколько будет пятью три и трижды пять. Навел справки и из уважения к воину не наградил его ни таблетками, ни уколами. Когда же разъяренная Кукулиха ворвалась к нему в кабинет и стала орать, что Иванов буйный, на заслуженных соседок с кулаками и гнусными намерениями кидается, доктор сам сделался как псих и закричал: «Вот эту бабку я и буду сейчас лечить! Делать ей уколов в задницу!»

Афронт вышел. Но потом случай помог бабушкам. Иванов так в небо влюбился, что не замечал уже декораций, а только героиню-звезду, девушку-луну, женщину-облако. Как оторваться от любимой? А тут по нужде надо. Не добежал до лифта, описался. Образовалось некое пятно в подъезде, с определенным запахом, это уже, так сказать, улика, так сказать, криминал. Тут же была вызвана милиция. Злодея-нарушителя препроводили в КПЗ.

В корчах провел ночь в камере афганец Иванов. Катался по полу в четвертованном лунном свете. Он готов был орать от ужаса. Но знал — не поймут. Потому молчал, и было еще больней.

Когда вышел, понял: надо как тогда, там, уходить вверх, горными тропами. Ушел, но отстреливаться не стал. Он взял раскладушку и отправился в запредельность собственного дома. За предел шестнадцатого этажа. На крышу.

Оттуда он уже не спускался к матери, чтобы хоть изредка поесть. Мать сперва почернела от горя. Потом смирила горечь в сердце своем и стала думать: у сына своего рода постриг, ведь уходили же люди в монастыри и были затворниками, и ничего — жили, не умирали. Кто знает — может, не хуже нашего жили? Она носила ему еду прямо на крышу. Небоман ел мало, редко, неохотно. Мать теперь не расстраивалась, понимала — пост.

Но совпало так, что как раз над новым месторасположением Иванова проложен был специальный воздушный коридор, конечно крайне секретный, резервный, предназначенный для особых случаев. И для проверки обстановки в воздухе и внизу летал иногда по этому небесному пути вертолет. Оттуда заметили Иванова, заинтересовались: кто это там за стратегически важным небом наблюдает и что это за непрерывное боевое дежурство на крыше дома в столице нашей Родины?

И возник тогда на крыше самый настоящий трубочист, не без некоего живописного изыска покрытый пятнами сажи. Немного повертевшись с озабоченным видом возле телевизионных антенн, он шагнул наконец прямо к раскладушке и завел с Ивановым беседу о том, какие ассоциации могут вызвать пятна сажи на его одежде и лице, или, скажем, облака — как эти облака трудно сосчитать сначала туда, а потом обратно. При этом он пристально и как бы невзначай заглядывал Иванову в зрачки. Иванов отвечал монотонно, однообразно и без всякого интереса к приятному собеседнику: «Пошел на ..., пошел в ...». Трубочист удалился оскорбленный, но с достоинством.

В это же время ненавязчиво проводили собеседования с соседями, с матерью. Буйная, крутонравая Кукулиха в этот период чуть действительно не угодила в «желтый дом». Понять и выяснить ничего толком не смогли.

Но оставалось еще темное афганское пещерное прошлое. Поэтому на всякий пожарный за Ивановым было установлено круглосуточное наблюдение. Наблюдали с соседней шестнадцатизэтажки, из окошка плоского тесного чердачка. В целях экономии следили только двое, сменяя друг друга через сутки.

Один — молодой, высокий, этакий скептик, с пушистыми ресницами и весь какой-то вздернутый: бровями, плечами, кончиком носа. Другой —

почему-то не переведенный в свое время в вахтеры или гардеробщики, из старых кадров, лет под семьдесят (поговаривали, что у него «лапа» наверху, причем не потопляемая ни оттепелями, ни перестройками). Был он тяжел, трапециевиден, такой седалищем вырастает в стул — и не оторвешь, как влитой, как неотъемлемая часть кабинета. И тем не менее при стандартно осевших щеках и подглазниках взгляд старшой имел вполне самостоятельный. Глаза как бы говорили: да, я дерьмо, а ты, я знаю, еще хуже, — и оттого некая радость в них и неотлипчивая ласковость. Такой и убьет-то с проникновенностью, жалея, но если прикажут — убьет непременно, с чувством, с толком, окончательно-бесповоротно, не дрогнув.

На пересменке наблюдатели встречались, и старшой делился опытом с идущим на смену поколением: «Раньше-то, в старые добрые времена, только кто странность какую проявил — его сразу на заметку, а вскорости — десять и пять по рогам, там уж разберутся, там, брат, естественный отбор был, не наши люди оттуда просто не возвращались». И добавлял уважительно: «Система!»

Старый волк проявлял инициативу, кричал с крыши на крышу: «Сволочь! Вредитель!» Иванов вздрагивал, пугался. «Космополит проклятый!» Тот же результат. Старшой строчил рапорт. Начальство — ноль внимания. Ветеран понял, что несколько оторвался от жизни и надо менять ассортимент. Теперь орал, например: «Наркоман спидовый, хрен тебя раздери!»

Ночью в Иванова стреляли бесшумно ампулкой, усыпляли, потом специальные товарищи залезали на крышу, брали анализ крови, обследовали кожу. Потом раздраженно пеняли старику: хлопот нам и без вас хватает — с настоящей заразой. Старшой молча скрипел зубами, наблюдая, как миндальничают с таким вот явно подозрительным типом, вместо того чтобы его сразу... да что там говорить! Молодой усмехался.

Ветеран теперь орал уже все подряд: «Фофан тряпошный! Сучок задрученный! Петух гамбургский!» Иванов вздрагивал, пугался. Старик почувствовал, что долго так не выдержит — заберется в один прекрасный момент на противоположную крышу и своими собственными руками...

Но тут грянул месяц август — и началась демократия. У старика не то что руки, язык стал короче. Он не говорил больше о прошлом и как-то раз, подумав, что, может быть, уже в порядке вещей на крыше лежать, что вполне дозволено в небо смотреть, на пересменке на всякий случай уважительно сказал об Иванове: «Тоже ведь ветеран, воевал». Молодой опять только усмехнулся: «Оккупант».

А неба затворник, который год под его купол опрокинутый, теперь учился грамоте. Перед ним раскинулась необъятная и единственная книга, где все: будущее, прошлое, то, чего не было и не будет никогда, все сущее и сущность вся от конца и до начала и без начала и конца. Надо было только расшифровать движение, порядок светил, мозаику света... Да и сам Иванов хотел тоже что-то сказать небу, но не мог еще, не умел.

Наблюдение шло своим чередом, так же как и перестановки, реорганизации, переименования. За всем этим как-то совсем забыли про пост у ивановской крыши. Но учреждение, где служили старый и молодой, отличалось во все времена железной дисциплиной, и они по-прежнему сменяли друг друга на чердачке у окошка с регулярностью заката и восхода. Не выпивали, не отлынивали. Честно бдели. Правда, относиться стали к объекту как-то попрохладней. Прозвали его Карлсоном. Спрашивали друг друга, встречаясь на пересменках: «Ну как там наш Карлсон? Не улетел? А то отрастут за спиной крылья, пристроится в клин журавлиный — и курлы-курлы в теплые края!»

Все бы так, наверное, и продолжалось, если бы старшой не столь переживал за судьбы Отечества. Человек с пленок насильственно и на всю жизнь политизированный, он взволнованно следил за политическими баталиями дня нынешнего, не в силах решить, какую же сторону в конце

концов принять, поскольку все еще не ясно было в точности, чья возьмет. И теперь еще больше раздражал этот тип за чердачным окном — тем, что все ему хоть бы хны, ни о чем голова не болит. Не сдержался старик, да и гаркнул, как бывалыча: «Вот марсианин хренов!» Иванов по старой памяти испугался и вздрогнул. Старшой рапорт на этот смехотворный случай писать, конечно, не стал, но молодому, похикивая, как казус рассказал. Молодой, который теперь стал уже по званию старшим, неожиданно посерьезнел и куда-то заспешил, оборвав разговор.

На следующий же день чердачок наблюдателей начал потихоньку заполняться диковинной и, по всему виду, серьезнейшей аппаратурой. Инфра, ультра, гамма, бета, радар, лазер — вся эта хреновина то и дело направлялась на Иванова и в окрестное небо. Эксперимент продолжался полгода. Чердак углубили и расширили за счет высоты потолков в квартирах верхнего этажа. Люди в белых халатах добирались до чердачной лаборатории ночами в промасленных комбинезонах, изображая ремонтную бригаду, и рассаживались за мерцающие экраны.

А однажды молодой по секрету поведал старшому, что из Америки прибывает строго законспирированный контактер, которого два раза то ли похищали инопланетяне, то ли хотели похитить. Барин, мол, придет, барин, мол, рассудит.

Старшой бурчал вполголоса, как бы про себя: «Не понимаю я... Такие средства государство вбухивает в червя этого, в тыщи раз уже больше, чем вся наша с тобой зарплата, — и все пальцем боятся его коснуться. Да его в бункер куда-нибудь, под прожектор — там бы сразу...»

«Не понимаешь? — издевался молодой. — Конечно, не понимаешь. За тебя фюрер всю жизнь думал. Такие вот, как ты, ленивцы кровавые, непонятливые скольких в свое время... а выясняется: ни за что ни про что».

Но полугодовые исследования не дали никаких результатов. Вердикт специальной международной комиссии уфологов был однозначен: «Отставной прапорщик Иванов имеет, скорее всего, земное происхождение». Старшой получил строгий выговор за непреднамеренную дезинформацию, повлекшую за собой большие материальные потери. Молодой усмехался. И они снова оказались предоставлены самим себе: своим мыслям, своим разговорам при передаче караула, да небу над чердаком, да одинокой раскладушке под небом с распластанным на ней никому не понятным человеком.

Некогда могучий парень из ВДВ стал теперь тонким, звонким и прозрачным. Всматриваясь в синее солнечное небо, он начинал видеть проступавшую за ним тьму: отключалось солнце, врубались звезды, тягучая тьма оказывалась черной дырой, открывалась дурная бесконечность, а главное — пустота, пустота, которая уничтожала вообще всякий смысл, уничтожала Иванова, Землю, людей и знать не хотела никакого смысла, была вне всяких смыслов и строго сама по себе и перечеркивала все вокруг.

Иванову было очень плохо. Опять кружилась голова, и он падал, но уже не назад, не затылком, а лицом, и не вперед, а вверх. Тугая темная спираль вбирала его в себя и, всасывая, перемалывала все его внутреннее — от пят до горла. Мимо неслись звезды, планеты, кометы, туманности, квазары, пульсары, галактики, все вперемешку. И, наконец, наглая голая рыжая пустота шмякала его по лицу, пахла ржавой кониной, ражим потом, кончиной пахла. И он терял сознание. Надолго. Спать же он вообще разучился. Ни сна, ни отдыха измученным глазам.

Умерла мать Иванова. Про него же забыли. Поэтому все заботы о ее похоронах взяли на себя соседи, пуще всех общественниц — бабка Кукулиха. Она прошлась маленьким крутобоким таким смерчем по всем возможным и невозможным кабинетам. Кулаком по столу, матюком по осанистой башке, выбивая бесплатный и почему-то непременно чугунный памятник матери героя-афганца, пропавшего без вести.

Отставной неба десантник, а ныне небопоклонник — все время из сознания да в бессознание — как-то и не заметил, что ему уже никто не носит пищу.

Многолетние и бессмысленные бдения у чердачного окошка, видимо, повлияли на старшего каким-то странным образом. Он стал невнятен, бестолков и, страшное дело, во время дежурства нет-нет да перекрестится на левый угол чердака. И однажды, вытирая беспомощные старческие слезы, стал, булькая и гукая носоглоткой, выговариваться молодому: «Понимаешь, все прошел, все чистки, подсадки, всех наркомов пережил. Сколько раз на волоске был, а теперь, нет, не могу... — Хлюп — горлом. — Тогда все понятно было, все по-людски: ну, не сориентировался вовремя, ну и шлепнули тебя как уклониста. А тут... Понимаешь, смотрю я на него, смотрю — и вдруг сквозь него звезды начинают светиться и подмигивают злорадно так, дразнят, зовут... И таблетки от него, от гада, не помогают... А то приподнимется — и завис, висит, висит в воздухе, небожитель фуев! — Хлюп-хлюп. — Ты пойми, пойми... ты, дурак, прекрати ржать! Пойми: это же значит, все к черту, как не понимаешь, все незачем, все ниоткуда, все зря — все, что было. Это ж значит, как ничего и не было. А то еще крыша начинает ехать: едет, едет набок, глядь — а его уже и нету. Сиганул... прямо в небеса. А ну и меня туда утянет? Забьюсь в уголок и плачу, и не стыжусь признаться. Мать родная умерла — не плакал, брата посадили — ни в дугу и ни в тую. Сам нескольких шлепнул — рука не дрогнула. Не надо мне туда, не могу я там, я здесь привык, здесь хочу». — «В санчасть, в санчасть, — смеялся молодой, выбрасывая пустую банку. — Действительно, крыша у тебя совсем поехала». — «Да ты погоди, — уцепился за него старшой, — ты ж ночами теперь сачкуешь на дежурстве, спишь, наверное, теперь. А ты не поспи ночек несколько». Глаза старика, две пустые дыры, смотрели на молодого. Сквозило оттуда ужасом черным и диким. «Пещера!» — мелькнуло у молодого в голове, и как-то поспешно он отвернулся, глухо буркнул: «Да что с тобой?»

Но вскоре и сам заметно загрустил, задумался и уже не усмеялся. Старик следил за ним без злорадства, с сочувствием. Спросил: «Слышь, а чем он питается?» Молодой встрепенулся, ответил как-то вяло: «Не знаю, не знаю». — «Слышь, а те ребята, которые к нему на крышу лазили, рассказывали, что дерьмо у него не воняет, так, типа голубинового, без вонизма нашего, обычного». В старческих прожилках снова начинал светиться давно утраченный красноватый огонек истовости.

Неустанно и непрестанно теперь готов был старик талдычить о новом Карлсоне, распаляясь и увлекаясь. «Слышь, а может, он уже и не человек вовсе, а?» — с надеждой в голосе пытал он молодого. «Может», — бурчал тот, подавленный и озадаченный. «Тогда ангел, что ли?» И ждал ответа со странным трепетом. Напарник неопределенно пожимал плечами: «А что...»

Потом наблюдение за стратегической крышей приказано было усилить. Они стали дежурить вдвоем и были уже вооружены.

Когда началось, им сообщили по рации. Последовала ночная стрельба у «Останкино» и по всему городу.

Иванов в ту ночь впервые не терял сознание и никуда не падал. Он слушал выстрелы. А за выстрелами — шепот звезд, обращенный к нему одному. И в эту ночь он говорил со звездами и пел им, и вспомнил мать и Афган, и заплакал, хотя давно разучился.

А под утро он почувствовал рядом на раскладушке тело, родное, чуть обмякшее, жилистое, многородное и многотрудное, которое спасало от крови и ненависти, защищало от чуждого, страшного, непонятного неба, непонятно зачем им, чужакам, понадобившегося. От самой этой непонятности спасало. Она пришла. Как и тогда, она пахла кизяком, ишаком, синовой, пеленками, полковым аптечным одеколоном, звездами за дувалом. Звезды шептали.

Иванов уснул, сладко причмокивая.

Рассвело. Внизу лязгали гусеницы танков. Старшой с молодым слишком много слушали разговоры по рации, да еще мешали стрельба, гомон толпы, шум моторов, и они... проглядели. На противоположной крыше мелькнул кто-то серым бликом, потом блеснуло. «Смотри!» — заорал старшой. Шагах в двадцати от Иванова стоял парень с винтовкой. Иванов, тонкий, в лохмотьях, пронизанных ветром, неуверенно, будто на ощупь, но неотвратимо надвигался на него, широко раскинув руки.

И на крыше раздались выстрелы. Молодой наблюдатель выхватил пистолет, старшой орал ему, наливаясь кровью: «Стреляй, Петька, стреляй, он нашего объекта забижает!» — «Не ссы, Семеныч», — цедил сквозь зубы молодой и палил. Парень с винтовкой заметался, пригибаясь. «Бросай оружие! — загромыхал старшой; винтовка полетела вниз, сверкая оптическим прицелом. — И стой спокойно, ты у меня на стволе».

Кубарем кинулись из дома в дом, с лифта в лифт, с крыши на крышу. Стрелок исчез — должно быть, понял, что за ним уже не следят, и ушел через другой подъезд. Молодой шагнул к Иванову. «Карлсончик, дорогой», — сказал он, как-то совсем по-детски заморгал и вдруг — вскрикнул. Широко раскрытые глаза лежащего на спине Иванова были наглухо запечатаны слепыми бельмами.

Старшой подошел, посмотрел на банки из-под тушенки под раскладушкой, на простреленную голову Иванова, отвернулся и разочарованно сплюнул: «А ты что говорил: не человек, не человек...»

ВЛАДИМИР КУРНОСЕНКО



КОНТАКТЕРЫ

Лет пятнадцать — семнадцать назад она была его любовницей. Их, любовниц, у Сотого было не много, и она была не хуже и не лучше иных. Теперь, когда он нечаянно встретил ее, она слышит голоса, она — контактер.

Еще в те их встречи она говорила, что пару раз лежала в психбольнице — что-то у нее, физика по профессии, не укладывалось тогда с пространством Римана. Теперь же, он понял, дело зашло гораздо дальше. Она призналась ему, что муж ее терроризирует, сгоняет с квартиры и ей негде больше жить; что она, пожалуй, согласится пока пожить у него, у Сотого, раз вот он недавно развелся.

Немного подумав, он ответил, что у него уже есть женщина и эта женщина практически у него живет. Это было некоторым преувеличением, но все же не ложь. На это она возразила с женскою жестокою улыбкой, что ту женщину можно «вытеснить». Еще подумав, он заметил, что, если бы даже он пошел на подобное, это был бы не выход: все равно ей необходимо обратиться к юристу и разменивать жилплощадь, на которую у нее есть права.

Владимир Курносенко родился в 1947 году. Живет в Пскове. Закончил Челябинский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Печатался в «Сибирских огнях», «Урале», «Юности», «Литературной учебе». Автор нескольких прозаических книг.

Нет, сказала она (Геля) с выраженьем отстраненности на вдруг помолодевшем, слегка покосившемся лице, это не получится. «Они» — она имела в виду окружающих — думают, что у нее не все дома, что у нее крыша поехала, а лежать в психушке тяжело. Плохо, очень плохо в психушке...

Получалось, что как только она предлагала мужу меняться, тот пугал ее психушкой.

Сотый промолчал. Если поговорить с мужем, мелькнуло в голове, наверняка отыскались бы какие-то аргументы и с той стороны.

Распрощавшись, Сотый пошел было, но Геля догнала его.

Да-да, она проводит его, ей по пути. Она заедет к подруге на бывшую работу.

— Ой! — тоненько хихикнула она, и он, заволновавшись, вспомнил этот знакомый звук. — Как я истосковалась по философским беседам!

В ту далекую пору она была хорошенькая. Блондинка, хотя, очевидно, крашенная, а глазные радужки темно-темно-карие, густые, смолянисто-коричневые. И такого же цвета — родимое пятно на щеке, очень большое, почти уродующее, но именно — почти. Оно делало ее еще особеннее, еще непохожее на других женщин.

— Да, — сказала она, точно продолжая прерванный разговор, — эти голоса внушают мне подчас диаметрально противоположные чувства.

Какие? — хотел спросить Сотый, но удержался. Ведь сейчас он оставит ее, оставит навсегда, бросит. Да и кто она теперь, Геля? Там, где нынче он встретил ее, не узнав поначалу, она прижималась щекой к журнальному столику... В довольно солидном учреждении.

Кажется, ей некуда деваться. Понимает это хоть кто-нибудь?

Она взглянула на него. Глаза были те же густо-густо-коричневые, плюшевого медвежонка, сплошные. Когда-то она ходила в джинсах — всюду в джинсах, — и они сидели на ней замечательно...

С каким трудом он стаскивал их с нее в первый раз!

Мне некуда деваться.

Было ясно, что, как бы теперь он ни поступил, будет плохо. Жизнь снова, в который уж раз, подстроила ему ловушку. Именно ему... Не возмездие ли за что-либо?

Геля не постарела, а помолодела за эти годы, хотя была старше Сотого лет на шесть. Гладкое, слегка отекавшее лицо стекленело время от времени в странной какой-то полузадумчивости-полуусмешке. А когда-то оно было красиво, твердо и смотрело на Сотого не без надменности. Она чувствовала себя выше его, значительней и обращалась с ним как с пажом. С красивым, но не способным придумать пороха.

Да, она не постарела за эти годы, но выглядела как подтаявший сугроб. Ее в известном смысле не было вообще. И что за приказы, что за голоса слышатся ей в этой ее стекленеющей задумчивости?

— До свиданья, — сказала она, замедлив шаг у первой же троллейбусной остановки. Поняла, видимо, что ждать ей от него нечего.

Наверное, она пошла бы сейчас с любым — лишь бы позвали...

Сделав — теперь уже в одиночку — с десяток шагов, он вдруг вспомнил, что может дать ей адрес одной церкви. Быстро повернувшись, побежал назад. Поздно: навстречу уже катил, влажно шелестя шинами, ширококомордый троллейбус. Сотый остановился, порыв его медленно угасал. Даже если Геля не села в троллейбус, не стоит ее никуда посылать. Люди, на которых он переложил бы заботу о ней, сами едва сводят концы с концами. Нет, ему и в самом деле нечем ей помочь.

Как-то сразу уставший, обмякший, медленно брел он домой. У него был хотя бы дом. Маленький, не бог весть что, но все-таки дом, где он мог в тепле и относительной независимости дожидаться, как все, смерти. Или — собственных голосов. Куда без них! Долги-то у него были посерь-

езней, чем эта бедная тронувшаяся Геля. Геля — мелочь в сравнении с ними. Он даже попробовал убедить себя, что к нему, Сотому, она и вовсе не имеет того отношения, которое почудилось ему вначале. Скорее к мужу... Но от этих мыслей не стало легче. Наоборот...

Дома он прилег и с напряжением начал вспоминать строчку из псалма Давида, которой назван был читанный давным-давно роман современного японца. Тогда, в молодости, название показалось манерным, вовсе не в каноне восточной созерцательной точности. «Внидоша, — вспоминал Сотый, — внидоша воды... до души моей...» Так, кажется? Да. Так. Он был уверен, что так.

«Спаси мя, Боже, яко внидоша воды до души моей!»

Достигли, достали воды жизни до ноздри души моей. Спаси мя, Боже. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...

Он уснул.

ЮРИЙ ЦАПЛИН



ДУХ ВМЕСТО ЧЕЛОВЕКА

В ту пору у Масича была идея, что он барабанщик (впоследствии не подтвердившаяся), и я записал с ним некоторое количество песен. Существуют или существовали древние африканские племена, уникальность которых, сначала описанная, а затем на корню изведенная миссионерами, заключалась не столько в обрядах, масках и половых извращениях, сколько в присущем всем этим племенам (стало быть, не такая уж это уникальность, а отличительная черта) понимании мира как своего рода житницы духов. Существовал также подкласс этих племен, к духам по своему состоянию наиболее приближенный — не в смысле зрелости и готовности к обмолоту, а в смысле близости и готовности к общению. Так вот, способ общения с духами у всех этих кастовых племен был, в сущности, один и тот же — в одном слове его можно охарактеризовать как пение. Масич всех поил чаем. Он был патологически гостеприимен. Многие удивлялись, что нас связывает. Я был тем человеком, который приходил к нему не пить чай, но работать. Вот именно, он меня боялся. Но, возвращаясь к нашей работе, я думаю, он понимал, что это единственный для него шанс войти в историю. И мы действительно вляпались с ним в одну.

Холодно было, я бежал. Звонок, Масич посмотрел в глазок и спросил, кто там. Он не узнал меня в тот вечер, вот что странно. Теперь я думаю, может, это был не я? И мне плохо так думать.

А у Масича был накрыт круглый стол и играли в карты. Увидев меня, все поскучнели и стали собираться. Вы думаете, меня это когда-нибудь обижало? Нет, я привык, я был рад самоустранению помех. Я не любил их — людей, игравших у Масича в карты; может быть, я хотел немного, чтобы они любили меня, но с чего бы это они стали любить меня? У меня были на этот счет некоторые теории. Но они ведь не знали моих теорий? Во всяком случае, я не хотел бы, чтобы они их узнали. Мы же убрали со стола. В жизни я услужлив и покладист. Может быть, кто-то считает даже, что использует меня, — это смешно. Мы же начали играть и петь.

Ля-ля-фа. $GmF = VmF$. Формула оказалась проста. Я попросил Масича, и мы сидели без света, он зажег свечку. И духи вошли. Они есть — вот что было очень страшно. И еще было очень страшно, что они заполнили всю квартиру, даже чулан, — и все они светились, они шептали, и их было видно сквозь стены, так что казалось, что не в маленькой квартире человечка мы, а в огромном подземном коридоре, где они — дома, а мы — непрошенные, отвратительные пришельцы; и чувствовалось, как им надо сдерживаться, какие чудеса нечеловеческого такта проявлять, чтобы не выдавить с брезгливым наслаждением жизнь из наших неповоротливых теплых тел. Они отворачивались от нас, но иногда, не стерпев, бросались вперед в приступе неуправляемого гнева и ломали нам пальцы. Мне сломали два, Масичу — четыре. Трудно что-нибудь сообразить, когда вам ломают пальцы.

Только страшно. Очень страшно. Ничего, кроме страшно.

Вы понимаете, Масич не был мне особенно дорог как барабанщик. Но он был полезен. Я всегда дорожил вещами, людьми и ситуациями, которых не пришлось добиваться. Которые сами появились и попались. Масич был такой вещью, давно. По прошествии такого количества времени любая безделушка окрасилась бы в сентиментальные тона, а уж Масич прямо-таки переливался. Я сказал бы, что Масич был дан мне Богом — если бы я верил в Бога и в то, что Бог дает Масичей. Тогда в конце рассказа я сказал бы: Бог дал — Бог взял. Это было бы красиво, потому что неправда. Потому что духи...

Упоминают ли миссионеры о зеркалах? Духи толпятся, но особенно они толпятся у зеркал. Не заглядывают — смотрят; стоя вплотную, туманя стекло своим утробным дыханием, поверх голов, случайно наткнувшись мертвым взглядом из другой комнаты, застыв — а в зеркалах темные коридоры и еще толпы тел.

Оказывается, пишут исследователи, один я не вызвал бы духов, а уж Масич тем более. С другой стороны, любая пара Масичей вызвала бы духов запросто. В то время как двойка, по сообщению исследователей времен, есть самое неэффективное число. Поэтому в Африке не бывает дуэтов.

А бывает так: колдун, пользуясь исторически данной ему властью, собирает племя на полянку. Племя, руководимое мелкими шаманами и отчасти от скуки, поет. (Шаманы выходят вперед, но это ничего не значит, им тоже страшно.) **ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КОЛДУН МОЖЕТ СОВМЕСТИТЬ СЕБЯ С ДУХОМ.**

Духов нельзя вызвать, говорят ученые, — закон сохранения. Можно, говорю я. Просто за это им нужно отдать человека.

Трагедия этого мира в том, что с помощью логики нельзя доказать ничегошеньки. Учение, что у каждой палки есть два конца, самым своим порочным появлением изрядно повыкосило бушевавшую в телах наших предков животную жизнерадостность. Теперь, на исходе двадцатого века, надежда еле теплится — ее хранят самые тупенькие. Последний шанс на спасение у них, родимых. Образованное общество брезгует понять это — и полтора столетия бьется в предсмертной судороге. Ничего нельзя доказать.

Можно только показать. Можно только воспламениться. Можно только поверить. Можно только заставить поверить.

Разговоры о том, что человечья жизнь ничего не стоит, — это журналистика. Стоит, стоит. И там знают, чего она стоит. Духи знают.

Случалось, что колдун отдавал вождя. Был властен. Не более чем случалось — колдуны по праву считались прогрессивными людьми своего времени и, что подтверждают даже странствующие христианские проповедники, не поощряли ненужные жертвы. А вождя, если уж так он несно-

сен, можно и отравить. Скормить собакам, а не потустороннему сонмищу. Не играть попусту холодным адским огнем.

Никогда не играйте попусту холодным адским огнем.

Духов нельзя вызвать, говорят ученые. Но лучше бы они говорили, что духов нельзя вызывать.

Я не оправдываюсь. Перед кем мне оправдываться. Думаете, легко было отдать Масича?

Думаете, легко было догадаться, чего им надо?

Человеческая мораль, может быть, и хороша, и полезна, и удобна — но почему никто не учит, что существуют ситуации, в которых ее надо немедленно отбросить? Почему никто не учит, что мораль не универсальна? Что она может стоить жизни?

Не надо думать, что лирический герой исповедуется. Он пишет инструкцию по выживанию. Воспоминания о боли. Необратимом воздействии. Страх остается навсегда. Вам не почувствовать этот страх, не понять, не пережить его, сколько бы я ни рассказывал о нем абстрактным злым голосом. Боюсь, теперешний человек (не тип, а вид я имею в виду) не наделен такими фибрами души, в которые стоило бы совать электроды художественного слова о страхе, — а только так я могу представить себе доставку информации о невероятной физиологической интенсивности этого чувства. Функция плоти, властный вопль тела, абсолютное и не терпящее отказа или отсрочки требование. Страх раздает пощечины рассудку, интеллекту, душе, морали — приводит в порядок всю эту зазнавшуюся требуху. Страх немилосерден. Страх несентиментален. Страх созидателен. Он уничтожает личность, нимало не заботясь о всяких там дорогих ее сердцевине тряпочках и фантиках; он разрушает «я», потому что «я», забыв, зачем возвращено, платит лютой неблагодарностью родному телу, собираясь бросить его на какую-нибудь сиюминутную амбразуру.

Следует напомнить человечеству: накормить, защитить и спасти себя человеку разум дан, а не генерировать абстрактные суждения. И если разум — что мы наблюдаем с развитием так называемой цивилизации — отказывается исполнять свои непосредственные обязанности перед организмом, то теория естественного отбора его, естественно, у человека отберет. Мыслительный аппарат интеллигента ни с чем иным нельзя сравнить, как с раковой опухолью: он так же живет по своим законам, так же паразитирует на организме и так же способен довести оный до скорой гибели, которая ни племени, ни роду, ни виду никакой пользы не приносит — напротив, служит неизъяснимо притягательным примером для молодых особей. Нас убили бы обоих. Страшный всеобщий вопль — густое пламя взялось кольцом, с Масича сорвали рубашку, майку, тускло блеснувшим кривым ножом вспороли живот и выгребли на пол, оторвали кишки, желудок, почки; какой-то маленький первым успел залезть и, выбрасывая что-то еще, видимо, прокладывая себе путь к голове, а живот уже споро за ним зашивали, получавшийся крученный шов белел салом, кровянился мясом. Сонмище сгрудилось вокруг Масича, захлебнувшегося надсадным криком, и только один высокий из дальнего угла пошел в мою сторону, неприятно кивая головой, — как нищий по вагону. С грохотом взорвалось пустое зеркало за моим плечом, а он, подойдя вплотную, вдруг шутовски споткнулся и, падая, повис на мне; я — не я закричал дико, раздирающе, когда, прижимаясь все тесней и отрывивая на грудь ледяную блевотную водицу, он полез мне в пах своими мертвыми руками.

В заморозок, когда неширокие лужи покрываются перепонками, а широкие обмерзают с краев. Апрельским утром, когда грязь не пачкает, а хранит ряд вчерашних подошв.

Я встречаю Масича. Он идет здороваться, взлетают руки на поворотах. Здороваться, ведь мы друзья и принуждены совершать рукопожатие всякий раз, когда просто знакомые могли бы просто раскланяться. Я жду, покинув тротуар, — и все равно мешаю людям. Встал, когда все продолжают идти, — теперь они цепляются за меня взглядами и сбиваются с шага. Готовлюсь к встрече.

Что же ты не заходишь, заходи, будет говорить он мне, долго и злое ще улыбаясь. Не отпуская мою несчастную руку. «...Как там ребята?» — спрошу я. «Отлично. Заходят. Заходят часто», — скажет он, сладострастно теребя вату моих пальцев, — и еще минуты полторы содрогаться от немого крика моей душе. Ребята. Бедные ребята.

Конечно, людей непоправимо много. Если бы нас было человек восемнадцать во всем человечестве, представьте, как бы мы друг друга лелеяли. А так везде и во всем присутствует иллюзия (иллюзия ли?) заметности.



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ

*

ИЗ ЛИРИКИ

Впечатление от театра

Наиболее важен в трагедии для меня акт шестой:
воскресение из мертвых венчает убийства на сцене,
поправляют парики, тряпки,
вырывают нож из груди,
снимают петлю с шеи,
погибшие выходят вперемежку с живыми
лицом к публике.

Кланяются в одиночку и вместе:
белеет ладонь на пронзенном сердце,
трепетно раскланивается самоубийца,
отвешивает поклоны отрубленная голова.

Кланяются попарно:
бешенство под руку со смирением,
жертва блаженно уставилась на палача,
бунтарь безобидно встает бок о бок с тираном.

Попрана вечность носком королевского башмачка.
Развеяны выводы полями шляпы.
Непоправима решимость завтра начать все сначала.

Шествие гуськом сгинувших еще до финала,
то есть в третьем, четвертом и между актами.
Чудесное возвращение пропавших без вести.
Мысль, что за кулисами они терпеливо ждали,
не снимая костюма,
не смывая грима,
трогает меня больше, чем тирады трагедии.

Но поистине вдохновляет падение занавеса
и то, что видно еще в узком просвете:
вот одна рука устремилась к брошенному цветку,
вот другая поднимает выпавший меч.
И тогда уже третья, невидимая,
выполняет свою повинность:
стискивает мне горло.

Монолог для Кассандры

Это я, Кассандра.
А это мой город под пеплом.
А это мой посох и ленты жрицы.
А это моя голова, переполненная сомнениями.

Это правда, я победила.
Моя правота права, как луна в полнолуние.
Только с пророком, которому напрочь не верят,
может случиться такое.
Только с теми, которые вяло взялись за дело,
и все могло сбыться так быстро,
как будто и не было вовсе.

Отчетливо помню,
как люди, увидев меня, смолкали на полуслове.
Смех обрывался.
Руки теряли друг друга.
Дети бежали к матери.
Я даже не знала их тленных имен.
А песенка эта о зеленом листике —
никто ее не закончил при мне.

Я их любила.
Но со своей колокольни.
Над жизнью.
Из будущего. Где всегда пусто
и откуда проще простого увидеть смерть.
Я жалею, что мой голос был твердым.
Посмотрите со звезд на себя, — я кричала, —
посмотрите со звезд на себя.
Они слушали и смотрели под ноги.

Жили в жизни они.
Большими ветрами гонимы.
Предначертанно жили.
От рожденья в прощальных телах.
Но жила в них надежда какая-то влажная,
мерцал огонек, утоляющий голод мерцаньем.
Знали они, что такое минута,
о, если хотя бы одна, хоть какая-нибудь,
прежде чем —

Вышло по-моему.
Но из этого ничего не следует.
А это только моя одежда, огнем опаленная.
А это только мои пророческие лохмотья.
Это только мое искривленное лицо.
Лицо, которое не знало, что могло быть прекрасным.

Похвала снам

Во сне
я рисую как Вермеер ван Дельфт.

Бегло говорю по-гречески,
и не только с живыми.

И вожу машину,
которая мне послушна.

Я способна
написать великие поэмы.

Я слышу голоса
не хуже настоящих святых.

Вы удивились бы —
я изумительно играю на рояле.

И взлетать я умею как надо,
то есть сама над собой.

И падая с крыши
я умею упасть мягко в зелень.

И без труда
я дышу под водой.

Я не жалеюсь:
мне удалось открыть Атлантиду.

Меня радует, что перед смертью
я всегда успеваю проснуться.

Я сразу же вслед за взрывом
переворачиваюсь на другой бок.

Я тоже дитя эпохи,
но я им быть не обязана.

Несколько лет назад
я видела два солнца.

А позавчера пингвина.
И совершенно явственно.

Пытки

Ничто не изменилось.
Телу присуща боль.
Должно оно есть и дышать и спать,
кожа у него тонкая, тут же под нею кровь,
оно имеет во множестве зубы и ногти,
кости его ломки, суставы его растяжимы.
В пытках все эти свойства берутся в расчет.

Ничто не изменилось.
Тело дрожит, как дрожало
до основанья Рима и после,
в двадцатом веке, до и после Рождества Христова,
пытки были и есть, лишь земля стала меньше,
и все, что происходит, — как будто здесь, за стеной.

Ничто не изменилось.
Добавилось лишь людей,
и кроме старых провинностей явились новые,
действительные, внушенные, минутные и никакие,
но крик, которым тело за них отвечает,
был, есть и будет криком безвинной жертвы,
согласно вечной мере и реестру.

Ничто не изменилось.
Лишь манеры, церемонии, танцы.
Жест рук, заслоняющих голову,
остался, однако же, прежний.
Тело извивается, дергается, вырывается,
сбитое с ног, падает, подгибает колени,
синеет, пухнет, истекает слюной и кровью.

Ничто не изменилось.
Кроме течения рек,
контура лесов, побережий, пустынь, ледников.
Средь этих пейзажей душа блуждает,
исчезнет, вернется, то ближе, то дальше,
сама себе чужда, неуловима,
уверена и не уверена в собственном существовании,
тогда как тело есть и есть и есть,
и некуда ему деваться.

Перевела с польского **Наталья Астафьева.**



ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ

*

ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ

...**К**акую бы сторону американской жизни мы ни взяли, всюду ощутимо сильнейшее влияние средств массовой информации, особенно телевидения. Влияние это преимущественно леволиберального толка, потому что руководящий состав в основе своей тот же, что и в других цитаделях либерального истеблишмента США — судебной-правовой области и системе образования. Эта основа — intellectuals, люди с высшим гуманитарным образованием, выбравшие культивацию определенных идей и средств их выражения своей профессией: воспевание благ прогресса, максимального освобождения от оков буржуазной морали, но вместе с тем — назойливое морализирование по поводу прав «меньшинств», прав человека; нападки на традиционную семью, на церковь, на полицию, на все, чем держалось и пока еще держится западное общество, — все это преобладает сегодня в идеологическо-информационном пространстве супердержавы Нового Света. Главный способ выражения — вулгаризированная, приспособленная под массовые вкусы интерпретация философии позитивизма и материализма; и эта вулгаризация позволяет ей быть максимально эффективной и широкодоступной.

Например, в кризисе американской системы охраны общественного порядка, системы правосудия СМИ играют едва ли не главную, и весьма неблагоприятную, роль, оказывая усиливающееся давление на решения судей, на действия полиции, на поведение присяжных, на общественное мнение. Именно там, где более всего необходимо взвешенное, разумное, тщательное обращение с фактами, погоня за высокими рейтингами заставляет журналистов нагнетать страсти, наполнять эфир всевозможными слухами, скороспелыми заявлениями, сенсационными разоблачениями, которые назавтра оказываются блефом, но уже сегодня способны искалечить людские судьбы.

Во многих случаях действия журналистов и комментаторов по меньшей мере безответственны; порой — просто провокационны. Известно, сколь роковую роль в деле об избииении негра Родни Кинга сыграли тысячекратные показы по телевидению случайной видеозаписи этого инцидента. В деле О. Дж. Симпсона произошло нечто схожее: само постоянное присутствие телекамер в зале суда (до сих пор разумно запрещенное в большинстве стран мира) превратило трагедию в очередную «мыльную оперу», которую наблюдала вся страна ежедневно в течение года с лишним. В результате нелицеприятный разбор преступления оказался подменен лицемерным и демагогическим обсуждением расовых проблем Америки. В итоге вердикт сбитых с толку и запуганных прессой и защитниками присяжных вместо четкого осуждения виновника преступления в который раз расколол страну на две враждующие группировки: черных и белых.

Владимир Ошеров — публицист, переводчик, занимается историей и социологией США, идейно-политическими особенностями западного консерватизма. Живет в США. Печатался в журналах «Новый мир», «Новая Европа» и др.

...За последние годы необычайно распространились телевизионные шоу, где в присутствии широкой аудитории (не считая миллионов телезрителей) люди «с проблемами» мазохистски и не без гордости выворачивают себя наизнанку, со всеми своими комплексами и претензиями. Эта публичная групповая «терапия», с энтузиазмом поддерживаемая растущей армией психологов, адвокатов, университетских профессоров, внушает участникам и зрителям только одно: никто ни в чем не виноват, не с кого спрашивать, вся вина лежит на безличных обстоятельствах или вполне конкретных социальных факторах. И вот уже двух юнцов, зверски убивших своих родителей-миллионеров, якобы по причине того, что папа и мама с ними когда-то «плохо обращались», суд присяжных готов оправдать (дело Менендесов, лето 1993 года). А фигуристка Тоня Хардинг, пытавшаяся руками своего бывшего мужа и его дружков расправиться с конкуренткой, серебряной олимпийской медалисткой Нэнси Керригэн, отделяется пустяковым штрафом — все потому, что ее мать в детстве мало о ней заботилась, была недостаточно нежна и педагогична. С такими приговорами, да еще и учитывая, какие барыши приносит преступление, будь то торговля наркотиками, угон и продажа чужих автомобилей или миллионные гонорары за жадно публикуемые воспоминания «героев» нашумевших процессов, с последующей постановкой фильмов, — при таком подходе к наказанию как же не соблазниться?

Само понятие ответственности, вины за содеянное находится под постоянным прицелом либеральной критики. Заслуженна вина или не заслуженна? А может быть, все дело в обществе, в его несправедливом устройстве? Или в какой-то психологической аномалии? Преступников, насильников, убийц начинают оправдывать под предлогом «временного помешательства» — «преступник в момент совершения преступления не мог отвечать за свои действия». Смысл всего этого: все — жертвы, никто ни за что не отвечает. Моральный релятивизм продолжает приносить свои плоды, его влияние повышается при активном участии средств массовой информации.

И дело не только в погоне за сенсациями и рейтингами. Можно просто перечислить темы передач новостей Би-би-си или «Голоса Америки», да и главных коммерческих каналов, чтобы понять, что мы имеем дело с пристрастной, узкоидеологизированной трактовкой событий и проблем. Все освещается с релятивистских и «политически корректных» позиций: в международных новостях обязательно выпячиваются такие темы, как нарушения прав человека, причем главными нарушителями обычно бывают те страны, где у власти находится сильный, зачастую авторитарный режим, как, например, Сингапур или вот теперь Белоруссия. Никакие другие показатели — уровень преступности, темпы роста или падения уровня жизни, степень стабильности и народной поддержки правительства — не интересуют либералов. Или вот осуждается смертная казнь, применяемая к торговцам наркотиками в Саудовской Аравии и Малайзии; или критически освещается нежелание Исландии вступить в Европейский союз; или сочувственно и многократно рассказывается о трудностях, с которыми сталкиваются гомосексуалисты в России, — и так до бесконечности. И за столь, казалось бы, разнообразными темами — общая идеологическая леволлиберальная спайка.

Конечно, сильнее всего СМИ влияют на молодежь. «Исследования показывают, — пишет прославленный доктор Спок, — что сегодня множество детей и молодежи черпают свои нормы поведения преимущественно из фильмов и телевидения. Эти средства воздействия настолько сильны, а их форма настолько убедительна, что только очень сильные родители с твердыми убеждениями способны противостоять тем внеморальным или аморальным ценностям, которые часто там подаются. По существу, кинопродюсеры и сценаристы, а в телевидении еще и рекламируемые ими компании стали сейчас главными источниками мнений, источниками ценностей для значительной

части общества. Но мало кто из них проявляет хоть немного чувства ответственности, соразмерного их огромному влиянию».

Реклама — один из главных экономических рычагов современной цивилизации. Но помимо пропаганды безудержного потребительства, составляющей ее *raison d'être*, реклама давно занимается и пропагандой идей. Уже недостаточно, что эротический элемент, всегда эксплуатировавшийся творцами рекламы, выродился в полупорнографию «на грани фола». В последнее время стали назойливо муссироваться уже давно знакомые нам лозунги «освобождения» от всех ограничений, особенно влияющие на юные души. Например, лозунг спортивной фирмы «Нике»: «Just do it!» (то есть действуй инстинктивно, не думая; как левая нога захочет); или «Бургер Кинг»: «Sometime you just gotta break the rules» («Иногда нужно просто нарушить правила»); фирма «Ральф Лоурен», одежда серии «Сафари»: «Living without boundaries» («Жить без границ»); виски «Джонни Уокер»: «It's not trespassing when you cross your own boundaries» («Это не нарушение, когда преступаешь собственные границы») и т. п. И вот уже в московском метро красуется такой призыв от фирмы «Кэд-бери»: «*Делай то, что тебе нравится вместе с шоколадом*» — не очень по-русски, но смысл понятен.

При этом рекламирование полной раскрепощенности отнюдь не исключает цензуры самой рекламы. Например, постоянно слышишь протесты против показа объявлений, где женщина фигурирует в традиционной роли хозяйки дома (готовка, стирка, уход за детьми). И хотя в реальной жизни до сих пор преваляет именно такое распределение ролей в семье, считается, что это положение нуждается в исправлении и средства массовой информации обязаны всячески способствовать этому. Так чем это лучше приснопамятного социализма, теоретики которого настаивали, что жизнь надо изображать не такой, какая она есть, а «в ее революционном развитии»?

Когда заходит речь об ограничениях показа насилия или откровенно сексуального материала, все либералы дружно возмущаются и утверждают, что факт влияния телевизионных программ на поведение зрителей, особенно подростков, еще надо научно доказать. Или вот словесное хулиганство «рэп-артистов» вроде Айс-Ти, Систа Соулджа и им подобных: их «песни», открытым текстом призывающие к убийству полицейских или извращенному, садистскому обращению с женщинами, считаются вполне допустимыми и цензуре не подлежащими как «художественное выражение социального протеста».

На протяжении последних десятилетий журналистская «корпорация» была самой громогласной в защите неограниченной свободы слова. И на сегодняшний день почти уже не существует запретов на разглашение государственных тайн, на откровенные обсуждения всех вопросов секса, на употребление самого изощренного сквернословия. Но зато всячески изгоняются любые критические замечания в адрес «меньшинств», искусственно вводится «пропорциональное» национальное «представительство». Например, на радио Би-би-си часто с недоумением слышишь дикторов, говорящих по-английски с сильным акцентом, — типичный пример либерального заигрывания с «меньшинствами» вкпе с релятивистским отрицанием культурных норм и стандартов.

Главное для «четвертой власти» — власть, основывающаяся на популизме и доверии публики. Если оно оказывается подорванным, за этим неизбежно падают доходы, влияние; утрата доверия влечет за собой падение числа телезрителей или подписчиков. А за этим прямо следует снижение числа и платежного потенциала корпораций, пользующихся газетой (или телевизионной сетью) для рекламы. Нет рекламы — нет денег, коллапс. Потому и спекулируя на «праве публики знать» (*the public has the right to know*), органы информации готовы почти на все; высокопарные фразы, поза защитников свободы слова, поборников справедливости, бесконечное морализирование странным образом сочетаются с безжалостностью и полным цинизмом.

Когда речь идет о лицах популярных, известных и высокопоставленных, СМИ не брезгают ничем: для раскапывания «грязного белья» пускаются в ход все мыслимые методы — от нелегального подслушивания, слежки и т. д. до подкупа и шантажа; и все это — во имя «информирования народа». Такая бесцеремонность уже никем, кроме самых непримиримых критиков, не ставится под сомнение: даже суды США, включая Верховный, дали свою санкцию этому журналистскому разбою под предлогом Первой поправки к Конституции США, говорящей о свободе слова и прессы; цель якобы оправдывает средства.

Но попробуй только обнародовать что-то не очень похвальное из личной жизни самих журналистов или их боссов. Тут уж ни в каком суде не отвертись! То есть право на «неприкосновенность частной жизни», о котором так много кричат либералы, распространяется только на работников СМИ да на их шефов. Все остальные, особенно люди знаменитые, лишены такого права, как в «Скотном дворе» Оруэлла: одни «более равны, чем другие».

Разумеется, предвзятость, склонность к искажению, к замалчиванию одних фактов и выпячиванию других, очевидно, вещь неизбежная, порою невольная. Относиться всерьез к гордым заявлениям газетчиков или телевизионщиков о собственной объективности может лишь простак. Но в разноголосице мнений, комментариев, партийных пристрастий «плюралистических» средств информации мы всегда улавливаем одну — уже знакомую — леволиберальную тенденцию. Достаточно упомянуть отношение американских журналистов к Рональду Рейгану. Как его только не третировали, как не издевались, изображая то маразматиком, который ничего не знает и не помнит, потому что засыпает на совещаниях, то каким-то допотопным монстром, не понимающим тонкостей внешней и внутренней политики, патологическим ненавистником красных, прислужником богатеев, врагом всех обездоленных и так далее. А все только потому, что Рейган — убежденный консерватор и никогда не считал нужным это скрывать. С его приходом начался бурный подъем в экономике. Но на протяжении всего президентства Рейгана американские СМИ замалчивали этот успех или продолжали кормить публику негативными новостями; информация отрицательного характера по объему в семь раз превышала хорошие новости. И это — в разгар экономического подъема! Продолжались все те же либеральные стенания о том, что богатые становятся богаче, а бедные все беднеют. На самом деле число бедных при Рейгане хотя и незначительно, но снизилось, а средний доход беднейших американцев увеличился с 7008 до 9431 долларов. Снизилась инфляция, уровень безработицы, снизились проценты на банковские ссуды — по всем показателям, — такого бурного расцвета не было с 60-х годов. Но это ничуть не повлияло на позицию либеральной прессы и телевидения.

Поучительно и то, как СМИ освещали экономические вопросы на подступах к президентским выборам 1992 года и сразу после них. Стараясь всячески помочь Биллу Клинтону, газеты и телеканалы рисовали мрачную картину американской экономики при Джордже Буше, хотя уже со всех сторон поступали данные о начавшемся экономическом подъеме. Когда же к власти пришел их фаворит, тон экономических репортажей мгновенно изменился. В экономике сразу наступил расцвет. Хотя все знают, что экономические спады и подъемы не могут чередоваться каждые три-четыре месяца, но ангажированную прессу это не смутило. Короче говоря, хотя все делается якобы во имя правды, публика худо знает, что же реально происходит в стране и мире.

Настоящая жажда общества знать истинное положение дел ярко проявилась в феномене неожиданного взлета популярности радио, особенно так называемых «talk-shows» — открытого эфира, где любой человек из любой точки страны и даже мира может позвонить на станцию и высказаться. Как это произошло? Из-за популярности телевидения радиостанции на какое-то время оказались вне сферы интересов крупных медиа-империй: Эй-би-си, Эн-би-си, Си-би-эс и т. д. Одно время казалось, что радио уходит в прошлое или будет

в основном обслуживать автомобилистов. Получить контроль над радиостанцией стало гораздо проще и дешевле, чем влезать в телевизионный бизнес. Благодаря этому многие радиостанции сохранили относительную независимость, позволяя себе программы, которые ни за что не прошли бы на большом телевидении. Либеральная «цензура», таким образом, в какой-то момент проморгала пропагандистский потенциал радио. Вот тут-то и обнаружилось, что миллионы американцев предпочитают не «видеть», а слушать и склонны соглашаться с консервативной точкой зрения на проблемы, волнующие общество; спрос на консерватизм не замедлил породить предложение — так консервативные ток-шоу стали расти как грибы после дождя.

Общепризнанный король консервативного радио сегодня — Раш Лимбо, ведущий ежедневную трехчасовую передачу из Нью-Йорка. Ее транслируют более пятисот местных радиостанций по всей Америке и за ее пределами, на всех возможных диапазонах, включая коротковолновые. Число слушателей продолжает расти и сейчас составляет порядка 25 миллионов человек — цифра просто неслыханная для радио. Он ведет также ежевечернюю телевизионную передачу, пишет книги и издает журнал. После пяти лет собственного шоу Раш Лимбо — это теперь разросшаяся империя, которая держится на уникальном таланте ее владельца. Каждый день он демонстрирует высокий уровень осведомленности и эрудиции, не уступая политологам с университетских кафедр и превосходя их здравым смыслом. Удивительная уравновешенность и способность к цивилизованному спору с оппонентами тоже выгодно отличают Лимбо от вечно негодующих и нетерпеливых либералов; одно из самых привлекательных качеств Лимбо — неистощимое чувство юмора: он врожденный сатирик, и объектом его сатиры нередко служат клишированные мозги либеральной интеллигенции. Он доказал, что претензии журналистского истеблишмента на выражение интересов общества лживы. Заправила американской прессы и телевидения живут в собственном мирке, имеющем крайне мало общего с нуждами и чаяниями рядовых американцев. Они весьма эффективно формируют общественное мнение и манипулируют им, пользуясь своим численным и финансовым превосходством, но когда появляется кто-то, говорящий о наболевших вопросах простым, доступным (но не вульгарным) языком, убедительно аргументируя свою позицию, — тут крыть нечем.

Но если в Америке в последние годы все-таки заметны некоторые мировоззренческие сдвиги в сторону традиционной морали, то в современной России положение иное. Хотя поверхностность, с одной стороны, и предвзятость — с другой, отличают средства массовой информации и здесь, общая ситуация намного острее. Экс-советские люди инерционно приучены относиться с уважением ко всему, что напечатано в газетах или высказывается по радио и ТВ. Раз что-то предано гласности — значит, правда. С таким пусть наивным, но прочно устоявшимся доверием к печатному и «эфирному» слову последствия внушения становятся просто гротескными. Достаточно указать и на феноменальный успех рекламы, побудивший миллионы вкладчиков поверить жуликам типа Мавроди, на популярность Жириновского и других политических примитивов. Но, обладая такой потенциально огромной властью и не скрывая желания пользоваться ею, российские СМИ, по примеру своих западных коллег, начисто забыли о своей ответственности перед обществом в период беспрецедентного кризиса: они слышат и выражают в основном себя самих, своих хозяев, свою клановую, «тусовочную» точку зрения. Для них главное — продолжать пользоваться своей недавно обретенной свободой и влиянием, невзирая на последствия для всей страны. Корысть и самоуверенность здесь завязаны в крепкий узел.

Общее падение уровня культуры — даже в сравнении с тоталитарными временами — явление из того же ряда. При советской власти культура определялась границами официальных запретов, они стали точкой отсчета: кто даль-

ше шагнет за «запретку». Но когда есть свобода самовыражения, нужно точку отсчета иметь внутри себя. Здесь невозможно обойтись без того, что называется твердыми убеждениями, — необходимо нечто большее, чем простое желание творческой раскрепощенности, известности и достатка. Какие же убеждения способны сейчас споспешествовать солидаризации и выздоровлению общества?

...Позволю себе поделиться впечатлениями моего первого — после семилетнего перерыва — приезда в Москву еще в апреле 1988 года. Уже тогда самым разительным, непривычным было отсутствие страха у большинства еще вполне советских людей, свобода, с какой они позволяли себе судить обо всем. Однако, разумеется, все еще существовали кое-какие табу, поскольку коммунизма никто официально не отменял, и видно было, как «творческая интеллигенция» буквально сореживалась между собой: кто позволит себе первым преступить еще один запрет, что еще такого можно сказать, дабы раздвинуть рамки дозволенного? Никто не думал о тех дисциплинарных механизмах, которые должны прийти на смену коммунистическим, но только — о свободе без берегов.

Никто не задумывался, что если интеллигенция худо-бедно соответствует «международному» уровню, то уж народ наверняка еще не «созрел» для того, чтобы без ущерба для своей «экологии» разобраться во всей красиво упакованной, пряной, но внутренне пустой продукции новейшей культуры и шоу-бизнеса. И вот мы имеем то, что имеем: высокая культура остервенело вымывается из сознания. Бесконечные игры и анекдоты; атмосфера ёрничества никак не соответствует драматизму реального бытия; хохма заполонила экраны и страницы прессы. Но как, скажите, воспитывать детей в стране воров, да еще в условиях гласности, когда вся гадость, подлость сразу вылезает наружу, когда в полунищей стране издаются наглые журналы для богатых и для них же открыты шикарные магазины, казино, ночные клубы и т. д., а возле подбираются нищие, сгорбленные старухи с благородными лицами?.. Номенклатура, имевшая свои спецпайки и распределители, стеснялась такое социальное расслоение афишировать; при коммунистах была своя логика во всеобщей лжи: правду просто нельзя было рассказать — тут же все сразу бы развалилось (так оно и случилось в конце концов). Но либеральная «правда», питаемая иллюзиями, что частная собственность и свобода сделают всех гражданственными и добродетельными, не намного лучше лицемерия коммунистов.

...Мои московские друзья спрашивают: не провинциальна ли Австралия, где я прожил первые годы эмиграции? Вот Франция — наверняка не провинция. Или Англия. А все остальное «под подозрением». Должен сказать, что одна из самых провинциальных стран в сегодняшнем мире — «капиталистическая», а точнее будет сказать, колониальная Россия. В центре Москвы шокирует количество безграмотных вывесок на иностранных языках. Не в обиду будь сказано, я бы не удивился, увидев то же самое в Вышнем Волочке или Хвалынске, где нет ни институтов иностранных языков, ни МГИМО, ни тысяч переводчиков высокого класса. Неужели поленились или пожалели средств для грамотного английского? А новые российские почтовые марки? Почему там написано «Rossija», а не «Russia»? Даже если хочется дать название в транскрипции, чего, конечно, никто еще не делал, то почему транскрипция должна быть немецкой? (Но тогда уж надо было писать «Russland».) Во всем, буквально во всем — дремучая провинциальность: в кино, эстраде, рекламе, самом тоне радиопередач, телевидения, в прессе. Да иначе и быть не может, потому что массовая культура посттоталитарной эпохи рабски ориентируется на образцы, возникшие в совершенно других обстоятельствах, в других культурных условиях.

Современная Россия подключилась к «закатной» цивилизации в наивном убеждении, что ее плоды осчастливят всех. И вот — семимильными шагами движется к полному экономическому и моральному упадку, к нравственной

деградации общества, чья пища — масскультура и выставленные на всеобщее обозрение криминальные разборки в верхах. И все это — под сладкие песни о «демократии», которая у нас скорей напоминает пограничные времена Веймарской республики, чем что-то, что пойдет всем во благо. (И объяснимей становится страшный урок фашизма как уродливой реакции на антипатриотический беспредел, политическое и моральное разложение.)

...Но на протяжении последних тридцати — сорока лет мир имел возможность убедиться воочию, что простое провозглашение демократии или даже приверженность всем процедурным формальностям демократического строя не только не гарантирует построения более справедливого и процветающего общества, а, наоборот, может повлечь за собой ужасающие нарушения законности, порядка и даже самых примитивных представлений о справедливости. У всех перед глазами трагическая и до сих пор не решенная судьба африканских стран, освободившихся от ига колониализма под победные клики всего «передового» человечества и оказавшихся ввергнутыми в кровавый кошмар «независимости и демократии», понесших такие человеческие жертвы, о которых и помыслить было нельзя в колониальное время. И все — своими руками, по новому, «демократическому» уставу...

Да и почему «готовность к демократии» должна быть единственным критерием зрелости того или иного общества? Может быть, готовиться к демократии нужно совершенно другим путем — изнутри, а не заимствуя всё и вся? Косвенно это подтверждается и неудачами практического применения новой либеральной концепции американской внешней политики — так называемой *nation building* («строительство нации»). Смысл ее в том, что «передовые» демократические государства, США в первую очередь, должны взять на себя строительство новых, неокрепших демократий, которым самим такая задача не по плечу («не доросли»). Либералы настолько ослеплены своим желанием научить всех демократии и уважению к правам человека, что даже не заметили, насколько колониалистской по сути является *nation building*: эта концепция, по существу, повторяет старую идею «бремени белого человека». И первая же попытка осуществить новый лозунг на практике окончилась симптоматичным фиаско — в Сомали, откуда американцам пришлось быстро ретироваться, так ничего и не добившись. Следующая попытка — на Гаити — пока еще продолжается, но результаты, мягко скажем, не впечатляют.

Принцип *nation building* использован и по отношению к сегодняшней России; президентская избирательная кампания Ельцина планировалась при активном участии американских консултантов, так же как и «реформы» в целом. Беда в том, что методы и подходы, принятые на Западе, по-прежнему воспринимаются как единственно универсальные, применимые к любым социальным, историческим и культурным условиям — отсюда и неудачи.

Главная задача России заключается в воспитании общества. И сильная власть нужна ей не затем, чтобы принудительно навязывать куцую, карикатурную демократию подавленному народу, а для того, чтобы готовить его к полноценному самоуправлению. Не обучаться из-под палки внешним демократическим ритуалам, не зомбироваться потребительской идеологией, а учиться тем личным качествам, какие только и делают народоправство вообще возможным и жизнеспособным. Главное, чтобы власть действовала в интересах всей страны, а не в интересах бюрократии и прослойки нуворишей. Иначе неизбежны массовый цинизм и безнравственность, как это, собственно, сейчас здесь и происходит.

Кстати, когда в России обсуждаются «испанская» и «чилийская» модели, крайне мало говорится об их воспитательной стороне, о том, что демократические ограничения там существовали на фоне последовательно улучшавшегося экономического положения, что позволило охладить горячие головы, приучить большинство населения к дисциплине и законопослушанию, показать на деле, что и диктатура может способствовать повыше-

нию жизненного уровня, и т. д. Только после этого стала возможна демократия. Ничего подобного в России мы сегодня не видим.

...Похоже, что демократия, взятая сама по себе, — довольно шаткое основание: на нем очень трудно строить. Удобна и благодетельна она только тогда, когда уже существует другая, более фундаментальная и общепринятая основа. Благодетельная стабильность (которую не следует путать со стагнацией, или, как у нас это определили, «застоем») покоится не только на чисто политических или правовых институтах — первоосновой, базисом всегда была и будет общая и д е я (религиозная, патриотическая, социальная) и основанная на этой идее общепринятая этика. Позволим себе сформулировать одну историческую закономерность в развитии европейского (и американского) общества: степень его стабильности зависит от христианской морали: чем слабее влияние христианства, тем больше становится в обществе трудноразрешимых противоречий между отдельными людьми, группами, классами. Указанная закономерность безусловно относится и к России, где Церковь на протяжении столетий — правда, с переменным успехом — цементировала социально-общественную мораль.

Именно внутри христианской цивилизации происходит сегодня глобальный кризис, вызванный разрывом между современным истолкованием таких понятий, как свобода, равенство, справедливость, и их изначальным христианским смыслом.

Страны Азии, чья духовная закваска иная, к этим понятиям в значительной степени равнодушны. Потому, например, в Китае оказалось возможным совместить коммунистическую власть и технократическую цивилизацию без каких-либо особенных социальных потрясений, идеи эмансипации в Азии столь же поверхностны, сколь и принятые там демократические ритуалы. Там не было своего «века просвещения» и воинственной секуляризации жизни. И по той же причине, очевидно, и в исламских странах, даже в Турции и Алжире, степень европеизации оказалась слишком незначительной, чтобы противостоять консервативной фундаменталистской реакции (хотя, впрочем, идея равенства — полноправная часть мусульманского мировоззрения)...

Свое исконное мироощущение было и у России. Вместо его осознания скороспелые реформаторы пошли «другим путем», пытаясь сначала робкой, а потом и поднаторевшей рукой «срисовывать» западную цивилизацию. Как верно недавно объяснил Солженицын: «Весь разрушительный ход событий в России за последние десять лет произошел от того, что власти... полностью пренебрегли как самостоятельностью народа, так и его менталитетом и всеми многовековыми духовными и общественными традициями России. Только освобождение этих путей может вывести страну из нынешнего предгибельного состояния».

Драма в том, что нынешние «властители дум» не имеют ни культуры, ни воли, ни убеждений для проведения этой линии.

Чикаго, США.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



МАРИНА, АРИАДНА, СЕРГЕЙ

Марина Цветаева — вечный упрек людям: как вы могли так жить, рядом с ней? И не помогли, не удержали на земле, лишили и самой нищенской доли. Поэта без легенды не бывает, но и без реальной человеческой судьбы тоже. И эта «реальная» Цветаева по-прежнему загадочна и неуловима. Часть ее архива — не случайно — была закрыта дочерью Ариадной до 2000 года.

В темных недрах НКВД, лубянского архива, отпечатались следы ее судьбы, открываются материалы о самой мрачной — последней — поре ее жизни. Некоторые из них уже увидели свет, стали достоянием читателя¹. Но многое все еще остается в тени. Открытие Цветаевой продолжается.

В июне 1939 года Марина Цветаева вместе с четырнадцатилетним сыном Георгием (Муром) вернулась из эмиграции. Родина встретила ее мачехой — не как поэта и полноправную, законную гражданку, а как подозрительную белогвардейку, жену провалившегося в Париже советского агента...

У человека несколько ступеней на пути к правде, и первая — обычно отрицание, нежелание верить. Цветаева — жена чекиста?! Когда-то слухи об этом вызвали резкий протест, отторжение — немыслимо: Маринин Сережа Эфрон, лебедь из белой стаи, — советский шпион! Теперь это знают все. А Марина? Когда узнала она?..

Муж и дочь Ариадна приехали в Москву двумя годами раньше, теперь вся семья была в сборе. Не надолго — чуть больше двух месяцев подарила им судьба до катастрофы. Приближение ее Цветаева предчувствовала — недаром ее называли «колдуньей»: еще когда очутилась на пароходе, увозившем ее в Россию, сказала: «Теперь я погибла...»

И первая весть на родной земле — обухом: сестра Анастасия в концлагере.

Сразу после приезда отправилась в Болшево, на дачу НКВД, которая была выделена под жилье переправленным из Парижа после провала агентам — Эфрону и супругам Клепининым.

Семнадцать лет назад, когда Марина уезжала в эмиграцию, в одном купе с ней оказалась дама из ЧК. Уезжала с чекисткой — и вернулась к чекистам и жить стала в казенном доме. Пришлось таить свое присутствие, жить инкогнито, остерегаться каждого действия и слова, чтобы не повредить близким. Спустя год, в дневнике, Цветаева вспомнит об этих днях так: «...Неуют... Постепенное щемление сердца... Живу без бумаг, никому не показываясь... Обертон — унтертон всего — жуть... Болезнь С. Страх его сердечного страха... Полны руки дела... Погреб: 100 раз в день. Когда — писать?? ...Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться...»

Продолжаем публикацию глав из новой книги Виталия Шенталинского «Рабы свободы. Книга вторая». См.: «Новый мир», 1996, № 4, 7 — 8, 11.

¹ См.: Фейнберг М., Клюкин Ю. Дело Сергея Эфрона. — «Столица», 1992, № 38 — 39; Альманах «Болшево». М. 1992; Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. М. 1995.

А в августе начались события, о которых Цветаева скажет:

«(Разворачиваю рану, живое мясо. Короче:) 27-го в ночь отъезд Али. Аля — веселая, держится браво. Отшучивается... Уходит, не прощаясь! Я — что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается! Комендант (старик, с добротой) — Т а к — лучше. Долгие проходы — лишние слезы...»

«Муха в паутине»

Уже рассвело, когда черная «эмка» увозила ее, она оглянулась и увидела сквозь слезы: крыльцо и тесно сбившихся на нем родных, растерянных, бледных, — машут руками. Не могла и подумать, что прощается навсегда...

Петлю на этот дом накинули давно и вот начали стягивать.

Двадцатисемилетняя журналистка и художница, восторженная сторонница советской власти, приехавшая из Парижа, чтобы вместе со своим народом строить социализм, была объявлена французской шпионкой. Показания на нее дал ее давний знакомый, журналист Павел Толстой, арестованный чуть раньше: «Я был связан по шпионской работе с Эфрон Ариадной Сергеевной, сотрудницей журнала «Ревю де Моску»...»

Первый, пробный, допрос, проведенный старшим следователем лейтенантом Н. М. Кузьминовым, не дал ничего — все обвинения Ариадна отвергла. Неделю ее не трогали, а потом взяли в оборот.

О том, что происходило с ней на Лубянке, сама Ариадна скажет только через пятнадцать с лишним лет, в своих заявлениях властям (они тоже сохранились в деле):

«Когда я была арестована, следствие потребовало от меня: 1) признания, что я являюсь агентом французской разведки, 2) признания, что моему отцу об этом известно, 3) признания в том, что мне известно со слов отца о его принадлежности к французской разведке, причем избивать меня начали с первого же допроса.

Допросы велись круглосуточно, конвейером, спать не давали, держали в карцере босиком, раздетую, избивали резиновыми «дамскими вопросниками», угрожали расстрелом и т. д.»

В другом заявлении она добавляет: не только угрожали, но и проводили инсценировки расстрела. На все просьбы предъявить хоть какие-нибудь доказательства ее вины, дать очную ставку со свидетелями преступления следовала брань. Если сам нарком, товарищ Берия, интересуется твоим делом и подписал постановление на арест — никакой надежды для тебя нет, выход один. Признать себя виновной.

В документах следствия вся эта подноготная суть, конечно, скрыта. Но по всему видно, что на первых порах Ариадна держалась стойко — допросы в течение семи дней, иногда по восемь часов подряд, закончились без результата. Тогда-то к ней и применили более сильные меры — посадили в карцер, инсценировали расстрел. Потом, измученную, снова привели к следователям, дали бумагу и приказали: не хочешь говорить — пиши!

И она пишет, подробно, чистосердечно рассказывает о себе, с самого детства, о матери, об отце, об их тяжелой, нищенской жизни в эмиграции:

«...С 1925 по 1929 г. мать продолжала сотрудничать в эмигрантских изданиях и более или менее регулярно зарабатывала литературным трудом. Однако с 1929 года ее положение начало становиться все более трудным. За все свое пребывание за границей она не примкнула ни к одной политической группировке и вообще не принимала участия в политической жизни эмиграции. В последний приезд Владимира Маяковского в Париж она, по просьбе редколлегии «Евразии», выступила в этой газете с приветствием Маяковскому. Это ее выступление вызвало возмущение в эмигрантских кругах, и печатать ее стали неохотно...»

После закрытия «Евразии» нам некоторое время жилось материально очень трудно. Отец время от времени получал случайную работу (был одно время статистом в кино), мать зарабатывала тоже нерегулярно, я прирабатывала на дому вязанием...»

1931 год. Сергей Эфрон опасно заболевает — это уже третье возобновление туберкулезного процесса. Настроение в доме тяжелое.

Однажды Ариадна с отцом остались дома вдвоем. Он лежал на постели, ему было плохо. Он попросил дочь сесть рядом на кровать, обнял, погладил по голове и вдруг расплакался.

«Я очень испугалась, — вспоминает в показаниях Ариадна, — и начала плакать тоже... Он сказал: «Я порчу жизнь тебе и маме». Я решила, что он мучается тем, что нам живется трудно материально и что он не может этому помочь, и стала утешать его и говорить, что живется нам совсем не хуже, чем другим, и что материальное положение наше хотя и тяжелое, но не до такой степени, чтоб приходиться из-за него в отчаяние.

Тогда папа сказал: «Ты еще маленькая, ты ничего не знаешь и не понимаешь. Не дай тебе Бог испытать когда-нибудь столько горя, как мне». Я ему на это сказала, что горя, конечно, было немало, но что, наверное, потом будет легче и все тяжелое пройдет. Папа сказал мне, что для него жизнь может пойти только хуже и труднее, чем было раньше. Я думала, что весь этот разговор был связан с заболеванием отца, и сказала, что когда он поправится и сможет работать, то все, несомненно, пойдет лучше. Тогда папа опять повторил о том, что я маленькая и ничего не знаю, о том, что он боится, что погубил жизнь своей семьи, и прибавил: «Ты ведь не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело, я запутался, как муха в паутине, и пути мне нет».

Потом сказал мне, что я должна учиться и работать, стараться пробить себе дорогу в жизнь, стать настоящим человеком, что я слишком пассивна и недостаточно думаю о своем будущем, о своей жизни. Потом прибавил: «А не лучше ли было бы, если бы я оставил вас и жил бы один?» Это меня испугало, и я сказала, что ни в коем случае он не должен делать этого, что мы одна семья и что нам вместе легче все переносить. Тогда он спросил, люблю ли я его. Я сказала, что, конечно, да. Он задумался и прибавил: «И твоя мать очень любит меня, и мы с ней много прожили. Я не знаю, что мне делать с собой и со всеми вами». После этого он попросил не рассказывать об этом разговоре матери, чтобы не волновать ее, я обещала и действительно не рассказывала...»

Вскоре Эфрон уехал лечиться в Савойю, в пансион «Château d'Arcine», близ швейцарской границы. Ариадна навестила его и с месяц прожила там. Он по-прежнему был в депрессии, несколько раз порывался начать с ней какой-то серьезный разговор — как она поняла, об уходе из семьи, разводе с матерью, что ей было совершенно непонятно: ведь отец с матерью всегда жили в согласии и дружбе и очень любили друг друга.

Но в Париж Сергей Яковлевич вернулся окрепший и бодрый. Казалось, все его душевные терзания отступили вместе с болезнью, он перешел какой-то важный рубеж, — да и внешне жизнь его круто изменилась.

«Постепенно мне становилось все более и более очевидным, — пишет Ариадна, — что отец, а также его товарищи по евразийской группе ведут какую-то секретную работу. Отец стал часто отлучаться из дому, а иногда уезжал на несколько дней. Определенной работы у него, равно как и у его товарищей, не было, однако люди как-то продолжали существовать. В доме появились советские газеты, журналы, беседы между отцом и его товарищами велись на советские темы. Антисоветские выступления белоэмигрантской прессы подвергались в моем присутствии неоднократной резкой критике.

Поведение этих людей, разговоры неоднократно наводили меня на мысль, что они ведут большую работу для Советского Союза. Со временем я смогла определить, кто из них на каком участке работает, кто с кем связан, а также, как кто относится друг к другу. Таким образом, я узнала, что часть этих людей связана с французскими кругами, часть — с белоэмигрантскими. Про отца мне

стало известно, что он ведет руководящую работу в Союзе возвращения на Родину, а потом, что эта его явная работа служит лишь прикрытием для работы секретного порядка. Я неоднократно обращалась к отцу с просьбой привлечь меня к своей работе, но он каждый раз либо отводил разговор, либо отвечал мне отказом, мотивируя это тем, что работа очень опасная, что я слишком молода, что работать так, как работает он, — значит всегда рисковать жизнью...

Лично моя жизнь в этот период складывалась очень неудачно... Дома тоже не ладилось, возникали споры и трения между мной и матерью... Через некоторое время мне удалось через знакомых найти работу медсестрой в зубокабинете. На почве этой работы мы окончательно поссорились с матерью. Она была решительно против того, чтобы я поступила на работу, ей была постоянно нужна моя помощь дома, и она сказала, чтобы я выбирала: или жизнь дома, или работа. «Но если выберешь работу, то между нами все кончено». Я выбрала работу. Работа была трудная, совсем не по специальности, первое время только училась там, на месте, денег никаких не получала, работала часов по двенадцать в сутки, из дома уходила рано, возвращалась поздно, ссоры и споры с матерью продолжались...

Этот период моей жизни в эмиграции был для меня самым тяжелым. Моя попытка самостоятельно работать окончилась плачевно... Хозяин, проэксплуатировав меня некоторое время, воспользовался моей болезнью, чтобы выставить меня на улицу. «Возвращаться» домой (хотя фактически из дома я не уходила и все это время продолжала жить в семье), признаться самой себе и другим в том, что мать была права, я не хотела. Мне было уже около 20 — 21 года, а я оказывалась неспособной жить самостоятельно и зарабатывать если не на семью, то хоть на себя самою...

Выхода я себе не видела и решила умереть. Написала классическую записку ко всем вместе и никому в отдельности и, воспользовавшись отсутствием домашних, открыла на кухне газ. Но домой случайно вернулся отец, которого я не ждала, выволок меня из кухни в полубессознательном состоянии, привел меня в чувство, и тут у нас произошел разговор...

Отец мне сказал, что то, что я чуть не сделала, глупо и могло бы быть непоправимым, что стыдно в моем возрасте, когда все впереди, считать, что жизнь кончена. Потом сказал, что его жизнь гораздо тяжелей, чем моя, что он, однако, живет. И что если уж у кого и должны быть причины желать смерти, то у него, а никак не у меня. Я ему ответила, что ему жаловаться нечего, что он живет, как он хочет, ведет большую работу на свою страну, а что мне он в этой работе отказывает, что у меня нет даже этого...

Но не для того следователи дали в руки Ариадны перо, чтобы она делилась с ними своими переживаниями. Им было нужно совсем другое. И вот в ее показаниях появляются туманные, сбивчивые, явно надуманные места:

«Во время этой беседы, которая продолжалась довольно долго, отец мне сказал, что его положение тяжело и безвыходно тем, что в СССР он лично никогда вернуться не сможет. На мой вопрос, загладил ли он свои прежние проступки против Советской власти всей своей работой на Советский Союз, он мне ответил, что своих проступков он загладить не может, что он запутался так, что выбраться ему невозможно, и что в своих действиях он не волен, что именно поэтому он отказывал мне неоднократно в моей просьбе принять участие в его работе на Советский Союз. Когда я попросила его уточнить, он сказал мне, что вынужден работать не только на СССР, что принужден он к этому силой и что выйти из этого положения он не может, что он находится в крепких руках. На кого он работает, помимо СССР, он мне не сообщил. Это известие меня очень поразило, так как я всегда считала, что отец работает только на Советский Союз.

Тогда отец сказал мне, что для меня есть только один путь, единственно правильный, а именно — вернуться в Советский Союз, начать там новую жизнь, забыть о том, что у меня было, работать только по специальности, серьезно, не разбрасываясь. Что я должна забыть о происшедшем сегодня раз-

говоре и никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не говорить об этом. Я спросила его, не подвергнусь ли я опасности, если вернусь в СССР. Но он мне сказал, что нет, что он известен как советский работник... и что бояться мне нечего, что единственное... чего он хочет для меня, — это счастья и покоя...»

При этом разговоре отец пообещал достать Ариадне советский паспорт и посоветовал вступить в Союз возвращения на Родину, что она вскоре и сделала. Далее Ариадна сообщает о том, что она почти не представляла себе, в чем состоит секретная работа ее отца, однако «впоследствии обнаружилось, что часть людей, связанных с отцом, в свою очередь, связана с иностранными разведками, я решила, что и у отца то же самое и что «так надо»... Однажды мне удалось обнаружить, что велась слежка за сыном Троцкого — Седовым, и уже незадолго до моего отъезда в СССР — о том, что посылаются люди в Испанию. Это последнее дело, ввиду его большого масштаба, очевидно, было трудно конспирировать соответствующим образом...».

Отец выполнил обещание: Ариадна получила советский паспорт и в 1937 году смогла вернуться на родину. Перед отъездом отец сказал ей, что он мечтает отправить вслед за ней и ее младшего брата, если удастся договориться об этом с мамой, но что они сами — он и Марина — наверное останутся в Париже.

Не прошло и года, как вдруг Сергей Эфрон с группой его товарищей по секретной работе появился в Москве. Свой приезд он объяснил дочери провалом одного очень крупного дела, в результате которого они должны были бежать, а ряд лиц был задержан французской полицией.

«Крупное дело» — это так называемое дело Рейсса, убийство советского разведчика Игнатия Рейсса (Порецкого), перебежавшего на Запад и заявившего открыто в печати о своем разрыве со сталинским режимом. Именно из-за провала агентуры после этого убийства Эфрону и пришлось спешно покинуть Францию.

Несмотря на весь «комплекс мер», пытки — физические и моральные, — следствие не получило от Ариадны никаких конкретных показаний о ее анти-советской деятельности. Шпионаж же ее отца, конечно, налицо — но какой! — в пользу Советского Союза! Смутные фразы о работе «на других» еще не доказательство.

Ничего «подозрительного» в поведении своего отца на Родине Ариадна не замечала. Больше того, он был единственным из всей сбежавшей из Парижа «группы провала», кто досконально исполнял все распоряжения о конспирации даже и тогда, когда для этого не было повода: не встречался ни с кем из своих прежних знакомых, а с коллегами по секретной работе — только с разрешения НКВД.

27 сентября разъяренный Кузьминов и его подручный, младший лейтенант А. И. Иванов, тащат Ариадну на решающий допрос. Сколько он продолжался, в протоколе не указано. Что на самом деле говорила своим палачам измученная Ариадна, мы тоже никогда не узнаем — перед нами только состряпанная следователями бумага, под которой ее вынудили подписаться. Ясно, что черновиком для протокола послужили ее собственноручные показания, «творчески» переработанные и дополненные тенденциозными формулировками и обвинениями.

При этом следователи сделали попытку втянуть в преступную цепочку отец — дочь и Марину:

«...Вопрос. Только ли желание жить вместе с мужем побудило вашу мать выехать за границу?»

Ответ. Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно встретила приход Советской власти и не считала для себя возможным примириться с ее существованием...

Вопрос. Состояли ли ваши родители в белоэмигрантских организациях, враждебных СССР?

О т в е т. Да, моя мать принимала активное участие в издававшемся за границей журнале «Воля России», помещая на страницах этого журнала свои стихи...»

Вот все, что удалось выжать из Ариадны о преступлениях ее матери.

— А теперь покажите, какие мотивы побудили вас вернуться в СССР.

— Я решила вернуться на родину, — отвечает Ариадна. — Я не преследовала цели вести работу против СССР...

Это ее последний правдивый ответ на допросе. Мы можем только предположить себе, что за ним последовало. Но дальше в протоколе идет фраза, которой столько добивались следователи:

«Я признаю себя виновной в том, что с декабря месяца 1936 г. являюсь агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу...»

Наконец-то! Признание было вырвано, следователи могли торжествовать: на полях протокола против этой ключевой фразы стоят ликующие восклицательные знаки.

И дальше следствие уже покатило в заданном направлении. Одна ложь потянула за собой другие. Сломленная пытками девушка больше не сопротивлялась — подписывала все, что от нее требовали. Ведь мало признать себя виновной, надо еще доказать это. Тут опять пошли в ход ее собственноручные показания.

В них Ариадна вспоминала о своем сотрудничестве в парижском журнале «Франция — СССР», дружбе с его редактором Полем Мерлем, который предложил ей перед отъездом в Советский Союз стать собственным корреспондентом журнала. Этот Поль Мерль должен был сразу показаться Лубянке лицом подозрительным.

— А вы не боитесь ехать? — спросил он Ариадну в последнюю встречу.

— Чего мне бояться?

— Ну вы же знаете о тех судебных процессах, которые происходят в Москве. Можно себе представить, с каким недоверием встретят там человека, прибывшего из-за границы. Я боюсь, вам там трудно будет устроиться... Кстати о процессах: отчего это все обвиняемые признались — вот что я не могу понять. Люди идейные, борцы, вдруг не только подтверждают свои преступления в суде, но и раскаиваются. Я не понимаю, что с ними всеми сделали на следствии. Если бы их били и мучили, то велики были бы шансы на то, что они разоблачили бы это во время суда. У нас говорят, что их загипнотизировали, но это уж слишком глупо звучит. Неужели следствие велось таким образом, что обвиняемые искренне признались в своих преступлениях против Советской власти?..

Как в воду глядел редактор, напутствуя неопытную сотрудницу! Теперь-то она уж смогла бы ответить ему. И счастье француза, что он жил в Париже. Ибо следствие велось «таким образом», что и он сам, не ведая того, стал преступником.

Протокол допроса Ариадны бесстрастно повествует:

«В о п р о с. Как вы были привлечены для шпионской работы в пользу французской разведки?»

О т в е т. К сотрудничеству с французской разведкой я была привлечена Полем Мерлем незадолго до моего отъезда в Советский Союз.

В о п р о с. Кто такой Поль Мерль?

О т в е т. Поль Мерль формально является редактором журнала «Франция — СССР».

В о п р о с. А в действительности?

О т в е т. А в действительности, хотя прямо он не говорил, мне стало ясно, что Мерль является резидентом французской разведки...»

Вот так вербует французская разведка — не говоря, что она разведка. И вот что интересует французскую разведку: материалы об антисоветских настроениях выдающихся работников советского искусства, театра и других представителей советской интеллигенции, о жизни и работе отдельных заводов

и колхозов... Никаких конкретных примеров шпионской деятельности Ариадны следователи, при всем их воображении, придумать не смогли. Да, видимо, и не пытались — зачем? По блестящей формуле советского правосудия, признание обвиняемого — царица доказательств!

Зато на том же допросе они получили подпись Ариадны под еще одним крайне важным для них показанием, возникшим в протоколе неожиданно, без всякого навешивающего вопроса:

«Не желая скрывать чего-либо от следствия, я должна сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки...»

Доказательства? Снова берутся и препарируются в нужном духе ее собственноручные записи — сцены разговоров с отцом во время его болезни и когда он спас ее от газа. Лирику долой, остается фраза: «Отец ответил, что своих преступлений перед Советским Союзом он искупить никогда не сможет, что он работает не только на СССР, но и на других...» — и получает в протоколе допроса такое продолжение:

В о п р о с. На кого именно он работает?

О т в е т. Отец не сказал, но для меня и без того ясно, что речь идет о французской разведке...»

Опять как и с Мерлем: не сказал ничего, но и без того ясно...

Истинную подоплеку истории сотрудничества с парижским редактором Ариадна раскрыла много лет спустя в заявлении Генеральному прокурору — оно подшито в той же папке следственного дела и, по существу, перечеркивает всю обвинительную его часть:

«Под давлением следствия я была вынуждена оговорить себя и признать себя виновной в шпионской связи с французским журналистом Полем Мерлем... Несмотря на то что мои показания являлись сплошным вымыслом, они удовлетворили следственные органы, что явилось лишним доказательством того, что органы не располагали никакими компрометирующими меня материалами. На самом же деле знакомство мое с этим журналом сводилось к следующему. Незадолго перед своим отъездом в СССР я получила от тов. Ларина, секретаря Союза возвращения на Родину (организация эта являлась одним из замаскированных опорных пунктов нашей контрразведки в Париже и финансировалась нами), предложение сделать несколько переводов и очерков по материалам советской прессы на темы литературы и искусства в журнале «Франция — СССР», и Ларин познакомил меня с редактором этого журнала Полем Мерлем. Указанную выше работу я выполнила, и она была напечатана в журнале. Поль Мерль, узнав от меня о моем скором отъезде в СССР, предложил мне быть корреспондентом этого журнала в Советском Союзе. Свое согласие я дала лишь после того, как Поль Мерль, обратившийся по этому вопросу в советское посольство в Париже, получил официальное разрешение от тогдашнего полпреда (кажется, это был тов. Майский)...

Являясь членом семьи работника советской разведки, я постоянно поддерживала связь с органами НКВД через работника этих органов Степанову Зинаиду Семеновну. Я немедленно, тотчас же по приезде в Москву, поставила ее в известность о своей связи с журналом «Франция — СССР» и просила проинструктировать меня о дальнейших взаимоотношениях с ним. Она согласовала этот вопрос и сообщила, что руководство не рекомендует мне работать в журнале «Франция — СССР» и поддерживать связь с его сотрудниками, ввиду того что органы не располагают о них достаточными данными и не находят возможности в данное время заняться их проверкой. Таким образом, я, не отправив во Францию ни одной корреспонденции, связь эту по указанию органов порвала еще в начале 1937 г. и с тех пор ничего не знаю ни об этом журнале, ни о его сотрудниках.

Несмотря на мои неоднократные просьбы, следствие категорически отказалось допросить Степанову, которая могла подтвердить мою невиновность, и

приложить ее показания к моему делу. Так же и официальное разрешение нашего полпредства на мое сотрудничество в журнале «Франция — СССР», изъятое у меня при обыске и находящееся в материалах следствия, оказалось «утерянным» и к делу приложено не было.

Применяя указанные выше недозволенные методы следствия, следователи Кузьминов и другие выколочили из меня ложные показания против моего отца. Несмотря на все давление следствия, я тотчас же отказалась от этих показаний и требовала прокурора, а последний зафиксировал мой отказ только много времени спустя, т. е. тогда, когда показания эти сыграли свою роль при аресте моего отца...»

В других заявлениях властям Ариадна дополняет:

«На протяжении всех лет своей разведывательной работы отец пользовался доверием и уважением своего руководства, как за границей, так и в СССР. Но с приходом Берии в органы НКВД отношение к отцу и к приехавшим с ним товарищам резко изменилось. Все прежнее руководство было арестовано, а новое занялось раздуванием вражды, сплетен, склок среди этой небольшой, недавно сплоченной и дружной группы людей, натравливая их друг на друга, собирая у одних ложные, компрометирующие сведения о других и т. д.

Так, помню, т. Клепинин-Львов, живший вместе с нами в Болшеве, стал расспрашивать моего отца, не был ли тот дворянского происхождения, много ли у него было недвижимого имущества до революции, и старался добиться утвердительных ответов. Отец же, никогда не бывший ни дворянином, ни капиталистом, был удивлен и удручен таким «допросом». Этот небольшой случай припомнился мне, когда я, арестованная в августе 1939 года, находилась под следствием и меня, наряду с другими дикими и ложными вещами, заставляли сказать об отце один день — что он был дворянином, другой день — евреем, третий — капиталистом и пр.

Кто именно из бериевского руководства ведал этой группой людей, и в частности моим отцом, мне неизвестно, хотя некоторых из них я видела, провозжая больного отца на свидание с ними.

Так, запомнился мне небольшого роста худощавый армянин или грузин средних лет, приходивший на свидание с отцом в гражданской одежде, но с оружием. Он присутствовал при моих первых допросах и задавал мне вопросы вроде: «А сколько человек ваш отец продал французской разведке?» Потом следователь сказал мне, что это — один из заместителей Берии...»

«В те годы мне, человеку тогда молодому и малоопытному, невозможно было разобраться в истинных причинах моего ареста и ареста отца. Я знала, что обвинения были ложными, была убеждена, что об этом не могли не знать органы НКВД, но не могла понять, кому и для чего все это было нужно. Только разоблачение Берии дало мне на это ответ.

Я упоминаю здесь о деле отца, потому что думаю, что именно оно являлось причиной и объяснением моего дела. Я была арестована без малейших серьезных данных, с тем чтобы, признав свою вину, скомпрометировать отца, с тем чтобы, дав против него под давлением следствия ложные данные, помочь Берии уничтожить целую группу советской разведки. Это также является доказательством того, что следственные органы не располагали фактическими материалами против моего отца, иначе они не нуждались бы в ложных показаниях...»

Ариадна верно определила причину своего ареста — она была нужна НКВД лишь как орудие против ее отца. И теперь они могли отправиться в Болшево за следующей жертвой.

А что делалось тем временем на большевской даче?

Осень. Там наступила осень. С хмурого неба зачастил холодный, беспросветный дождь.

Все немногие свидетели жизни Сергея Эфрона в Болшеве говорят о какой-то резкой перемене в нем: замечали то затравленный взгляд, то нервные срывы с рыданиями, то каменное оцепенение...

8 октября — день их рождения, и Марины, и Сергея: ей — сорок семь, ему — сорок шесть. Было не до праздников. Полтора месяца в семье ждали чуда: вот распахнется калитка — и появится улыбающаяся Аля...

10 октября, рано утром, калитка распахнулась... Вежливые истуканы в форме, ордер с подписью Берии, кавардак обыска, какие-то формальные подписи, вещи первой необходимости в рюкзачок. На прощанье Марина осенила Сергея широким крестным знамением...

В постановлении на арест фигурировали показания все того же Толстого, что он был завербован во французскую разведку ее резидентом — белоэмигрантом Эфроном, и, конечно же, быстро пущенное в ход «признание» Ариадны.

Обычная процедура на Лубянке — фотографирование, отпечатки пальцев, заполнение анкеты: «Эфрон Сергей Яковлевич, литератор, место службы — был на учете НКВД, беспартийный, русский...»

В это же утро следователь — тот же Кузьминов, что вел дело Ариадны, — подверг арестованного изнурительному допросу. Эфрон подробнейшим образом изложил свою биографию. Не скрывал, что боролся против большевиков в годы революции и Гражданской войны, потом бежал с армией генерала Врангеля за границу. Оказался в Праге, перебрался с семьей в Париж и там вступил в группировку евразийцев.

— Каковы были программа и установки евразийцев? — спрашивает Кузьминов.

— Я вступил в левую группу евразийцев в 1927 году... Вначале это была попытка создания фашистско-русской идеологии, а впоследствии организация стояла на позициях «советы без коммунистов». Та группа, к которой принадлежал я, в 1928 — 1929 годах совершенно разочаровалась в этих взглядах и стала на советскую платформу. При этом мы старались использовать евразийскую печать для советской пропаганды в эмиграции...

— Следствие вам не верит, — говорит Кузьминов. — Какие у вас отношения с дочерью?

— Дружеские, товарищеские...

— Что вам известно об антисоветской работе вашей дочери?

— Мне об этом ничего не известно.

— А какую антисоветскую работу проводила ваша жена?

— Никакой антисоветской работы моя жена не вела. Она всю жизнь писала стихи и прозу. В некоторых своих произведениях она высказывала взгляды несоветские...

— Не совсем это так, как вы изображаете. Мы знаем, например, что в Праге ваша жена активно участвовала в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?

— Да, это факт. Она была эмигранткой и писала в эмигрантские газеты, но антисоветской деятельностью она не занималась.

— Непонятно. Белоэмигранты в своих изданиях излагали тактические установки борьбы против СССР. Что может быть общего с ними у человека, не разделяющего этих установок?

— Я не отрицаю того факта, что моя жена печаталась в белоэмигрантской прессе, однако никакой политической антисоветской работы она не вела...

Попытка замешать в дело Цветаеву не удалась.

— Следствие вам не верит. — Допрос прерывается.

На следующий день Эфрона переводят в Лефортово — тюрьму, которой следователи пугали неподдающихся арестованных и откуда те редко выходили живыми. Каждый день его водят на допросы (об этом свидетельствует справка, данная тюремным начальством), но протоколов их в деле нет, что может значить только одно: выбить нужные показания следователи не могут. А состояние их подопечного уже таково, что приходится проводить медицинское освидетельствование.

Начальник санчасти Лефортовской тюрьмы военврач Яншин пишет заключение:

«Арестованный Эфрон, 46 лет, высокого роста, правильного телосложения... страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокардитом, в резкой форме неврастений, а поэтому работать с ним следственным органом можно при следующих обстоятельствах: 1) дневное занятие и непродолжительное время, не более 2 — 3 часов в сутки; 2) в спокойной обстановке; 3) при повседневном врачебном наблюдении; 4) с хорошей вентиляцией в кабинете».

24 октября Эфрона помещают в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы. И оттуда, прямо с больничной койки, снова тащат на допрос к Кузьминову. Предъявив обвинение, следователь получает прежний ответ:

— Я не виновен. Ни с какой разведкой иностранного государства связан не был.

Допрос прерывается привычной фразой:

— Вы говорите неправду, следствие вам не верит...

Цветаева с сыном Муром оказались без средств, в неизвестности — как, чем жить? Днем собирают хворост для печи — дров нет. Ночью она не спит, прислушивается, вздрагивает: теперь придут за ней... Что тогда будет с Муром? Надвигается зима. Весь их багаж — все теплые вещи, отправленные из Парижа, — застрял на таможне, а получить не удастся. Как пережить зиму без самого необходимого, кто поможет?

Багаж — это не просто вещи, там ее рабочие тетради, книги, прерванный труд, — ее внутренний дом, последнее убежище.

Тогда она и пишет свое первое письмо на Лубянку.

«В Следственную часть НКВД

При отъезде из-за границы в Союз я отправила свой багаж по адресу дочери, так как не могла тогда точно знать, где поселюсь по возвращении в Москву.

По прибытии сюда я в течение двух месяцев еще не имела паспорта и поэтому не могла получить багажа, пришедшего в начале августа с. г.

В соответствии с указанием таможни я получила от моей дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон, доверенность на принадлежащий мне багаж. Но получить его я тоже еще не могла из-за отсутствия у меня свидетельства с пограничного пункта, которого у меня не имелось, так как я, с сыном 14 лет, ехала специальным парходом до Ленинграда.

Было возбуждено соответствующее ходатайство о выдаче мне необходимого документа. В это же время, в конце августа, была арестована моя дочь, и багаж оказался, по-видимому, задержанным на таможне.

Я живу за городом, наступает зима, ни у меня, ни у сына нет теплой одежды, одеял и обуви, и пока что нет возможности приобрести таковые заново.

Настоящим ходатайствую, в случае если невозможно сейчас получить всего мне принадлежащего багажа, о разрешении на получение мною из него самых необходимых мне и сыну вещей, без которых я не вижу, как мы перезимуем.

О Вашем решении по этому вопросу очень прошу поставить меня в известность.

Марина Цветаева.

Ст. Болшево Северной ж. д. Поселок Новый Быт, дача 4/33.

31 октября 1939 г.».

Когда письмо попало в НКВД, его передали помощнику начальника следчасти старшему лейтенанту А. К. Шкурину — тому, кто руководил следствием по делу Сергея и Ариадны Эфрон. Ему не до цветаевского багажа: идут беспрерывные допросы и не ясно еще, понадобятся ли этой женщине теплые вещи — не займет ли она вскоре камеру по соседству с мужем и дочерью. Из материалов дела видно, что Павел Толстой дал повод НКВД арестовать не только Ариадну и Сергея, но и ее, Марину. Вот его собственноручные показания:

«...Эфрон (Ариадну. — В. III.) я знаю еще по Парижу. Когда я уезжал в 1933 г., Эфрон была еще почти девочкой, ей было тогда только около 16 — 17 лет, но она уже ярко выражала свои антисоветские настроения, вместе с матерью (женой Сергея Эфрона, довольно известной поэтессой Мариной Цветаевой). Марина в настоящий момент находится в Париже, по паспорту эмигрантки, и убеждений самых махровых монархических. Пусть это не покажется странным, но ни Эфрону, с его троцкистской, ни Марине, с ее монархической идеологией, не мешают как будто исключяющие взаимно друг друга точки зрения: они прекрасно уживаются друг с другом, так как они оба, в конечном счете, стремятся к одному — возврату к прошлому. Но в 1937 г. мне это еще не совсем было ясно, и поэтому, когда я узнал, что в СССР в скором времени приезжает Аля Эфрон, я был несколько озадачен, т. к. хорошо знал Алины и Маринины взгляды, бывая часто у Эфронов...

Если я не ошибаюсь, в ноябре — декабре прошлого года, встретившись со мной, Аля рассказала мне в первый раз о том, что она разошлась в убеждениях со своей матерью и стала бывать среди знакомых ее отца, но в то же время и не отказывалась видеться с друзьями своей матери, в частности с известным белогвардейским писателем Иваном Буниным...

К <...> Эфрона Марина Ивановна относилась отрицательно (вычеркнутые в этой фразе слова, вероятно, касались его просоветских взглядов или службы в НКВД. — В. III.). Она пользовалась известностью как поэтесса... Мне известно также, что она сохранила дружбу с советскими писателями Борисом Пастернаком и Михаилом Булгаковым. Последнему Марина Цветаева послала в подарок мундштук из слоновой кости в память «Дней Турбиных».

Что касается ее политических убеждений, то у нее как у поэта, особенно у женского поэта, был, по-видимому, полный хаос в голове. Я помню, что в «Правде» Д. Бедный выступил со стихами, в которых осмеивал поэтессу Цветаеву, которая пишет поэму о расстреле Николая II... С другой стороны, она, кроме Пастернака и Булгакова, переписывалась с А. М. Горьким, о котором отзывалась очень хорошо... Ее положение как поэтессы, которая живет поэзией, заставляло ее печатать ее произведения в разнообразных белоэмигрантских изданиях и поддерживать отношения с целым рядом лиц из среды белоэмигрантов. Она также, как мне известно, была дружна с бывшим евразийцем Д. Святополк-Мирским, литературным критиком...

А в Болшеве, пока Цветаева ждет ответа на письмо, события идут своим ходом. В красный праздник Октября черная машина опять останавливается у калитки — снова топот ног, стук в дверь, обыск, — на этот раз увозят Николая Андреевича Клепниина. В тот же день была арестована в Москве его жена Антонина Николаевна.

И Марина не выдерживает: спешно собравшись и захватив лишь то, что можно унести с собой, бежит вместе с сыном в Москву, скитаться по людям. Вон из этого проклятого места!

Станция Болшево, поселок Новый Быт... Даже название звучало издевательски для ее слуха! Слово «быт» было ненавистным, а Болшево аукалось с большевиками, которых она называла врагами русского языка. Жизнь поэта — сплошная метафора. Весной Цветаева заедет сюда за вещами и увидит: дом захвачен какими-то незаконными жильцами, вещи разворованы — и гроб стоит: повесился — в ее комнате! — начальник местной милиции... И снова кинется прочь!

А багаж из Парижа Цветаева получит, но только летом следующего года.

«Исправьте, пока не поздно»

Аля могла рассказать Павлу Толстому о своей последней встрече с «известным белогвардейским писателем Иваном Буниным» — встрече, которая поразила, запала в душу.

— Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия... Куда тебя несет?.. Тебя посадят...

— Меня? За что?

— А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь верблюжьи пятки!..

— Я?! Верблюжьи?!

А на прощанье:

— Христос с тобой, — и перекрестил. — Если бы мне столько лет, сколько тебе, — пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы, — и пропади оно все пропадом!..

Как это все было странно слышать там, в нестерпимо жаркий июльский день, на Côte d'Azur. Арест? Стриженная голова? Верблюжьи пятки? Она смеялась над чудачеством старика. Теперь сбывалось...

В следствии Ариадны установилась своеобразная рутина. Два месяца одно и то же: весь октябрь и ноябрь младший лейтенант Иванов — теперь она отдана в его руки — вызывает ее и заставляет писать собственноручные показания: об эмигрантских организациях в Париже, о всех знакомых в Москве. Потом, на этой основе, «творит» протоколы допросов и снова вызывает — подписывать. Ариадна пытается снять свои показания на отца, просит встречи с прокурором — все напрасно, от нее просто отмахиваются.

Из лубянских записей Ариадны встает в подробностях жизнь ее семьи на большевской даче, жизнь странная, призрачная, больше похожая на домашний арест.

В самом деле, вроде бы и свои, наконец вернулись на родину — и засекречены, их как бы и нет, даже сменили фамилии: отец живет под придуманной чекистами кличкой Андреев, Клепинины — Львовы. Разрешено встречаться только с родными, но и с ними о многом, например о причине приезда отца со товарищи, говорить запрещено. Но, с другой стороны, обо всем и обо всех надо докладывать специально приставленным для контроля энкавэдэшникам. Замкнутая скорлупа с единственным открытым выходом — на Лубянку.

Чудовищные слухи о все новых арестах, страхи и подозрения, оглядка и слезка — совершенно уродливая жизнь, в которой и люди становятся ненормальными. Дезориентированные и запуганные НКВД, они не знали, как себя вести, играя порой двойную и тройную роль. В таких условиях проявляется все худшее в человеке — на это и расчет.

Ариадна, ослепленная верой в коммунистические идеалы и в справедливость советской власти, верой, замешанной на страхе — за себя, за отца, мать, брата, — полная уважения к органам безопасности — ведь и ее отец, высший авторитет, был чекистом! — честно сообщала приставленной к ней Зинаиде Степановой о всех фактах расконспиривования или других подозрительных случаях, убежденная, что беды от этого не будет, а вот если не сказать, тогда, конечно, беда. А случаи такие возникали буквально на каждом шагу. От неумения освоиться в этой двусмысленной обстановке, от боязни проштрафиться, а иногда и от чрезмерного усердия люди совершали неловкие поступки и только вредили друг другу.

Ариадна рассказывает о случае, происшедшем, когда Эфрон бежал из Парижа и внезапно оказался в Москве. «Решив успокоить маму насчет благополучного приезда отца, я написала ей по почте письмо, составленное, как мне казалось, настолько в законспирированной форме, что могла понять только мать. Однако мать, получив это письмо, пожаловалась начальству отца в Париже на мою неосторожность, и я получила за это в Москве выговор от Степановой Зинаиды Семеновны, сотрудницы НКВД, с которой мы были все время связаны. Всем лицам, приехавшим из Парижа в это время, было предложено через Степанову пользоваться для переписки с оставшимися во Франции родными дипломатической почтой, а также было запрещено переписываться обычным путем...»

Нетрудно понять, что вся переписка, шедшая через НКВД, подвергалась там строжайшей цензуре, а кроме того, была еще одним способом следить за обитателями болшевской дачи.

Другое происшествие касается возвращения Цветаевой в Москву, которое по приказу НКВД должно было держаться в тайне. И вот на следующий день после приезда матери Ариадне в редакцию позвонил ее приятель, литератор Эмиль Фурманов, и сказал, что он уже знает обо всем от их общего друга — Алексея Сеземана (сын Нины Клепининой), — и, больше того, успел сообщить новость другим литераторам... «А между тем, — пишет Ариадна, — Сеземану было известно о том, что о приезде моей матери можно будет рассказать только по получении точных директив НКВД... В конце концов, Алексей Сеземан настолько разболтался, что на него было заведено дело в НКВД и Клепининым, отчиму и матери, было сказано, что если он не прижмет язык, его арестуют. Клепинины вызвали Сеземана на дачу в Болшево и там пропесочили...»

Этот эпизод, подробно изложенный Ариадной, типичен для царящей в Болшеве атмосферы страха и подозрительности. Припертый к стенке Алексей — можно посочувствовать двадцатидвухлетнему парню, который если и сболтнул лишнее, то, разумеется, без всякого умысла, просто по доверчивости, — сначала отрицает все. Тогда зовут Алю. Тут Алексей во всем признается и добавляет: — Ну и что, Фурманов — мой лучший друг, у меня от него секретов нет.

И про Эфрона он тоже рассказывал Фурманову, ему можно доверять, у него у самого «брат в НКВД работает».

«Об этом разговоре я в свое время сообщила Степановой», — спешит добавить Ариадна.

Кто работает на НКВД, а кто нет — в самом деле было невозможно понять, все так или иначе оказались затянуты в эту липкую паутину. Аля пришла к выводу, что не только брат Фурманова, но и сам он связан с органами, и, уж совсем переходя в своих показаниях на язык чекистов, глубокомысленно замечает: «Если этот человек действительно является сотрудником НКВД, то работу его и жизнь его необходимо организовать таким образом, чтобы она не привлекала внимания со стороны. Если же этот человек связи с НКВД не имеет, то несомненно, что и он сам, и те люди, среди которых он вращается, могут представить исключительный интерес...»

Бедная молодежь! Мало того, что во всех своих действиях она была стеснена, — паучьи щупальца органов проникали глубоко в сознание, уродуя его на всю жизнь!

Ариадна со своей натурой — цветаевски-максималистской и эфроновски-рыцарской — никак не могла приспособиться к реальностям советской жизни, которую издавала слишком идеализировала. В компании своих молодых друзей, таких, как Алексей Сеземан или Эмиль Фурманов, она чувствовала себя белой вороной, и это ее мучило. Те считали Ариадну старомодной и советовали ей не церемониться, найти какого-нибудь парня и «жить как все».

«В спорах на эти темы, — исповедуется Ариадна, — они часто доводили меня до слез, я уходила, хлопнув дверью... И опять через некоторое время начиналась та же пропаганда. Били меня по чувствительным местам: мол, мои взгляды на любовь мелкобуржуазны, брак как таковой не существует, люди сходятся и расходятся — иногда на ночь, иногда на месяцы, редко на долгий срок. «Ты чудачка, все наши товарищи на тебя косо смотрят, ты держишь себя не по-товарищески, не по-советски, как заграничная штучка». Мне всячески внушалось, что тот стиль жизни, в котором живут они, — это и есть стиль жизни всей страны, всей молодежи, и что если я веду себя иначе, то я оказываюсь чужим, враждебным человеком.

Фурманов посмеивался и над моей работой, над тем, что я пересаживаю положенные часы, что я стараюсь делать больше и лучше, чем полагается по моим служебным обязанностям. «У нас литераторы так не поступают, — говорил он мне. — Надо быть круглой идиоткой, чтобы сидеть в редакции дни и

ночи за четыреста рублей в месяц. Да и что твой журнал, никто его не знает! Нужно выдвигаться, писать рассказы на советские темы, печатать их в журналах, получать большие деньги...» На мои возражения, что советской жизни я не знаю, он мне советовал «выдумывать так, чтобы было похоже». Весь энтузиазм, всю радость моей работы... окружающие старались осмеять и разбить... Доходило до того, что я действительно начинала сомневаться в своей правоте, думала, а вдруг в самом деле вести себя иначе, чем эти люди, прожившие всю жизнь в Советском Союзе, — это и быть мелкобуржуазной? Но все же я должна сказать, что за все это время я не позволила себе ничего такого, за что могла бы впоследствии стыдиться...»

В конце концов, сообщает Ариадна, отношения с Фурмановым кончились тем, что он вдруг предложил ей стать его женой — и получил отказ. После этого их общение сошло на нет. А «парня» она в Москве все же нашла — и влюбилась всерьез! Этот самый близкий ей человек — журналист Самуил Гуревич; последние месяцы ее перед арестом были озарены короткой и яркой вспышкой счастья. Увы, потом, много лет спустя, откроется, что и он совмещал свой журнализм с сотрудничеством в НКВД, и он в свой час падет жертвой этого ненасытного Молоха...

Впрочем, опять же личные переживания Ариадны мало интересовали следователя и, запечатлеваясь в ее записях, в протоколы допросов не попадали. Зато старательно выуживался любой компромат на других интересующих Лубянку лиц. Например — что известно Ариадне о писателе Илье Эренбурге?

И она выложила все, что знала, каким видели его русские парижане:

«...Эренбург никогда не был эмигрантом, хотя много и часто бывал за границей, и главным образом в Париже. Говорили, что в последние годы Эренбург чаще был и дольше жил в Париже, чем в Советском Союзе. И правда, в Париже Эренбург был фигурой чрезвычайно популярной. Он сотрудничал во французской коммунистической прессе, часто выступал публично, делал доклады и т.д. ... Эренбург вел в Париже очень богемный образ жизни, говорили о том, что серьезно он не работает, пишет статьи и очерки, только когда ему их заказывают, что с утра до вечера и с ночи до утра он сидит по кафе в какой-нибудь пестрой компании. Много было толков и разговоров о средствах, на которые он живет, и живет хорошо. Об Эренбурге вообще редко кто отзывался как о советском писателе, еще реже как о советском человеке. Его считали по стилю, по духу, по образу жизни своим, не то эмигрантом, не то французом, во всяком случае, типичным представителем парижской богемы. И мало убедительными казались на этом фоне для тех, кто знал Эренбурга, его советские высказывания, публичные и печатные выступления. Общим впечатлением было, что человек «примазывается» и к Франции, и к Советскому Союзу. «Ласковый теленок двух маток сосет». Сама я, проходя по бульвару, видела Эренбурга на террасе то одного, то другого кафе, то в одной, то в другой компании неизвестных мне людей. Сам по себе этот факт, понятно, несколько не является преступным... Об антисоветской деятельности Эренбурга я не слышала ничего...»

Видя, что больше уже ничего выудить из Ариадны не удастся, следователи оставили ее в покое — на целый месяц.

В это время в Бутырской тюрьме старший следователь Кузьминов ожесточенно добивался показаний от отца Ариадны. На допросе 1 ноября тот обстоятельно рассказал о евразийской организации. Упомянул и о масонах, к которым внедрился по заданию НКВД.

Кузьминов прерывает его:

— В том-то и дело, что вы, являясь секретным сотрудником НКВД, не только не помогали последнему, но использовали свою связь с органами в своих антисоветских целях!

— Я работал честно, никакой антисоветской работы не проводил.

Кузьминов заходит с другого конца:

— Почему же вы скрывали от органов НКВД лиц, ведущих антисоветскую деятельность?

— Такие лица мне не известны.

Кузьминов подсказывает: а Клепинины, ваши соседи по большевской даче?

— Я сообщал устно НКВД о том, что я Клепониной не доверяю. Также я сообщил и о Клепинине, что он на почве пьянства много болтает...

— Какие антисоветские разговоры вела Клепинина?

— Мне трудно вспомнить все... Ну, что в СССР плохо живется, нет продуктов, ничего нельзя купить. Что люди, издающие советские газеты, безграмотны, бескультурны. Превознося при этом европейскую культуру, она резко выступала против происходящих в стране арестов, говорила, что существует эксплуатация, что восьмичасовой рабочий день — фикция, а конституция — ширма, за которой скрывается диктатура отдельных лиц. Клепинин соглашался с ней, а подчас и сам вел подобного рода разговоры. Кроме того, я должен также сообщить, что они оба, являясь секретными сотрудниками НКВД, разглашали это посторонним лицам...

— Следовательно, устанавливаем, что вы, будучи секретным сотрудником НКВД, не сообщали о случаях антисоветского проявления со стороны Клепининых.

— Я ограничился устным сообщением, о котором сказал выше...

Ариадна приводит в своих показаниях и такие возмущенные слова Нины Клепониной: «В НКВД перебили друг друга, и не знаешь, на кого опираться. И какие, в конце концов, гарантии, что Берия будет лучше Ежова?..» А Николай Клепинин однажды, в присутствии Ариадны, разразился грубейшей бранью в адрес Сталина. Испуганная жена тут же осадила его...

Видно, что обитатели большевской дачи при всей своей советскости уже начали прозревать, меняли свои взгляды и понимали, что попали в безвыходную ловушку.

Нет сомнения, что Кузьминов, добываясь показаний, применял к своему подследственному все те физические и моральные истязания, которые испытала и Ариадна, а может быть, и более жестокие. О том, что он явно переусердствовал, говорит тот факт, что в праздник Октябрьской революции, 7 ноября (в этот день арестовали Клепининых и Алексея Сеземана), Эфрон снова оказался в психушке Бутырской тюрьмы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство».

Медицинская справка, составленная 20 ноября, гласит:

«...В настоящее время обнаруживаются слуховые галлюцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его должны взять, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и его жене, и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию (острое реактивное душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию».

Комиссия, осмотревшая больного через два дня, пришла к выводу:

«...Заключенный Эфрон находится в реактивном состоянии, выражающемся в общей подавленности, угнетенном настроении, неправильном толковании окружающего, слуховых галлюцинациях угрожающего характера, зрительных иллюзиях, не критическом отношении к ним и бессоннице... Отмечаются выраженные явления вегетативного невроза. Нуждается в лечении в психиатрическом отделении Бутырской тюрьмы в течение 30 — 40 дней и последующем переосвидетельствовании».

Никакого переосвидетельствования не было, Эфрона продержали в психушке еще полмесяца и снова потащили к следователям. Теперь ему уготовили новое испытание — очную ставку с человеком, давшим на него обвинительные показания, — с Павлом Толстым. Какое значение придавалось этой

очной ставке, видно хотя бы по тому, что на нее Кузьминов пригласил военного прокурора И. Антонова. Предполагалось, что теперь-то они «расколют» этого неуступчивого Эфрона.

Вначале Толстой послушно подтвердил свои показания: да, Эфрон в 1928 году привлек его к евразийской организации, а позже — для шпионажа в пользу французской разведки.

— Вы говорили Толстому о необходимости примкнуть к евразийской организации? — спрашивают Эфрона.

— Евразийской организации к тому времени не существовало, и подобные разговоры я вести не мог.

— Что ж, по-вашему выходит, что Толстой говорит неправду?

— Да, я объясняю это тем, что Толстому, видимо, изменила память.

Вопрос Толстому:

— Какие задания вы получили от Эфрона перед поездкой в Советский Союз?

— Я получил от него два задания: вступить в контакт с остатками троцкистской организации и собирать шпионские сведения, которые должен был передавать французской разведке.

— Если я до сего времени полагал, что Толстому изменила память, то сейчас я должен сказать, что это ложь, — прокомментировал Эфрон.

— Он говорит, что это ложь, — лепечет Толстой. — Я даже получал от него совершенно конкретные задания. Я получил указания о том, что должен держать контакт с домом Алексея Николаевича Толстого... — (Дядя Павла — известный официозный советский писатель, впоследствии многократный сталинский лауреат).

И что бы дальше ни говорил Толстой, как бы ни старались следователь с прокурором, Эфрон отвечал твердо:

— Я абсолютно отрицаю все, что сказал сейчас Толстой.

— Все показания Толстого отрицаю совершенно.

— Антисоветских разговоров с Толстым я не вел, а, наоборот, всячески старался вырвать его из белой среды...

Очная ставка ни к чему не привела. Протокол венчает такая многозначительная фраза Толстого, сказанная на прощанье:

— Сергей Яковлевич, и я в первое время говорил о том, что я чист, как кристалл, а потом понял, что нужно сознаваться, и советую вам это же сделать...

В Москве Цветаевой деваться некуда. Сначала они с Муром приютились у сестры Сергея Эфрона Елизаветы Яковлевны, в перенаселенной коммуналке в Мерзляковском переулке. Обратилась к Фадееву, секретарю Союза писателей, — тот с жильем отказал, не нашел и комнатушки. Направил через Литфонд в Дом творчества писателей в Голицыне, опять за город, но и там, в самом Доме, разрешили только столоваться, два раза в день, а места для нищей белоэмигрантки, жены и матери врагов народа, не нашлось — пришлось снять комнату в частном доме. И за все надо платить, все на птичьих правах. Марина живет в ореоле черной славы — литераторы чураются ее, как прскаженную, в лучшем случае поглядывают жалостливо, не многие отваживаются на общение.

И она еще находит силы бороться за тех, кому сейчас всего горше, — за мужа и дочь. Затемно ездит в город в промерзшем поезде и часами простаивает в очередях — передать деньги для Али, во внутреннюю тюрьму Лубянки, и Сергею в Бутырки. Не раз писала она и письма властям в защиту своих близких — но какие, кому? — считалось, что письма эти не сохранились.

И вот одно из них — перед нами.

На конверте надпись: «Народному Комиссару Внутренних Дел СССР тов. Л. П. Берия от писательницы Марины Цветаевой».

«Голицыно, Белорусской ж. д.
Дом Отдыха Писателей
23 декабря 1939 г.

Товарищ Берия,

Обращаюсь к Вам по делу моего мужа, *Сергея Яковлевича Эфрона-Андреева*, и моей дочери — *Ариадны Сергеевны Эфрон*, арестованных: дочь — 27-го августа, муж — 10-го октября сего 1939 года.

Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.

Я — писательница, *Марина Ивановна Цветаева*. В 1922 г. я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей — в Чехии и Франции — по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, — жила семьей и своими писаниями. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные Записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского. Вообще — в эмиграции была и слыла одиночкой. («Почему она не едет в Советскую Россию?») В 1936 году я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними — Похоронный Марш («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), а из советских — песню из «Веселых ребят», «Полюшко — широко поле» и многие другие. Мои песни пелись.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я, вместе с 14-летним сыном Георгием, 18-го июня 1939 г., на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев.

Причины моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи: мужа — Сергея Эфрона, дочери — Ариадны Эфрон (уехала первая, в марте 1937 г.) и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничего.

При выдаче мне разрешения мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

Если нужно сказать о происхождении — я дочь заслуженного профессора Московского Университета, *Ивана Владимировича Цветаева*, европейской известности филолога (открыл одно древнее наречие, его труд «Осские надписи»), основателя и собирателя Музея *Изящных Искусств* — ныне Музея Изобразительных Искусств. Замысел музея — его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними — одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию — труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для Музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу, как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва — все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея).

Моя мать — *Мария Александровна Цветаева*, рожд. Мейн, была выдающаяся музыкантша, первая помощница отца по созданию Музея и рано умерла.

Вот — обо мне.

Теперь о моем муже — *Сергее Эфроне*.

Сергей Яковлевич Эфрон — сын известной народоволки *Елизаветы Петровны Дурново* (среди народовольцев «*Лиза Дурново*») и народовольца *Якова Константиновича Эфрона*. (В семье хранится его молодая карточка в тюрьме,

с казенной печатью: «Яков Константинович Эфрон. Государственный преступник».) О Лизе Дурново мне с любовью и восхищением постоянно рассказывал вернувшийся в 1917 г. Петр Алексеевич Кропоткин, и поныне помнит Николай Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия», и портрет ее находится в Кропоткинском Музее.

Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме, среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит: мать — в Петропавловской крепости, старшие дети — Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон — по разным тюрьмам. У старшего сына, Петра, — два побега. Ему грозит смертная казнь, и он эмигрирует за границу. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон, которой грозит пожизненная крепость, эмигрирует с младшим сыном. В 1909 г. трагически умирает в Париже, — кончает с собой ее 13-летний сын, которого в школе задразнили товарищи, а вслед за ним и она. О ее смерти есть в тогдашней «Юманите».

В 1911 г. я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, что бы ни было, с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все Добровольчество (1917 г. — 1920 г.) — непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, — забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара — у него на глазах, — лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. — «В эту минуту я понял, что наше дело — не народное дело».

— Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных? — Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие и многие, совершенно сложившиеся люди. В Добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился — он из него ушел, весь целиком, — и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

Но возвращаюсь к его биографии. После белой армии — голод в Галлиполи и в Константинополе и, в 1922 г., переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет — кончать историко-филологический факультет. В 1923 г. затевает студенческий журнал «Своими путями» — в отличие от других студентов, ходящих чужими, — и основывает студенческий демократический Союз, в отличие от имеющихся монархических. *В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.).* С этого часа его «полевание» идет неуклонно. Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе Евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь — уже с 1927 г. Сергея Эфрона зовут «большевиком». Дальше — больше. За «Верстами» — газета «Евразия» (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда выступавшего в Париже), про которую эмиграция говорит, что это — открытая большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются: правые — левые. Левые, возглавляемые Сергеем Эфроном, скоро перестают быть, слившись с Союзом Возвращения на Родину.

Когда, в точности, Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой — не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю — около 1930 г. Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстной неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном достижении, от малейшего экономи-

ческого успеха — как сиял! («Теперь у нас есть то-то... Скоро у нас будет то-то и то-то...») Есть у меня важный свидетель — сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слышавший.

Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, неустроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, — целое перерождение человека.

О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего: — «Mais Monsieur Efron menait une activité soviétique foudroyante!» («Однако, господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!») Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю — это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог.

Все кончилось неожиданно. 10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в парижскую Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала, а именно: что это самый благородный и бескорыстный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании — не преступление, что знаю его — 1911 г. — 1937 г. — 26 лет и что больше не знаю ничего. Через некоторое время последовал второй вызов в Префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я не узнала его почерка, и меня опять отпустили и уже больше не трогали...»

Знала ли Марина о секретной работе мужа? Вот вопрос, который задают все, от которого не уйти.

Этой стороной жизни он с ней не делился — реакцию при ее резком неприятии большевизма и чекизма нетрудно было предвидеть.

Неприятие было — раз и навсегда. В охваченной лихорадкой революции голодающей Москве 1919 года она читает свои новые стихи в присутствии наркома просвещения Луначарского с нескрываемым вызовом:

Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства...

Скажет потом: «Жаль, что ему... а не всей Лубянке».

А от гонора за выступление — 60 рублей — публично откажется: «Возьмите их себе (на 6 коробков спичек), я же на свои шестьдесят рублей пойду поставлю свечку у Иверской за окончание строя, где так оценивается труд».

Видимо, на первых порах, в Париже, она только догадывалась о какой-то хитрой, конспиративной службе Сергея, не ведая, как далеко все зашло, сознательно глуша в себе подозрения, беззаветно доверяя мужу: значит, так надо! Слишком невыносимой была бы вся правда.

Разразившаяся вдруг катастрофа — провал и бегство Эфрона в связи с делом Рейсса — окончательно открыла глаза. Страшный удар судьбы надломил, сокрушил Цветаеву. Но не мог ничего изменить в их отношениях с мужем: она была обречена на эту любовь, не зависящую от земных испытаний, ниспосланную, как и поэтический дар, свыше. «Его доверие ко мне могло быть обманутым, мое доверие к нему — никогда», — сказала она французской полиции. И пошла за мужем дальше — на последний, гибельный край. Пошла не вслепую, без всяких иллюзий — она, поэт, который видел сны наяву, оказалась трезвее и зорче всех! — сознавая, что это дорога на тот свет. Отправилась на родину, понимая: «Здесь я не нужна, там я — невозможна»... Вернулась, хотя еще десять лет назад знала: «России — нет, есть буквы: СССР, — не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся...»

Раздвинулись — чтобы проглотить.

И все же не могла иначе. Потому что есть нечто сильнее — и места, и времени, и инстинкта самосохранения. Потому что еще раньше, в двадцатилетней давности, в кровавый год революции, поклялась Сергею: «Главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления... Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых — я буду ходить за Вами как собака!»

Перед отъездом в Москву, перечитав эти давние строки, она написала рядом на полях: «Вот и пойду как собака!..»

Вернемся к письму Цветаевой Берии.

«С октября 1937 г. по июнь 1939 г. я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической почтой, два раза в месяц. Письма его из Союза были совершенно счастливые — жаль, что они не сохранились, но я должна была их уничтожить тотчас же по прочтении, — ему недоставало только одного: меня и сына.

Когда я 19-го июня 1939 г., после почти двухлетней разлуки, вошла на дачу в Болшеве и его увидела — я увидела *больного* человека. О болезни его ни он, ни дочь мне не писали. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде в Союз, — вегетативный невроз. Я узнала, что он эти два года почти сплошь проболел — пролежал. Но с нашим приездом он ожил, — за два первых месяца ни одного припадка, что доказывает, что его сердечная болезнь в большой мере была вызвана тоской по нас и страхом, что могущая быть война разлучит навек... Он стал ходить, стал мечтать о *работе*, без которой *изныл*, стал уже с кем-то из своего начальства сговариваться и ездить в город... Все говорили, что он действительно воскрес...

И — 27-го августа — арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя, Ариадна Сергеевна Эфрон, первая из всех нас уехала в Советский Союз, а именно 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения на Родину. Она очень талантливая художница и журналистка. И — абсолютно лояльный человек. В Москве она работала во французском журнале «Ревю де Моску» (Страстной бульвар, д. 11) — ее работой были очень довольны. Писала (литературное) и иллюстрировала, отлично перевела стихами поэму Маяковского. В Советском Союзе себя чувствовала очень счастливой и никогда ни на какие бытовые трудности не жаловалась.

А вслед за дочерью арестовали — 10 октября 1939 г., ровно через два года после его отъезда в Союз, день в день, — и моего мужа, совершенно больного и истерзанного *ее* бедой.

Первую денежную передачу от меня приняли: дочери — 7-го декабря, т. е. 3 месяца, 11 дней спустя после ее ареста, мужу — 8-го декабря, т. е. 2 месяца без 2-х дней спустя ареста...

7-го ноября было арестовано на той же даче семейство Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в запечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

Я обратилась в Литфонд, и нам устроили комнату на 2 месяца, при Доме Отдыха Писателей в Голицыне, с содержанием в Доме Отдыха — после ареста мужа я осталась совсем без средств. Писатели устраивают мне ряд переводов с грузинского, французского и немецкого языков. Еще в бытность свою в Болшеве я перевела на французский ряд стихотворений Лермонтова — для «Ревю де Моску» и «Интернациональной Литературы». Часть из них уже напечатана.

Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его — 1911 г. — 1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, никто его не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли «слепым энтузиазмом». Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные

бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати (— «Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?»), говорили о нем с каким-то почтением, а следователь — так тот просто сказал мне: — «Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться...»

А *ошибаться* здесь, в Советском Союзе, он *не* мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал.

Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Это — тяжелый больной, не знаю, сколько ему осталось жизни — особенно после такого потрясения. Ужасно будет, если он умрет *не* оправданным.

Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, — проверьте доносчика.

Если же это ошибка — *умоляю*, исправьте, пока не поздно.

Марина Цветаева.

По штампам, отметкам и сопроводительным документам ясно, что это письмо было получено в секретариате НКВД 26 декабря, пролежало там почти месяц, до 21 января 1940 года, и было передано все в ту же следчасть «для приобщения к следделу» — помощнику начальника Шкуруину.

Никакой резолюции Берии на письме нет, возможно, он даже его не читал.

«И лучшего человека не встретила»

Новый, 1940 год начался для Ариадны очной ставкой с Алексеем Сеземаном — следствие применило к ней тот же прием, что и к отцу. Впрочем, тут обошлось без драматических коллизий: молодые люди подтвердили показания друг друга, покаялись в антисоветских разговорах — и их развели по камерам.

Другая очная ставка (о ней Ариадна вспоминает в своем позднейшем заявлении прокурору) проходила куда напряженной, может, потому и протокол ее не был подшит к делу.

«Во время моего следствия мне однажды дали очную ставку с одним из товарищей отца, Балтер Павлом Абрамовичем. Я хорошо знала этого человека, но при очной ставке еле узнала его, в таком состоянии он был. Очная ставка проходила под непрерывный оглушительный крик следователя, обрывавшего каждую попытку Балтера что-то сказать «не согласованное» со следователем, каждую мою попытку что-нибудь спросить или опровергнуть. И, однако, вымыслы Балтера о моем отце и обо мне были настолько нелепыми, что удалось их разоблачить, несмотря на такую обстановку. Я знала Балтера как честного, порядочного человека, и мне было ясно видно, до какого состояния он был доведен...»

У Ариадны продолжают требовать все новых показаний. Теперь на сестру матери — писательницу Анастасию Цветаеву, к тому времени уже арестованную и отправленную в лагерь. Ариадна виделась с ней в Москве только несколько раз и больше всего была поражена тем, как встретила ее тетка:

«...До ареста А. Цветаева вела себя очень осторожно, и эта осторожность доходила у нее до смешного. Я припоминаю, как она перепугалась, когда я посетила ее в первый раз, вместе с этим до чрезвычайности была удивлена тем, что у меня хватило смелости приехать в СССР в тот момент, когда здесь иностранцев много арестовывают. В последующие мои посещения ее она всякий раз спрашивала меня, видел ли кто из соседей, как я к ней шла, или не следил ли за мной кто на улице. При этом она рассказывала мне, что за ней все время следят из НКВД и что в этом она несколько раз уже убеждалась...»

Ни о каких антисоветских настроениях или действиях Анастасии Цветаевой Ариадна не знала и сказать не могла.

Через месяц ее заставили писать показания на коллег — сотрудников журнала «Ревю де Моску». Раскритиковав работу редакции, она рассказала, как пыталась «бороться за журнал» и натолкнулась на инерцию — так все там

были перепуганы и деморализованы, — не в силах ничего изменить. Что же не нравилось Ариадне в работе журнала?

Положим, выходит номер, посвященный советской науке. В оглавлении в слово «наука» («science») вкралась опечатка и повторяется столько, сколько само слово, то есть раз десять. Это уже выглядит не просто опечаткой... Конечно, наборщик, не владеющий французским, может ошибиться, а усталый корректор — проглядеть. «Но как должен был отнестись к такому факту читатель, — недоумевает Ариадна, — не должен ли он был рассматривать это как проделки врага? Толкуют о науке, а сами этого слова не могут правильно написать по-французски! Хороша наука!» Возмущенные сотрудники потребовали от редактора перепечатать четыре полосы журнала, чтобы не посылать такого позора за границу. И что же? Несмотря на все это, ничего исправлено не было, французский читатель получил брак.

Особенно негодует Ариадна на то, что редактор Кобелев не отвечает на письма читателей. А тот говорит ей:

— Ну знаете, с заграницей сейчас вести переписку — дело рискованное, сейчас же попадешь в шпионы. Да и кто их знает, этих французских рабочих, пишет, что он рабочий, а на самом деле, может быть, фашист!..

И вообще, считает Ариадна, сама не подозревая, что занимается антисоветской пропагандой, периодика, которая выпускается в СССР для иностранцев, — продукция никуда не годная, а зачастую и вредная. Взять хотя бы формат. «Формат большой и неудобный... В этом смысле мы должны многому учиться у наших врагов! Фашистские пропагандные издания по внешнему виду вполне подходят для назначенных целей. Их и покупают, и сворачивают, и в карман кладут...» А бумага, псевдомеловая, так называемая «экспортная!» Никуда не годная бумага! «Бумага эта делается на рыбьем клею и обладает чудовищным запахом, ничем не вытравимым. Легко можно представить, какого пропагандного успеха достигает журнал, от которого воняет как из помойной ямы. Те несчастные французские читатели, которые пробовали собирать комплекты «Ревю», письменно умоляли редакторов не печатать журнал на такой бумаге, ибо — либо комплект выноси из комнаты, либо сам в ней не живи... Не стыдно ли печатать на вонючей бумаге о наших достижениях, не слишком ли выгодна такая пропаганда для наших врагов? Чья же вина?...» И, наконец, сам материал, содержание. «Материал подбирался непродуманно, с бору по сосенке. В редакционной работе рьяное участие принимали ножницы и банка с клеем, составлялись винегреты из передовых «Правды», подвалов «Известий» и репортажей «Вечерки» — то есть из тех материалов, которые Франция получает по воздушной почте на другой день и месяца через три после этого опять читает в «Ревю де Моску». Таким образом, информация приходила после того, как все французские газеты уже откликнулись на это. Такая пропаганда, такая информация — только козырь в руках наших врагов. Особенно возмутительными являлись подобные факты по отношению к речи товарища Сталина...»

Что же, неужели не понимала Ариадна, жалуясь на своих коллег в НКВД, чем это чревато? Не понимала — ее опять подводила простодушная праведность, незнание советской жизни с ее узаконенной лживостью, двойной моралью. Никакого злого умысла тут не было, а только неумение жить в тех правилах игры, которые ей предлагались и которые ее коллеги давно усвоили. Они-то, будучи советскими, пытались, кто как может, остаться людьми, а она, будучи хорошим человеком, изо всех сил старалась стать советской.

И при всем том, добавляет Ариадна, отношения с сослуживцами у нее были вполне нормальными. «Ни личной злобы, ни особой личной приязни я к ним не испытывала». Парадокс заключается еще и в том, что тот же редактор Кобелев, как выясняется, был секретным сотрудником органов, так что Ариадна жаловалась НКВД на сам НКВД...

Только в марте следователь Иванов, уступив настойчивым требованиям Ариадны, зафиксировал в протоколе допроса ее отказ от показаний на отца —

и то в туманных выражениях: «Я хочу обратить внимание следствия на ту часть моих показаний, где речь идет о моем разговоре с отцом, Эфроном, который у меня якобы состоялся с ним перед моим отъездом в Советский Союз, там я показала неправду. Такого разговора с отцом у меня не было...» В сущности, эта поправка ничего уже не могла изменить в ходе следствия.

В это же время начальство решило выделить материалы на Ариадну из группового следственного дела № 644 (восьми объемистых томов), куда уже были втянуты кроме Эфрона и Толстого и другие секретные сотрудники НКВД, работавшие во Франции, — Николай и Нина Клепинины, Эмилия Литаяэр (арестована 27 августа 1939 года) и Николай Афанасов (арестован 29 января 1940 года), — и в дальнейшем вести отдельно. Видимо, ее преступления выглядели уж слишком легковесными даже с точки зрения лубянских законников.

Все же 15 мая Ариадне было объявлено так называемое постановление о предъявлении обвинения: измена родине и антисоветская пропаганда. Последовали новые допросы, и тут она, кажется уже сломленная и покорная после сокрушительных атак следствия, вдруг обрела неожиданную твердость — стала отвергать предъявленные ей обвинения — сначала в антисоветчине, а затем и в шпионаже. Когда взбешенный Иванов снова начал потрясать показаниями Толстого (ничего другого против нее и не было), она отчеканила совсем как ее отец:

— Из тех разговоров, которые у меня были с Толстым, у меня о нем сложилось мнение как о человеке морально и политически разложившемся, большим аферисте. Как выясняется сейчас, он еще и клеветник...

Следствие, по существу, было провалено.

Чтобы хоть как-то слепить обвинение, Иванов наспех пытается связать его с делами других арестованных, еле знакомых и даже вовсе не известных Ариадне. Но она все упорно отвергает. Это не мешает Иванову объявить следствие законченным: 16 мая он составляет обвинительное заключение, в котором повторяет все фальсифицированные признания и записывает: «Эфрон виновной себя признала». Подлог был столь очевиден, что против этой фразы на полях документа вырос чей-то жирный вопросительный знак — синим карандашом.

Иванов явно опростоволосился со своей подследственной, не предвидел, что к ней вернется второе дыхание и способность к сопротивлению. Но это уже ничего изменить не могло. На следователя работала вся государственная машина, а она не поворачивала вспять.

Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру для передачи по подсудности.

А в Бутырской тюрьме начальники Иванова — Кузьминов и Шкурин — по ночам продолжали «обработку» Эфрона. Теперь его сводят на очной ставке с Николаем Клепининым, уже сломленным и подпавшим все, что ему навязали. Происходит то же, что и в сцене с Толстым: Клепинин доказывает, что Эфрон — французский шпион, а тот это наотрез отрицает. Следователи пытаются то запутать Эфрона, на разные лады подталкивая к желаемому ответу, то поймать на каких-нибудь оговорках и мелочах. А он все время возвращает разговор к тому, что работал в Париже на СССР, ну, например, пользовался советской помощью при издании газеты «Евразия».

— Непонятно, с каких это пор Советская власть, по-вашему, должна была оказывать помощь белогвардейцам в издании такого органа, который направлен против нее? — иронизирует следователь.

«Дурак!» — комментирует эти слова на полях кто-то из начальников, читавших протокол допроса. Пробольшевистский дух этой газеты известен. Следователь явно дал маху, вот и получил по носу. У переутомленных лубянских служаков тоже сдают нервы!

Очная ставка продолжается. От Клепинина требуют фактов и доказательств работы Эфрона как французского агента, а он говорит:

— Я был завербован Эфроном в советскую разведку в середине 1933 года... Целью этих вербовок была возможность получения советского гражданства, на что мне Эфрон прямо и указал...

По словам Клепинина, Эфрон перебрасывал людей в Советский Союз не для строительства социализма, а, наоборот, — для его сокрушения.

Далее Клепинин сообщил нечто еще более таинственное:

— В конце 1934 года я узнал, что Эфрон входит в состав масонства. Я узнал также, что русская масонская ложа состоит из целого ряда виднейших представителей различных белоэмигрантских группировок и является филиалом иностранных разведок. Меня удивило не то, что Эфрон туда вошел, а то обстоятельство, что масоны приняли его в свой состав, так как в это время в Париже было широко известно о контакте Эфрона с полпредством и Союзом возвращения и ходило много слухов о его связях с советской разведкой.

На мои расспросы Эфрон сообщил, что масоны знают об этих контактах, но именно это обстоятельство заставляет их им дорожить, потому что в план масонства входит проникновение в Советский Союз, установление связи с оставшимися там тайными масонами, сотрудничество с теми тайными членами, которые занимают сейчас руководящие посты в партии и правительстве, восстановление капитализма и буржуазно-демократического строя, а в связи с этим выход масонства из подполья...

— Я ничего не понимаю, — ответил на это Эфрон. — Я не представляю, что Николай Андреевич говорит такое без задней мысли... Я ставлю прямой вопрос: был ли я связан, по его мнению, с какими-либо разведками?

— Да! — говорит Клепинин. — Я уже показал о твоих связях с французской разведкой через масонов.

— Тогда еще один вопрос. Ты сказал, что долго отсутствовал, и вместе с тем ты знаешь все больше меня. Откуда ты все это узнал?

— Из других источников... — отвечает Клепинин.

— У меня, к сожалению, никаких вопросов нет, — заканчивает спор Эфрон.

«Другими источниками», ясно, были не кто иные, как сами следователи, подробно наставлявшие несчастного Николая Андреевича, как «расколоть» его бывшего товарища.

Сколько душевных терзаний и крушений духа стоит за пожелтевшими страницами протоколов, сквозь которые, кажется, вот-вот брызнут слезы и кровь! Что же на самом деле происходило в лубянских камерах и кабинетах, какие лютые страсти и сцены здесь разыгрывались, до каких пределов бесчеловечности доходил человек? Всей правды об этом мы уже никогда не узнаем.

Перед тем как проститься и уйти, Николай Андреевич Клепинин вдруг обратился к Эфрому с такими, совсем не протокольными, словами:

— Сережа, дальше запыряться бесполезно. Ты меня знаешь хорошо, я хорошо знаю твою работу. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно. У тебя единственный выход — это признаться во всем. Ране или поздно все равно ты признаешься и будешь говорить...

Клепинина уведят, Эфрон остается. Следователь напоминает ему о его заявлении, направленном наркому внутренних дел Берии после ареста его дочери и Эмилии Литауэр, в котором он ручался за их политическую честность головой.

— Вы подтверждаете это заявление?

— Подтверждаю полностью.

И в кабинет тут же вводится еще одно действующее лицо — Эмилия Литауэр.

— Вам известно сидящее перед вами лицо?

— Да, это мой товарищ и друг Эмилия Литауэр, — говорит Эфрон.

— Да, это мой друг Эфрон Сергей Яковлевич, — говорит Литауэр.

И снова тот же сценарий — она послушно повторяет вбитую во всех арестованных версию НКВД: да, были евразийцами, да, внедрились потом — она

во Французскую компартию, он в советскую разведку, — да, перебрасывали людей в СССР и перебросились сами, и все это с единственной целью — шпионить в пользу Франции.

— Как видите, уже третий сообщник изобличает вас, — обращается следователь к Эфрону. — Может быть, вы в конце концов прекратите запирательство?

— Если все мои товарищи считают меня шпионом, и Литауэр, и Клепинин, и дочь, — отвечает он, — то, видимо, я шпион и под их показаниями подписуюсь.

Следователи ушам своим не верят.

— Вы не только пытаетесь скрыть свои шпионские дела, но и пытаетесь спровоцировать следствие. Что значит ваше заявление, что «я подписуюсь, что я шпион»?

Эфрону делается плохо — он просит прекратить допрос.

— Вы готовы дать показания? — продолжает следователь.

— Я не могу отвечать.

— Не объясните ли нам, почему Эфрон проявляет такое упорство? — следователь обращается к Литауэр.

— Очень просто, — говорит она, — дело в том, что мы с Сережей еще долго до ареста договорились не выдавать друг друга. Он мне говорил, что считает меня твердокаменной, и я была о нем такого же мнения.

— Как видите, рухнули ваши планы на сговор! — торжествует следователь.

— Никакого сговора не было, — возражает Эфрон. — Но я верил Литауэр на все сто процентов...

— Почему же вы не хотите говорить правду?

— В моем положении единственный выход — это давать показания.

— В чем вы признаете себя виновным?

— Я признаю себя виновным в той же мере, как и мои товарищи признают себя и обвиняют меня.

— Называйте вещи своими собственными именами и говорите конкретно! На какие разведки вы работали?

— Я ничего не могу сейчас сказать... Мне говорить нечего...

И дальше в протоколе появляется долгожданная для следователей фраза: «Моя вербовка произошла в 1931 году. В конце своей деятельности во Франции я обнаружил, что работаю не только на советскую разведку, но и на французскую. Я действовал в связи с масонами, а вся масонская организация в целом и является органом французской разведки...»

Под этими словами стоит подпись Эфрона. Откуда она взялась? Заставили подписать силой? Или подделали? Все может быть. Но то, что дело тут нечисто, выдает следующий вопрос:

— Вы признаете себя виновным?

— Я все расскажу, но хочу еще раз поговорить с Клепининым.

Вводят Клепинина.

— В чем ты меня обвиняешь, скажи прямо? — спрашивает Эфрон.

Клепинин пространно повторяет свои показания.

— Теперь вам ясно? — спрашивают Эфрона.

— Мне ясно.

— На какие разведки вы работали?

— Пусть на это ответит Клепинин. Я прошу отложить дальнейшие показания...

— Отложим, только скажите, на какие разведки вы работали?!

— Я работал на те же разведки, на которые работала и группа моих товарищей...

Так напечатано в протоколе. Но вот что важно: подписывая документ, Эфрон исправил эту фразу, переделал все на единственное число: «Я работал на ту же разведку, на которую...» — то есть подчеркнул, что вся группа работала на одну разведку — советскую.

Еще одна перестановка действующих лиц: Клепинина удаляют и заменяют на Литauer. И не отпускают уже доведенного до припадка Эфрона, несмотря на его просьбы.

— Последний раз предупреждаем — будете говорить правду?

— Я говорю правду. Я состоял в организации, которая была связана с иностранными разведками, но шпионом я не был.

— Он занимался, как и я, шпионской деятельностью, — по команде следователей заводит сказку про белого бычка Литauer.

— Я ничего не скрываю... Я не могу говорить... — повторяет Эфрон.

— Вы на всем протяжении очной ставки путаете и провоцируете следствие. Вы же сегодня признали себя виновным. В каком случае вам можно верить?

— И в том, и в другом. Пусть меня изобличают...

— Сережа, — говорит на прощанье Литauer, — еще раз советую во всем признаться. Я говорю это тебе как друг...

Можно представить себе досаду и злость Кузьмина со Шкуриным — какой промах! Почти добились своего, почти доломали, так потрудились — и все зря. Почти попалась птичка — и выпорхнула.

Видимо, этот поединок опять подкосил Эфрона, уложил на больничную койку — в следствии его наступил перерыв на целых полтора месяца.

Однако и на последовавших в феврале и марте допросах он стоял на своем, не уступал позиции. Отрицая все обвинения и против себя, и против его друзей, напоминал о своих заслугах перед советской властью:

— Я антисоветской деятельностью не занимался, а был сотрудником НКВД, работал под контролем соответствующих лиц, руководивших секретной работой за границей...

— Характер вашей конспиративной работы с советскими учреждениями нас меньше всего интересует, — откровенно заявляет ему следователь. — Будучи сотрудником НКВД, вы в то же время являлись шпионом иностранных разведок.

— Это неправда. Прошу прервать допрос, я плохо себя чувствую...

Подпись его все более искажается, становится похожа на каракули. Допрос часто прерывается — видимо, он уже физически не выдерживает этой пытки, превращающей его в безжизненное тело. Тем не менее через несколько дней — новый допрос, и все повторяется со всевозможными вариациями:

— Вы лжете и будете изобличены в этом!

— Все равно. Пусть изобличают...

— Почему вы скрываете связь с иностранными разведками?

— Я не скрываю, а отрицаю это.

— Думаете, вам удастся уйти от ответственности?

— Я принимаю ответственность за всю мою прошлую жизнь, но не могу принять на себя ответственность за то, чего не было...

Он не только отрицает обвинения против себя — ни разу не уступил нажиму следствия и не дал обвинительных показаний против своих товарищей. А когда речь зашла о его дочери, попросил очную ставку с ней. Но возможности увидеть Ариадну и что-нибудь узнать о ней Эфрону не дали: вдруг это вдохнет в них новые силы?

Маленькая, но характерная деталь: следователь (на сей раз это был представленный к Ариадне Иванов), упрекая Эфрона во лжи, всюду в протоколе пишет это слово — «лож» — без мягкого знака, такие вот грамотеи служили на Лубянке!

В апреле Эфрона опять переводят в Лефортовскую тюрьму и там бросают на него свежие силы — лейтенанта Н. В. Копылова, который тоже не щадит своего подследственного: один из его допросов продолжался без перерыва тринадцать часов! И снова не все оформлялось протоколами: в справке Лефор-

товской тюрьмы указано не меньше десятка допросов, о которых в деле Эфрона не осталось никакого следа.

Теперь требуют показаний о тех эмигрантах, которых Эфрон завербовал для работы в советской разведке, это, в основном, члены Союза возвращения и Французской компартии. Среди них, на переднем плане, те, кто принимал участие в деле Рейсса.

Тут ему действительно было что рассказать.

Вот только несколько характеристик:

«...Смиренский Дмитрий Михайлович — сын священника, работал под моим руководством... В 1939 г. приехал в Советский Союз, в результате того что был провален делом Рейсса. Французские и швейцарские власти привлекали Смиренского в связи с убийством Рейсса к уголовной ответственности и посадили в тюрьму, в которой он просидел около года, после чего из-под стражи был освобожден и выслан из Швейцарии... Он принимал участие в предварительной подготовке дела Рейсса, в самом акте Смиренский участия не принимал... Мне это известно от ряда лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, — от Клепининых и Кондратьева...»

«А. Чистоганов — выполнял работу по внешнему наблюдению за Седовым (сын Троцкого), но провалился и был замечен им. Седов обратился к французской полиции, которая задержала его, допросила и отпустила. Ввиду того что Чистоганов обнаружил за собой жесткое наблюдение французской полиции, то с ним на время была прекращена всякая связь. Через год Чистоганов снова начал выполнять отдельные поручения по выяснению каких-то адресатов...»

«Де-Судьяр... Я сообщил о состоявшемся моем знакомстве с Де-Судьяр своему руководству, которое предложило постепенно обрабатывать его в советском духе. После неоднократных встреч с Де-Судьяром я его и привлек для секретной работы с НКВД, на которую он пошел очень охотно... Де-Судьяр вербовался как француз, носивший аристократическую фамилию, политически не скомпрометированный, занимавший ответственное место в коммерческом предприятии. Предполагалось получить через него информацию о фашистской организации «Железный крест», связанной с русскими белогвардейскими группами...»

Всего Эфрон называет около тридцати человек, которых он привлек с 1932 по 1937 год в Париже к секретной работе для НКВД. Среди них есть те, сотрудничество которых с Лубянкой уже несомненно, степень «причастности» других неясна и требует еще доказательств.

Называет Эфрон и предателей советской разведки — Жданова, Смирнова, Азарьяна и Кислова, последний непосредственно руководил работой Эфрона...

Картина впечатляющая! Париж в это время буквально кишел советскими агентами. И каким умелым ловцом человеков оказался Сергей Эфрон, сколько пользы принес НКВД, и делал это искренне, убежденно, не за страх, а за совесть! Именно ему и было поручено заместителем начальника Иностранного отдела НКВД Сергеем Михайловичем Шпигельгласом руководство группой, готовившей устранение Рейсса. Об этом есть свидетельство в письме Ариадны в прокуратуру 28 июня 1955 года. Она предлагает допросить старую знакомую Эфрона Елизавету Хенкину, которая «хорошо помнит, как и кем проводилось задание, данное Шпигельгласом группе, руководимой моим отцом, как и по чьей вине произошел провал этого дела...».

На допросах Копылов, долбя как попугай, все пытался выжать из своего подследственного какой-нибудь компромат на названных лиц, однако и на сей раз всякую антисоветскую или шпионско-враждебную деятельность их Эфрон отрицал:

— Я говорю правду. Я могу ошибиться в ответе, потому что память мне может изменить, но сознательной неправды я не говорил и говорить не буду.

Конечно же, на Лубянке прекрасно знали, кто такой Эфрон на самом деле. В досье есть справка о его секретной работе:

«В 1931 г. Эфрон был завербован органами НКВД, работал по освещению евразийцев, белоэмиграции, по заданию органов вступил в русскую масонскую

ложу «Гамаюн». В течение ряда лет Эфрон использовался как групповод и активный наводчик-вербовщик, при его участии органами НКВД был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. В начале гражданской войны в Испании Эфрон просил отправить его в республиканскую Испанию для участия в борьбе против войск Франко, но ему в этом по оперативным соображениям было отказано.

Осенью 1937 г. Эфрон срочно был отправлен в СССР в связи с грозившим ему арестом французской полицией по подозрению в причастности к делу об убийстве Рейсса. В Советском Союзе Эфрон проживал под фамилией Андреев на содержании органов НКВД, но фактически на секретной работе не использовался. По работе с органами НКВД Эфрон характеризовался положительно и был связан во Франции с б. сотрудниками Иностранного отдела НКВД Журавлевым и Глинским».

Судьба почти всех советских разведчиков — руководителей Эфрона оборвалась рано, еще до его ареста. В 1937 году, когда Ежов подверг чистке Иностраный отдел НКВД, многие из них были расстреляны в тех же самых застенках.

Дополнительный свет на агентурную работу Эфрона проливает данное в 1956 году при его реабилитации свидетельство старого, почетного чекиста В. И. Пудина:

«С 1935 по 1938 г. я работал в Иностранном отделе НКВД и занимался разработкой активных белогвардейских организаций за рубежом... Организация евразийцев была создана в 20-х гг., являлась малочисленной, активной антисоветской деятельности не проводила, а поэтому ей очень мало уделялось внимания и активной разработки по линии борьбы с ней не велось... В 1938 г. я в школе ИНО НКВД читал лекции об антисоветских белоэмигрантских организациях и о методах борьбы с ними. В своих примерах я даже не приводил как антисоветскую организацию евразийцев...

В Иностранном отделе НКВД не было никаких данных о принадлежности Клепининых и Эфрона к агентуре иностранных разведок, работавших против СССР, поэтому работники нашего отдела возмущались арестом этих лиц. Мне не известно, чтобы руководители отдела в официальном порядке ставили вопрос о необоснованности ареста этих лиц... Клепинины-Львовы и Эфрон по работе как агенты нашей разведки характеризовались только положительно».

В те же дни в прокуратуре допросили в качестве свидетеля Е. А. Хенкину-Нелидову, парижскую подругу семьи Эфрона и его коллегу по секретной работе. Она дала Сергею Яковлевичу восторженную характеристику:

«Эфрон был очень умный, порядочный человек, он принадлежит к числу таких людей, которые за идею готовы пойти на все, которые не могут кривить душой, играть двойную игру. При встречах Эфрон говорил мне, что очень сожалеет о своих ошибках в прошлом, сожалеет о том, что служил в Белой армии и вообще не понял сразу Советскую власть... Я чувствовала, что Эфрон окончательно порвал с прошлым, сложившиеся у него новые взгляды на жизнь были если не в полной мере марксистскими, то, во всяком случае, очень близкими к этому. В своей работе Эфрон доказывал, что его слова о любви к родине и об удовлетворенности происходящим в СССР являются не просто словами. Эфрон много работал в Союзе возвращения на Родину, принося большую пользу в смысле завоевания симпатий членов Союза к советской стране. Эфрон также очень много сделал как неофициальный сотрудник наших органов. Об этом мне стало известно от работников советского консульства, отдельные поручения которых я выполняла. Личность Эфрона может охарактеризовать также то, что антисоветски настроенные белоэмигранты отрицательно относились к Эфрону, называя его «ренегатом» и т. д. Такое отношение со стороны врагов Советской власти говорит о том, что Эфрон был другом Советской власти. Я старый человек, повидала многих людей, научилась в них разбираться. Я твердо заявляю, что Эфрон — один из немногих, за

которых я могу поручиться чем угодно. Эфрон действительно честный человек, а свои прошлые ошибки он не только не скрывал, но и бичевал себя за них, стараясь в какой-то мере загладить свою вину перед советской страной».

В начале июня в следствии по делу Эфрона решено было поставить точку. Совершив круг по московским тюрьмам, он снова очутился на Лубянке. Следователь Еломанов составляет соответствующий протокол, Эфрон, «ознакомившись с материалами дела, дополнить следствие ничем не имеет». Подписывается он с трудом, как ребенок, большими неровными буквами.

А потом в деле идет протокол еще одного допроса от 9 июня — документ неожиданный и очень странный, одним махом разрубающий для следствия все узлы. Эфрон с первого же вопроса заявляет: «Да, я являлся агентом французской разведки...» — показывает, что был завербован масонами, в частности неким Петром Бобринским, и получил задание — «установить знакомство с советской колонией и приближать к себе русских эмигрантов»...

Так что же — все-таки сломали? Вряд ли. Внимательное изучение этой бумаги приводит к выводу: перед нами — фальшивка. Подпись Эфрона настолько искажена и трудноузнаваема, что или была поставлена им в невменяемом состоянии, или вообще другим лицом. А может быть, добыта заранее, на чистом листе: текст «признания» и подпись не стыкуются, слишком разнесены...

Сомнения рассеивает следующий документ в деле — постановление о продлении срока следствия: «...Эфрон С. Я. является резидентом французской разведки, виновным себя не признал... принимая во внимание, что следствие еще не закончено... возбудить ходатайство о продлении срока следствия...»

В ежедневной борьбе за жизнь, в постоянной заботе — достать денег, еды, дров, керосина, — в изнурительном переводе, изводе себя на чужие стихи, в тревоге и боли за близких, в холоде, унижении и страхе прошли зима и весна в Голицыне.

Теперь и отсюда гнали. Цветаевой предложили освободить комнату. И снова встал проблема: куда деться? И опять — чужой дом, временное пристанище. Нашлись добрые люди — искусствовед Александр Георгиевич и художница Наталья Алексеевна Габричевские, — на лето, пока будут в Крыму, предложили пожить в своей квартире.

Поселились, как пишет Цветаева в своей рабочей тетради, «в комнате Зоологического музея... — покой, то благообразие, которого нет и наверное не будет в моей... оставшейся жизни...».

В этом доме она и пишет свое третье письмо в НКВД.

«Москва, 14 июня 1940 г.

Народному Комиссару Внутренних Дел

тов. Л. П. Берия

Уважаемый товарищ,

Обращаюсь к вам со следующей просьбой. С 27-го августа 1939 г. находится в заключении моя дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон, и с 10-го октября того же года — мой муж, Сергей Яковлевич Эфрон (Андреев).

После ареста Сергей Эфрон находился сначала во Внутренней тюрьме, потом в Бутырской, потом в Лефортовской и ныне опять переведен во Внутреннюю. Моя дочь, Ариадна Эфрон, все это время была во Внутренней.

Судя по тому, что мой муж, после долгого перерыва, вновь переведен во Внутреннюю тюрьму, и по длительности срока заключения обоих (Сергей Эфрон — 8 месяцев, Ариадна Эфрон — 10 месяцев) мне кажется, что следствие подходит — а может, уже и подошло — к концу.

Все это время меня очень тревожила судьба моих близких, особенно мужа, который был арестован больным (до этого он два года тяжело хворал).

Последний раз, когда я хотела навести справку о состоянии следствия (5-го июня, на Кузнецком, 24), сотрудник НКВД мне обычной анкеты не дал, а посоветовал мне обратиться к вам с просьбой о разрешении мне свидания.

Подробно о моих близких и о себе я уже писала вам в декабре минувшего года. Напомню вам только, что я после двухлетней разлуки успела побыть со своими совсем мало: с дочерью — два месяца, с мужем — три с половиной, что он тяжело болен, что я прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила.

Сердечно прошу вас, уважаемый товарищ Берия, если есть малейшая возможность, разрешить мне просимое свидание.

Марина Цветаева.

Сейчас я временно проживаю по следующему адр.:

Москва, улица Герцена, д. 6, кв. 20. (Телеф. К-0-40-13)».

Судьба и этого послания та же, что и предыдущих: его отправляют в след-часть и замуровывают в канцелярскую папку — без ответа.

Прежде всего бросается в глаза «вы» — по отношению к нарком — уже с маленькой буквы. Обращение не к личности, как в первом письме, — а к безликому учреждению. И — достоинство при очевидном отчаянье! «Лучший человек» — главному палачу про его жертву — при всеобщем гипнозе страха, когда самые близкие люди отрекались друг от друга. «Лучший человек» — несмотря ни на что, уже давно зная о двойной жизни Сергея и роковой роли в постигшей их семью участи.

Жажда подвига, романтический склад души, самоотверженное служение — в этом они были похожи. Только служили разным богам. Она — поэзии, он — политике. Она звала: летим? А он ходил по земле, ему была нужна внешняя точка опоры, заемная социальная идея: сначала Белое движение, потом евразийство и наконец — русский коммунизм. «Идеалист, влюбленный в пятилетку» — как кто-то его назвал. А дети — Ариадна и Мур — разрывались между отцом и матерью и больше всего хотели обрести независимость, встать на собственные ноги и тоже на земле... «Союз одиночеств» — как говорила Ариадна.

Маринины одиночество и обреченность были особого рода. Максимализм поэта требовал невозможного. Она изнемогала от быта, мелкой обыденности, которая держала ее в тисках. От того, что возможность близости с каждым — и своим, и чужим — была исчерпана, а она, жаждущая обновления любви (этим — жила!), всем мешала, казалась старой. От фатального разлада с враждебной ей современностью — ее высокое поколение уходило из жизни, а она оставалась — «одна за всех... противу всех».

Она несла на себе дар поэтического служения, кроме груза сегодняшнего дня. И этой ноши с ней разделить не мог никто. Даже собственные дети — судили ее и осуждали. И отец казался им добрым и милостивым, а мать — неудобной и неуживчивой. Она, которая наполняла жизнь высшим смыслом, делала ее значительной, оправдывала перед лицом вечности.

«Ты — уцелеешь на скрижалях»

Суда Ариадна так и не дождалась. Особое совещание при НКВД 2 июля 1940 года без нее, заочно решило: «заклЮчить в исправительно-трудовые лагерь сроком на восемь лет».

Из Бутырской тюрьмы ее взяли на этап и забросили далеко на Север, в один из концлагерей, затерянных на снежных просторах республики Коми. Вся ее судьба будет смята и безнадежно изуродована. Много лет спустя она скажет о себе: «Я прожила не свою жизнь...»

Участь отца навсегда останется в ней незаживающей раной. Много позднее, после лагеря, из сибирской ссылки, она, прося прокуратуру о его реабилитации, скажет: «Писать об отце «вообще» — это значит написать целую книгу... Все было дико, несправедливо, лживо, никому не нужно, все шло от клеветы и вело

к расстрелу. Я очень прошу Вас со всей беспристрастностью и справедливостью разобраться в деле отца. Пусть это будет не скоро — но пусть это будет!..»

Следствие по делу Сергея Эфрона протянется еще целый год после осуждения Ариадны, и, поскольку об этом времени в его досье нет ни слова, зияющий провал, — можно догадаться, что он так и не сдался до конца. 6 июля 1941 года он и его содельники встретились в зале заседаний Военной коллегии Верховного суда — чтобы проститься уже навсегда и произнести свое последнее слово, которое мы только теперь смогли услышать.

Эмилия Литауэр и Николай Клепинин признали себя виновными и просили сохранить им жизнь. Нина Клепинина признала только то, что была участницей «контрреволюционной» организации «Евразия», и сказала: «Ожидая справедливого решения суда». Николай Афанасов заявил: «Шпионом против СССР я не был». Павел Толстой виновным себя не признал и полностью отверг свои показания, данные на предварительном следствии: «Эфрон-Андреев для шпионской работы в пользу французской разведки никогда меня не вербовал».

И, наконец, сам Сергей Эфрон, его последнее слово:

— Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза. Прошу объективно рассмотреть мое дело...

Исход же для всех был один: «Подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу».

Афанасова казнили 27 июля, Клепининых и Литауэр — 28 июля, Толстого — 30 июля. Сергея Эфрона переводят в камеру смертников Бутырской тюрьмы и держат там до середины октября 1941 года.

Немцы подступили к Москве, в столице царил паника. Сталинские палачи спешно очищали тюрьмы, повально уничтожая «врагов народа».

Последний документ в деле Сергея Эфрона:

«Акт

16 октября 1941 г. мы, нижеподписавшиеся, привели в исполнение приговоры о расстреле 136 (сто тридцать шесть) чел., поименованных выше сего...»

Первым в этом списке стоит Сергей Эфрон.

Марина опередила Сергея. Не выдержала пытки жизнью, ушла сама... Петля, заброшенная Советской родиной на них на всех, — первой стянется на ней.

Сын Георгий погибнет на фронте через три года.

Ариадна вернется из лагеря, снова будет арестована, отправлена в ссылку в Сибирь, опять вернется и до самой смерти в 1975 году посвятит себя поэзии матери — работе над ее рукописями, изданию ее книг.

В Бутырках, в тюремном бреду, Сергеем чудились голоса. Кто-то говорил, что его жена умерла. Он слышал название стихотворения, известного только ему и ей.

А Марина, собирая свой последний сборник, так и не увидевший свет, хотела открыть его стихами, посвященными «лучшему человеку», которого встретила, даже пометила: «NB! Это стихотворение прошу на отдельном листке».

.....
 Как я хотела, чтобы каждый цвел
 В веках со мной! под пальцами моими!
 И как потом, склонивши лоб на стол,
 Крест-накрест перечеркивала имя...

Но ты, в руке продажного писца
 Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
 Не проданное мной! в н у т р и кольца!
 Ты — уцелеешь на скрижалях.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



«СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА» ЮРИЯ ТЫНЯНОВА

Из «Литературной коллекции»

Я стал читать эту книгу всего лишь потому, что ждал: тут узнаю много о Грибоедове (1927 — не к столетию ли смерти Грибоедова писал?). Немало и узнал, правда (и, надо думать, бóльшая часть фактически достоверна). Но узнаём ли мы тут того автора «Горя от ума», который мог донести любовь к родине даже до замороженных школьников ранних советских лет, сквозь мертвенный лязг марксистской социологии? Нет. Нет. Отчасти оттого, что ось романа недостаточно сфокусирована на характере Грибоедова, стержень повествования многократно расплывается, расслаивается. (Да если б весь роман только и предназначался для обрисовки одного характера — так уж слишком и длинён.)

Грибоедов как *писатель* — в романе почти не выступает. Мелькает, что критический взгляд на Москву, взгляд «Горя от ума», — когда-то начался с тифлисской горы Давида. (Предположение? достоверность? обоснования нет. Но и так накинуто со стороны: «В нём есть свободный тон, старый, московский».) Мелькает, что писал трагедию во время дипломатических переговоров — и это давало ему лёгкость и превосходство в дипломатии (весьма вероятно), что порой пишет стихи в посольстве. Но вот он мучается литературными неудачами: «Умею ли я писать? Ведь у меня есть что писать. Отчего же я нем, нем как рыба?» После чтения в писательском кругу, хотя и хвалили как будто, — а понял, что трагедия его дурна. В самом уже конце книги мимоходом узнаём, что когда-то у Грибоедова была мысль «перевернуть всю словесность русскую, вернуть её к истокам простонародья» — и в это я верю! (Но не такую жизнь ему для того надо было вести.) И, как следствие неудач? — «сволючь литературных самолюбий была ненавистна Грибоедову. Он втайне ненавидел (?) литературу. Она была в чужих руках, всё шло боком, делали не то, что нужно». Вот — и Пушкин стесняет его? и при беглой встрече, и за писательским обедом, Тынянов даёт просквозить даже неприязни. От тяжести писания — к писателю такой лёгкости — наверно, может и быть.

Эти рассыпанные по роману немногочисленности всё же дают довольно определённую зарисовку. А ещё ж грузней в литературное отчаяние Грибоедова входила невозможность напечатать «Горе от ума» — отчего и сама блистательность пьесы могла для него затуманиться.

И тем более — при большой воле, Грибоедов должен же был искать другие жизненные пути. Один из них — прямая служебная карьера, по которой он и двинулся. Другой — проект создания Закавказской торгово-административной компании, наподобие Ост-Индской. Почти отдельная держава, проект весьма заносчивый, с правом строить крепости, объявлять войны, двигать войска.

Рамки романа как раз и захватывают попытки движения этого уже созданного проекта — и крах его. Может быть что-то подобное и было бы тогда по-

лезно для укрепления и развития столь злополучно присоединённого нами Закавказья. Но в верхах министерства иностранных дел проект встречает или непонимание (Нессельроде), или зависть перехватить проект себе (Родофинкин). И Грибоедов падает духом, сам уже сомневается: был ли этот проект «расчётом или любовью»? — А от уцелевшего второстепенного декабриста Бурцова он выслушивает сокрушительный разнос: «Вы крестьян российских сюда бы нагнали как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жары. Стыдитесь!» Да, пожалуй ведь, и — дальновидная критика, может без этого мужичьего нагону и не обошлось бы.

А в оставшейся служебной карьере — неизбежно угождать и даже льстить начальству, иначе не продвнешься. И Тынянов неловко, даже на первых страницах, передаёт мысль Грибоедова так: «Ценою унижения надлежало добиться своего. Они скажут: Молчалин, вот куда он метил». Неловко так сразу прямо брякнуто, а по сути-то верно. (Разбирая лет сорок назад, ещё в лагере, самую комедию, я тоже пришёл к выводу, что Грибоедов неволью выписал Молчалина как бы неуязвимым для критики от Чацкого.) Через сотню страниц Тынянов и ещё повторяет: «Дело ясно: он играл Молчалина». (Тут возникает предположение, что и Тынянов писал, смутным намёком, о себе.) — И ещё раз, мыслями Грибоедова же о себе: «Он был прям, добр. Он просил прощения за свою косую жизнь, за то, что он ловчится». — И как, правда, среди всех них держаться, если он хочет продвинуться и утвердиться? Сознательно и с умением он входит в высокий круг; даже перед своим родственником Паскевичем приходится выражаться услужливо-елейно.

А какой мотив усмотреть в желании преуспеть — вообще-то очень человечески естественном? Может и никакого бы больше, но Тынянов подозревает у Грибоедова жажду власти. Все его действия, де, «были подготовкой, условием для того, чтобы здесь [в Петербурге] владеть толпой». При виде Паскевича: «Вот она, власть. Вот он держит судьбу России в своих коротких пальцах. Как это страшно. Как это упоительно»; «хотя он и ругал Паскевича и Нессельроде, он уважал их всё-таки», «вкус служебной субординации был у него на губах». И Бурцову вложено, что у Грибоедова манеры как у покойного Пестеля. Но за всем тем — версия жажды власти остаётся недоказанной, непроявленной. Да и — мудро бы, при том сложно-пёстром характере Грибоедова, как его представляет Тынянов.

«Он по большей части любил людей с изъянами» (отсюда и дружба с Булгаринным?). «Людей он знает, и люди тошны ему по этой причине»? «Навсегда ли отяготело над ним его же неуклюжее и со зла сказанное слово: горе от ума? Откуда этот холод, пустой ветерок между ним и другими людьми?» Вот он отнёс собеседника «к унылым людям, одержимым удачей». А для самого: «когда важное дело близится к успешному концу — дела этого более не существует», это бы — очень высокий характер! Верится, что Грибоедов — такой, да. Но чем объяснить, вот, его бессмысленную, долгую задержку в Тифлисе перед Персией — просто слабостью души? отвращением к своему служебному долгу? (И англичане на этой задержке обыгрывают его.) Неожиданно предлагает Тынянов и такое объяснение: «Это была скука, та, что в молодости двигала его пером, бросала его от женщины к женщине, заставляла его стравливать людей на снежном поле», то есть в дуэлях. (К этому подброшен ещё намёк, что в 1817 Грибоедов «сосводничал Истомину», прославленную балерину.) И добавлено в другом месте: «Скука была везде. Войны возникали из-за неё» (?). Какой же стандарт онегинско-печоринский, неужели Грибоедов всего лишь таков? И где же высшие сферы его жизни, которые несомненно же были?

К странностям характера Грибоедова мы до поры относим и его неприязнь к родному дому и к матери, пока не убеждаемся, что мать его — эгоистичная прорва (её неискренний характер хорошо выражен в письме, пришедшем к сыну в Тебриз). А между тем именно сыновний долг — удовлетворить жадность матери — и ведёт Грибоедова принять незаманчивый пост посланника.

(Не только: и прямой расчёт честолюбия и карьеры, конечно.) — Ещё более странна насквозь, через весь роман, привязанность Грибоедова к своему мерзкому слуге Сашке: прощает ему все пакостные выходки. И только под конец узнаём, что Сашка — его единокровный брат, внебрачный. (Но странно, что Сашка о том не знает; или всё же знает?) Так Грибоедов снова удивляет нас примером верности долгу. И даже в момент разгрома посольства он поражён больше сознанием — «убили Александра!», чем гибелью казаков вокруг, чем угрозой самому себе.

Не менее странна и женитьба на Нине Чавчавадзе: какая ж тут любовь, какой тут выбор? Слегка поколебался между двумя кузинами и по случайному поводу — чужому восторженному взгляду — выбрал Нину. Но и это, и терзания с балериной Телешовой — объяснимы: для таких мужских характеров воли, долга и дела — отношения с женщинами сильно второстепенны.

Во всей этой нескладности, напряжённости жизни Грибоедов к скорому своему концу, уже в 1829, за несколько месяцев до смерти, — «по ночам молился. Случилось раз — заплакал. Таков уж он был. Старел он быстро».

Может быть — всё и так. Но чтоб это в единстве зажило перед нашими глазами — Тынянов не доработал характера. Духовно высокого Грибоедова-писателя мы так и не увидели.

Да вообще: главный ли замысел Тынянова — осветить нам характер Грибоедова и его загадки? Не много ли больше его занимает в сравнении — возвышенный, как он видит, образец декабристов? Несколько раз они ударяются в книгу, прорывают ткань романа острями напоминаний. То вот — декабрист Бурцов спасает военные действия Паскевича. То на петербургско-чиновно-генеральском обеде Грибоедов соседает за столом с бывшим следователем своим по декабрьскому делу, и с генералом — вешателем декабристов, — и вот они все теперь в едином ряду? То (и это уже без меры) на тифлисском параде выделяется успешливый предатель Майборода. Такая постоянная привязка всего происходящего в координаты декабристов — кажется уже и искусственной. Да, по советским меркам несомненно: и весь Грибоедов и Пушкин со «Стансами», конечно, ниже декабристов. Богатыри — не вы... Но даёт Тынянов однажды прорваться подпепельному огню Грибоедова: когда тот кидает Бурцову, что победи декабристы — разодрались бы они из-за несходства своих дальнейших проектов. А ещё: «вы бы как мужика освободили? Сказали бы вы бедному мужику российский кому: младшие братья, временно, только временно, не угодно ли вам на барщине поработать. И Кондратий Фёдорович это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольной обязанностью крестьянского сословия. И, верно, гимн бы написал». (Сцена Грибоедов — Бурцов — из лучших в романе.) Другой же раз — в тяжёлом тегеранском сидении — Грибоедов осмеливается побудить Паскевича просить императора об амнистии Александру Одоевскому, правда, другу юности своей.

Последовательно и убедительно обрисованы твёрдая воля и мужество этого столь штатского молодого человека в очках: сцена выручки бессудно избиваемого воришки на Адмиралтейском бульваре; расправа с маркизом-доносчиком в Тифлисе; выразительное молчаливое сидение на приёме у шаха (не думаю никак, чтобы целый час, но даже и 10 минут промолчать — это какая воля!); «он никогда не бегал от опасности; стыдно тому, кто ушёл, не совершив своего дела»; и хладнокровие же и величие при набеге толпы: «надел шитый золотом мундир, а на голову треуголку, как на парад» — и распоряжается обороной и стреляет сам. То, что автор удачно формулирует: «острый запах судьбы вокруг человека». Как оскорбился за Россию от слов Сенковского: «Вы, кажется, забыли, что я тоже русский и трепать имя русское почитаю предосудительным» (нам бы так сегодня...). И ведь из патриотического же чувства он загорелся вернуть дезертира-вахмистра Самсона. «Он более не думал ни о Нессельроде, ни об Англии, не вспоминал о Петербурге, он думал о беглом вахмистре» (после оскорбительной сцены, тоже из лучших в романе, если

не самой лучшей: русской строевой песни дезертиров на марше мимо русского посольства). И из-за этого вахмистра — да и всего отряда — он решает отложить отъезд из Тегерана на день — и этим себя погубил. «Острый запах судьбы вокруг человека»... (Точно ли так было исторически?) И — добивается решения двора о выдаче. Но тут — подвернулся армянин-евнух из шахского гарема, просящий возврата на родину. Столкновение долга — и долга: «Если русский подданный приходит под русское знамя и находится под его покровительством — я не могу его выгнать из посольского дома». — Это и погубило Грибоедова.

Всё вместе — даёт нам нечастый в русской литературе образец, как сочается воля, долг, мужество и патриотизм.

И не так обидна смерть Грибоедова, и не так оскорбительно измывание грубой персидской толпы над его трупом, как посмертное оболгание его и его действий: сперва изворотливым предателем посольским секретарём, потом это проникает и в официальные документы Нессельроде и, характерно для его вялой политики, — торжественный приём персидской делегации в Москве и в Петербурге, величественный приём у царя, и царские слова (если Тынянов их не придумал, а вполне мог по своему настрою, выраженному в книге): «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие», и даже простили Персии 9-й и 10-й выкупы по Туркманчайскому (грибоедовскому!) миру (а уже наверно так?). Балы, обеды, веселье в Петербурге, — а от известия о смерти Грибоедова там «какое-то равнодушие было, равнодушие общее. Удивления не было».

Тынянов — не мог избежать, и правильно, кончить книгу встречей грибоедовских (мнимых?) останков с Пушкиным, едущим в Эрзерум. И конец такой, и пушкинская оценка умершего сами ломятся в книгу из-под пушкинского пера. Конечно, использовать пушкинские слова о Грибоедове Тынянов, по условиям романа, мог лишь частично и фрагментарно. Но кто прочтёт рядом последнюю главу «Вазир-Мухтара» и соответствующие строки из Пушкина — увидит, что главное, яркое — и цельное! — здесь пропущено, не схвачено.

От беллетристического ли это неумения? Или от того, что Тынянов — если судить только по этой книге — от Пушкина сколько-то отстраняется. Самого бы Пушкина отблеск он мог дать в романе куда полней и верней. Но даёт его с большой остороженностью. Тот же ли «декабристский» взгляд помешал Тынянову? — «Тут Пушкин поморщился: „Полтавская битва. Не будем говорить о ней. Поэма барабанная. Надобно же им кость кинуть”». Пушкин мог ощущать перебор в «барабанности» (хотя — ещё и сомнительно), но чтобы так цинично смотреть и так презрительно сказать? Откуда у Тынянова такая уверенность? (Или где-нибудь след есть?) А уж тем более о «Стансах» (которыми «приобрёл сколько новых врагов») — «Николай покорял его, потому что Пушкин был человек другой породы», «казни прощались Николаю, как и Петру». Да разве сравнимо? пять прямых мятежников — или вся изуродованная Петром народная жизнь? Безответственно бросил Тынянов да ещё как бы приписал Грибоедову эту мысль. Тут же и: Пушкин — «тонкий дипломат»? Чувству Грибоедова приписана зависть: «быстрый и удачливый Пушкин», и такое объяснение: «Очень быстр, прыгает, и вдруг холоден и вежлив. Вообще человек светский, любит блистать. Может быть добрый человек. Я его близко не знаю». Резче того: «Пушкин казался ему непомерным выскочкой, временщиком поэтов».

Та же «декабристская» пристрастность взгляда, да, скажу, и — холодность к России, этому «мышьему государству», — подвинули Тынянова на ложный шаг: открыть книгу зло-памфлетным введением, совершенно ненатуральным, измышленным по схеме, и написанным залихватски, хлёстко, в жажде афористичности. Вся противороссийская традиция, какая была когда в прошлые века, — вся здесь. И — пафос автора, который никак не помогает убеждению читателя, удары по готовым штампованным клавишам. Вдруг: «с Лермонтова

идёт по слову и крови гнилостное брожение» — это столько углядел в Лермонтове изысканный литературовед и хочет поскорей, наспех внушить и читателю? От всего этого неудавшегося тыняновского политического предварения к роману такой неприятный удар — впору и вовсе бросить книгу на 3-й странице, я уж было заколебался.

А ведь Тынянов — *и не мог бы* без такого предварения обойтись. Тут сконцентрирована едкость его взгляда. К манере язвительного комментария он не раз ещё потом в романе возвращается. Местами это воспринимаешь как авторскую брезгливость и к материалу и к персонажам. И однажды обнажился ещё так (однако приписывая эту мысль Грибоедову): «И спал за звёздами далёкий, необычайно хитрый, император императоров, митрополит митрополитов — Бог. Он посылал болезни, поражения и победы, и в этом не было ни справедливости, ни разума».

В. Шкловский объяснял как-то: Тынянов ушёл в историческую беллетристику оттого, что «загородили пути науке». Не знаю, настолько ли уж загородили — по периоду Николая I да при декабристском подходе? — но ясно, что решение Тынянова было не органичным, не от прямой романической пружины. Его романы и выросли из его исторических и теоретических исследований. Преимущество специалиста — многознание (вот, например, познания в персидской поэзии на экзамене в школе восточных языков). Но тут есть и соблазн: выдавать и дальнейшие угадки, гипотезы — в одном слитном ряду с добротным фактическим материалом?

А всех-то его фактических знаний хватает на проход всего лишь политической корки событий. Нет высоты общего понимания российской истории (где нашла бы место и оценка всей нашей закавказской завоевательной авантюры). И — нет проникновения как бы в «спинной мозг» жизни.

Да, труд в эту книгу вложен огромный, особенно в персидском материале. Но недостаёт роману — эмоциональной рельефности. Всё время ощущаешь сухость пера и рациональность автора (оттого, что всё родилось в исследовательских пределах). Автором движет проработанная схема и почти нигде — порывистое чувство. Поэтому: запоем — не прочтёшь, нужно перемежая. А нет силы чувства — так и исторические сопоставления не вызывают мурашек. В романе нет жизненного пульса (или вялый), нет сердечного жара. Ни к кому из персонажей Тынянов, кажется, не испытывает — оттого и у нас не вызывает — сочувствия, живого соучастия: аналитик, а не романист. О Грузии ещё нашлись у него тёплые слова, о России — нет таких слов. Холодность автора — холодит и образ главного героя: переданы трудности, сложности жизни, а живая радость, а непритязательное чувство — никак не пробьётся. (Но раз, глава 2, подглавка 28¹, верно схвачено, что несчастье, неудача может принести освобождение: «Не испытывавшие большой неудачи вовсе не знают, как можно свободно и полно вздохнуть».)

Авторская манера: струнная напряжённость над каждой страницей, как если б он боялся оказаться ниже заданной формы. В этом — нервность. (Как у Белого?) Он хочет достичь афористичности (и несколько неплохих афоризмов есть, а есть и вздорные перлы) — но разве хватит такого на роман? Во фразах разнообразит синтаксис, порядок слов. Но совсем неудачно частит с местоимением «он» вместо «Грибоедов» — хочет достичь напряжённой значительности, а возникает просто грамматическая несообразность, путаница смысла, неряшливость, сбивающая чтение. На фоне этой нервно-напряжённой прозы, как будто предельно сжатой (таково невыполнимое желание автора), — редчайшие фразы в традиционном стиле ласкают слух приятным контрастом: после предложения Грибоедова Нине старые женщины «долго сидели на

¹ В дальнейшем первой цифрой также обозначены главы романа Тынянова, второй — подглавки указанных глав. (Примеч. ред.)

крыльце и говорили тихо, очень тихо, опустошённые и уставшие, словно это они опять выходили замуж».

В приёмах его есть находки. Например — висящие полу-ничьи мысли в косвенной форме (не как мысль отчётливого персонажа) — это хорошо. (Увы, они бывают у него и навязчиво разъяснительны, пережим как в главе 2/15 с Нессельроде.) — Ещё хорош приём коротких размыслительных подглавок, как интерлюдий, обычно это — переходные, от эпизода к эпизоду, мысли Грибоедова. Такие часто повторяются, и это хорошо. Иногда в этих подглавках звучит даже полумузыкальное оформление (6/1—4, 10/1). — Надо признать, Тынянов успешно ищет свежие формальные приёмы. В развитие их есть у него и череды кратчайших подглавочек, просто — фрагменты, хорошо. — Уловил и приём коротких абзацев:

«Но.

Но нужна дружба с русским.

И.

И нужно действовать».

Ещё хорошо: в авторской речи иногда использование выражений того времени. Но — редко, больше бы.

А случайный въезд Грибоедова в Тегеран на вороном коне подобно убийце имама Хуссейна как толчок к расправе толпы — не сработал в рельефе, хотя и подан разрядкой. Ждётся второго конца коромысла — и как будто нету его (8/9).

А вот «пёстрые тексты» Тынянова, нанизывание в одну подглавку и подряд самых разнообразных фраз-абзацев, совсем о разных людях, событиях и даже в разных городах, только совпадая по времени, — кажутся мне неудачным винегретом. Пореже и поменьше — может быть сошло бы, а здесь — перебор такого (например 4/17, 5/24, 13/1).

Также малоуклюжи и короткие вставки петербургских фрагментов в грузинскую, в персидские главы: диссонируют с избранным построением книги.

Так же, считаю, полная неудача с эпитафиями: впечатление, что они поставлены по случайному выбору. А эпитафии из «Слова о полку» Тынянов усиленно вытягивает на значительность, ещё — и разрабатывает их в ходе главы (например 2/40) — это, по-моему, тоже перебор.

История кавказской политики как лекция (4/11) — не смею критиковать, поскольку сам обзорными главами пользуюсь ещё куда шире. — И форма дневника (доктора Абелунга, 5/2) хороша как приём для освежения (но — перебрана по содержанию).

А карикатуры — и никакого романа не красят, Тынянов же ими злоупотребляет едва ли не с развязностью: о тифлисских чиновниках (3/11), бал после эриванской победы, зло и невесело (4/15), бал для персидского принца, нагнетание иронии (13/15), а более всего — главы с Николаем I. Да кто этим не грешил? и Толстой в «Хаджи-Мурате». Сложился штамп, и все ему служат, не вникая.

На первой аудиенции у царя всё задвинуто придворным ритуалом и ничего человеческого. Может быть такого и не следует ждать, но зачем же — одна карикатура: «известный лик с подпирающим воротником, с тупеём» причёски, «улыбнулся подбородком: большой подбородок осел книзу», да два ничтожных вопроса. Плоско и зло. — На второй. Опять «известное лицо». Явно ложно изображает решительный, смелый характер Николая I: «важность голоса он вырабатывал с трудом в течение двух лет и боялся сомнения в себе», поэтому «полюбил внезапные решения, которых сам немного пугался», «обращение его было не мужское». Всё это натужная выдумка. И к ней добавлен выпад, вздорный для знающего историка: будто Николай «отвоевал престол и сидел на нём при живом законном наследнике». Тут же Тынянов вставляет свою зудящую тему: именно тут, при Грибоедове, Николай отказывает Пушкину в возврате

офицерского звания. (Или такой был урок от императора?) И в других местах книги рассыпаны злые и плоские остроуты о Николае.

Ничтожество Нессельроде исторически несомненно, тут бы Тынянову и карты в руки, но он даёт опять бесплотность, и карикатурную. От этого — истинное ничтожество не показано, заменено неправдоподобной глуповатостью. Неужели даже «не говорил по-русски»? «Еврейский нос дунул и немецкие губы сказали по-французски», «карлик», «печёная рожа». И следующие с ним сцены с большими переборами. Столь долго держась на своём посту, не мог Нессельроде быть таким безвольным. Сильно тут переиграно и пережато.

Рядом с ним мининдельский грек Родофиникин — гораздо живей и смыслённей, и неспроста едва не утянул к себе закавказский проект.

Совсем неожиданно для читателя — и может быть удачно — разработан Фаддей Булгарин — вполне жизненный, отходит от известного злодейского образа. Да ведь что-то и надо было Тынянову искать, раз Грибоедов даже дружил с Булгариным, хоть и поверхностно. Этот живой Булгарин искренно восхищается Грибоедовым, при нём никого других не видит, ревнует — и напротив без ревности даёт ему попользоваться своей сожительницей. Именно ему поручает Грибоедов хранение и возможное продвижение рукописи «Горе от ума». И при встрече с Родофиникиным в Летнем саду мы видим, что Булгарин верен Грибоедову. И вдруг, как спохватясь в политических соображениях, Тынянов даёт Булгарина в конце совсем уже другим: равнодушным к смерти Грибоедова, полуфальшивые слёзы и эгоистические мысли. Не увязано. Почему-то с большим опозданием (10/3) и не весьма кстати вставлены сведения о биографии Фаддея: в 1812 году, будучи русским офицером, он «предался французам, сражался против русских войск», потом попал в плен к своим — и, видимо, это обошлось ему безо всяких последствий.

Но — очень хорош, удался непреклонный генерал Ермолов. Сцена с ним, да наверно и нацело сочинённая (была ли такая встреча в 1828 в Москве?), — опять-таки одна из лучших в книге, глава 1/3.

Да и Чаадаев (1/5) вероятно соответствует жизни? Мы его мыслим совсем отвлечённо, а тут он — зримый, многогранный (и не без корысти). И Грибоедов спорит с ним хорошо.

Также мало известен нашему веку Сенковский. Обрисован очень неожиданно (2/8, 9) и, если верно с историей, то весьма ценно.

Однако что касается общей композиции романа и отбора материала, то здесь у Тынянова много неудач.

Рамки романа выбраны метко: от уже подписанного Туркманчайского мира до гибели Грибоедова. Узость интервала при многих драматических событиях давала возможность сделать роман плотным и динамичным. Однако этого не случилось. Действие течёт вяло, отвлекаясь на многое постороннее, иногда и на вовсе ненужное, роман размазан второстепенностями.

Ещё, мне кажется, Тынянов допустил такую ошибку: чтоб избежать дидактичности — рациональным расчётом равномерно разложил детали по всему объёму романа, дабы они потом у читателя сами сложились в стройное объяснение. Но многие детали — запоздали, образы складываются слишком медленно. Без того чтоб автору отдаться непосредственным толчкам сердца, без сплавления непринуждённым жаром — получается слишком разумная схема.

Драматичность действия начинает уплотняться с Тебриза, потом большое разводнение в персидском материале, а полная трагичность — только в последние два роковых дня в Тегеране: два дня «лишней задержки» отъезда. Очень уж длинный к ним путь. Роман разворачивается по рассудку.

Главы о Персии — как будто отдельный, совсем другой роман, настолько разительно сменился материал. Но конечно, должен же понять читатель и обстановку той страны. Тут-то и пригоживается боольшая эрудиция автора. Колорит достигается через множество персидских терминов, частью неразъяснённых

(очень утомляют), плохо-различимых нами тройных имён, эпизодами и эпизодами быта — но это сильно расслабляет сюжет. Вынужден автор? или это всё-таки избыточно? — разрабатывать и тему евнушества. Безусловно ярка одна сцена: на Монетном дворе у Аббаса, в полутьме и молчании переплавка канделябров и других ценностей для уплаты репараций. Не так легко было нарисовать картину разгневанной мусульманской толпы; более или менее удалась (11/5).

По всему объёму романа раскиданы в немалом числе совсем лишние или полулишние сцены, которые никак не служат движению замысла, а иногда — лишь демонстрируют историко-этнографическую эрудицию автора. Немало рыхлых мест, пустот, безынтересностей со слугою Сашкой — только в самом конце книги запоздало осмысливаются. Перебраны, переиграны глупые шутки Сашки (как он читает Булгарина «царям», 4/10, — ну куда это!).

Много натаскано в книгу залётных фрагментов, эпизодиков, анекдотов, — это разрушает несомненный замысел и приступы автора писать сжатой, чеканной прозой. То вдруг сорвётся диссонансно — на вставке про XX век.

Вся глава 3 (путь на Юг) с дорожными эпизодами, лишними да и составленными искусственно, могла бы оживиться, если бы осветилась чувством родины, России, — но этого никак нет. — В главе 4 утомительно размазано родство семьи Чавчавадзе (во всей этой тифлисской главе повествование вяло опадает). В главе 5 тоже есть совсем излишние подглавки: излияния генерала Сипягина, да почти и вся поездка к Паскевичу, и две обзорных подглавки о нём (и всё — для темы декабристов). А эпизод с чумой, проникшей в войска от цыган, — это ведь уже совсем другая тема, турецкая война, зачем она сюда? Совсем уже избыточен и неостроумен балаган с карантинной пирушкой у Грибоедова. Ну и особенно лишняя — да когда? уже после смерти Грибоедова — дурацкая история между двумя приятелями вокруг портрета персидского принца (12/16), совсем и вообразить нельзя: зачем Тынянов тут её воткнул?

Русская тема затронута главным образом в форме критики и отвержения самодержавной государственности. В остальном — её вовсе нет в книге, а в случайных касаниях — отчуждённость и холодность. (И это — в книге о Грибоедове, столь чутком к русскому народному!) Чего стоит одно: у проходящих русских мужиков «были одинаковые лица» (1/2, и мысль приписывается Грибоедову) — неразличение, типичное во всякой новой обстановке для новичка, для чужестранца. Или: «нелюбопытный разговор простолудинов» (3/2), заведомо. И в гуляньи на Адмиралтейском бульваре (2/20) престопадобье представлено подчёркнуто глупым. И на долгой протяжённости его бессмыслие демонстрируется нам слугою Сашкой. Лик простых людей оживляется лишь в солдатской палатке (сцена как бы и не тыняновского пера) — да всё оттого, что присутствуют разжалованные декабристы?

Но тут вносится важная и неисследованная тема: о дезертирстве обиженных или жаждущих воли русских солдат — в другие страны, вот — в Персию. (Да судьба ли этих несчастных солдат волнует автора, или возможность жёлчного укора императорской России?) О беглом вахмистре Самсоне, «новом Стеньке», Грибоедов угрожающе предупреждён прямым письмом от него самого: условиям о возврате по Туркманчайскому договору — не подчинюсь! Быт этих дезертиров в Персии — поражает, и требовал бы ещё более глубокой разработки. Сперва эта тема лежит как бы в стороне, как и другие глобальные эпизоды в книге; потом она грозно выдвигается в той ошеломительной сцене вызывающего парада дезертиров мимо российского посольства. И вскоре за тем — именно вахмистр Самсон становится рычагом, опрокидывающим судьбу и жизнь Грибоедова.

— Несколько выражений:

«Тоска беззащитных городов сильнее всякой другой тоски на земле». (Ощущение горожанина.)

«Молодецки отслуженный молебен». (Хлёстко, но не справедливо.)

«Журналисты, сволочь мира сего, живущие за счёт дымящихся внутренностей». (Приписано Грибоедову. Зло, но очень метко.)

«Нина заплакала беззвучно... она засмеялась» (при выслушанном предложении; хорошо). И вскоре: «Грибоедов повис у Нины на губах» (плохо).

«Только эти звуки и были прохладны» (хорошо) — «Толстые ноги солдатики были прохладны, как Эльбрус» (и это — вовсе и не коснувшись их; плохо).

Л. Гинзбург записала в дневнике о «Вазир-Мухтаре»: «Удивительный образец какой-то мелкой гениальности. Роман скорее истерический, чем исторический. Неумение видеть и понимать людей».

Большой удачей не назовёшь, да. А ведь это — *нужный* роман, он лежит на магистральной дороге русской литературы и как бы сам просился быть написанным. И хорошо, что Тынянов взялся, а то б и никто не написал, это — конечно обогащение русского романа.

Только что уж за выбор? — по эпохе уже оторвавшись от советскости — утвердиться ещё и ещё одним из толмачей безнадёжно мрачного освещения русского XIX века?



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



СЮЖЕТЫ ТРЕВОГИ

Маканин под знаком «новой жестокости»

...раздражает телевидение — рассказы об убийствах, расчлененки в подъездах, закопанные в мусорных баках младенцы... бесчисленные алкоголики, сгоревшие в квартирном пожаре...

«**Р**аздражает» все это сверхчувствительного персонажа повести «Долог наш путь», которую Маканин открыл 90-е годы: Илья Иванович (антипод толстовского Ивана Ильича — того проняла лишь собственная смерть), не выдержав череды подобных заурядных впечатлений, истаивает и гибнет в психиатрической больнице...

Трудней всего писателю — если он серьезен. По роду деятельности он обязан быть не менее отзывчивым, чем такой патологический сострадатель, но, тут же, предельно стойким перед лицом неизменного (или нарастающего?) гнета жизни; ведь акт творчества — даже когда и не приводит к катарсису — это всегда «сублимация», возгонка любого ужаса в слово и образ, предполагающая в определенные моменты чуть ли не циническое хладнокровие.

Вдобавок для прозаиков, достигших зрелости полутора-двумя десятилетиями раньше, переход в новое российское время психологически близок к эмиграционному шоку; попадание в зону игры без правил, именуемую свободой, сходно с попаданием за бугор: «Сплошь и рядом, выдернув ногу из вязкой глины, ты опускаешь ее на зыбучий песок» (как удачно сказано А. Найманом по поводу географической эмиграции).

Пережил ли Маканин этот шок без потерь, станет яснее, когда мы прочтем новый его большой роман (мне известно о его существовании, но не о содержании); а пока он опубликовал в журналах 90-х годов цепочку повестей и рассказов, порой донельзя странных, порой и не претендующих на удачу, иногда же — пронзительно впечатляющих, но во всех случаях — не тех, что прежде. Под тремя обширными композициями, помеченными 1987 годом, — это «Один и одна» (недооцененный маканинский шедевр!), «Отставший» и «Утрата» — подведена черта; больше ни слова ни о «месте под солнцем», ни об уральских легендах, ни о барачной коммуне, ни о прагматиках, потеснивших увядающих идеалистов; другое время — другие песни. Примечательно, что Маканин, назвавший годы, когда слово «рынок» и шепотом не произносилось, а между тем покупалось и продавалось все — карьера и душа, жена и любовница, «мебельным временем», сейчас и звука не проронит о «поре мерседесов» или «поре пирамид»: он знает, что не эти колеры нынечекущего времени — главные.

Писатель Маканин — из породы вестников. Употребляю это слово не в специально мистическом смысле, какой находим в «Розе Мира» Даниила Андреева; просто хочу сказать, что очень рациональный во всем, что касается «текстостроительства», Маканин, однако, первоначальный импульс улавливает из воздуха, из атмосферической ситуации, сгущающейся у него в галлюцина-

торно-яркую картинку, картинку-зерно. Остальное — результат почти математической изобретательности; но «картинка»-то является ему сама, не спросившись. И в этом отношении умница Маканин — один из самых иррациональных, почти пифических истолкователей своего времени, медиум его токов. Может быть, о его переходных вещах истекающего десятилетия как о художественном факте говорить преждевременно: не все тут четко, ниточки спутаны, а кое-где и оборваны, — но спонтанное известие, которое сюда вложено, грех не расслышать сегодня же, независимо от того, какое место займет завтра «Лаз» или «Сюжет усреднения» в литературной биографии их автора.

Если бы нужно было одним словом, одним знаком описать то, что открылось Маканину в новом состоянии жизни, я бы сказала: оползень. И пусть сам Маканин этим словом не воспользовался (нет, все-таки оно у него звучит — кажется, еще в «Утрате») — все равно, читая его, слышишь неостановимое сползание слоев жизнеобеспечения, пластов культуры в какую-то бездонную расщелину. В одном из рассказов цикла «сюр» говорится: лавина («предотвратить лавину...»). Но «лавины» — это, так сказать, бурный финал оползня, до нее дело не дошло, пока ползет неприметно, легким шевелением — как суживался лаз, в который предстояло ввинтиться бедняге Ключареву.

Там, где другие увидели революционный разлом, внезапный обвал старой жизни (плохой, но предсказуемой), Маканин обнаружил одну из многих фаз векового подземного процесса, чья кульминация, должно быть, еще впереди.

Конец 80-х и начало 90-х годов ознаменовались у нас литературными презентациями антиутопий. Сначала были прочитаны или перечитаны классические — не втихомолку, как прежде, а растиражированные ведущими журналами. Потом — написаны свои, опрокинутые как в проклятое прошлое, так и в рисующееся неутешительным будущее: «Записки экстремиста» А. Курчаткина, «Невозвращенец» А. Кабакова, «Новые робинзоны» Л. Петрушевской, «Омон Ра» В. Пелевина. Маканинский «Лаз» (1991) как будто сам собой встраивается в эту компанию; даже шел спор о сюжетных приоритетах, о сравнительных достоинствах параллельных сочинений. (Ясно, что Петрушевская дает никак не менее высокий литературный образец, нежели Маканин, но не в том дело.) А между тем посыл «Лаз» отличен от всего, что можно прочесть у рядом стоящих авторов.

У «соседей» Маканина бедствия, составляющие основу любого антиутопического сюжета, происходят от давления системы, вооруженной ложной идеей, или от ее катастрофического развала. Это наша вчерашняя система («тоталитарная»), и это наш сегодняшний ее развал. Человек задавлен бездушным монолитом, засыпан его обломками — в обоих случаях с ним приключилось некое (знакомое по опыту) событие социально-системного свойства. Ничего похожего в «Лазе» вы не найдете.

Погруженный в сумерки угрюмый город (наша Москва?) и райски-светлый подземный град, где так не хватает кислорода (она же?), не могли бы отторгнуться друг от друга в результате какого-то достопамятного политического катаклизма. Это медленное-медленное, из глубины времени идущее расползание по шву некогда единого народного тела. И это, конечно, философская аллегория, хоть и выполненная на уровне физической осязательности, наоборотно подобная той, какую найдем в «Машине времени» Герберта Уэллса.

Не знаю, точно ли припоминал Маканин Уэллса, но он его окликнул. Там — беззаботно-изнеженные элои в наземных хоромах и каннибалы-морлоки в мрачных подземельях: биологический предел классового раскола общества, как виделось в преддверии нашего века английскому фантасту (еще не задумавшемуся тогда над усреднением, которое уничтожило классы в привычном смысле). Здесь — безнадзорная, бесструктурная, безуправная толпа на одичавшей и оскудевшей поверхности, — а под «высоким небом потолков», залитый сиянием великолепных светильников, подземный оазис цивилизации, где просвещенные люди слушают стихи и спорят о смысле жизни. Вот ответ

конца XX века его началу: элои и морлоки поменялись местами; жизнь духа вытеснена под землю, где искусственный свет и удушье делают ее иллюзорной и обреченной, а масса (быть может, спасаясь от нее, и перебрались в свои как-токомбы все эти светочи мысли) обезумела наверху, лишившись идейной за-кваски и какого бы то ни было целеполагания. Словоно все тот же о пол-зе н ь, надвигается на улицы и площади наземного города вечерняя мгла, все смеркается и смеркается («наземные» сцены «Лаза» сплошь пронизаны напо-минаниями о раз за разом сгущающихся сумерках), и никак не наступит ночь — уж лучше бы наступила: в эсхатологии, во встрече конца времен есть свое утешение и освобождение! Словоно все та же лавина, накатывает толпа: «набегут и затопчут». Она катится невесть откуда и невесть зачем: «В совер-шеннейшей тишине откуда-то издали... возникает в воздухе шероховато плы-вущий звук. Этот звук ни с чем не сравним (хотя и принято сравнивать его со звуком набегающих волн, но схожести мало...). Звук особый. Звуки ударные и звуки вращающиеся, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издалека: толпа. Шарканье тысяч ног с каждой ми-нутой приближается... Топот тысяч и тысяч ног заполняет, забивает уши... На них набегают... Толпа густеет, их начинает сминать, тащить... Лицо в лицо жаркое дыхание людей. Затмило. Вокруг головы, плечи, пиджаки... Рев и гул вокруг». (Случайно — и почти безвыходно — влившись в такую толпу на Са-довом кольце в один из дней «прощания со Сталиным», я могу засвидетель-ствовать, насколько безупречно у Маканина описание того, чего, возможно, он никогда не видел и не испытал.)

Как — литературно — отреагировал Маканин на наши политические бури конца 80-х — начала 90-х? Рельефней всего — «сюрреалистическим» рассказом «Нешумные» (одна из тех мучительных «картинок», прямо-таки «глуковок», что, подобно образу набегающей толпы, не выдумываются, а приходят сами). «„Голосовать! Голосовать!“ — требует зал, накаляясь... и вновь к линейно светяще-му сверху табло с цифрами прикованы взгляды всех (и вытянутые шеи всех)». Политический азарт как бы сообща движет историю, создает види-мость деяния. Но это обманчиво. Судьбы людские, наши судьбы, решаются не на светящемся табло, к телевизионному двойнику которого столько раз были прикованы глаза каждого из нас, — они решаются по чьей-то (но чьей?) указ-ке некими затрапезными «лемурами» (вспомнился финал «Фауста»), мастерами смерти, которые беззлбно и деловито отбирают из политического стада, изо-лируют, умерщвляют и расчлняют намеченную жертву. (Расчлняют, чтобы свежие органы не достались медикам, уточняет автор, демонстрируя свою окончательную безжалостность к читателю.) Ясно, что тут исключен намек на «коридоры власти», где якобы вершатся главные, подковверные события поли-тической истории, или на мафию, которая «бессмертна». Рассказ не без вызо-ва повернут спиной к политической конкретике и лицом обращен к метафи-зике жизни, суть коей, видимо, в том, что не мы ее, этой жизни, хозяева. Во всяком случае — не толпа, которой стало чудиться, что она у руля.

Впрочем, Маканина как раз занимает произвольное «творчество» толпы, современной толпы, — и он пытается на сей счет объяснить в пространном эссе «Квази» (1993). Что писатель прочитал Френсиса Фукуяму с его «концом истории» и Ортегу-и-Гасета с его «восстанием масс» — это само собой. Что вслед за ними или независимо-параллельно разглядел в нашем столетии «повсеместное шествие срединности» — тоже не ново (еще Леонтьев...). За несамочевидную и точную мысль: «Обилие кумиров — вот главная примета при-хода масс в XX веке», — спасибо, она зывает к развитию. А вот то, с какой уверенностью выводит его рука: «...эти свершения срединного человека, эти ужасающие нас тоталитарные режимы XX века...» — заставляет вздрогнуть. Не то чтобы до него никто не писал об «обыденности», посредственности тотали-тарного зла (писали многие, от Ханны Арендт до Генриха Бёлля и Станислава Лема), не то чтобы никто не отмечал поддержки тоталитаризма обывательской массой (куча социологических исследований; есть даже формула, обещающая

снова стать актуальной: «плебисцитарный тоталитаризм», — поклон Белоруссии). Но у Маканина бьет по нервам однозначная жесткая связь между причиной и следствием, связь, в которой он ни секунды не сомневается¹. Раз причина никуда не делась (а куда она денется, «усредненная» масса?), то и следствие... Следствие, то есть те самые «режимы XX века», «были не тупиками, а попытками»: *«попытку повторяют»*. Напророчил. А в самом деле, если задействована «пошлость», если — «заурядность», пусть и нелюдски жестокие, то как можно рассчитывать на их эпизодическую исключительность? Ведь они — по определению — скорее установившееся общее правило.

И далее следуют слова, удивляющие решимостью на отчаяние (у нас обычно на такое не отваживаются лица, имеющие «паблисити» и тем самым как бы обязавшиеся внушать людям надежду): «Тихая радость, что мы как-никак смертны и что, слава богу, увидим не всю новизну очередного века, — вот что венчает чувства человека, заканчивающего жизнь на естественном изломе тысячелетия».

Впрочем, Маканин — художник, и «картинки» у него всегда страшнее самых страшных слов. В «Квази» (название от «квазирелигий» — того, что придумали усреднившиеся массы взамен религий мировых; мысль тоже давняя), — так вот, в «Квази» есть и картинки. «...весь XX век — это наше утро! — возглашают массы; и, пожалуйста, — картинка под тем же заглавием: «Наше утро». Жуткий очерк из жизни общежитской лимиты, написанный со знакомым маканинским блеском и удвоенной против прежнего бестрепетной откровенностью. Хозяин этого скопища людей — пьяный колченогий монстр Стрекалов, бывший охранник. Вместо утренней зарядки — как бы это поаккуратней сказать? — сексуальная эксплуатация лимитчиц (потрудилось-таки тут маканинское деловитое перо, запоминается!). «Стрекалов — не аллегория, живой человек», — предупреждает автор. Конечно, живой человек, живая сценка, нынешняя, — так сказать, тоталитаризм в одной отдельно взятой общаге. Но если спроецировать на «всю новизну очередного века», то выйдет, что и аллегория. Если таково утро, то каков же день?

«...может быть, не слишком прицельны (и, в сущности, предварительны) были... усилия наших пророков, Замятина, скажем, и Оруэлла, которые при всей своей прямолинейной прозорливости и мощи никак не успевали предположить, что и без усилий системы люди могут хотеть усредняться, растворяться, прятаться в массе — и тем быть счастливы. Замятин и Оруэлл видели в наступавшем повсюду жестком усреднении обман массы», — пишет в «Сюжете усреднения» (1992) Маканин, сознательно, как видим, противопоставляя знаменитым антиутопиям собственный прицел.

Все губительное для героя повести «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» расправляется с ним именно что «без усилий системы». Боюсь, что прозаик получил Букера за эту вещь² как раз потому, что жюри было уверено в обратном: «власть стола» наводила на мысль о проглядывающем тут сходстве с метафизической бюрократией романов Кафки, а испытанное нами недавнее всесилие «троек» и «треугольников» поворачивало взор опять же в сторону рухнувшего «административно-командного» режима. Между тем «стол» у Маканина — не символ организации масс, системной узды и направляющей воли, а напротив — знак их, масс, бесструктурности, случайного рокового уплотнения, что-то вроде завалинки, где ведь тоже рушатся репутации, со всеми тягостными последствиями. Восседающая за «спросным» столом «комиссия» — это толпа, персонифицированная в усредненных типах

¹ Встречный процесс «восстания масс» и «осеменения» их тотальными идеологиями несколько иначе описан Р. А. Гальцевой и мною в одной из глав работы «Summa ideologiae», вышедшей под грифом «для служебного пользования» более десяти лет назад, а сейчас как будто готовящейся к печати.

² Я дала бы премию все-таки за «Лаз». Надеюсь, это признание не будет понято как номинирский выпад против «Знамени», напечатавшего «букеровскую» вещь; здесь мое личное, чисто художественное предпочтение.

(«социально яростный», «седая в очках», «молодые волки», «вернувшийся» и т. д.); людей «стола» ничего не объединяет, кроме доставшейся им жертвы: судьбы, подноготная, интересы — все у них врозь. Это при режиме — подвалы, где пытали, психушки, где травили. Теперь иная мука, суть которой сформулирована в другой маканинской вещи: считывание толпой кода личности. И это тоже смертельно — как убить человека «коллективно и под коллективную ответственность», по принципу «пятерок» Нечаева.

Автор «Стола с графином» то и дело напоминает, что речь идет не о прошлом, а о долговременно актуальном: и «партиец» у него «бывший», начавший терять влияние еще в брежневскую (то есть *позапрошлую*) эпоху; и «честный, но групповой» интеллигент (знаем таких) — именно в наше время вернулся после опалы. Не менее важно, что за «столом» представлены все слои, прослойки и поколения, даже и с некоторым этническим разнообразием. Это не образ государственного «слова и дела» (скорее так, наугад, отбирают присяжных, но этих, разгулявшихся, забыли подвести к высокой присяге); это модель массового общества как такового, горизонтального социума, вбирающего в свою компетенцию всё и уловляющего душу. Тоска по иному измерению жизни, которое принесло бы избавление от социальной облаты, только угадывается, не осознаваясь, — слова о том, что суд небесный подменен теперь судом земным, сами по себе труднооспоримые, слишком декларативны, чтобы брать их всерьез. Но, может быть, потому так правдива ночная маета героя — с завариванием валерианового корня, босоногим шлепаньем по коридору, меряньем давления и подсчетом ударов пульса, стыдом перед близкими, обманчивой бодростью под утро и физической катастрофой под конец. Будто все наши фобии, беспричинные страхи, дурные предчувствия, метания в поисках защиты от неведомых угроз сгустились внутри некрепкой телесной оболочки этого маканинского персонажа. Как понятна, как близка его безымянная тревога, сколько личного опыта, должно быть, вложено в ее почти медицинскую фиксацию!

Самое время вспомнить ведущих, «авторских» героев Маканина, ибо они имеют прямое отношение к вопросу о толпе. Этих лиц, уже десятилетиями привлекаемых Маканиным к работе, двое: скромный сотрудник технического НИИ Ключарев и скромный литератор Игорь Петрович. Повествовательные их роли разнятся. Ключарев — персонаж действующий, центральный субъект сюжетных перипетий и психологических перепадов; это он когда-то, робея, смущаемый совестью, протискивался к «месту под солнцем», это он в новых обстоятельствах ищет душевного приюта под искусственными солнцами интеллигентного андерграунда или укрытия в персонально-семейной норе, это ему лезет в душу застольное судилище. Игорь Петрович — не действователь, а собиратель жизненного материала, дабы обратить его в литературную летопись, так сказать, исследователь чужих жизней; его мы встречаем в «Портрете и вокруг», в «Одном и одной», где его роль особенно велика, а теперь вот — с несколько неожиданной стороны — в «Сюжете усреднения». Две эти курсивом выделенные личности, от сознания и взгляда которых так или иначе зависит то, что предложено к прочтению, — на какое место поставлены они среди множества других человеческих особей?

Очевидно, что романтическое противостояние «личность — толпа», тем более «художник — толпа», совершенно не в духе Маканина. Но не будем топиться и с выводом о заурядности лиц, обеспечивающих повествование. У них есть некоторые привилегии или по крайней мере некий промежуточный статус.

Ключарев, видимо, интеллигент в первом поколении, вынужденный полагаться на свою житейскую сноровку и бытовую умелость, прикованный жизнью к поверхности земли, но пытающийся ввинтиться в люк, открытый в другую жизнь, углубиться (и это когда «глубина духовной жизни невозвратно утрачена» — «Квази»); дерзающий укрыть от Аргуса-коллектива

что-то свое. Осуществляя в «Лазе» челночные рейсы между руинированным городом и его рафинированным подпольем, прихватывая из-под земли вещи сугубо материальные, нужные в примитивном обустройстве, он заодно на минуту приобщается там к материям невещественным, духовно питательным, и эту атмосферу «высших запросов» ощущает как родную себе. Иными словами, он — связной. Связной между толпой, занятой таким же унылым, бесцельным приспособлением к жизни, и той глубиной, которая раньше эту жизнь питала. Один из толпы, но не весь — ее.

Игорь Петрович — еще более тонкая штука. Татьяна Касаткина в статье «В поисках утраченной реальности» (предыдущий номер нашего журнала), анализируя позицию этого маканинского повествователя, приходит к выводу, что персонажи, чьи «досье» он собирает, с кем беседует, о ком вызнает то да се, кому, наконец, помогает, — не более чем плоды его воображения: он возвышается над ними в качестве самоуправного творца, вертит ими как хочет, рядопологает равноправные версии их биографий, ни одну не метя как доподлинно реальную. Думается, если бы дело было так, Маканину незачем было бы передоверять повествование этому странному полудвойнику, претерпевающему, кстати, собственные жизненные казусы и невзгоды. (Ведь одиночество своих знакомцев — Одного и Одной — он то и дело примеряет на себя и, действительно, в рассказе «Там была пара...» оказывается столь же одиноким среди новой поросли, как те, «шестидесятники», — среди следующих за ними.) В общем, Маканин мог бы представить нам какие угодно жизнеописания, не прибегая к посреднику и предаваясь перебору воображаемых вариантов от собственного имени.

Все дело, однако, в том, что в лице литературного труженика Игоря Маканина осуществил достаточно новую, неопробованную версию взаимоотношений автора и его героев — версию, структурно соответствующую «эпохе масс». Изобретенный им повествователь отличен и от рассказчика (тот допускает лишь доступные ему ограниченные сведения), и от «объективной» авторской инстанции (когда автору ведомо все, как Господу Богу). Он знает о предмете изображения куда больше, чем это можно мотивировать его житейской ролью, но он над этим предметом не возвышается, он все время рядом с теми, кого живописует, он на сцене, а не за сценой, покорный общей суете, лишенный даже формальных преимуществ исключительности. (Быть может, какая-то предвосхищающая аналогия тут найдется в сложнейшей персоне Хроникера из «Бесов» Достоевского.)

«В толпе всё кто-нибудь поет», — сказано Блоком о новом положении творца в век омассовления. Игорь Петрович — один из толпы, но и отличный от нее, поскольку «поет». Опять-таки связной — между толпой и творческим началом, инородным ей. В «Сюжете усреднения» эта диспозиция обнажается вполне. Игорь Петрович стоит в очереди за постным маслом. Очередь — идеальная, почти идиллическая модель «усреднения»: терпеливое равенство, общая на всех справедливость, единодушная устремленность к результату и соборное разрешение склок. Игорь Петрович топчется и продвигается вместе со всеми, сообщая переживая заторы и приостановки в подаче продукта. Между тем он, подобно герою «Стола с графином», испытывает «страх обнаружения», страх своего расподобления с другими. Потому что, пока его тело, да и душа, вожделеющая дефицитного масла, живет в унисон с прочими частями составного тела очереди, его литературный интеллект предается размышлению и воображению — занятиям, за которыми его могут поймать как втершегося в доверие чужака. А ведь он — мысль этой очереди, он не витает в эмпиреях, не пренебрегает тем, что вокруг, он творит на подножном сырье, приподнимая ситуацию до обобщения и художества. Он обдумывает философический сюжет о том, как герой русской литературы, этот «скиталец», в прошлом веке стремился слиться с народной общностью («уехать на Кавказ», «жениться на крестьянке») и как в веке нынешнем у его наследников одна забота, обратная, — как-то отстоять свое «я» в гуще коллективного «мы». Игорь обозначает

для себя эту историческую кривую как подъем в гору и спуск с горы и в воображении переживает ее даже двигательно, так что одна моторика (в ползущей очереди) накладывается на другую — двойная жизнь. Ответвляется тут же и будущий сюжет «Кавказского пленного», верней, намек: горы, бивуак, армейская спайка.

Но гораздо ярче, чем философема (недодуманная, неохватная мысль о превращении общности в толпу — многовековым оползнем), вспыхивает «картинка». К очереди подходит слабоумный «убогий юноша», и бойкая деваха из здешних мест апеллирует к общему чувству справедливости: пропустите, видите, какой он! — парня гускают к прилавку. Наш чужак-соглядатай тут же, вслед удаляющимся из очереди юноше и его заступнице, дорисовывает то, что могло случиться после (притом переход от «жизни» к «вымыслу» в тексте «Сюжета усреднения» ничем не обозначен — как и в прочих сюжетах с Игорем Петровичем, где ему тоже поручено не только «собрание материала», но и «довоображение» его). На глазах рождается одна из новейших ярких маканинских новелл — жестокая, циничная, трогательная. И масло Игорем куплено, и дух втихомолку распотешен.

«Сюжет усреднения» — вещь почти лабораторная, с обширными пустошами теоретизирования, сочлененная на скорую руку. Но зато очерчена природа художественного акта в новых условиях — когда творец отождествляет себя с человеком массы и одновременно дистанцируется от него, озвучивает его голос и в то же время оберегает собственный неслиянный звук, тоскует по «тихой ноте общности» и сжимается в комок перед перспективой «усреднения». Встречает раздвоенной закатной жизнью утро толпы. Новелла с «убогим» венчает всю эту многосоставную, сборную вещь. Она в финале, в итоге. И это важно заметить. Потому что в прозе Маканина рядом с авторскими представителями — рядом с Ключаревым и Игорем Петровичем — выразительно обозначается еще одно переходящее из сюжета в сюжет лицо: юродивый, умственно отсталый, а вернее и точнее — умственно невинный. Трудно назвать сочинение «позднего» Маканина, где бы не присутствовало такое существо: и в «Отставшем» — золотоискатель Леша, и в повести «Долог наш путь» — наивная и стыдливая молодая коровница, чем-то переболевшая и остановившаяся в развитии, и в «Лазе» — сын Ключаревых, мужающий подросток с умом четырехлетнего ребенка, и вот здесь, в «Сюжете усреднения», — слабоумный, посланный дачницей-матерью за простейшими покупками (и даже мимоходом, в «Одном и одной», не упущен быть помянутым «тучный мальчик-дебил»).

«Будьте, как дети». Но это не дети, это большие дети, райски-невинные даже в моменты — бессознательного, сонного — совокупления. Они резко выделяются из толпы, не могут в ней раствориться, но и не ведают «страха обнаружения». Им и не нужно прятаться. Толпа сама расступается перед ними, беспрепятственно выпускает их из своих объятий. Даже от заседающих за пресловутым «столом» они «уходят по сути нераспрошенными». Те, за столом, все же «знают, что до Бога им далеко. И потому, суверенно боясь накликать беду на свои головы... отпускают несчастных с миром, оставляя убогих — у Бога: ему их оставляют, мол, это не наши...». Толпа чувствует: «убогие» несут в себе некую тайну — тайну свободы от мирового зла. И склоняет перед этой тайной голову, храня единственную, быть может, из народных традиций, утерянных по миновании той поры, когда народ был общностью...

«Новая жестокость» — нова ли она? Маканин — писатель с жестоким пером. Однако, когда я раздумывала над его прозой десять лет назад («Незнакомые знакомцы» — «Новый мир», 1986, № 8), я сопоставляла его способность рассказывать «недрогнувшим голосом о страшном» со знаньевцами, с Андреем Платоновым. То есть с прошлым. Впрочем, в том прошлом, в те десятилетия, тоже вышло на освещенную поверхность нечто, прежде прятавшееся в недрах человеческой психики, человеческой истории.

Увеличилась ли жестокость жизни, «отражаемая» и нашей нынешней литературой? Несмотря на все газетные и телевизионные репортажи, от которых действительно кровь стынет в жилах, думаю, что мера ее, жестокости, в историческом человечестве всегда одна и та же. (Недавно услышала от телеведущего: артист Геловани, незаменимый исполнитель киноролей Сталина, боялся, что его убьют, чтобы положить в мавзолей вместо начавшего портиться тела вождя! — и вполне могли бы. Чем не сюжет из минувшего для какой-нибудь мини-«Палисандрии»?) А все-таки что-то стонулось, поползло.

Можно, конечно, многое в новой жути приписать утвердившейся свободе высказываний, в том числе литературных. Изображение страшного, бесстыдного, отвратного, гибельного больше не наталкивается ни на какую внешнюю препону, будь то разновидность цензуры или моральный вкус читающего общества. Констатирую это в самой общей безоценочной форме, поскольку как читатель и критик очень неодинаково отношусь к различным сочинениям, принадлежащим к расширяющемуся ареалу ж е с т о к о п и с а н и я.

На рынке литературных кошмаров³ нетрудно обнаружить отдельные, так сказать, шопы, каждый со своим контингентом посетителей. Одно дело — бутафорские гиньолы В. Сорокина и Вик. Ерофеева, претендующие на филологичность и на чуть ли не моралистический вызов, а де-факто являющие тупое бесчувствие как производителя, так и предполагаемого потребителя. Иное дело — триллеры и мелодрамы с кровосмесительством, бойкой стрельбой, горами трупов, коих не жалко, и/или под конец — с одним каким-нибудь трупиком, выжимающим слезу: «Цепной щенок» А. Бородыни, «Мы можем всё» А. Черницкого, «Борисоглеб» М. Чулаки; им место под глянцевыми обложками, где они и были бы прочитаны с соответствующим настроением на нехитрый кайф, но печатают их солидные журналы, боясь «отстать». Еще иное дело — «мультипроза» (талантливая у Зуфара Гареева, куда менее талантливая, к сожалению, у щедро одаренного Валерия Попова — «Лучший из худших»), где заводные болванчики, ваньки-встаньки, слипаются и разлипаются, умирают и воскресают на потеху читателю, приглашаемого наплевать и на жизнь, и на смерть; это невинные наши комиксы, модернизация зазывной грубости балагана. Наконец, совсем, совсем другое дело — мучительная оголенность жизни в прозе Л. Петрушевской, рядом с которой и поставить некого: житье с содранной даже не кожей, а эпидермой, так что не трагедийная кровь течет, а выступает и сочится сукровица, понемногу, неостановимо. Это действительно образ сегодняшнего дня, и то, что еще вчера, ежась, именовали «чернухой», вполне заслужило старое название «реализм», с какими угодно довесками и оговорками. Однако и Петрушевская, это заметно, не только натывается на болезненное и шокирующее, но и настойчиво ищет его. Скажем, пишет рассказ о девушке-гермафродите — спору нет, пишет, являя такт, человеколюбивую поэзию и скорбь; а все же стремление и в этот угол заглянуть сопряжено с тем новым беспредельным любопытством, коего раньше себе не позволяли не из лицемерия, а из бессознательного уважения к жизненной норме.

Но литература, какая ни есть, не может в одиночку расплачиваться за эскалацию мрака; все-таки она и сигнальное устройство, не только возбудитель душевных сотрясений.

У Маканина в «Квази» есть рассказик с характерным названием «А жизнь между тем идет...» — другим страхом пугающий, нежели «Наше утро», где хозяйничает бытовой изверг Стрекалов. Смысл его едва мерцает. После утраты ребенка любящими супругами и полосы тихого гореванья муж внезапно соходит с ума, убивает жену. Но умом трогается и случайный свидетель этого жуткого происшествия (некто, ощущающий достойной сострадания жертвой прежде всего себя, попавшего в чужую беду как кур в ошип). Торопливо,

³ Коль введены у нас литературные премии «Братья Карамазовы» и «Три сестры», почему бы не учредить и премию «Бобок»?

хоть и не без маканинской приметливости, поведенная история — из тех, что рассказывают в очередях, в вагонах или в ожидалках районных поликлиник. В «Песнях восточных славян» Петрушевская такого рода побасенки искусно стилизовала и ввела в жанровый репертуар серьезной литературы. Но у Маканина тут, видимо, другая забота, недаром рассказ обрел место среди мыслительных упражнений вокруг проблемы массового человека.

Что же поразило автора «Квази», преподнесшего нам этот случай? Думаю, нынешняя безопорность психики. Человек не выдержал тяжкой потери; он пытался опереться на близкое существо — на жену, но понапрасну: та беспричинно раздражала его, усилия выжить вдвоем провалились в пустоту и кончились истреблением другой жизни. Психологически это еще объяснимо «по старинке», хотя уже знаменательно. Между тем долговременная неспособность справиться с шоком, выявившаяся у еще одного лица, на полтора часа втянутого в драму, — это нечто сегодняшнее. Ужас и горечь жизни были всегда. Но не всегда их встречали настолько разоружившись. Уместно будет диагностировать не рост Зла, а дефицит мужества, питаемого знанием Добра.

«Перед ним возникла металлическая дверь, открытая во внутренность храма, и у бедняги подогнулись колени от ужаса перед тем, что он увидел. Две седые старухи, полуголые, косматые, с отвислыми грудями и сосками длиною в палец, мерзостно возились среди пылающих жаровен. Над большой чашей они разрывали младенца, в неистовой тишине разрывали его руками... и пожирали куски, так что ломкие косточки хрустели у них на зубах и кровь стекла с иссохших губ».

Эти строки написаны еще не в конце тысячелетия, хотя уже после Первой мировой войны. При всей «живописности» безобразной сцены чувствуется, что это — пока! — аллегория (храм, старухи, отсылающие мысль куда-то к античному мойрам); современный писатель, даже не теряя из вида иносказание, представил бы нечто подобное как случай в соседней квартире... Прочитирован знаменитый сон Ганса Касторпа из «Волшебной горы» Томаса Манна. Герой, проходящий ряд фаз жизненного и философского воспитания, в сновидении уносится в прекрасную область «солнечных людей», на как бы перерожденный новой небывалой гармонией греческий архипелаг, где обитает племя, полное силы, грации, изящества и нравственного благородства. Но в подземном основании всех пленительных совершенств лежит, оказывается, предельное зло — истязание и убийство младенца. Заметим разницу между «Сном смешного человека» и этим видением — разницу, знаменующую сдвиг от девятнадцатого века к двадцатому. Достоевский еще верит, что Зло — это падение, привнесенное извне в прекрасно-невинную жизнь и низвергающее ее. У Т. Манна Зло образует под почву гармонической жизни, ее последнюю, постыдную тайну. Вот оно, начало разоружения, реставрация мифа об античном роке.

Свою повесть, написанную на пороге 90-х (речь о ней уже шла), Маканин назвал «Долог наш путь». Вероятно, он хотел этим сказать, что человечеству предстоит долгий-долгий путь избавления от зла. Но он или слукавил с нами, или обманул себя. Потому что, как и в сновидении из «Волшебной горы», речь у него идет о зле неустрашимом и, значит, поневоле терпимом, удобно запрятанном в подпочвенный пласт процветающего мира. Речь идет о находении модуса вивенди со злом, от чего избавлены только убогие и что отвергают только безумные.

Простая, наглядная фабула, просто рассказанная. Предположим, что лет через двести не будет войн, убийств, всяческого взаимоистребления людей. Но кровь все равно будет литься, хотя мы и отвыкнем от ее запаха. Тщательно засекреченные боины будут снабжать кровавым продуктом население, которое охотно даст себя обманывать рассказами об идеально синтезируемых животных белках, избавляющих род людской от убийства живых существ. Все будут

довольны. Молодой изобретатель, неосторожно проникший в тайну одной такой гигиенической супербойни, «узнавший зло», проглатывает новый опыт не поперхнувшись: делать-то нечего. Конечно, Маканин не обошелся умозрительной фабулой, одарил-таки нас и «картинкой». Командированный изобретатель, при исполнении обязанностей, прокручивает отснятый на пленку технологический процесс от конца к началу: приготовленные к употреблению бифштексы превращаются в куски разделанных туш, куски срстаются, одеваются шкурами, венчаются рогами, встают — и вот уже буренки щиплют траву, поглядывая с экрана своими кроткими глазами. Такое и Гансу Касторпу не приснится.

Это необременительное воскрешение забываемых и поядаемых Маканин без обиняков сравнивает с тем, что от века вершится искусством: «И Рафаэль занимался этим» — загадочный, но тут же получающий разгадку слоган на стене одного из тамошних помещений. Искусство замалевывает злую тайну бытия, наносит на лицо жизни грим, именуемый гармонией. Старое обвинение, которое бросали искусству все левые культур-идеологи на протяжении истекшего века. Но у Маканина оно звучит честней и весомей, потому что этим укором он не стремится обеспечить себе мандат на уничтожение художественных шедевров и сокрушение художественных форм; не анархист он и не разрушитель, ему самому страшно.

Но, Боже мой, что еще напомнила маканинская «картинка с бойни»?

И чудо в пустыне тогда совершилось:
 Минувшее в новой красе оживилось...

 И ветхие кости ослицы встают,
 И телом оделись, и рев издают...

Пародировается — невольно, но логично — уже не чудо искусства, а чудо возрождения, восстание из мертвых («И Пушкин занимался этим»). Раз воскресение иллюзорно — значит, зло неизбывно.

Сюжет из будущего, с законспирированными очагами убийства, вплетен — так сказать, на правах пробной реальности — в другой: о человеке, не выносящем картины чужих мучений, будь то даже случайно раздавленный машиной голубь. Те, кто отводит глаза от зла (как безмятежные поглотители мнимосинтетических отбивных), и те, чей взгляд гипнотически к нему прикован (как уже представленный выше Илья Иванович), — равно разоружены, хотя вторые привлекательнее первых. Илья Иванович пытается укрыться от вседушего зла в безгреховном оазисе, где невинность покупается слишком дорогой ценой, — в психиатрической больнице, «перепрофилированной из бывшего монастыря». Но, видно, смена профиля не пошла «хорошо огражденному заведению» на пользу: Илья Иванович умирает, побежденный внутренней тревогой.

Я не берусь объяснить, почему в прозе Маканина снова и снова тревожат земное чрево, откуда столько подкопов, прокопов, лазов, ям, каверн. Уральский ли это след, с мест горнодобычи? Может быть. Но у писателя этого ранга внешнее впечатление — лишь повод для пробуждения новых смыслов из глубины художественной психики.

Вспомним: вырастает в землю знахарь-«предтеча», вскрывают земные жилы легендарные артельщики из «Отставшего»; осуществляет достославно-бессмысленный подкоп под речное дно герой еще одной легенды, Пекалов, и в той же «Утрате» блуждает по подземному лабиринту, попадая в иное время и пространство, повествователь в своем посленаркозном визионерском бреду; Ключарев проникает вглубь к своим, «социально близким», сквозь все суживающийся лаз, до крови обдирая бока, а в «Столе с графином» — уносится воображением в пыточный подвал, в политическую преисподнюю. Всего и не перечислишь. Но эта преобладающая у Маканина вертикаль — в глубину,

вниз, в зону каких-то не освещаемых солнцем переходов и переборок — приковывает внимание.

Инна Соловьева в прекрасной статье «Натюрморт с книгой и зеркалом» (послесловии к сборнику «Повестей» Владимира Маканина — М., 1988) истолковала этот устойчивый мотив как знак «внезапной проницаемости мембран» между человеческими существованиями, увидела здесь «образ мира как системы сообщающихся сосудов», с «неизъяснимой возможностью переходов» в нем. Наблюдение это оспаривать не стану — разумеется, оно отвечает маканинскому миропредставлению. Однако «новый» Маканин побуждает заметить тут другую грань, прочесть с иным экзистенциальным оттенком вот эту, например, фразу, в которой речь идет о проникновении повествователя «Утраты» в область пекаловских подземных работ: «Я так наизвивался, что в темноте оставалось одно: копать, копать куда придется».

Думаю, значение таких экскурсий становится все более сейсмологическим; напомним о предложенном мною с самого начала образе «оползня» и — в подтверждение — об осыпях и завалах в пекаловском туннеле, о смещающихся пластах земли вокруг ключаревского лаза. Откуда-то из глубины, *de profundis*, доносятся необъяснимо беспokoящие вибрации, и писатель, наподобие Ключарева «извиваясь», протискивается им навстречу, чтобы выяснить источник тревоги. Где-то там роет свои ходы пресловутый крот истории. Она вершится не сверху вниз (как напрасно, выходит, полагали Замятин и Оруэлл), а снизу вверх, в виде протуберанцев, вырывающихся из бессознательной толщи толп. Путь постижения, расшифровки тревожных сигналов — это путь спуска; так — для писателя, какими бы побуждениями ни руководствовались его «землеройные» персонажи.

При чтении «нового» Маканина для меня неожиданным образом — как электризирующий проводник тревоги — повернулась еще одна, устойчиво типичная у него, особенность. А именно то, что в статье десятилетней давности я называла собиранием «досье», накоплением дополнительных «штришков», рассредоточенных по всему фронту повествования, — Соловьева же определяет как закон «возвратов-колебаний», когда Маканин переписывает ту или иную ситуацию в пределах одной вещи по нескольку раз, слегка меняя подробности и ракурс, то расширяя, то сжимая пересказ.

Говоря общо, «серийность» из изобразительного искусства, где она утвердилась достаточно давно, не могла не проникнуть в литературу — слишком проницаемы в XX веке границы между владениями разных муз; и Маканин здесь не единственный. Вопрос, разумеется, в наполнении «приема» (эксплуатировать его просто как новинку станет только с посредственностью). Можно, вслед за Соловьевой, нащупать здесь некий синдром навязчивых состояний, попадание вновь и вновь в разбереженную болевую точку; действительно, в вышеупомянутой главке-новелле из «Квази» потерпевший свидетель чужого несчастья все возвращается мыслью и словом к своему жуткому приключению, и возвраты эти воспроизведены в духе маканинской «серийности». Но это только частный случай и частное объяснение.

В «Кавказском пленном» (1994) этот знакомый прием редуцирован почти до неузнаваемости, но тем ярче выступает его обновленный смысл. Рассказ, в силу его темы и «объективной» формы повествования, был прочитан как хладнокровная вариация на классический лад, чуть ли не как «римейк» (помнится, рецензия П. Басинского так и называлась — «Игра в классики на чужой крови»). Между тем для начала бросается в глаза неклассическая графика текста: «Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо — она пугала», «...оба солдата... добираются до вырытой наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода...», «...наскоро слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут дальше», «И так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы». К чему бы это обилие скобок — там, где они, следуя грамматической логике, и не нужны вовсе? (Все примеры — на одной странице, далеко там не единственные, и

все страницы — таковы.) Да ведь в этом пунктуационно закреплённом жёстке — маканинский закон «возвратов-колебаний», повторный взгляд в одну и ту же точку: сначала словно бы безмятежно-вскользь, а потом — востро и востро, с зорким, подозрительным прищуром. Тревога заставляет вглядываться, а когда вглядываешься — становится еще тревожней. Это соответствует не только сюжету рассказа, это соответствует его философии.

Конечно, рассказ связан со всем «кавказским наследством» русской прозы, над которым Маканин думал еще в «Сюжете усреднения»: старослужащий в горах, рутинные стычки воюющих сторон, невзначай, но обильно проливаемая кровь, гордость горцев и соблазны Востока, — опираясь на литературу, Маканин обобщил ситуацию до того, как ее по-новому конкретизировала злосчастная чеченская кампания. Но прочитать «Кавказского пленного» все же следовало бы не в контексте Пушкина — Лермонтова — Толстого, а в контексте Маканина 90-х.

Человек массы — и Красота. Сохранил ли он к ней былую чувствительность, тот эстетизм, который отличал в (затянувшиеся для России) средние века обиход и простолоудина, и аристократа? Откликается ли на ее зов? Да, сохранил, да, откликается — как кто, конечно. Вовка-стрелок — тот равнодушен; чувство красоты замещено у него ощущением своей умелости, как говорят на Западе, «эффективности». Его снайперские развлечения с оружием хочется назвать изысканными, но тем грубее он в остальном. Не то Рубахин («рубаха», протест, натура более «почвенная»); он мучительно робеет и теряет перед непонятной, но очевидной для него силой. Он — реагирует, и реакция его, произвольная физиологическая, со стороны души — разрушительная: невыносимо нарастающая тревога. Возникает уверенность: прекрасный пленник должен быть убит — независимо от того, опасен он для двух русских солдат или нет, — потому что такую тревогу долго терпеть не с руки.

«...Как красота — ненужная в семье», «Ни есть, ни выпить, ни поцеловать», — недаром поэтами сказано такое в веке двадцатом. Красота — не примирительный елей, изливаемый на волнения мира, а назойливое напоминание об излишнем и ненужном для беспрепятственного «шестивия срединности»; раздражитель рядового человека, она выпускает на волю фурий. Этой тревогой, исходящей от красоты, резонирующей в рядовых мира сего и сторицей возвращаемой ими в повседневность, проникнуты в «Кавказском пленном» каждая бытовленная мелочь, каждый знак препинания. История, написанная на фоне светоносного горного ландшафта, вливается в русло «подземной» маканинской прозы с ее гнетущим инфракрасным излучением.

Один из ключиков к «Лазу», да и ко всей этой прозе — сцена подземельного опроса об отношении к будущему (разрядка в данном случае — Маканина). «Опрос до чрезвычайности прост. Если ты веришь в будущее своих полутемных улиц, ты берешь в учетном оконце билет и уносишь с собой. Если не веришь — билет возвращаешь. (Это очень зримо. Возвращенный билет бросают прямо на пол.)» Простим Маканину заимствование у Ивана Карамазова и посмотрим, что же «зримо» получилось. «Люди в кафе нет-нет и поглядывают, как растет холм возвращенных билетов. Холм уже высок... Один из комиссии... страстно кричит уходящим: «Опомнитесь!.. Будущее — это будущее!» ...Но они бросают и бросают свои листки, возвращают свои билеты. Холм уже в человеческий рост».

Неверие в будущее — вот диагноз болезни конца тысячелетия, диагноз, кажется, универсальный, хотя он будет не менее удручающим, если ограничиться лишь собственной страной. Нечего говорить, как тесно это связано с дефицитом мужества, уже обнаруженным нами. Человечеству, во всяком случае — российскому человечеству, как Геннадию Павловичу Голощекову из «Одного и одной», «тяжело уже жизнь жить», оно устало от крови и слез, не знает, чем искупить и оправдать их в этом треклятом будущем. «Лаз» опубликован в начале текущего десятилетия, сейчас оно близится к концу, и уже

можно сказать, что ни одно из «антиутопических» предсказаний не осуществилось с такой очевидностью, как это. Ужасы «Невозвращенца», оскудение «Новых робинзонов» — не сбылись или сбылись лишь отчасти, местами, с надеждой на исправление. Усталый отворот от будущего — это сбывается. Какие там инвестиции, если «тяжело жизнь жить», если сломлен дух.

Завершение тысячелетия, истечение миллениума — срок, рисующийся слегка мистическим и самому несуетерному сознанию. В конце первой тысячи лет по Р. Х. люди, европейцы, ожидали второго пришествия, конца времен (того самого: «времени уже больше не будет», — что обещано Апокалипсисом Иоанна Богослова). Медиевисты знают, как серьезны были эти ожидания, как определяли они коллективное поведение целых обществ, стран — подчас разрушительным образом. И однако же: то была вера в будущее — в «жизнь будущего века», простирающуюся за гранью исторического времени. Как свидетельствует исполненный тревоги русский писатель, сейчас от будущего не ждут даже того, что оно кончится, — даже эсхатологического финала.

Разумеется, диагноз Маканина — относителен, разумеется — неокончателен, как не окончена вся эта линия его новой прозы. Но Маканин из тех, кто первым берет след. И что он, зондируя иррациональный пласт коллективного умонастроения, верно считывает показания своего прибора — сомнению не подлежит. Сейчас газетчики много и охотно пишут о «технологиях XXI века», о «лекарствах XXI века», об Интернете, меняющем (действительно) на пороге XXI века глобальное межчеловеческое пространство, — а людские сердца тоскуют по прошлому, по «старым песням о главном». И не в том вся беда, что это взыскиваемое массой прошлое было у нас коммунистическим, — тут еще малая опасность; самая большая — потеря интереса к творчеству жизни, вялое пережевывание прошлого как готового и проверенного продукта — без порыва создать что-нибудь лучшее, сделать шаг к идеалу (своего рода постмодернизм толпы — пародийный «конец истории»).

Да не будет так!

Маканин чаще склонен внедряться в земную глубину и редко поднимает взгляд вверх — разве что припоминается плавная певучая линия, «где сходится небо с холмами». И все же есть — в самой мрачной его вещи — одна сцена, в которой чудится апология человека как существа, обращенного ввысь и питающегося надеждой. Это финал повести «Долог наш путь» — после деловитых кошмаров скотобойни и после кончины Ильи Ивановича в психушке.

Молодой изобретатель задумывает тайком покинуть упрятанный на безлюдной территории мясокомбинат — место своего заточения (ведь ему, постигшему секрет зла, заказан путь назад, к тем, кто пребывает в неведении). Он пробирается в ночную степь и зажигает там костер, чтобы подать о себе знак какому-нибудь пролетающему мимо вертолету. И вот, оказывается, такие же ночные костры жгут по соседству с нашим героем едва ли не все обитатели заклётого места: стар и млад, новички и ветераны, чернорабочие и начальники, простодушная коровница и идеолог убойного производства главный инженер «Батяня». У каждой живой души свой костерик, своя свеча, и все всматриваются в ночное небо в напрасном — а вдруг не напрасном? — ожидании легендарного вертолета, в надежде на спасителя, Спасителя.

Не торжество ли это поэзии (и правды) над жутким сюжетом существования? Может, и впрямь наш путь хоть и долог, но не пресекался.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ



НАЗНАЧАЮЩИЙ ЖЕСТ

1

К ак-то мне казалось, что полемика на эту тему — *полюблю новатора, брошу консерватора* — давно утонула, просто со временем сошла на нет. Но — удивительное рядом. Раскрываю номер нового питерского поэтического журнала «Невский альбом», собственно, один номер пока и вышел¹. Среди прочего (даже и любопытного) имеется рубрика «Полемика». Две статьи. Как принято говорить, программные. Одну написал поэт Юрий Колкер. Другую — поэт Александр Танков. Первая — в лучших полемических традициях — называется «Почему я ретроград»². Вторая — в тех же лучших традициях — «Почему я не ретроград». Под первым заголовком видим: «Читано 13 февраля 1995 года, в School of Slavonic and East European Studies, University of London, в качестве введения к стихам» (мол, знай наших...). Вторая — обозначена вызывающе-скромно: «15.06.95. Электричка Петербург — Оредеж» (а чихали мы на ваши европы...). Статьи Колкера и Танкова даны последовательно, одна за другой — как два энергичных монолога. С помощью ксерокса, ножниц и клея для удобства читателей (и просто из удовольствия искромсать чужой текст) превращу их в подобие не менее энергичного диалога.

Начинает Юрий Колкер:

«Русская поэзия переживает далеко не лучшие дни. Поэта или школы общенационального значения и звучания не видно в ее ландшафте... Доверие к поэтическому слову и внутреннее достоинство этого слова никогда не стояли так низко. Винаваты в этом, в первую очередь, сами пишущие, каковых — многие тысячи»...

Тут вступает Александр Танков. Саркастически:

«„Русская поэзия переживает не лучшие дни...” Вряд ли какие-нибудь слова произносятся чаще и легче этих. А какие дни были лучшими для поэзии? Годы после Октябрьской революции? Или время после ждановского постановления о журналах „Звезда” и „Ленинград”?.. А если говорить о многочисленности пишущих — то время, которое сегодня принято называть „серебряным веком”, не уступало нашему — какая гимназистка не писала тогда стихов! Сегодняшние гимназистки предпочитают рок-н-ролл. Да и „малодушная жажда сиюминутного признания” вряд ли более характерна для наших дней, чем для Древнего Рима...»

Снова продолжает Колкер. Хладнокровно:

¹ 1996, № 1. Главный редактор Б. В. Аверин. Тираж 500 экз.

² Каковую Юрий Колкер одновременно напечатал в журнале «Нева» (1996, № 7), что и было добросовестно отмечено в новомирской «Периодике» (1996, № 12).

«Откройте наугад дюжину книг современных поэтов. Простая статистика скажет вам: традиционные метры и рифмы восторжествовали. Обнажилась простая истина: *просодию, как и конституцию, нельзя сочинить или изобрести*. Она выявляется в ходе эволюции, в ходе жесткого естественного отбора, в поту и крови народной истории, — а революцию, переболев ею, отвергает...»

И снова вступает находчивый Танков:

«Открыв наугад дюжину книг, выпущенных (характерное слово!) в срок восьмом или пятидесятом году нашего столетия, мы вообще не увидели бы там ничего нетрадиционного... однако вряд ли кто-нибудь всерьез приведет такую статистику в подтверждение благотворности консервативной тенденции для русской поэзии. **Просодию, как и конституцию, тогда действительно не сочиняли и не изобретали:** ее диктовали сверху под страхом тюрьмы и смерти...»

Снова слово берет Юрий Колкер:

«Сегодня человек, берущийся за перо, знает, что первым делом он должен быть нов и оригинален. Погоня за оригинальностью превратилась в самоцель; похвалой стало безобразное словечко *новатор*, заимствованное из заводского лексикона первых пятилеток... Мы хорошо знаем, чем обернулся для России и мира авангардизм в политике. Будь мы последовательны, мы признали бы, что и авангардное искусство имеет ту же тоталитарную, бесчеловечную природу... Посмотрев на поэзию при свете совести³, мы не можем отрицать, что глобальный эксперимент со словом провалился совершенно так же, как эксперимент с властью народа. Хлебников и Маяковский — в кунсткамере литературы, в печальном паноптикуме, где-то рядом с двухголым ящером...»

И Колкер подсказывает выход: назвать вещи своими именами, признать, что король гол (да кто только об этом уже не кричал), и — сознательно взять на себя *аскезу традиционализма* (хорошее выражение — располагающее к себе, запоминающееся, что немаловажно). Далее идет собственно *credo*:

«Консервативная эстетика аскетична и обращена в будущее. Она отстраняет языческое божество, именуемое духом времени и сулящее сиюминутный успех. Тем самым она не оставляет места мании величия (увы... — А. В.). Наконец она закрепляет за художником страдательную позицию, которая есть тяга к красоте и совершенству, лежащим за пределами досягаемости... В этом — оправдание консервативной эстетики, эстетики традиционализма. Теоретически она все еще нуждается у нас в оправдании, ибо мы (? — А. В.) по-прежнему не смеем отдать себе отчет в ее фактическом торжестве... Мы живем в эпоху показного потребления культуры... Мы *можем* обойтись без поэзии, сложившей с себя дело совести, — но делаем вид, что она необходима нам, и покорно принимаем на веру суждения знатоков, часто ангажированных и небескорыстных...»

И далее:

«Возвращаясь к русской поэзии, остается сказать, что традиционные метры и рифмы по сей день составляют самую ее сущность, а жива она в той мере, в какой мы это сознаем. Служить ей — значит ввериться путеводной нити наследственной благодати (экий оборот. — А. В.), сесть *в конце стола* на пире отцов, отдаться беседе с дорогими тенями... Вот почему я ретроград».

³ Хрестоматийное «поэзия при свете совести» переводится в «почти бытовой план» («посмотреть на поэзию при свете совести»). Но юмористический эффект тут, кажется, не планировался.

Опять-таки: хорошо сказано. Хорошо — значит не просто эффектно. А — *эмоционально убедительно*. Конечно, и Танков за словом в карман не лезет, но, признаемся, доводы его как-то банально-бесспорны и, главное, проходят мимо сути дела:

«Говоря о метре, следовало бы уточнить, что такое традиционный метр? Один из двух классических двухсложников или один из трех трехсложников, со строкой не слишком длинной и не слишком короткой, и уж если ямба — так на каждую стопу по одному ударению? Да в какой же традиции мы такое отыщем?! Какое стихотворение ни возьми в русской поэзии, оно строится на развалинах нескольких размеров, перетекающих друг в друга...»

И Танков бросается анализировать «Мой дядя самых честных правил...», напористо так, увлеченно. А Колкер гнет свое:

«Консервативная эстетика обращена в будущее потому, что не вверяет человеку дел сверхчеловеческих, не преувеличивает наших возможностей. Писать отчетливо, артикулировать свою мысль и свое чувство — значит говорить с читателем как с равным, не самоутверждаясь за его счет».

Но неугомонный Танков тут же рассыпает пред нами свои контрдоводы:

«Если говорить все же о консервативной эстетике, попробуем понять — на каком периоде культуры следует остановиться, что взять за эталон? Позаимствовав пример в живописи (как в искусстве наиболее наглядном), зададимся вопросом — следовало ли остановиться на готическом искусстве, с его декоративными и одновременно экспрессивными плоскостными построениями, объявив недопустимым авангардизмом попытку Джотто решить **формальную** задачу изображения человеческой фигуры, наполненной мощной и величественной эмоцией?...»

И, предприняв некоторые отступления в мир живописи, Танков высказывает наконец и свое *credo*. Ему представляется, что

«продуктивны пути, наименее сопряженные с внешними эффектами, наименее рассчитанные на успех у публики, на **сиюминутное признание**».

Но почти то же самое говорил и Колкер (см. выше). Зачем же это проговаривается в *полемическом* тоне? А потом, если бы Танков написал: *не обязательно* рассчитанные на сиюминутное признание... Кто же спорит? Но — *наименее* рассчитанные? То есть, по сути, рассчитанные на сегодняшнее *непризнание*? Тут не оговорка, не описка. Что тогда? Гордыня художника? Всегда ли оправданная мерой таланта и убедительностью результатов?

Александр Танков продолжает:

«Да, мы живем в эпоху показного потребления культуры, подчеркнем — **массовой культуры**, специально для такого потребления и существующей; но — не искусства. И здесь лежит водораздел, здесь, а не в вопросе консерватизма. Массовая культура может быть и консервативной, и авангардной (и здесь мой оппонент, пожалуй, несколько опоздал: в наши дни массовая культура тяготеет скорее к консервативной эстетике, откликнувшись на усталость общества от авангарда, требующего даже для показного потребления большего усилия или, может быть, большего лицемерия — которое тоже суть усилие)».

Что тут интересно? Как бы мы ни воспринимали декларацию консерватора Колкера — как его подлинную экзистенциальную позицию, или как эффектный жест, или как то и другое вместе (и это возможно), — в любом случае необходимо признать, что эта декларация неопровержима логическими средствами. А Танков упорно стремится завалить своего оппонента наилучши-

ми, как ему кажется, *аргументами*, и чем больше, тем лучше... Нет, не лучше. Странно оспаривать чужую жизненную позицию. И нелепо спорить с жестом: **ЛЮБОЙ ЖЕСТ НЕОПРОВЕРЖИМ**. Жеста можно или не заметить, или противопоставить ему другой жест, не менее эффектный, но и такой «адекватный» ответ не сможет отменить первоначального жеста, они все равно будут обречены сосуществовать в общем литературном (художественном, общественном...) пространстве. Кстати, энергичные консерваторы начинают пользоваться этим приемом не реже всех прочих... См. ну хоть... статьи Павла Басинского, ну хоть кого...⁴

И только к самому концу Танков собирается с силами и дает последний аккорд на уровне оппонента:

«...если согласиться с мнением о фактическом торжестве консервативной эстетики, следовало бы вспомнить, что место поэта никогда не было в лагере победителей. Вот почему я не ретроград».

Хотя и тут можно спросить: неужели *никогда*? Но жест есть жест. Так — конец? Нет еще... Дальше — самое интересное, а на мой вкус, и самое смешное. Можно было завершить полемику какой-нибудь милой виньеткой, но редакция «Невского альбома» необдуманно или, напротив, намеренно дала два стихотворения, принадлежащие участникам полемики. Вот изящный Юрий Колкер. Силь ву пле...

Нежнейшая пора прикосновений,
Скользкий взгляд, прохладная рука,
На цыпочках уходят облака,
И ветерка легчайших дуновений
Недостает, и слышится река.

Не разбуди его, он спит пока,
И это сон внимательных растений,
И золотистый локон у виска
Завит, но ты не видишь завитка,
А он во сне не видит сновидений.

Это, чтоб было понятнее, «Киприда и Арей». Ему отвечает романтический Александр Танков:

До свиданья, утренняя, детская, домашняя Германия!
Как привок к твоей весне прохладной, чинной, черепичной.
До сих пор случайно нахожу в кармане я
То талон трамвайный рижский, то музейный таллинский
билетик двуязычный.
Все, казалось, ждет — напыщенная сонная Гранада,
Золотая плесень веницейская, тирренский розовый прибор...
Что ж, не будет этого, да вроде больше и не надо.
До свиданья, жизнь, нам было хорошо с тобой.

Невозможно было придумать лучшего способа перечеркнуть или снять развернувшуюся полемику. Одно стихотворение не хуже и не лучше другого. Один стихотворец не хуже другого. Авторы — не новаторы или традиционалисты, авангардисты или консерваторы. Они оба профессионалы. Оба, используя термин из современной музыки, работают в пределах *мейнстрима*. Главного течения. То, что когда-то было свежо, сегодня обыкновенно, но еще не старомодно. Традиция без архаики. Кажется, что сегодня так пишут все. Анонимная, *всеобщая* поэзия⁵. Ну да, профессионалы. Общие места. Мастерст-

⁴ Из выступления Евгения Шкловского на «круглом столе» критиков в «Вопросах литературы» (1996, № 6): «На нашем обсуждении... продемонстрировал поэтику жеста А. Василевский: дескать, вы вот серьезно и взахлеб спорите, хорош или плох роман Г. Владимова... а я, признаюсь честно, его не читал и ничуть этого не стыжусь».

⁵ Подобная опытам «анонимного» творчества учителя русского языка Ивана Игоревича Соловьева (1944 — 1989), чьи стихи посмертно опубликованы в «Новом мире» Михаилом Эпштейном (1996, № 8).

во. Чувство уважения. Жалость. Ведь *не всех* жалко. Они и спорят-то (или делают вид, что спорят) в рамках одной УХОДЯЩЕЙ парадигмы. А на пороге совсем другая...

2

Повторю: ведь не всех жалко. В челябинском журнале с советским названием «Уральская новь» есть глубоко несветская рубрика «Сальто мортальное». Читаю длиннейшую беседу критика Дмитрия Бавильского с поэтом Дмитрием Приговым⁶ как непреднамеренное продолжение полемики в «Невском альбоме». Бавильский спрашивает, как уважаемый мэтр сам определяет то, что ищет, — литература это или нечто иное? Ответ Пригова:

«Ваш вопрос больше относится к общеартистическому, общехудожественному поведению, жесту. Которые, проецируясь в разные медиа, обретают разную степень реальности. В пределах литературного поведения это становится текстом, в пределах художественного поведения — художественным объектом, в пределах как бы научного дискурса становится квазинаучным описанием... На самом деле это, вообще-то, эманационная пыль... Назначающий жест в современной культуре гораздо важнее самого материального объекта (здесь и ниже выделено мной. — А. В.)».

А как же к вам пришел принцип «маски»? — спрашивает критик. Поэт скромн:

«Если бы это было моим личным изобретением, это было бы мало интересно и как-то мало вписывалось в большие художественные процессы, возникшие в постстопический период... Я просто попытался представить, что же в сфере литературы является аналогичным творящемуся в изобразительном искусстве... Забывавшему вперед историку культуры все это, конечно, будет литературой. Не потому, что тексты, но потому, что я себя идентифицирую, назначаю литератором».

Пригов, назначивший себя литератором, переходит к своим опять-таки не текстам, но — имиджам. Был большой гиперсоветский тип. Были его модификации — советский-лирический тип, советский-мифологический («Милицанер»). Писал как лирический поэт. Как женский поэт. Пять сборников: женская лирика, сверхженская лирика, женская сверхлирика, невеста Гитлера, старая коммунистка и царь-коммунист. Писал как английский поэт. Сборник назывался «Русские стихи советского содержания на английском языке». Как эротический поэт. Как гомосексуальный поэт. Писал как философско-тютчевско-метафизический поэт. За пределом пяти начинается «много», имиджи перемешиваются. Был и такой имидж — традиционного русского лирического поэта; это,

«собственно говоря, всегда отсчетная точка, куда я всегда возвращаюсь и в которой этот имидж становится пухлым и мерцающим».

Но если Пригова так МНОГО, то почему его одновременно как бы и НЕТ?⁷ — спрашивает Бавильский. Поэт невозмутим: ВСЕ ПРАВИЛЬНО,

«потому что я реализуюсь в фантомной области. Это как раз то, что мне удалось реализовать: не важно конкретное, материальное количество сти-

⁶ 1996, № 3. Главный редактор Рустам Валеев. Тираж 500 экземпляров.

⁷ «Кто же это?.. Художник? В каких галереях можно насладиться его творениями? На страницах каких изданий беснуются критики, обсуждая его новую выставку? Он — литератор? В каких издательствах я могу скупить тираж его последней книги? Мыслитель?..» — неистовствует читатель Н. Семин («Независимая газета», 1996, 27 декабря), не на шутку раздосадованный другим приговским интервью («Независимая газета», 1996, 15 декабря). Ответ понятен: критики НЕ БЕСНУЮТСЯ, книги НЕ НУЖНЫ и т. д.

хов. Важен этот имидж или образ (при небольших примерах) множества. У меня всего две маленькие книжечки. Для тех, кто читает тексты, я зафиксировался на уровне автора стихов «про милицанера», дальше этого не идет. В поп-культуре человек утверждается одним имиджем... А, этот, который «про милицанера», — достаточно... Мне важен не тот, кто следит на уровне анекдота, но тот, кто понимает стратегийность поведения. Таких немного...»

А есть ли такой персонаж — Пригов Дмитрий Александрович? НУ, ТОЛЬКО ОН И ЕСТЬ. Еще раз:

«Ну, только он и есть. Персонаж Пригов Дмитрий Александрович участвует в социальной жизни, во всяких культурных акциях, в интервью например».

Как ни странно, но в конце интервью тоже стихи. Большой цикл «Всейная провинция» (1992). Вот стихи:

Стоит-шумит зеленый лес
И стонет массой лиственной
Как кто-то на верхушку влез
И бесится присвистывая

И ветки ломит у дитя
И ломит мать родную
И слёзы льют и не понять
Как вывертность народную
Всё это
Или наоборот — понять всё это
Как народную вывертность

Пригов как Пригов. Узнаваемый. Потом идет послесловие Бавильского. И я вдруг подумал: что, если и эти стихи написал Бавильский? (И зачем такая ерунда в голову лезет?) А впрочем, смог бы?.. Смог бы. Кстати, и сама публикация зачем-то анонсирована на обложке «Уральской нови» так: «Дмитрий А. Пригов в переводах Д. Бавильского». Ну вот тот и сочинил за этого. Ну и что? Скажут: Бавильский написал как Пригов. Пригову всё в плюс. Прав А. Танков: поэту не место *в лагере* победителей. ОН САМ ПОБЕДИТЕЛЬ. А Бавильский его спрашивал о том, как это Пригов себя ощущает в качестве маргинальной фигуры. (Чего-чего?) А поэт скромно так поддакивает: да, маргинал я. Вот такой. На самом деле, по отношению к Пригову — все маргиналы. Классик, генерал, номенклатура. Его еще в школе будут проходить. Сначала факультативно, а потом и в обязательном порядке (если уже не проходят). А Колкера и Танкова — не будут никогда. Пригов лучше других понял, как сегодня надо себя вести. А упорства и трудолюбия ему не занимать. Вот любопытное и неожиданное сему свидетельство, не имеющее, на первый взгляд, отношения к поэзии:

«Странно Вы как-то играли и разыгрались, Дмитрий Александрович!.. Мы с Витькой превращали игру в игру, слонялись с ленцой вокруг бильярдного стола, играючи цедили офицерские сальности, с подчеркнутым онегинством натурали мелом острие кия, целились, карикатурно отключив задницы... А для Вас игра — не игрушки. Это было некрасиво: Вы брали бильярд нахрапом, ложились животом на стол, сопели, потели. Высунув от усердия кончик языка и чиркая кием по сукну, проталкивали шары в лузу. Разве так делается у порядочных людей?.. Поэтому, когда Вы выиграли первую партию, я свысока порадовался за Вас, но положил про себя, что больше поддавок не будет. И выстроил шары свиньей для второго боя. Вы взяли за старое, но вскоре удручающее зрелище Ваших дилетантских потуг приобрело зловещий оттенок, и я начал мазать. К

полночи Вы обыграли меня всухую — 13 : 0. Вы превратили балет в групповое изнасилование, и я посмотрел на Вас с новым интересом»⁸.

Ну как есть победитель. Пухлый, мерцающий. О, этот жест. Назначающий. Пригова — Главным Поэтом⁹. Колкера — Штатным Консерватором (да все равно не поможет). Танкова — не понял кем. Василевского, ползущего как тать по страницам малотиражной прессы, — критиком. Отчего-то. Да.....

..... *Закреть бы лавочку да вывеску убрать.
Все надо вовремя — и жить и умирать.
Закреть бы лавочку, да свет в ней погасить
И ничего не предлагать и не просить.
Закреть бы лавочку на внутренний замок,
Все шумы времени меняя на шумок
Воды, что булькает в заржавленной трубе...
Того же самого не хочется ль тебе?*¹⁰

⁸ Гандлевский Сергей. Трепанация черепа. История одной болезни. СПб. «Пушкинский фонд». 1996.

⁹ Выражение из статьи В. Курицына «Поэт — Милицанер» («Октябрь», 1996, № 6).

¹⁰ Стихотворение Ларисы Миллер.



О П Ы Т Ы

СВЕТЛАНА ЧЕКАЛОВА

*

«ЛЖИВАЯ, БЕЗЖАЛОСТНАЯ, НЕВЕРНАЯ» — «ДОБРАЯ, МИЛАЯ, СЛАВНАЯ»

«— **В**ы что, Довлатова не знаете? Он пишет, как Тургенев, даже лучше.
— Ну, если как Тургенев, этого вполне достаточно».

Это цитата из повести Сергея Довлатова «Иностранка». При всей стилистической несхожести Тургенева и Довлатова, сопоставление женских характеров, занимавших обоих, представляется не случайным (кстати, свою повесть Довлатов посвятил «одиноким русским женщинам в Америке — с любовью, грустью и надеждой»). Любовные сюжеты повести Довлатова и романа Тургенева «Дым» до странности похожи, хотя вряд ли Довлатов, когда писал, думал о своем предшественнике. Он признавался, что знал английскую литературу лучше, чем русскую, да и ту, первую, не очень хорошо. Складывается впечатление, что оба писателя были уязвлены одной и той же жизненной ситуацией. Хотя, само собой разумеется, жизнь и литература не тождественны.

«Искусство нельзя принимать слишком буквально. ... Особенно когда речь идет о любви.

— *Даже если искусство правдиво? — спросил Уолтер.*

— *Оно может оказаться слишком правдивым. Без примесей. Как дистиллированная вода. ... Все ощущения, мысли и чувства, которые мы получаем от произведения искусства, чисты. Химически чисты, — добавил он со смехом, — а не морально»* (Олдос Хаксли, «Контрапункт»).

Нередко прозаик возвращается к одной и той же мысли, образу, диалогу, подходит к одной и той же теме с разных сторон, конкретные детали кочуют из тома в том. Далеко за примерами ходить не надо — вспомним Пруста. Если же говорить о женских образах, можно распознать родство Марфиньки («Приглашение на казнь») и Ольги Сократовны («Дар»), Аллы Черносвитовой («Подвиг») и Нины («Весна в Фиальте»), Наташи Ростовской и Кити Щербацкой, Настасьи Филипповны и Грушеньки, героини тургеневских романов. Такая повторяемость психологического мотива имеет, как кажется, автобиографическую подкладку (Наташа Ростова — Кити — Софья Андреевна Берс) или опосредованное, быть может, литературное переживание, затронувшее автора, как в случае с Набоковым. Довлатов то и дело вставляет одну и ту же дневниковую запись в разные рассказы, самые удачные из которых построены на автобиографическом материале. В том, что нечто подобное происходило с автором на самом деле, убеждают именно повторы. Вот отрывок из «Иностранки», где главная героиня — вымышленный персонаж:

«Возвращаясь под утро, Маруся говорила себе — ладно, обойдется. Что-нибудь придумаю в такси. Что-нибудь придумаю в лифте. Что-нибудь скажу экспромтом.

Дима удивленно спрашивал:

— *Где ты была?*

— *Я?! — восклицала Маруся.*

— *Ну.*

— Что значит, где?! Он спрашивает — где! Допустим, у знакомых. Могу я навестить знакомых?..

Если Дима продолжал расспрашивать, Маруся быстро утомлялась:

— Считай, что я пила вино! Считай, что я распуценная женщина! Считай, что мы в разводе!..»

А вот диалог из во многом автобиографической повести «Филиал»:

«Самое ужасное, что Тася перестала опровергать мои доводы. Каждый день я обвинял ее в смертных грехах. Тася лишь утомленно кивала в ответ.

Я спрашивал:

— Где ты была?

— Опять...

— Я хочу знать, где ты была?

— Ну, занималась.

— Что значит — ну?

— Занималась.

— Чем?

— Не помню.

— То есть как это — не помню? Откуда у тебя заграничные сигареты?

— Меня угостили.

— Кто? Ничтожный Шлиппенбах?

— Допустим.

— Значит, ты была у него?

— Ну, хорошо — была.

— Что значит хорошо? Была или не была?

— Не помню. Что ты хотел бы услышать?

— Правду.

— Я и говорю правду, которая тебя не устраивает.

— Я хочу знать, где ты была, и все.

— Неважно.

— Как это — неважно?

— В читальном зале.

.....
Ну, и так далее...»

Сюжет этой повести заключается в том, что автор — он женат и имеет двоих детей — прилетает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на конференцию. Неожиданно в гостиничном номере появляется его первая жена, точнее, первая любовь, с которой он расстался около пятнадцати лет назад в Ленинграде. Она любит Ваню и беременна от Левы, она нахальна, легкомысленна, беспомощна — энергично вселяется в его номер, тратит его деньги, покупает нелепого щенка в подарок, используя его брюки в качестве собачьей подстилки, а цветную гавайскую рубашку — как тюрбан себе на голову, приходит на банкет вместе с автором повести, а уходит уже с другим писателем, автором романа под названием «Я и бездна». Короче говоря, выясняется, что она совсем не изменилась и ведет себя точно так же, как и пятнадцать лет назад.

«Тут я в который раз задумался — что происходит?! Двадцать восемь лет назад меня познакомили с этой ужасной женщиной. Я полюбил ее. Я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами. По-видимому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня к самоубийству.

Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она — жестока, эгоцентрична и невнимательна.

Университет я бросил из-за нее. В армии оказался из-за нее...

Все так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине — лживой, безжалостной и неверной?

Вот сейчас Таська попросит: «Не уходи», и я останусь. Я чувствую — останусь. И даже не чувствую, а знаю».

Но она, надо отдать ей должное, не просит остаться, а просит напоследок еще денег. Остаться просит героиня тургеневского романа «Дым». В остальном сюжет, как ни странно, почти такой же, только на материале XIX века. Действие происходит в Москве, Литвинов и Ирина любят друг друга, но она пренебрегает этой любовью, выйдя замуж по расчету. Ему удается забыть ее, но через много лет они встречаются (кстати, тоже за границей, только не на конференции, как у Довлатова, а на водах), и история повторяется — Ирина еще раз эгоистично разрушает жизнь своего возлюбленного: сойдясь с ним и обещая бежать, вторично предает его. Он тем временем отказывает своей любящей и преданной невесте с благородным сердцем.

Любопытно, что при несоответствии душевных качеств влюбленных роли всегда строго распределены, и, кажется, в литературе нет примера, чтобы мужчина и женщина поменялись этими ролями. Героиня может ошибаться в своем любовнике, идеализировать его, но после ее прозрения и разочарования разрыв неизбежен, пускай ценой ее разбитой жизни или даже гибели («Рассказ неизвестного человека» Чехова, «Обрыв» Гончарова), — невозможно представить себе, чтобы Софья Павловна трепетала от любви, встретив Молчалина пятнадцать лет спустя после финальной сцены «Горя от ума». Именно женщина, легкомысленная и лживая или, еще хуже того, пошлая и вульгарная, но при этом полная жизни, обладает для мужчины неиссякаемым очарованием, притягивает его вопреки всем законам логики, неизменно рождая в его душе поэтическое чувство. Страницы, посвященные ужасной «Таське», пожалуй, самые лирические во всей прозе Довлатова. Можно еще вспомнить Кармен, а лучше не столь хрестоматийные примеры — Катю из романа И. Меттера «Пятый угол», которая не принадлежит герою, но и не отпускает его от себя всю жизнь, или бывшую жену набоковского Пнина (помните?) — она предупреждает Тимофея Пнина о своем приезде телеграммой, он мечтает о встрече, возлагая на нее восторженные надежды: в день приезда Лизы квартирные хозяева деликатно уходят из дома, чтобы дать им возможность побыть наедине, профессор Пнин надевает свой лучший костюм и встречает подряд пять автобусов. Однако весь визит длится не более десяти минут, и его цель заключается в том, *«чтобы Тимофей откладывал каждый месяц немного денег для мальчика (ее сына от другого мужа. — С. Ч.), потому что в данный момент совершенно невозможно попросить об этом Бернарда Мэйвуда — но ведь она может умереть — и кто-то должен тогда (и сейчас) посылать парню хотя бы небольшую сумму, как будто бы от матери, карманные деньги, понимаешь, — ведь он будет среди богатых сверстников. Она напишет Тимофею более подробно и даст адрес. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей такой чудесный («Ну какой же ты душа»). А теперь — где здесь уборная? И, пожалуйста, вызови мне такси.*

«Кстати, — сказала она, тыкаясь и пытаясь попасть в ускользающий рукав, пока он, как всегда сосредоточенно его отыскивая, подавал ей пальто, — я хотела спросить, Тимофей, откуда у тебя этот ужасный коричневый костюм: коричневый цвет так неблагоприятен».

Он проводил ее и пошел обратно через парк. Быть с ней, удержать ее — такую, как она есть — с ее жестокостью, вульгарностью, с ее неестественно голубыми глазами и ничтожными стихами, с ее толстыми ногами и нечистой, черствой, корыстной, инфантильной душой. Неожиданно он подумал: если люди встречаются в раю (я не верю в это, но предположим), то как я избавлюсь от этих скукоженных, беспомощных, ущербных поползновений, от ее души?» Все заканчивается его судорожными рыданиями.

Размышлением с инфернальным оттенком о чарах, путах, обреченности на любовь, душевной зависимости до конца жизни и даже после нее есть и у Довлатова: *«Сколько же это может продолжаться?! Сколько может продолжаться это безобразие?!*

И тут я с ужасом подумал, что это навсегда. Раз уж это случилось, то все. Конца не будет. До самой, что называется, могилы. Или, как бы это поизящнее выразиться, — до роковой черты».

А говорят, что вечной любви нет. Но вот только почему-то люди, любящие полноценной, равноправной любовью, остерегаются зарекаться на всю жизнь, не могут похвастать абсолютной уверенностью в ее непреходящей неизменности (как у Бродского: «Что сказать мне о жизни? / Что оказалась длинной...» — и все может измениться).

Мысль, что человек любит не личные, душевные качества другого, а любит свое собственное чувство, которое, порой заблудившись, загадочным образом вызывается сомнительным, недостойным любви объектом, неприятна и пугающа. Она ужасала и Толстого, и Чехова не меньше, чем их героев.

Толстой, со свойственной ему безжалостностью к себе, называл это похотью, дьявольским началом, об этом его «Дьявол». У Толстого, как и у его героя, в молодости была связь с крестьянкой Аксиньей, которой он не мог ни простить себе, ни забыть всю жизнь.

«„И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж, только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою”. Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте и капающем с своей соломы. „А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этом дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да, — вспомнил он, — если была, то по следам можно найти”. Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней».

Как не похоже на похоть отыскивание следов босых ног на мокрой земле! Скорее, это похоже на лирическое переживание. А лирика ведь не только душа поэзии, но и жизни, — наверное, поэтому так трудно от нее отказаться, зачем тогда жить?

А может быть, чаще любят лишь в юности, молодости, а потом утрачивают эту способность и держатся за прошлую любовь, тащат ее через всю жизнь? И надо ответить утвердительно на восклицание Пушкина: «Неужели воспоминание есть самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» В поздних стихах Бродского, например, вся любовь в прошлом, но именно она питает его любовную лирику. И потом, как иначе объяснить, что порой, несмотря на страшные унижения, обиды и боль, человек не в силах отказаться от прежнего?

«Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга. А меня ты разлюбила, вероятно, за то, что я человек не экономный, просил тебя разориться на одну-две телеграммы... Ну что ж! Так тому и быть, а я все еще люблю тебя по старой привычке... Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прощу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно» (А. П. Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой).

Шуточное письмо к невесте оказалось кошмарным пророчеством.

А Александр Блок и Любовь Менделеева, чьи отношения отличались принципиальной запутанностью, сидящие за завтраком вчетвером — у нее роман и у него роман, душевная опустошенность и взаимные истязания, но несмотря ни на что: «И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, / Не дыша...» Или Маяковский, которого Брики запирали на кухне, пока занимались любовью, а он царапался в дверь, плакал и просился к ним, как рассказывала сама Лиля Брик А. Вознесенскому?

Страшно жить на этом свете —
В нем отсутствует уют...

Или секрет в том, что несчастная любовь переживается сильнее, чем взаимная, постоянная, переходящая в привычку?

Или, быть может, есть изъян в человеческой природе, когда долг, привязанности, совесть, гордость, мораль, доводы рассудка — все обращается в прах при появлении призрака «забытого, загадочного счастья»? Можно убедить себя в чем угодно, давая себе отчет о происходящем, «Но если по дороге — куст / Встает, особенно — рябина...». И не важно, что в этих стихах М. Цветаева говорит о любви к родине. Кстати, «забытое, загадочное счастье» тоже из стихотворения о родине. Чувство любви к человеку сродни вдохновению, душевному подъему, когда обыденная жизнь, немытая посуда, повседневные заботы отходят на второй план и уже не важно, что есть, во что одеваться и что будет завтра, когда человек сосредоточен лишь на одном — чувстве ли, мысли, человеке.

«Не любовь, Катулл, это, / А влюбленность», — возразил бы поэт, а любовь призвана как раз «пищу слуху давать и работу — зренью».

Однажды рабфаковец на экзамене по литературе на вопрос о разнице между рассказом и романом наивно ответил, что в рассказе нет любви, а потом, подумав, добавил, что в рассказе она короткая, а в романе длинная (из записной книжки Л. Я. Гинзбург). А как провести границу между любовью и влюбленностью, и что же это за влюбленность, которая длится всю жизнь?

«Больше всего мне нравились утренние часы. Мы выходили из дома. Шли по освещенной фонарями улице. Завтракали в кафе на площади Мира.

Мы целую ночь были вместе. И теперь, после этой чрезмерной близости, равнодушие окружающих, все многообразие их далекой жизни — успокаивало нас.

В такие минуты я чувствовал себя почти уверенно. А однажды чуть не заплакал, когда Тася едва шевельнула губами, но мне удалось расслышать:

— Я так счастлива...»

Все это очень грустно, не правда ли?

Хотя, пожалуй, некоторое утешение заключается в том, что если представить себе постоянную жизнь с Тасей, Лизой, Ириной или пусть это будет другая, неверная, эгоцентричная, лживая, жестокая, беспомощная, страстная, безбожная, пустая, незабвенная — какая еще? — черствая, вульгарная, инфантильная, корыстная *супруга*, то все, вероятно, свелось бы вот к чему: «Барыня встали и просят двадцать пять рублей, что вы давеча обещали» (см. Чехова).



РЪЩЕЖИИ. ОБЗОРЫ

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ДУША В ЭПОХУ СОЦИАЛИЗМА

Юрий Буйда. Ермо. Роман. — «Знамя», 1996, № 8.

Название. Странное название — «Ермо». Что бы это значило? Фамилия? Фамилия главного героя? Значащая фамилия? Был инженер Николай Вермо в странном и страшном «Ювенильном море» Андрея Платонова. У главного героя в романе Юрия Буйды двойная фамилия — Ермо-Николаев.

Кажется, не более чем совпадение. Речь в романе о писателе-эмигранте — и вся «обстановка» этой речи, ее строение с самого первого взгляда позволяют опознать родоначальника — другой, диаметрально противоположный полюс русской литературы — Набокова.

Впрочем, именно с удаленностью этого полюса от Андрея Платонова, может быть, связано предположение, что Николай Вермо и Ермо-Николаев — не простое совпадения, не случайность, но сознательное напоминание о Платонове и Набокове — двух антиподах?

Ермо? Может быть, ярмо? Ярмо эмиграции, отчаяния, одиночества?

Возможно. Это — вероятнее, чем отсылка к роману Платонова. Наконец, непристойность — ругань, раскатистая, с проглоченным от волнения «д», — «ермо!»? С чего бы? Буйда пишет о выдуманном писателе — неужели захотел напомнить затасканную цитату о цветах, растущих на навозных кучах?

Вряд ли. В романе не просто писатель — потомок эмигрантов, интеллигентов, дворян: «Крайний слева, щегольски одетый господин с геометрически правильным лицом и тонкими усиками, придающими ему фатоватый вид, с огромной сигарой в зубах — Михаил Ермо-Николаев. Его имя называлось в ряду с именами Тимошенко, Зворыкина, Сикорского — гордостью американской науки и промышленности...»

Нет-нет, если это предположение верно, то здесь поминается — напоминает — опровергается ленинская цитата о людях, «мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51, стр. 48).

Разумеется, если выпалит из крупнокалиберного пистолета в голову, то в голове останется не мозг, а... вот то самое.

«Ее мужа, известного кадетского деятеля, расстреляли в ЧК. То ли в издевку, то ли из причудливо понятого сострадания обезумевшей женщине выдали его одежду, изодранную пулями и хрустящую от высохшей крови...» В Америку Лизавета Никитична привезла с собой четыре чемодана... В чемоданах были «камзолы, мундиры, фраки, сюртуки, плащи, рубашки, принадлежавшие Ермо-Николаевым, — пробитые штыком французского гренадера под Лейпцигом, проколотые дуэльной шпагой, продырявленные турецкой пулей под Плевной... — и завершали коллекцию хрустящая от крови визитка ее мужа и зияющая дырой с опаленными краями — от выстрела в упор — долгополая шинель с «разговорами»...»

Да. Так. «Ермо» — отсылка к печально знаменитой ленинской ругани. Вариация на тему: «Кого мы обзывали дерьмом» и «Какую Россию мы потеряли», или, чтобы подвести итог развитию этой темы, «интерес к русскому дворянству у современных российских людей напоминает одобрение каннибала: „а покойничек был недурен на вкус»» (так по Битову).

Цитатная оргия. Роман начинается огромной цитатой из выдуманного романа выдуманного писателя. Это — в духе времени. Нам интересны или документ (правда, ничего, кроме правды; жизнь так жизнь), или стилизация, пародия (игра так игра)...

«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворялись золотые ворота, украшенные роговыми пластинами с изображенными на них единорогами, звездами, драконами и прекрасными, как лошади, женщинами, и под многоголосое пение

фанфар, под звуки, стынущие у губ музыкантов серебряными цветами... огромная пузатая карета...»

Набоков, стилизация «под Набокова» опознается легко, хотя и не без «прекрасных советизмов».

«Женщины, прекрасные, как лошади» и «звуки музыки, стынущие у губ музыкантов серебряными цветами» — очень красиво. Но Набоков был слишком хорошо воспитан, чтобы сравнивать женщину с лошастью.

Олеша, Бабель — «дюмаотцовцы» из южных гимназий — вот кто пускал ослепительные фейерверки из «женщин, красивых, как кони» и «музыки, стынущей у губ серебряными цветами».

Набоков стеснялся. Набоков тушил, сглаживал яркость своих сравнений. Радуга, у которой «неуловимая внезапность ангела», не более. Впрочем, и не менее.

Итак, «пузатая карета на высоких колесах, обросшая жемчужно сверкающей пылью, выходящая, свисающей и волочащейся по мостовой, со стариком в лиловом бархате и черных мехах, в маске без рта, но с прорезями-полумесяцами для глаз — его желтая пергаментная ладонь всплывала как рыбка» — но все это великолепие разбивается об одно только слово в одном из сравнений: «...ладонь... плывшая в воздухе желтым голубем, словно один из этих засранцев с площади Святого Марка...»

(«Фу, как грубо, — сказал Остап... — сразу видно, что провинция. Написали бы, как пишут в Москве: „Брюк нет!“» — Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М. 1986, стр. 294.)

Видимо, этого от нас уже не отнять. Мелочи быта, бытового обслуживания, к которым мы привыкли, позволяют нам увидеть то, на что ни вымышленный Юрием Буйдой Ермо, ни его прообраз Набоков просто внимания бы не обратили. Глядя на голубиную толчею на площади Святого Марка, не Благовещение вспомнить или что-нибудь подобное, а ругнуться про себя: «У, крылатые грязнули... Весь город загадили. Шагу ступить нельзя».

Может быть, в этом наше преимущество?

Цитатная оргия продолжается. Между тем цитата, выдуманная Буйдой, интересна не только сознательной стилизацией под Набокова и невольным подражанием Олеше и Бабелю.

(Хотя и это наблюдение может помочь. Бабель, Олеша, Ильф и Петров — вообще вся «одесская» пышная южная барочная школа — как утрирование, усиление, «дожатие» стиля Набокова, как своего рода пародия на Набокова? Оставим покуда узелок на память. Вернемся к цитате, к началу, заявленному по-оперному, по-театральному пышно...)

«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворялись золотые ворота, украшенные роговыми пластинами...» Если Набокова Юрий Буйда пародирует невольно, просто соскальзывает в пародию — постольку, поскольку тяжело удержаться на только прикидывающейся уютной и обжитой, на деле голой и сырой, смертельно опасной набоковской скале, — то другого великого писателя Буйда пародирует откровенно, сознательно и с удовольствием. Сравните: «И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавевшая дверь, — улыбнулось».

Вместо «заржавевшей двери» — «золотые ворота». Вместо «с трудом, с усилием» — «со скрипом, с визгом и ржавым хрипом». И, наконец, вместо «бледного, тонкого... больше чем милого» лица Наташи Ростовской — черная маска отчаявшегося не-улыбающегося старика.

Толстовское сравнение переиначено. Переделано, хотя «стержень» сравнения остался тот же — двери, ворота, распахивающиеся, чтобы продемонстрировать душу того, кто скрывается за этими воротами, дверьми, и тому подобное...

У Толстого — душу прекрасной девушки. У Буйды — несчастного страшного старика.

Толстовский (окончание цитатной оргии). Очевидно, сработал некий закон. Если очень долго длить пародию на Толстого, то в финале (под занавес) выплывет, вынырнет «достоевский» текст. (Ильф и Петров недаром придумали такое замечательное слово — Толстовский.) «...такой же город среди болот и каналов, со всадником-победоносцем, попирающим змия, бредит величием, — однажды под лучами солнца растают эти водопады, разлетится этот туман, уйдет кверху — и уйдут

вместе с ним эти гнилые склизкие города — сила, выродившаяся в красоту, — исчезнут, оставив по себе головную боль и тоску...»

Узнаваемо, не так ли? Хрестоматийная для всей «петербургской темы» в литературе сцена из «Слабого сердца»: «...и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр и иглистою инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую волшебную грезу, на сон, который в свою очередь исчезнет и исcurится паром к темно-синему небу» (Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 2. 1972, стр. 48).

Можно сказать, что этой сценой Достоевский дал некий камертон «петербургской теме», художественно оформил «быть сему месту пусто» царицы Авдотьи.

Кажется, можно прекратить поиск цитат и соответствий. Книга — насквозь цитатна. Откровенно, демонстративно цитатна. Порой цитата захватана, порой — неожиданна, но... Вот пример захватанности цитаты, избитости ассоциативного хода: если русский писатель описывает Венецию, то какой северный город он вспомнит? Верно! Северную Венецию. Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград — Петербург...

И вот — пожалуйста: «...профессиональная игра воображения... бессмысленная, как Венеция... странно напоминающая о туманном Севере, где такой же город среди болот и каналов...» — это из той же «толстоевской» цитаты, «со скрипом, свистом и ржавым хрипом» открывающей роман; больше не будем обращать на цитаты внимание, потому что...

Задание. Редко в какой книге можно так ясно увидеть задание, данное самому себе автором, как это видно в коротком романе Буйды.

Задание формулируется просто: сконструировать, сделать великого писателя, и не просто великого писателя, но писателя знаменитого, всемирно известного.

Это последнее отличает роман Юрия Буйды от романа «Дар» Набокова, где изображен писатель хоть и великий, но отнюдь не знаменитый, так что читателю самому предоставляется возможность решить, заслуженно ли пользуется Годунов-Чердынцев такой любовью Набокова, или вместо самодостаточного свободного гения Набоков изобразил самодовольного графомана, ничуть не лучше тех, над кем Годунов-Чердынцев издевается.

Такой путь отступления у Юрия Буйды отрезан. Предлагается сначала поверить в существование писателя, чей талант сравним с талантом Бунина и Набокова. А вслед за этим предлагаются тексты этого писателя. Что и говорить — смело. Действительно, без всякой иронии, смело. Правда, один раз Юрий Буйда все-таки приуготавливает себе плацдарм для отхода. Это настолько мило и забавно, что я не упущу случая процитировать: «О ней Ермо вспоминал всю жизнь, уже не боясь впасть в банальность и искусственность. («Даже в раю о ней сказали бы, что она прекрасна, как ангел», — выраженьице ничем не лучше набоковского: «лошади, давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада» или гоголевского: «глаза, чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство»...)).»

Вполне понятно, что у любого писателя можно найти пошлое, затасканное выражение.

Иной вопрос — пишет ли Ермо так же плохо, как Гоголь и Набоков, или Набоков и Гоголь пишут так же хорошо, как и Ермо?

Кто такой Ермо? Всемирно известный писатель с бурной и таинственной биографией. Потомок эмигрантов. Он — моложе Владимира Набокова и старше Георгия Эфрона.

Он — «недостающее звено» в цепи, последний из великих русских эмигрантских писателей.

Бунин. Набоков... Явно недостает завершения, итога. Буйда придумывает этот итог — Ермо. Буйда сам называет Бунина и Набокова. Сам указывает образцы или, если хотите, «модели». «Особенно ревниво Ермо относился к Бунину и Набокову. Ивана Бунина он считал великолепным рассказчиком и никудышным романистом, полагая, что единственный роман, который ему вполне удался, заключается в четырех строках баллады „Мушкет“: „Встал, жену убил, / Сонных зарубил своих малюток, / И пошел в туретчину, и был / В Цареграде через сорок суток...”»

(Если малюток было трое, то как раз по труппе на каждую строчку — чем не роман?)

Любопытно, что это — действительно образец романного стиля Юрия Буйды. И шикарное (иноземное) название — «Мушкет». И «ужасы». Жену убил, малюток зарубил. Потом эмигрировал в Стамбул.

И несерьезность, невсамделишность «ужасов», их откровенная стилизованность «под ужасы».

Если четыре строчки баллады «Мушкет» и можно сравнивать с романом, то только с таким, какой написал сам Буйда.

«У Набокова Ермо ценил комментарии к „Евгению Онегину”, а также романы „Дар” и „Лолита”, хотя и в них его раздражало избыточное внимание к стилю. „Однако его упрямое стремление добиться в любом романе совершенства новеллы не вызывает у меня (говорит Ермо. — *Н. Е.*) никаких других чувств, кроме восхищения...”»

У меня тоже.

Подражание Набокову, стилизация «под Набокова» — отчего предпочтительнее всех прочих стилизаций и подражаний?

Оттого, что она (стилизация под Набокова) и оно (подражание Набокову) предполагают серьезную, тщательную работу.

Опаснее всего подражать Розанову. Этот захлеб свободы, который охватывает всякого пишущего, едва он только начнет читать «Уединенное», может обернуться рабством страшнее античного.

Совсем другое дело — Набоков. Он приучает к дисциплине. Он заставляет понять, что после него без стиля в русскую литературу лучше не соваться.

Планка поднята. Уровень задан. «„Жатва струилась, ожидая серпа”. Опять этот божественный укол...» После Набокова русская проза требует блестящих выражений. Без них самые глубокие мысли и самые высокие чувства ничему не служат.

Набоков учит уважению к читателю. Это кажется удивительным, парадоксальным, но это именно так: эстет и эскапист, порой даже сноб, Набоков более других писателей XX века уважал своих гипотетических читателей.

Он приспособил для русской читающей публики все неудобочитаемые шедевры прозы XX века.

В «Даре» он обучил хорошим манерам неотесанного гения Стивена Дедала. В «Приглашении на казнь» — господина К. В «Других берегах» — Марселя Пруста.

Набоков не мог позволить, чтобы над его книгой вот так же скучали его читатели, поскольку он почти всех своих читателей — знал.

Сколько их было? «Несколько сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев...»

Они должны были оценить его дар. Для этого нельзя было ни опускаться на уровень бульварного чтива, ни подниматься выше уровня среднего вкуса. Надо было писать интересно, красиво и всегда помнить о вкусе. Поэтому читать Набокова — наслаждение, сравнимое только с муками попыток подражания Набокову.

Честь и хвала подражателю. Тем более, что Буйда, собственно, и не пытается подражать. Он ставит себе куда более трудную задачу — превзойти Набокова.

Он пытается создать писателя, который с полным на то основанием мог бы сказать: «Morituri te salutant. На пути Набокова невозможны ни «Дон-Кихот», ни «Война и мир», ни «Братья Карамазовы», но кто-то же должен своим огнем осветить путь в пропасть...»

Между тем все те упреки, которые вымышленный Ермо бросает Набокову, с полным на то основанием могут быть переадресованы реальному Юрию Буйде.

«Избыточное внимание к стилю»? Необарокко. После социалистического реализма, строгого и дубоватого классицизма — постсоветский романтизм, барокко, господа, барокко...

Может быть, Буйда и рассчитывал на то, что кто-нибудь переиначит им же придуманное интервью писателя Ермо и напишет, что сам Буйда «сочиняет роман при помощи одного стиля». В самом деле, красиво:

«Прянувший белый конь, плоский и безротый, с глазом, напоминающим немытую сливу. Всадник в лазоревом, золотом и зеленом. Рыжегато-каштановые волосы, отстраненно-задумчивый взор, тонкий греческий нос, женственные губы, мягкий и чуть отвислый подбородок. Крохотная правая ножка-уродка. Маленькие ручки — левой натягивает повод, правой — вытягивает из пасти змия нитевидное копьё... Страшные когти и жалкие перепончатые крылышки доисторического самолета. Красивый и печальный женский глаз на лисьей морде». Это одно из самых замечательных описаний в романе, то есть в не отделанной до совершенства, растянутой новелле (см. выше).

«Зарекалась ворона...», или возвращение к цитатной оргии.

«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом» — лейтмотив романа о русском писателе, потомке эмигрантов. Трижды поминаются эти «скрип, визг и ржавый хрип», с каким перед ним распахнулись двери венецианского палаццо.

Придется вспомнить еще цитату: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историей железный занавес. Представление окончилось».

Буйда изменяет и эту розановскую цитату. Над русскою историей железный занавес опустился, зато поднялся занавес над историей его героя.

Одно представление окончилось, зато началось другое — не менее интересное.

Кстати о заглавии. И о фамилии. Не исключено, что предположение о редуцированном «д» в фамилии главного героя недалеко от истины. Вот самая знаменитая сцена из самого знаменитого фильма главного героя: «В мировом кино, пожалуй, нет другой такой сцены полового акта, которая вызывала бы одновременно глубочайшее отвращение и восхищение: два нагих тела возятся в грязи свинарника, перемазанные с ног до головы навозом и кровью, блестящей, как золото». (Д)Ермо.

«Сделайте нам красиво...» И в этом нет ничего плохого. У Ирины Ратушинской есть замечательное стихотворение. Заключение диссидентка просит, чтобы ей прислали какой-нибудь исторический роман. Только, спохватывается она, не из русской истории: чтобы, если и будет палац, то не в красной рубашке...

Это желание водило и пером Пушкина, когда он писал «маленькие трагедии». Достоевский решил, что это — «всемирная отзывчивость», а это — «закупоренность» и жажда из этой закупоренности вырваться... хоть куда — в Испанию! — «где ночь лимоном и лавром пахнет» и где «далеко, на севере» — Париж, а не Архангельск.

Позвольте заметить, что подобным же «хотением» пронизана и книга Буйды. Туда, туда — где «палац», да не в красной рубашке, где рождественскую звезду надевают на верхушку не елки, но кактуса, где если кого и насилуют, то обязательно — графинь и обязательно — в палаццо... и обязательно, чтобы имя у графини — Сансеверино!

Так, и никак иначе... Поэтому если кто и вспоминается еще при чтении романа Юрия Буйды, то это — Александр Грин.

Нью-Йорк и Венеция, Нью-Сэйлем и Шато-сюр-мер Буйды — это Зурбаган и Гель-Гью Грина.

Что, в общем-то, объяснимо для поколения, к которому принадлежит Буйда.

Исполнение желаний. Воплощение мечтаний — вот что такое жизнь, описанная в романе Юрия Буйды. Когда я читал его, порой перед глазами вставала старая карикатура: худой небритый человек, шея замотана шарфом, с крыши льет, свеча в медном подсвечнике — кусает перо. Подпись: «А теперь надо описать бал у княгини Д.»

Сладко представить, сладко вообразить себя всемирно известным писателем, режиссером, любимцем женщин, меценатом, богачом — разумеется, с большой личной трагедией...

А как же иначе? Богатые, как известно, тоже плачут... на зависть бедным, потому что богатые плачут красиво.

«В окне мелькнул силуэт Лизаветы Никитичны, которую никогда и никому не удавалось застать в затрапезе: казалась, она и спит гладко причесанная, с обтянутым сеточкой-паутинкой пучком волос на затылке, с долгим кисетом на поясе, с пахнущими земляничным мылом по-старушечьи пестрыми лапками... страж, всегда готовый если и не к бою, так к поражению, которое стало уделом семьи, — но никакое самое сокрушительное поражение не заставит ее изменить своим правилам: в семь утра чай, волосы причесаны и спрятаны под золотящуюся тонкую сеточку, руки пахнут земляничным мылом, взгляд ясен и тверд — и только поэтому поражение не становится гибелью».

Два взгляда на одну проблему. И все бы это было неплохо, тем более что Юрий Буйда пишет интересно и красиво. Но есть особая щекотливая тема, и, не стесняясь в этом признаться, я не знаю, с какого бока к ней подступиться.

Извольте — попытаюсь. В какой-то момент, читая роман, начинаешь понимать, что Освенцим, холокост, гражданские войны в России и в Испании — для писателя такой же материал эстетической игры, такое же бегство от постылой и скучной действительности в мир мечты, как и вымышленная жизнь писателя Ермо: «...его испанские репортажи, прекрасно проиллюстрированные (на фотографиях — Ермо и Андре Мальро, Ермо и Михаил Кольцов, Ермо и Равель с равелем — трехструнной скрипкой, Ермо в баскском берете, с биноклем на груди... Ох уж эти бинокли!»).

В 1944 году Артур Кёстлер, участник гражданской войны в Испании, сказал Джорджу Оруэллу, другому участнику тех же событий: «История остановилась в 36-м», — и тот сразу же согласился: «Конечно».

Достаточно прочитать «Спящую тьму» и «1984», чтобы понять: ни тот, ни другой не пижонили, они говорили правду.

Но то, что было для Кёстлера и Оруэлла неизбежной трагедией, для Юрия Буйды сделалось набором фотографий со «знаменитостями». Хемингуэя не хватает. А так — весь джентльменский набор.

...А почему бы и нет? Чем гражданская война в Испании или холокост лучше или хуже любого другого исторического факта, например первого или последнего крестового похода?

Для современников этих исторических событий они казались уникальными, но нам-то, тем, для кого они — перфект (прошедшее) и плюсквамперфект (давнопрошедшее), почему бы не поиграть с этими историческими фактами так же, как можно поиграть и с прочими историческими фактами?

Почему бы не выдумать графиню Сансеверино, которую насилует на глазах ее прачушегося мужа гестаповец? Почему бы не выдумать «итальянского Шиндлера» — графа Сансеверино, венецианского романтика-фашиста, который спасает немецких евреев? Почему бы не выдумать душевное потрясение, которое испытывает граф, который видит, как гестаповец... и т. д. Почему бы и не?

Ведь уже сняты «Как быть любимой» Войцеха Хаса и «Ночной портье» Кавани, уже написаны «Затворники Альтоны» Сартра. Разве не существуют исторические несчастья лишь для того, чтобы быть занесенными в книгу?

Какой великолепный материал для стихов, драм, фильмов. Один Ермо сколько написал — тут тебе и «Бегство в Египет», и «Пешное действо», и «Смерть факира», и «Убежище»...

«Быть знаменитым...» Конечно, эта строчка раздражает: она раздражает некоторой нелогичностью, некоторым кокетством...

«Быть знаменитым некрасиво»? Ну и не будь знаменитым. Не заводи архивов, не тряпись над рукописями. Делай, а не говори...

Эта строчка раздражает именно своей наставительностью, назидательностью. Это ведь прописная истина, трюизм.

Быть знаменитым, в самом деле, некрасиво. Сила набоковского «Дара» в том, что главный его герой, «дароносец», вовсе не знаменит. И не собирается быть знаменитым: «„Я как друг прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся“». — „Предпочитаю затылки“, — сказал Федор Константинович».

Слабость романа Буйды в том, что его герой не просто знаменит, но очень, очень знаменит. Весь роман Буйды не просто возражение пастернаковской строчке, это — вопль, рвущийся из глубины души: «Нет! Быть знаменитым — красиво, красиво прежде всего. Именно это поднимает ввысь. Если ты знаменит, то, что бы с тобой ни случилось, это не превратится в поражение. Это, как бы страшно это ни было, все равно останется красивым. Поражение не превратится в гибель. Женщина, прекрасная как змея, пережившая горе унижения, боль, придет к тебе — „вся в лиловом и черном, узкая, в огромной шляпе с пером и на высоких острых каблуках, пугающе незнакомая, с остановившимся взглядом и стаканом в руке...”».

Знаменитостям позволено то, что не позволено простым смертным.

Если некто скажет: «Чтобы считать Лермонтова великим писателем, нужно родиться и вырасти в России и никогда не выезжать за ее пределы», то другой человек просто пожет плечами. «Есть и такое мнение», — скажет в ответ на этот сомнительный тезис другой человек.

Если же подобное заявит не кто-нибудь, а великий! прославленный! знаменитый! писатель, то человек прислушается к такому мнению.

Известность, знаменитость сами по себе тоже аргумент. Если некто гордо бросит в лицо другому: «Человек по имени Пастернак не может быть великим русским поэтом», то этот другой сначала уточнит: «Вы хотели сказать — по фамилии? Пастернак — это фамилия», а потом поинтересуется: «Простите — человек по имени Пастернак не может быть великим или русским поэтом?»

Но если подобную антисемитскую гадость брякнет всемирно прославленный, повсеместно обэкраненный беллетрист, автор романов о холокосте «Убежище» и «Бегство в Египет», то слушатель его всенепременно призадумается: а может, и вправду еврей не может писать хорошие русские стихи? Кто его знает?

Роман «Ермо» — выкрик в пустоту судьбы: «Я готов пережить любую трагедию, личную и общественную, только чтобы быть знаменитым!»

Настоящее счастье — это когда по твоей новелле снимают фильм в Голливуде с Диной Харленд — героиней сновидений каждого второго онаниста в солдатской казарме» — в главной роли.

Между тем мысль, которую так раздражающе-неуклюже выразил Пастернак, у Пушкина высказана мягче, не так провоцирующе: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в Московском телеграфе... замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» («Путешествие в Арзрум»).

Реальность... В какой-то момент начинает казаться, что несуществующий «постэмигрантский» писатель Ермо, созданный воображением и памятью «постсоветского» писателя, имеет реальный прототип. Но прототип этот смазан, стерт, как отпечаток пальца, как исчезающая луна на утреннем небе...

«„Что ты читаешь? — она наклоняется к Георгию. — О, Миллер!” — „Nil gratius protervo libro”, — бормочет Ермо, искоса глядя на ее руку, теребящую носовой платок. „Поговорим по-русски, — она вежливо улыбается. — Если не возражаешь?”» (Ю. Буйда, «Ермо»).

«На русском языке «Тропик Рака» впервые был издан в 1964 году тиражом 200 экземпляров... Перевод был сделан в 1962 г. Его автор — эмигрант Георгий (Джордж) Егоров — человек замечательно интересной судьбы» (Г. Поляк. Генри Миллер и русские на Западе. — «Иностранная литература», 1990, № 8).

«Джордж... попробовав себя в качестве киносценариста, увлекается жизнью Фильмлэнда и пневматическими прелестями Дины Харленд...», «Его фильм с шумом прошел в прокате и получил несколько премий на кинофестивалях, в том числе ФИПРЕССИ в Каннах...» (Ю. Буйда, «Ермо»).

«Джордж (Георгий) Егоров появился в Нью-Йорке вскоре после войны... был дружен со многими из будущих звезд Голливуда... Были среди его тогдашних друзей — молодые Юл Бриннер и Чарлз Бронсон, которые и увезли его в Голливуд. Там Егоров писал русские диалоги для американских фильмов и изредка в этих фильмах даже снимался. Дальнейшие следы Джорджа (Георгия) Егорова теряются...» (Г. Поляк).

До чего увлекательно следить за тем, как реальность превращается в художественный вымысел, печальная безымянная судьба — в звездную карьеру, один хороший перевод знаменитой американской книги — в целую гору всемирно признанных шедевров, подтекстовки для голливудских фильмов — в кинокартину, удостоенную премии ФИПРЕССИ; иначе говоря, увлекательно обнаружить, как безвестный реальный Джордж (Георгий) Егоров превращается в знаменитейшего выдуманного Джорджа (Георгия) Ермо-Николаева.

Конечно, куда увлекательнее было бы узнать что-нибудь о «замечательно интересной судьбе» Джорджа Егорова (судя по его переводу, он превосходно знал Париж 20 — 30-х годов, был богемы и эмиграции; Джордж (Георгий) Егоров — очень смахивает на псевдоним — Георгий Георгиевич?) — но... нас не интересуют те, чьи следы теряются. Нам интересны — победители, знаменитости. Мы ленивы и нелюбопытны.

Роман Юрия Буйды остановился за шаг до гениального решения.

Ермо не придуман Буйдой. Он им вымечтан. «Лучше быть нищим в жизни, чем боярином — в сновидениях», — эта шутка одного из предков Ермо прежде всего нелепа. Она не похожа на шутку человека середины XIX века.

Для этого нужен опыт XX века.

Предполагается, что нищему лучше, когда он понимает, что он — нищий, чем когда он грезит, будто он боярин.

Вот это и было то самое гениальное решение, за шаг до которого остановил Юрий Буйда свой роман.

Его постэмигрантский писатель, его беллетрист, превзошедший Бунина и Набокова, его звезда Голливуда и мировой литературы, его Ермо, по сути дела, зажат между двумя реальностями: исчезнувшим, сгинувшим, растворившимся в американском обществе Джорджем (Георгием) Егоровым и Юрием (Георгием, Джорджем) Буйдой — постсоветским писателем.

На этом стоило поиграть. Если бы со свойственной ему изобразительной силой Юрий Буйда фоном для блистающего мира Сансеверино, Джорджа Ермо, Валлентайна и прочих дал бы серенкий дождик, под неумолчный, непостоянный шум которого пишется романтическая история о великом, знаменитом и так далее, это была бы штука посильнее, чем «Фауст» Гёте.

Квалифицированному читателю остается только достроить ситуацию, дорисовать фон, на котором происходит создание, конструирование Джорджа Ермо.

«Он ничего не требовал, не капризничал: завтрак, обед, легкий ужин, немного вина, кофе, голландские сигары... Два часа они молчали, разделенные белым столиком, на котором в узких бутылках стыло вино и в вазе пузырился виноград... при взгляде на который старику в голову всегда лезли Пунические войны и Ганнибал, Суворов и Макдональд, но только дома он вспоминал название... Треббьяно».

«Но вы, пожалуйста, кость вот эту к мясу не подкладываете...» — «Да чем вам кость-то не нравится? Вот это обрежете — на котлеты, а вот из этого — супчик...» — «Ну что за нравы такие совдеповские? Я же прошу: не надо эту кость...» — «Знаете, вы тоже не адмирал Колчак на Севастопольском рейде — за такую цену вы парного бескостного мяса нигде не получите...»

«Егорий храбрый верхом на плоском белом коне, астролог и чернокнижник князь Данила Романович Ермо-Николаев... — все это — а еще призраки, свои и чужие воспоминания... — было доставлено, водворено и бережно размещено в палатце Сансеверино после того, как Джордж продал дом в Нью-Сэйлеме и сказал последнее прости Америке, „вдохновленный, — как писала одна из американских газет, — примером Генри Джеймса и Элиота”».

«А я вам еще раз объясняю, что для прописки, ну хорошо — регистрации, здесь, у меня перед глазами, должна быть ваша жена... Только в ее присутствии. Только... Да что вы там бормочете и глазки строите? Я, что ли, эти правила придумывала? Не знаю... Положите ребенка в коляску и приедете. Ну и что, что очередь отстояли? И еще отстойте... Да вы хоть куда идите, к какому угодному начальнику. Да... Пятый кабинет. Тоже очередь... Тоже очередь, говорю. Вот именно...»

Et cetera. К каждой шикарной трагедии, высокоэстетической, глубоко философской трагедии романа «Ермо» добавляется мелкая бытовая неприятность реальной жизни — огромный дворец Сансеверино, где «пространство превращалось во

время» и где так много комнат, что даже гестапо не смогло разыскать графа Сансеверино, — и две, от силы три комнаты, в которых время становится пространством, в которых не разминуться с близкими, не то что от гестапо — друг от друга спрятаться невозможно; всемирная известность, статьи и исследования Сергея Юткевича, Дж. Блауменфельда, Малькольма Спенсера — и мелкие покусывания журнального рецензента, злыдня и завистника. «Dichtung und Wahrheit» — так это называл Гёте.

Первичная травма, или протозадание. Для чего надо было постсоветскому писателю придумывать писателя постэмигрантского?

Неужели из одной только склонности к «нумерологической магии», побуждающей ставить русского Бунина рядом с русско-иностранным Набоковым и — Бог троицу любит — с иностранно-русским Ермо-Николаевым?

Нет, здесь был ответ на вызов, брошенный временем... «Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом» железный занавес поднялся, и мы — советские интеллигенты, ставшие постсоветскими интеллигентами, — обнаружили себя не в сверхдержаве, а в отсталой, не развивающейся, но отстающей стране.

«Молодой человек передернулся, как от удара: „Не знаю, — резко сказал он, — вы покупатель, ваши деньги... Русских можно купить задешево — так ведь вы считаете, не правда ли?“»

Можно. Правда. Потому что после того, как Джордж Ермо выложил пять тысяч долларов за картину художника Игоря, Игорь заговорил совсем по-другому.

«„Пять тысяч, Игорь, вас устроят?“ — „Не знаю! — продолжал гнуть свое парень. — На эти деньги, конечно, в Москве можно... — Он вдруг оборвал себя и с трудом перевел дух. — Извините, Георгий Михайлович, я... Знаете, мой отец был неудачником, мы с сестрой выросли в подвале... он был непризнанным гением, маляром... На глазах у меня повесился... Извините... Спасибо!“»

И вся цена. Только что — гордый художник, резкий, злой, агрессивный; дали пять тысяч — и в горле от счастья зашипало, и все рассказал про себя, про сестру и про папу.

Гордому человеку, который родился и вырос в сверхдержаве, вдруг ошутить себя в глухой провинции? Вдруг понять — не умом, но каждым квадратным сантиметром кожи, — что выложит перед тобой на столе какой-нибудь Джордж Ермо — Сансеверино — Николаев — Георгий Михайлович 5000 долларов — и ты уже его, и ты уже кланяешься.

Кстати, что это за картина, за которую Ермо с ходу выложил пять тысяч баксов? «Женщина, жрущая мясо!»

«Нагая красавица, в прелестной шляпке и с бараньей костью в руке, с выпачканными жиром губами и щеками, широко расставив литые бедра, злобно смотрела на старика... „Сильно сказано, — пробормотал Джордж. — И сильно сделано“».

Окровавленного ножа только не хватает. И черепа с костями. Писатель, равный по таланту Бунину и Набокову, американско-итальянский богач, вряд ли стал бы тратить на такую картину. Мне почему-то видится такая реакция: «Фрэнк, — Ермо обратился к старому дворецкому, — какую картину восстанавливает у меня этот... — Ермо запнулся, в первый раз он столкнулся с непереваемостью слова «poshlyak». — Кич-мэйкер?»

Возможно, я ошибаюсь.

Протозадание.

Но самое страшное — даже не материальная нищета и не «квартирный вопрос», самое страшное — обнаружить себя в отсталых, малообразованных, несведущих, старомодных, дурновкусных — вот этого вызова пережить никак нельзя, на этот вызов нельзя не ответить.

«Шмелев, Зайцев, Мережковский, Иванов и другие в известном смысле даже уступают Платонову, Шолохову или Всеволоду Иванову...»

Это пишет не Юрий Буйда, но прославленный, изучаемый во всем мире, комментируемый всеми филологами границы Джордж (Георгий) Ермо-Николаев. К его мнению стоит прислушаться.

«Протозадание» Юрия Буйды сравнимо с заданием, которое Платов дает тульским оружейникам: показать, что мы не лыком шиты...

Мы ничуть не отстали, ничуть не менее старомодны, чем Борхес или Набоков, знаем столько же латинских и прочих иностранных литат, ориентируемся в западной и восточной философии, читали «Цзинь Пин Мэй» и «Моби Дика» и, если надо, сможем как следует ответить на вопрос интервьюера. К интервью — готовы.

Самое любопытное то, что Буйда справляется с заданием так же, как справляются с заданием тульские оружейники. Блоха — подкована. И ни с места. Никаких верояций. Только усами шевелит. Постэмигрантский период той литературы в каком-то смысле сравним с постсоветским периодом нашей литературы. Вычитывается упрек постсоветского писателя Юрия Буйды зарубежным писателям: «Что же вы, ребята? Учились в Нью-Йоркском, Нью-Сайлемском университетах, в Оксфорде, Кембридже, никто вас марксизмом-ленинизмом не пичкал — и что? Смогли ли вы выдвинуть из среды своей такого режиссера и писателя, которого я могу создать силой своего воображения, памяти и образования?» Выдуманный Джордж Ермо — своего рода компенсация постсоветского писателя, попытка уверить себя и других: мы не хуже. Мы — такие же образованные, такие же сведущие в том, что касается культуры, искусства, духа.

Не знаю. Не знаю. Есть удивительная цитата из вымышленного труда вымышленного писателя Ермо в романе Юрия Буйды: «Россия восемнадцатого века уже почти ничем не отличалась от других европейских стран: армия, войны, промышленность, череда дворцовых интриг и переворотов... Но эти же сто лет стали для страны временем грандиозной по масштабам и качеству революции. Русский народ поменял язык и речь...»

В этой цитате интересно вот это «почти ничем». Этак можно про любую другую страну написать: «Цинский Китай восемнадцатого века почти ничем не отличался от европейских стран: армия, войны, промышленность, череда дворцовых переворотов...»; «Османская империя почти ничем...» и тому подобное.

Так все-таки чем — «почти ничем»? Мелочью — крепостным правом.

В России XVIII века крепостное право начинало приближаться по своим формам уже к античному рабству... Факт, зафиксированный всеми историками России. Но, к сожалению, сколько я могу судить, никто из историков России не обратил внимания на другой факт, куда более характерный, зловещий, из разряда как раз вот этих «почти ничем», но все-таки чем-то отличающих Россию от прочих государств Европы.

Императрица Екатерина II созывает Уложенную комиссию (аналог западноевропейских парламентов). Комиссия должна выработать новое Уложение вместо старого — 1649 года.

Первое предложение от купеческих депутатов (аналога третьего сословия): уравнять купцов в правах с дворянами, то есть разрешить купцам владеть крепостными (!).

Продолжу цитату из Джорджа Ермо: русский народ освоил новую европейскую культуру «всего за несколько десятилетий! ...несомненный триумф воли и жизнестойкости нации».

Так пишет Джордж Ермо. Юрий Буйда подразумевает нечто иное: «Россия второй четверти XX века (как и Россия XVIII века) уже почти ничем не отличалась от других европейских стран: армия, выборы, банкиры, газетная ругня, череда политических скандалов... Но эти же 10, 15 лет стали для страны временем грандиозной по масштабам и качеству революции. Русский народ поменял язык, осваивая новую европейскую культуру... Мы — писатели этого народа — не «уже почти», а просто ничем не отличаемся от писателей любой европейской страны. Разве что материала у нас для сюжетов побольше. Поскольку — у нас была великая эпоха...»

А была ли? Не знаю. Наверное, была. Но если и была, то она — нема.

Она — неосознанна, непонята. Для нее не найдено подходящих дефиниций. Эти семьдесят лет — что они были такое? Неизбывный позор нации вроде нацистского двенадцатилетия Германии — или ее богатство вроде революционного якобинско-бонапартистского двадцатилетия Франции? Кто были деятели этого периода: преступники, по которым веревка в Нюрнберге плачет, или герои и жертвы, которых стоит сохранить в памяти народной?

Мартемьян Рютин, «неистовый Мартемьян», в 1927 году руководивший разгромом троцкистской демонстрации в Москве, в 1930-м создавший подпольную ан-

тисталинскую организацию; Гавриил Мясников, в 1918-м убивший Михаила Александровича Романова, в 1921-м требовавший свободы слова, упрекавший Ленина: «Вы, Ленин, замахиваетесь на буржуазию, а скулы трещат у нас, у рабочих», — кто эти люди? По какому «разряду» их пустить? Неизвестно.

Заключение Набокова. Когда-то, давным-давно, в годы «застоя» (когда страна готовилась к революции, когда не было интеллигентного дома в Москве или Ленинграде, в котором нельзя было бы прочесть что-нибудь из там- и самиздата), я снял с полки у знакомой отпечатанный на машинке (третий, кажется, экземпляр) текст «Лолиты», листнул и прочел: «...не знаю, кого сейчас особенно чтят в России — кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн Рида, да ничтожных Фолкнера и Сартра, этих баловней западной буржуазии. Зарубежные же русские запоем читают советские романы, увлекаясь картонными тихими донцами на картонных же хвостах-подставках или тем лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами, мешанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской, который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты».

У меня от возмущения в зобу дыханье сперло. По всем моим любимым писателям был дан умелый и точный залп. Не футуристическое бахвальство: сбросим-де такого-то и такого-то с парохода современности, а такой-то и такой-то еще крепче на этом пароходе утвердился, — но смертельный щелчок, булавочный укол — насмерть!

Не помню, что я наговорил тогда, что-то запальчиво-обидчивое, что-то вроде: «Лучше похотиться на львов в Африке, чем на бабочек в Альпах» — или: «Еще неизвестно, кто больший баловень западной буржуазии — Набоков или Сартр», — но «Лолиту» с возмущением и негодованием поставил на полку, на место. И только во времена «перестройки» прочел куда более важное, куда более страшное, что было в этом «Постскриптуме» Набокова к русскому переводу «Лолиты»: «Вопрос же — для кого, собственно, „Лолита“ переводится, относится к области метафизики и юмора. Мне трудно представить себе режим, либеральный или тоталитарный, в чопорной моей отчизне, при котором цензура пропустила бы „Лолиту“». Область «метафизики и юмора» расшифровывается достаточно просто. «Лолита» переводится автором для себя и для русского языка, в который он (автор) был выслан, изгнан из России. Есть всего одна закавыка — Набоков пишет: «Трудно представить себе режим...» «Трудно» — значит, расчет на какой-то режим все-таки есть, имеется. Перед нами — заветное. Набоков переводит «Лолиту» для той России, в которой эту книгу пропустит цензура... Но какое катастрофическое изменение менталитета должно произойти при этом? Какую революцию должна пережить страна — этого Набоков представить себе не может... Его воображения для этого не хватает.

Душа писателя при социалистическом строе. «Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом» рухнул, разлетелся железный занавес, отделяющий нас от всего мира. «В последние годы затраты удалось резко снизить благодаря притоку дешевых специалистов из Восточной Европы, согласных работать за половинную плату и при минимуме социальных гарантий. Румыны, русские, поляки, югославы трудились не хуже итальянцев или немцев».

«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом» распахнулись ворота душ... Пожалуй, никогда еще в России не было настолько распахнутого, откровенного самораздевания.

Открытие мира совпало с открытием самих себя. Железный занавес, отделявший нас от мира, отделял нас и друг от друга.

Мы были скрыты друг для друга. Мы (на самом деле) не знали, в каком обществе живем, не смели сознаться, какой душой обладаем.

«Внутри косо срезанной толстостенной башни разворачивались сотни сцен — в многочисленных залах, комнатах, коридорах и тесных чуланах, которые на разных уровнях соединялись причудливо изогнутыми, иногда даже вывернутыми наизнанку лестницами и лесенками — пиранезиевская смесь безумия с математикой... Здание было разорвано на несколько неравных частей глубокими зигзагообразными трещинами, словно от удара подземной стихии, и в этих расселинах металась сцепившиеся в единоморстве крылатые ангелы и демоны... падали вниз головой обугленные люди...» Ерма встал и подал руку девушке: «Мне почему-то хочется думать, что это полотно представляет собою нечто вроде дневника худож-

ника, который запечатлевал на холсте свою жизнь, историю нечистой страсти — эпизод за эпизодом, вперемешку с образами, приходившими ему попутно в голову, — потому-то и получилась такая мешанина».

Сказано о картине Якопо дельи Убальдини, и не только о ней. «Дневник художника», «История нечистой страсти», «Мешанина» — речь идет о самом романе «Ермо» Юрия Буйды. Фантастическая гигантская башня, изображенная на полотне итальянского художника, палаццо Сансеверино — не дворец, а лабиринт, — все это воплощенная душа писателя. Душа писателя при социалистическом строе, мечта о трагической, ужасной, но красивой жизни, где если и будет палач, то не в красной рубахе...

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



СКОРЕЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАПЯТАЯ ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

Марина Вишневецкая. Глава четвертая, рассказанная Геннадием. — «Волга», 1996, № 7.

Наверное, проще всего начать с реестрика — приема, столь любимого Геннадием, весьма условным автором «Главы четвертой, рассказанной Геннадием». Этаким мариновишневецкий реестрик:

1. «Начало» — рассказ в сборнике «Новые амазонки» («Московский рабочий», 1991) — пожалуй, и в самом деле начало: первая прозаическая публикация автора. Основным же до этого применением творческих сил Марины Вишневецкой в качестве сценариста может гордиться отечественная мультипликация, как гордится сборник новой женской прозы рассказом «Начало». Аниматоры — удивительные люди, говорят, они даже сны видят мультиками. Рассказ в «Новых амазонках» и видится мультфильмом с его очаровательными персонажами: Альфредом Ивановичем, убогим гением, мастером по народным инструментам; маленькой лохматой собакой Чукчей; мамашей Альфреда Ивановича, стремительно по ходу повествования уменьшающейся (достигнув размеров средней мыши, она стала возбуждать нездоровый интерес Чукчи), дабы, став совсем малепушенькой, поселиться в ухе сына руководящим голосом. Впрочем, реестрик нельзя затягивать, он должен быть краток и по возможности точен (учимся у Геннадия).

2. «Брысь, крокодил!» — рассказ в «Дружбе народов», 1994, № 7. Тоже своего рода начало — первый рассказ, замеченный критикой. Рассказ о, как раньше бы сказали, «сложном внутреннем мире подростка». Но мы — не скажем так. Процируем лишь саму Вишневецкую, точнее, Геннадия, гипотетического автора «Главы, рассказанной Геннадием». В ответ на учительски точное и безапелляционное утверждение: «Советская литература, к сожалению, вообще прошла мимо юности как таковой», — он высказывается столь же афористично: «Юность — одно из самых *темных* мест. А наша литература всегда стремилась к свету».

3. «Архитектор запятая не мой» — вновь «Дружба народов», 1995, № 12. Кредо героини рассказа — в первой же строке: «Моя жизнь, и лицо, и особенно выражение лица — все во мне — от того, что я — тело». Что, казалось бы, можно выжать из тривиальной ситуации курортных исканий? Как это однажды было у Довлатова — подслушанный телефонный разговор одной из отдыхающих: мол, сюда ехать не стоит, мужиков совсем нет, многие девушки так и уезжают, не отдохнув. Но все же, когда есть возможность, хоть малейшая, отдохнуть, вытанцовывается рассказ с кокетливой «запятой» в названии. И главное в нем, как и, наверное, во всех текстах реестрика, — язык. «Особая, неповторимая интонация», как сказали бы раньше, но авторская интонация неповторима всегда, если, конечно, речь идет не о стилистической стертой беллетристике, а о прозе, — а речь идет именно о прозе.

4. «Увидеть дерево» — рассказ, «Знамя», 1996, № 9. И это — пожалуй, начало «традиционной» Марины Вишневецкой. Хотя оно вполне может оказаться и без продолжения. Непредсказуемость — один из главных козырей реестрируемого автора. В «Увидеть дерево», пожалуй, впервые четко ограничивается время дейст-

вия — один день. И этого вполне достаточно, чтобы рассказать историю жизни. Не иначе как от образовавшегося излишка времени столь жестко — едва ли не до минуты — ограничивается действие следующего текста, итак:

5. «Глава четвертая, рассказанная Геннадием». То, что «Глава...» названа нами текстом «следующим», столь же условно, сколь условно время и пространство, где разворачивается то, что условно же можно назвать действием рассказанного Геннадием. Возникает навязчивое ощущение, что этот текст был написан раньше, чем «Увидеть дерево», и не исключено также — что раньше, чем предыдущие рассказы, опубликованные в «Дружбе народов».

Конечно, предлагаемый список не есть библиографическая справка. К тому же для полноты картины не хватает и публикаций в детских журналах, где печатались сказки, многие из которых стали фильмами. Но все же один главный вывод напрашивается сам собой. Он уже прозвучал: Марина Вишневецкая — автор непредсказуемый.

«Скажи мне, кто твой герой, и я скажу тебе, кто ты», — последовав этому правилу, проговоренному Геннадием, попробуем найти замаскировавшегося автора «Главы четвертой...», чтобы понять, как сделан бутерброд и почему он так и норовит завалиться маслом вниз.

Главный герой романа, причем романа в двух значениях этого слова, — Всевоочка. Он же — Всеволод Уфимцев, талант, поэт и художник, пьяница, журналист, любимец и любитель женщин, поклонник и знаток Мандельштама. Он появляется на страницах текста лишь в рассказах, наговоренных Геннадием для его, и не только для его, главы. Собственно, глава является как бы разработкой темы, попыткой понять, как же пишутся романы, из чего, из, неприлично даже повторять, какого сора, и т. д. Отсюда — рискнем сделать вывод, что совсем главный герой — все же сам Геннадий, рассказчик, автор-соавтор. Прикрываясь им, будто щитом, используя в качестве прикрытия и других героев-героинь (Анна-Нюша; Тамара-Томусик; личный биограф, фотограф, библиограф Всевоочки — можно просто *граф* — Семен Розенцвейг; их двойники, а также некоторые другие, гораздо менее важные персонажи), Вишневецкая пробирается по его же созданному лабиринту, наблюдает за подстроеными встречами доброжелательным шпионом.

Задача же автора сколь понятна, столь и сложна: с трудом перемещаясь в пространстве, загроможденном декорациями (лодка в высохшем море, летающее корыто-купель, поезд-библиотека, лифт с вырубившимся светом, Норильск, Москва), Марина Вишневецкая пытается постичь тайну. Тайну творчества, тайну ею создаваемого. Вот отчего возникает ощущение, что текст «Главы...» скорее давний, чем свежий. Обычно такого рода искания застигают писателя, когда он еще только-только начинает понимать, что придуманное им существует и помимо него, что герои имеют обыкновение оживать, что слово податливо, как пластилин, а все обозримое пространство пусть опосредованно, но все же лежит у самых ног и его можно даже потрогать мизинцем. И кажется, что с чудом этим сравниться не может ничто. Писатель — властелин хотя бы и собственного, но — мира. К сожалению, так, впрямую, тайна не поддается расшифровке. Но вполне очевидное знание о ней каждому автору необходимо постичь на собственном опыте.

Кстати, сама Вишневецкая прекрасно понимает тщетность подобных попыток, скажем, Геннадия; не зря в «Главе...» столько отсылок — не только из уст основного рассказчика — на условность создаваемого текста. Этакая литературная рефлексия, что-то вроде усилий по направлению к самоопределению. Словно бы автор пытается руками пощупать: а как это оно там все получается? Ан нет — ускользает, а она снова и снова, чтобы все-таки поймать, потрогать. Что ж, пожалуй, подошло время еще для одного, сугубо литературно-изыскательного, реестра (прошу прощения за столь усиленно педалируемый, к тому ж заимствованный у Геннадия фирменный прием, но уж больно он здесь кстати):

1. «Тамарина глава написана в жанре «колонка редактора». Твоя, как я вижу, валется в манере стеба. А моя — такая, знаешь, китчуха с прибабасами». Таким образом, Анна определила главу Геннадия как «стеб», таким же образом изначальный автор пытается отстраниться от текста, полностью перекладывая ответственность на Геннадия. Он у нее — вроде как мальчик для битья. Что ж, не самое худшее обращение с персонажами. Их, мы слышали, иногда и убивают.

2. «То есть поток сознания был для меня фактически лишь приемом, благодаря которому я могла вольно, путем ассоциаций переноситься во времени и пространстве». Словно бы о самой Вишневецкой говорит здесь персонаж, потому как именно поток сознания — ее излюбленный способ повествования, что само по себе не было бы удивительно, не пользуйся она им с такой легкостью и мастерством.

3. «Мы, наверное, зря ищем выход из этого места — из этой главы! Впереди еще минимум — одна». Это — не иначе как поиски пути к отступлению, которое, по-видимому, не состоялось. Глава — одна, она же — четвертая. Хотя по всему тексту шастают двойники персонажей из соседних, нерассказанных, глав.

4. «Мда, с некоторым опозданием осваивает наша литература специальную теорию относительности, — я все равно не поспеваю за ней, за тем, как легко в ней насмешка настигает серьез, а серьез насмешку...» В «Главе...» это смешение серьезного и ироничного, пожалуй, немного не уравновешено. Чего больше? Пожалуй что серьезного, насмешке достаются лишь изящные словесные экзерсисы, игра звуков, да и так называемые «речевые характеристики персонажей».

5. «Досмотрим этот странный сон и проснемся!» И опять попытка уйти от ответственности! Уже и Геннадий покидает поле боя, не выдержав корытной качки. Сон — он и в Африке сон, какой может быть спрос?

И вот наконец последний пункт реестрика — этой нашей ищейки, вынюхивающей секреты ремесла, зарытые в текст «Главы...»:

6. «„Роман путешествия от „Одиссеи“ до „Дон Кихота“, до „Мертвых душ“ вплоть, сменился — ненадолго, всего лет на полтора — романом пути: от Стендаля, ну скажем, до „Волшебной горы“. Я — о другом, я о том — что же дальше? А дальше нас ждет — *роман тракта* (термин — мой, и прошу ссылаться!). Тракт — это такой специфический путь, путешествие по которому совершается сразу во всевозможные стороны, что позволяет уравнивать в правах все возможные трактования, ради которых этот роман, собственно, и создается! Сам по себе он, как правило, скучен до неприличия. К сожалению, скучен не в том смысле слова, в котором хотелось бы! А потому предлагаю — в желаемом смысле — издавать его *скученным*, то есть кратенькой вступительной аннотацией...»

Сию пространную цитату предлагаем считать авторецензией на «Главу четвертую...».

И, рассмотрев со всех сторон введенный термин (ссылаемся, а как же!) «роман тракта», выносим встречное предложение. А именно: засчитать Марине Вишневецкой попытку осилить сей пока не расчлененный опытной рукой критика жанр.

Потому как: чего-чего, а уж трактований «Главы...» может быть предложено в количестве п, а п, как известно, все стремится и стремится к бесконечности. Эффектнее было бы, наверное, составить реестрик трактований, но мы пойдем другим путем, лишь намекнув, что новый, еще весьма условный жанр предполагает своеобразное сотворчество, которое скорее является, чем не является творчеством. То есть: писатель потрудился, теперь твоя очередь, читатель!

Татьяна МОРОЗОВА.



НА ГРАНИ ДВУХ МИРОВ

Мирча Элиаде. Под тенью лилии. Избранные произведения. Перевод с румынского Анастасии Старостиной. Предисловие С. Александреску. Послесловие Ю. Стефанова. М. «Энигма». 1996. 858 стр. («Мандрагора»).

Книга, которую нам предлагают, — это, в сущности, путеводитель. Путеводитель по мирам, о которых мы все смутно помним (хотя бы из детских сказок), но реальности которых не предполагаем. И, наверное, вовсе не желаем ее, этой реальности. Ведь признать ее существование — все равно что допустить, будто в нашей обжитой малогабаритной квартире оказались (где? откуда?!) подпол и чердак и еще множество неизвестных нам прежде помещений, населенных неведомыми жильцами. Признать ее существование — значит признать серьезность того, за чем мы с таким облегчением отказались эту серьезность даже предполагать.

Таких вещей немало. Прежде всего — это слово. Мирча Элиаде пишет для тех и о тех, кто не желает воспринимать слово лишь как метафору, о тех, кто ищет за ним серьезный, недекоративный смысл. Он пишет о тех, кто, ушибленный словом, способен время и жизнь отдать поиску, нащупыванию легкой и неверной ниточки, которая оказывается истинной и прочной путеводной нитью. Ниточки, кончик которой неожиданно блеснул перед нами в словах. О тех, кто способен поверить, что слова сказки, легенды, мифа могут обернуться нитью клубка бабы-яги, помогающей герою выбраться из запутанных переходов и заколдованных мест его собственной жизни. Он пишет об убийственно (или — живительно?) серьезных вещах. Он пишет о настоящем, о сущем.

Знаменитый исследователь истории религий, он вникал в них не как нынешний коллекционер-энтомолог, собирающий редкости мира насекомых и честь и славу свою полагающий в открытии сотой разновидности миллионного вида, но как средневековый натуралист, читавший Божий мир словно книгу, в которой есть ответ на загадку Бытия. Он обладал удивительной способностью, дающей только алчущим душам, — отнестись с доверием к тому, что противоречило привычным культурным нормам и установлениям воспитавшего его человеческого сообщества. Он отказался (зadolго до того, как это стало хотя бы по видимости привычным) от главного табу европейской культуры XIX века — не предполагать реальности там, где о нее нельзя стукнуться лбом.

О том, что он обнаружил, отказавшись от этого табу, написаны все его романы и повести, вне зависимости от их в высшей степени условного разделения на «реалистические» и «фантастические».

Такое разделение, определено, не проблема автора и не проблема сочувствующего и со-понимающего читателя. Это попытка людей, целиком находящихся под властью указанного табу, выяснить, где же они все-таки оказались. Но, кажется, именно для таких людей и писал Элиаде свои романы. Для тех, кто только попытался задуматься. Для еще не повернувших головы, но ощутивших смутное — еще преодолимое — желание оглянуться. Слово «фантастическое» — это их способ защиты от наступающего «другого», щит и преграда, которой они отгораживают свое привычное существование, свой обжитой мир от пугающего расширения и от непредвиденного вторжения, или, как замечательно определяет Сорин Александреску в статье, посвященной творчеству Элиаде (ею открывается эта книга): «*Фантастическое есть форма выживания европейца, устранившегося от кровинем, к которому он стремился, и останавливающегося у последней черты: что, если это — правда?*» Элиаде далеко не первый и не единственный автор, от которого современный читатель попытается отделаться при помощи спасительного словечка. Но с ним это не пройдет так легко, как удастся с писавшими раньше. Ибо он пишет — очевиднее.

Потому что ему — труднее. Как будто от века к веку все сильнее расходятся края материков прежде единого мира, взорванного — Боже, как давно — и все время взрываемого новым, лишенным сомнений неверием (ибо, как теперь оказалось, и сомнение по сравнению с тем, что пришло ему на смену, вещь благая и целительная). И все больше смелости и напряжения требуется, чтобы заглянуть за рваную береговую линию и взглянуть в отплывающую землю — еще недавно такую родную и освоенную. А теперь все больше представляющуюся недостоверной, легендарной, фантастической.

Элиаде — из тех, кто не верит в то, что все заканчивается обрывом, из тех, кто слышит зов скрытой за туманами земли. И если душа рванулась навстречу, все оказывается так близко — только протяни руку.

Необычная литература? Мы такое не просто читали — это входило в нашу школьную программу. «Ты никогда не поймешь, Егор, на что я иду ради тебя!.. На что осмелилась... Если бы ты только знал, что за кара меня ожидает... За любовь к смертному!» («Девушка Кристина»).

Знаем, что ожидает: «Видит, лежит на песке золотом / Чудо морское с зеленым хвостом; / Хвост чешуею змеиной покрыт, / Весь замирая, свиваясь, дрожит; / Пена струями сбегает с чела, / Очи одела смертельная мгла. / Бледные руки хватают песок; / Шепчут уста непонятный упрек...»

Знаем теперь, прочтя Элиаде, что за упрек шептала Морская царевна Лермонтова: «Если бы ты мог остаться со мной, если бы мог быть только моим — какое бы чудо исполнилось!»

Тот, отвергнутый неверием, забывчивостью и душевной ленью человека, мир первым начинает тосковать и рваться к соединению. Мир падших духов и духов земли, да и детей земли: зверей, птиц, трав и цветов, — томится по человеку, ибо лишь в человеке его спасение и надежда. Получить прощение или обрести душу они, часть которых была отторгнута от Бога грехом и падением человека (в Книге Бытия, гл. 3, Господь говорит Адаму: «проклята земля за тебя»), могут только силой своей любви к человеку — в том случае, если он откликнется на эту любовь. Лучше всех об этом написал Г.-Х. Андерсен в бессмертной «Русалочке». Знали об этом и Лермонтов, и Элиаде.

«И стали три пальмы на Бога роптать: / «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? / Без пользы в пустыне росли и цвели мы, / Колеблемы вихрем и зноем палимы, / Ничей благосклонный не радуя взор?..» «В море царевич купает коня; / Слышит: «Царевич! Взгляни на меня!.. Слышит царевич: «Я царская дочь! / Хочешь провести ты с царевною ночь?» Это Лермонтов. А вот Элиаде: «Мне плохо одной, любовь моя... Помоги же мне! Мне холодно... Приласкай меня, сядь рядом, возьми меня в объятия, Егор... Не хочу больше сниться... Я устала от холода и бессмертия, Егор, любовь моя!..»

Человек в зове этого мира чувствует угрозу и защищается. Нельзя сказать, что бы он был совсем не прав. Соединение требует невероятного усилия и доверия. Из-за неспособности к ним одна из сторон гибнет. Как правило — та, что страдала от разъединенности.

Но и тот, кого окликнули, не будет уже доволен и счастлив. «Едет царевич задумчиво прочь. / Будет он помнить про царскую дочь!» И герой Элиаде, Егор, вонзив железо в сердце закопанной в глубине погреба девицы Кристины (как и полагается поступать с вампирами), вместо облегчения испытывает тоску и муку беспросветного одиночества: «Больше он никогда не увидит ее, никогда не вдохнет фиалковое веяние ее духов, и ее губам, знающим вкус крови, никогда уже не пить его дыхания».

Вампир смертельно опасен, да и о русалках мы знаем много такого, что откликаться на их призыв кажется непростительной глупостью. Но они настойчиво стучат в закрытые человеком двери в поисках любви. И своим любимым они не желают зла. Наоборот. Но дверь, как видим, с треском захлопывается, зашибая насмерть того, кто попытался войти.

Внешний сюжет следующей повести, «Змей», посвящен увеселительной прогулке светского общества в монастырь. Прогулка предпринята с целью сосватать жениха Дорине, девушке из почтенной семьи, которая и устраивает эту поездку. По дороге к ним присоединяется незнакомец, — и далее пересказ внешнего сюжета бессмыслен, потому что действие переходит в иной план, смыслы начинают обволакивать сюжет, изменять контуры каждого события, как это почти всегда происходит у Элиаде. Пересказанные, его произведения не просто оказываются не равны себе — они становятся другими произведениями.

Смысл повести в том, что здесь достигается равновесие устремлений двух миров друг к другу. Здесь особенно очевидно, что для водворения сакрального в профанном, для воссоединения разорванных миров требуется согласие и встречный порыв нашего мира, готового радостно и смиренно принять мир тот. Недаром лишь одна из героинь, Дорина, получает полное посвящение (инициацию, то, без чего так страдает современный мир, по Элиаде; ведь инициация, обряд перехода, и призвана воссоединить два мира, связь между которыми человек не способен восстановить самостоятельно). Для других то, что происходит, — лишь неприличное, скандальное происшествие, оснащенное некоторыми фокусами ловкого пройдохи, цыганского выкормыша. Всем дается пробежать по лесу в священном беге, но для многих это так навсегда и останется всего лишь игрой в фанты.

Здесь тот мир уже не бьется телом о стальную решетку, установленную людьми порядочными и благопристойными, чтобы защититься от его вторжения, подобно тому как втыкали ножи в подоконник сестры невесты Финиста — ясна сокола. Нет, он приходит лишь к тем, кто открыт его приходу. Миг равновесия

краткий и неверный, ибо чем дальше, тем больше люди этого мира будут пытаться отыскать тот мир (именно в таком порядке расположены произведения Элиаде в рецензируемой книге) — и напарываться на ими же воткнутые ножи.

В «Змее» же — реальность того, что принято считать сном, и того, что принято считать бодрствованием, сочетаются в счастливым равновесии, сливаются в одно до такой степени, что люди, далекие от того, чтобы рваться к границам профанной реальности, удобно разместившиеся в самом центре профанного мира, становятся свидетелями священного брака — хотя и находятся в полной растерянности, недоумении, негодовании и жарком стыде перед его лицом.

Но угроза звучит и здесь. Нет, это не обещание неодолимой тоски по уничтоженной твоими же руками отторгнутой половине, тоски неизбывной и смертной, потому что поиски обречены (тобой же самим!) на вечную неудачу; это не проклятие, но предупреждение: в случае неисполнения условия (ведь для воссоединения всегда нужно соблюсти условие, часто непонятное одной из сторон) будешь искать своего другого (жениха или невесту) девять лет.

А девять лет в устах того мира — это может быть ох как долго! Не выполнившего условие вполне может ожидать судьба Агасфера (повесть «Даян») — недаром Элиаде называет его душой человечества. Все человечество когда-то не выполнило условия и теперь скитается свои «девять лет», топча железные сапоги и глодая железные хлебы, и кто знает, когда конец пути. Агасфер ждет конца за каждым поворотом — и все обманывается и обманывается.

Элиаде не случайно все время обращается к сказке и мифу, не случайно и при анализе его произведений уместнее всего прибегать именно к ним: для него миф и сказка — ключи, дающие доступ к отсеченным позитивистским сознанием частям реальности, «проводяты» к жизненно важным, но утерянным тайнам. «В иные времена, — говорит его Агасфер, — люди любили сочинять легенды и сказки и, не сознавая того, через сам акт доверчивого слушания проникали во многие тайны мира». И далее: «Учись, Даян, различать условный язык за языком повседневности». Учитесь, учитесь, говорит Элиаде своим читателям, сказка — это гораздо более вправду, чем ваши привычные «вправду». Но кто-то успокаивает себя, как иногда и персонажи романиста: снится, это лишь снится...

Снится? Но в мире Элиаде в «снах» нет ничего успокаивающего. В тысячах и тысячах «снов» повторится обращенный к вам вопрос — пока наконец, наученные повторением, вы не ответите правильно — чтобы хоть немного проснуться. И только хоть немного проснувшись, вы сможете понять, что все те ужасы, с помощью которых вас так безжалостно учили, были лишь сном. Но для этого нужно не безвольное спокойствие, а усилие к пробуждению.

Чтобы дать правильный ответ, нужно обрести совсем иное спокойствие — спокойствие человека, «у которого нет ничего, кроме надежды». Но если тебя, как героя повести «У цыганок», одолевают бесплодные сожаления и тягостные воспоминания, если ты снова и снова ворошишь былое, а оно способно только сбить, увести, заморочить, то ты вновь и вновь не дашь правильного ответа, не угадаешь, «которая цыганка», и вместо рая, вместо гармонии мира, вместо чуда, ожидавшего тебя, вновь и вновь будешь попадать на пыльные, жаркие улицы своего города, не важно, в одном или в другом времени, и блуждать по ним, разлученный трусостью или недогадливостью со всеми, кого любил.

Нет, Элиаде рассказывает нам не о снах. Он говорит с нами о вещах, о которых мы, в силу ущербности нашего воспитания, не привыкли слушать, — о свободе, которую, раз уж она утеряна, необходимо завоевывать правильным выбором, правильным ответом на предложенный вопрос. Причем нас вовсе не стараются сбить с толку: те, кто задает вопросы, не менее нас заинтересованы в правильном ответе. Отторгнутое нами (то, без чего мы так несчастны, и не подозревая о причине своего несчастья) робко ждет, чтобы мы поняли указание и подсказку, чтобы вслушались, наконец, и в вопрошание и в себя и дали бы правильный ответ, чтобы вновь было «чудо как хорошо».

Не угадывающий, пытающийся защититься от вопросов отставанием своих амбиций, цеплянием за свои случайные и отрывочные знания, герой повести «У цыганок» вместо рая попадает в ад жары и ужаса, в хаос случайных вещей с их случайными превращениями, в позор и стыд наготы и отдельности, противополо-

ставленности всему и всем: «Почти у самого окна путь ему преградили устрашающие звуки: голоса, смех, шум отодвигаемых стульев, словно бы целое общество вставало из-за стола и направлялось напрямиком в его сторону. Он увидел себя: голый, тощий, кожа да кости — когда он успел так отоцать? И при этом — что за новости — с безобразно отвислым животом!» Вновь испытывает страх и стыд и единственное желание — спрятаться, укрыться, герой начинает тянуть на себя портьеру. И та откликается на его желание (воистину, каждый получает то, что хочет, но не каждый этим доволен!), свертывает его, обвивает туго со всех сторон, накрыв с головой. Где отдельнее и «безопаснее» человеку, чем в саване?

«Дальше мы стали играть в прятки», — рассказывает героиня старухе, перед которой вновь очутился, не попав в рай. Вновь и вновь он играет в прятки с самим собой, прячется и скрывается сам от себя: таит свою трусость и нерешительность, маскируя ее попытками строгой респектабельности. И даже выброшенный в другое время — ну как иначе оторвать его от дурманящего его прошлого и вновь одарить надеждой, — он ни в чем не признается себе; и даже встретившись с давно утраченной, преданной им любовью, из-за потери которой пропала, ушла в песок вся его жизнь, он будет продолжать оправдываться. И ничего не поймет.

Это ему скажет героиня: «Снится, всем нам снится. Так это начинается, похоже на сон», — слова, которые один почтенный рецензент книги Мирчи Элиаде адресует всем ее читателям. У меня нет ни уверенности, ни гарантии — есть только надежда на то, что это несправедливо. Надежда, что мы не безнадежны. Нужно только помнить про себя: «Если не угадаю, кто из них кто, при свете, придется бегать за ними и ловить их в потемках». Не желающий видеть и понимать подсказки слепнет и теряет способность увидеть. Задача при этом вовсе не облегчается.

Как бы хотелось наглядно показать, в чем разница восприятия замкнувшегося в усеченной реальности человека и того, кто захотел видеть дальше. «Не играй с ножом, — говорит один из героев Элиаде девочке, подпавшей воздействию иных сил и воль, — ангел-хранитель улетит». Это не поэтический троп, не метафора. Когда «зрячий» видит, как на улице человек, а тем более малый ребенок, ругается матом, он не возмущается из-за погранных «моральных норм» — он приходит в ужас. Есть народное поверье, что от ругающегося «по матушке» (слово-то какое) Богородица на семь лет отворачивается. Право, незачем воображать себе, что «Бог наказывает», у него нет в этом необходимости, достаточно попустить людям совершать то, что они будут совершать без Его присутствия.

То, чему учит Элиаде, вроде... техники безопасности. Он учит понимать, что если мы уж погрязли в плену причинно-следственных связей, то причин в мире гораздо больше, чем нам нравится думать. Мы ведем себя так неосторожно, что странно не то, что столько бедствий и болезней обрушилось ныне на человечество, — странно, что мы вообще еще живы.

О тех, кто помогает нам выжить, рассказывает Элиаде в повести «Загадка доктора Хонигбергера». Здесь создается как бы «порог», связывающий два мира: люди таинственной Шамбалы Агартхи, знаменитой Невидимой страны Востока, ушедшие из этого мира, но не перешедшие в мир тот, создают как бы остров на грани двух миров. Они берут на себя функции сохранения этого мира, мира, где все больше людей не приходит в сознание и не отваживается на понимание даже под угрозой глобальной катастрофы, да что там — даже тогда, когда то, чего они больше всего боялись, уже случилось.

Это, впрочем, даже не «порог», не «остров», но мостик, цепь, звено которой — и рассказчик, коему «на роду было написано лишь до самой смерти лелеять ее (эту страну. — Т. К.) в своих печалях и не узнать никогда». Его тоска и печаль по недоступному и н о м у — залог встречи и обретения.

Крест воссоединения. Те, кто берет на себя миссию воссоединения, всегда оказываются в центре креста. Не Восток и Запад, не цивилизацию и примитивные общества хочет в конечном итоге обернуть друг к другу Элиаде, но, пробив броню западного человека — сколь угодно долгим обходным маневром, — вновь привести его к Богу. Не к умозрительному богу западных моралистов, которого следовало бы выдумать в случае его несуществования, но к Живому Богу, в бытии которого верующий гораздо менее способен усомниться, чем в своем собственном бытии, — не потому что «верит» в Него, но потому что знает о Нем.

Смысл обходного маневра сам Элиаде объясняет в своем труде по истории и теории религии «Мифы. Сновидения. Мистерии», недавно вышедшем на русском языке. Автор настойчиво предлагает западной культуре хотя бы взглянуть в смысл и значение обрядов перехода, сохранных «примитивными» культурами. Он сразу предупреждает, что в этом взглядывании мы не откроем ничего принципиально нам неизвестного. Ничего такого, чего мы не могли бы найти в собственном заброшенном духовном наследии, за чем требовалось бы непременно обращаться к индусам, африканцам и жителям Океании. Но часто долгий путь бывает самым коротким. Элиаде приводит историю о раввине Эйсике из Кракова, рассказанную Мартином Бубером. Этому раввину во сне велют отправиться в Прагу, чтобы там, под мостом, найти спрятанное сокровище. После того, как сон повторился трижды, раввин отправляется в путь и, придя в Прагу, начинает слоняться у моста, чем привлекает внимание капитана стражи. Тот вежливо спрашивает его, не потерял ли он что-нибудь. Раввин рассказывает ему свой сон. Капитан со смехом говорит, что не верит снам, а то давно уже должен был бы отправиться в Краков и в доме раввина Эйсика в пыльном углу за печью искать спрятанное сокровище — ему это много раз было велено во сне. Раввин немедленно возвращается домой, находит в пыльном углу сокровище и живет безбедно до конца своих дней. Так, для того, чтобы отыскать нечто, лежащее под самым носом, но заброшенное и покрытое пылью от неупотребления, нужно отправиться за указанием в далекие страны.

В своих художественных текстах Элиаде предлагает читателю руку для поисков заброшенного сокровища, ведет его далеким путем к нему же в дом — чтобы отыскать там забытый мир и ответ на самый главный вопрос. Нужно только всерьез решиться за ним последовать.

Татьяна КАСАТКИНА.



ФИЛОСОФ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЯ

Яков Друскин. Видение невидения. Альманах «Зазеркалье». II. СПб. 1995. 175 стр.

С этой книгой хочется обойтись как-то особенно бережно. Старческое лицо, смотрящее на читателя с обложки — из «зазеркалья», — своим выражением словно молит об этом. О Якове Друскине (1902 — 1980) сказано пока немного — гораздо меньше, чем еще будет сказано, особенно тогда, когда станет известной большая часть его наследия¹. Поэтому, не считая себя знатоком или «специалистом» и не будучи уверенным в том, что во мне Друскин нашел идеального читателя, опасаясь сказать коряво и не по делу. Друскин — философ, религиозный мыслитель, и его творчество, наверное, впишут в анналы философии нашего века, выделяют ему даже комнату в коммуналке какого-нибудь философского направления, приобщат к какой-нибудь магистральной линии или отнесут на обочину. В аннотации к книге читаем: «Изолированный от своих западных коллег, он создал религиозное экзистенциальное философское учение, отчасти близкое Кьеркегору и Гуссерлю, однако расходящееся с ними в ряде существенных положений». О таких философах говорят, что они создали (или стремились создать) свое учение, систему.

Система архитектурноична. Она напоминает дом. В него можно войти гостем, опасаясь хотя в чем-то нарушить привычный уклад жизни. А можно — новоселом, со сметливостью нового хозяина определяющим, какую перепланировку произвести, что убрать совсем, что переделать, как передвинуть мебель. Философу пристало чувствовать себя новоселом в чужих системах, мы же предпочтем скромную роль гостя. Философ — в этом он солидарен с «просто» литературой — учит нас подмечать то, чего мы не видим, живя по инерции, по привычке, как сказал бы наш автор, в «автоматизме мысли, чувства, повседневности», в котором «усыха-

¹ Сошлемся на большую подборку его текстов разных лет в «Новом мире» («Предопределение и свобода», 1993, № 4), сопровождаемую статьями В. Н. Сажина и А. Г. Машевско-го и библиографией публикаций Я. С. Друскина, а также на подборку текстов 30-х годов в «Обзериутском» номере журнала «Логос» (1993, № 4) с предисловием и пояснениями М. Мейлаха.

ет душа». Друскин «не возводит соборы космогоний» и не задается целью решить извечный вопрос о «первоначалах» — он подмечает то, что происходит с нами и в нас, вернее, — с ним и в нем; традиционная метафизика, учащая о сущем, его не интересует.

Наше зрение, наше видение внешнего мира, нас зачастую обманывает: мы видим, что карандаш преломляется в стакане с водой, а он прям, и т. п., но также обманывает нас и наше внутреннее зрение, взгляд, который мы бросаем на самих себя благодаря «умному оку», интеллектуальному, а не физическому зрению. Значит, должна быть и особая офтальмология, которая задалась бы целью изучить особенности такого зрения. Было бы наивно утверждать, что опыт «Видения невидения» является первым опытом такой духовной офтальмологии, но то, что он является интересным и самостоятельным опытом, — это факт.

Философия Декарта родилась из стремления найти что-то бесспорно достоверное в этом мире. Один раз прибегнув к методологическому сомнению, пройдя через «горнило» сомнения, Декарт уверился в бесспорности существования своего сомневающегося Я и стал прибавлять созерцание своего Я к любому другому созерцанию. Процедуру методологического сомнения у Друскина заменяет размышление по поводу одного случайно увиденного отображения в зеркале: он увидел образ себя самого как чужого. Наверное, каждому приходилось видеть себя как чужого и каждый испытывал при этом неприятное, холодящее ощущение — скажем, в большом зеркале универсама или концертного зала, случайно проходя мимо, я обращаю внимание на некое потерянное существо, которое на поверку оказывается мной самим. Конечно, если часами стоять перед зеркалом, любясь собою, то этого чувства не испытаешь, оно приходит как бы случайно и невзначай.

«Недавно я выходил из какого-то помещения. Подходя к двери, я поднял голову, чтобы не натолкнуться на что-либо, и вдруг увидел перед собою худого старика, чем-то знакомого, но очень чужого. Он шел прямо на меня и смотрел как бы сквозь меня. Мне стало страшно, и почти сразу же я понял: это я — рядом с дверью было зеркало. Мне стало еще страшнее, и, отвернувшись, я быстро вышел». Это, казалось бы, незначительное житейское событие, мимо которого мы проходим, едва отметив его как казус, как смешную оплошность, возбуждает философские поиски объяснения этого феномена, который автор назвал «видением невидения», выбрав эпиграфом к книге евангельские слова: «И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы» (Ин. 9: 39).

Если бы Друскин, как всякий уважаемый философ, позаботился о том, чтобы приискать себе десяток полтора «предшественников», то ему наверняка вспомнился бы странник-мудрец Григорий Сковорода, от которого с легкой руки В. Ф. Эрна ведет свое родословие русская религиозная мысль. В диалоге «Наркисс», осуждающем влюбленность во внешнее и обращающем человека к внутреннему самосозерцанию, он заметил: «Знай же, что вера смотрит на то, чего пустое твое око видеть не может». Увидев в зеркале чужого человека, но не такого чужого, как другие, — те не очень чужие, а этот очень, до страха чужой, — я испытываю что-то вроде озарения, пришедшего ко мне понимания моей греховности и вины. Невинность еще не видит, греховность уже потеряла дар видения. Мы же должны «увидеть свое невидение и в видении невидения увидеть видение». Кто же увидел мое невидение? Я сам? Нет, моя самость слепа. Значит, видит кто-то другой. И этот другой — моя вера или Бог, познавший меня, дающий мне вопреки всякой логике, которая сродни автоматизму, увидеть мое невидение. Получив дар видеть свое невидение, я почувствовал, что со мною что-то произошло. Друскин называет это «поворотом», или религиозным обращением, суть которого в том, что опустошение (пустой, невидящий взгляд) сменяется наполнением.

Загадочность и трудночитаемость текста в том, что автор говорит с нами на весьма непривычном языке: обильно цитируя Евангелие (при желании можно рассмотреть всю работу как комментарий к евангельским текстам), он перемежает эти тексты философскими антиномиями, определениями, парадоксами, которые свидетельствуют о серьезной школе философской мысли. Описание собственных экзистенций — интеллектуально переживаемых состояний, — дающее повод отнести Друскина к традиции экзистенциализма, сочетается с сухо и педантично, по пунктам изложенными принципами и формулировками (например, закона односторон-

него синтетического тождества, открытого философом). Иногда это кажется нарочитым, вычурным, и порою хочется заподозрить философа в желании намеренно усложнить суть дела, чтобы запутать читателя, лишить его почвы под ногами. Философский стиль Друскина в чем-то напоминает стиль Кьеркегора, который, следуя завету Паскаля «*chercher en gissement*» («искать в стенании»), демонстрирует вместе с тем выучку, полученную от Гегеля.

Однако влияние датского мыслителя существенно, но, должно быть, не определяюще. Работа Друскина — одно из ценных свидетельств восприятия в России феноменологической мысли Эдмунда Гуссерля. Основная феноменологическая процедура, названная термином стоиков «*эпохэ*», — воздержание от суждений о том, что принадлежит к природному миру и миру наших переживаний, или, как традиционно выражается философия, к миру Я и не-Я. Феноменологическая редукция, этот своеобразный пост мысли, сродни очищению сознания — только не от соблазнов, как в опыте аскета, а от всякой предметности. Феноменолог должен произвести внезапный и резкий переход от естественного мира к миру сознания, миру смыслов. В «Кризисе европейских наук» Гуссерль замечает, что такой поворот сродни религиозному обращению. Неспроста корни феноменологии небезуспешно ищут в средневековой философии. Но Друскин настаивает, упрекая Гуссерля в недостатке рвения: не сродни, а есть самое настоящее религиозное обращение. «Строго научная» феноменология и ее язык как бы используются им для обоснования религиозного экзистенциализма, например в описании эсхатологичности моего «сейчас».

Феноменология восстанавливает в правах интеллектуальную интуицию, открывающую нам в созерцании подлинные смыслы «самих вещей», однако ее собственный мировоззренческий смысл (сама она яростно восстает против трактовки философии как мировоззренческой науки) позволяет обращаться к ней для обоснования совершенно разных позиций в отношении к миру — примером тому могут послужить два русских философа, продуктивно обращавшихся к Гуссерлю, — Густав Шпет и Алексей Лосев. Если для Шпета, мнящего себя ортодоксальным гуссерлианцем, пределом интеллектуального видения оказывается «светлая радость, торжество света, всеблагая смерть... которая ни за что не пощадит того, что должно умереть, без всякой... надежды на его Воскресение», то для Лосева таким пределом оказывается умная тайна Имени, созерцание Фаворского света. С Гуссерлем дружил и общался Лев Шестов, также, как и Друскин, религиозный экзистенциалист. Он увидел в философии своего друга очередное притязание рассудочной, логицизирующей философии на тайну бытия, открывающуюся «только верой». Опять-таки отношение к Гуссерлю принципиально иное, чем у Друскина. Осмысление опыта религиозного сознания с помощью феноменологических процедур свойственно скорее некоторым западным философам, чем представителям отечественной философской традиции.

Знакомство с работами Гуссерля могло произойти у Друскина еще в университетских стенах — в 1920 — 1922 годах. Друскин и его друг Л. Липавский учились на философском факультете Петроградского университета у Н. О. Лосского — одного из самых академичных в русской философской традиции, впрочем, принципиально чуждых феноменологии мыслителей. Ученики были, по всей видимости, достойны своего учителя, им было даже предложено остаться при университете, но высылка Лосского на «философском пароходе» за рубеж в конце 1922 года давала понять, что заниматься философией всерьез на философских кафедрах не стоит и мечтать. «Видение невидения» написано в 1966 году, а дополняющие эту работу «Рассуждения о Библейской онтологии, о тайне контингентности, о моем рабстве и моей свободе и об эсхатологии, не вошедшие в „Видение невидения“» — в 1967-м. Тем не менее почерк самобытного ученика Лосского в этих работах ощутим, особенно в формулировках закона одностороннего синтетического тождества (формально-логическая невозможность такого закона очевидна, но Друскин полагал, что описываемая им сфера формальной логики не подчиняется). Так, одна из формулировок закона гласит: «Жизнь есть жизнь тождественная мысли о ней, сама мысль о жизни не тождественна жизни». Как следует из дальнейших определений этого закона, он выполняет функцию своеобразного фильтра, задача которого — «отцедить» самость. «Сам — мое несоответствие Божественному дару мне... моя вина без вины». В этой

тяжбе с самостью очевидна переключка с целой традицией русской мысли, восходящей в свою очередь и к Якобу Бёме, и к Шеллингу... При желании можно обнаружить некоторое формальное (и не только формальное) сходство «закона одностороннего синтетического тождества» с основной формулой интуитивизма Н. О. Лосского: «в процессе познания внешнего мира объект трансцендентен в отношении к познающему я, но... имманентен самому процессу знания».

Но дело даже не в формулах и понятиях. Читая Друскина, ловишь себя на мысли о небытии, на которое была обречена в России недолгим цветом отцветшая русская религиозно-философская мысль. У Сигизмунда Кржижановского, замечательного писателя, при жизни сумевшего опубликовать лишь несколько маленьких рассказов, есть повесть о «стране нетов» — такой странной нежити, для которой страна «естей» кажется нелепой выдумкой. Писатель, который вполне мог бы при ином раскладе событий стать и философом, своеобразный философствующий отшельник, разошедшийся с повседневностью, подметил странный тип существования: люди, которых как бы нет. Их нет в шуме первых пятилеток, в единодушном ропоте по поводу очередных врагов народа, они как бы перестали дышать, дабы избавить себя от необходимости дышать одним воздухом со страной. Друскин относился, наверное, к числу таких людей. В блокадном Ленинграде, на крайней степени истощения, потеряв единственного из оставшихся близкого друга — Д. Хармса, он записывает в дневниковых заметках, озаглавленных «Перед принадлежностями чего-либо»: «Ходить, во всяком случае далеко, я уже не могу почти два месяца. Евангелие не читал или очень редко. Но все же я начал работать, хотя еще не по-настоящему. «Логический трактат». Когда я его писал, было так холодно и я так слаб, что больше получаса писать трудно было» (10 февраля 1942 года). Вдова писателя Л. С. Друскина в послесловии «Об авторе» пишет: «Анонимность была лишь ширмой, скрывавшей его от агрессии внешней жизни, а за ширмой протекала внутренне интенсивная, творчески насыщенная жизнь». Такая анонимность могла заключаться и в философской позиции писателя, в его отношении к «самости»: «Последний идол — я сам: мой ум, мое понимание справедливости, мое понимание добра, мое понимание ума. Это другая сторона наивной, непосредственной самоуверенности и легковерия. Оно уже не непосредственно, так как в рефлексии, но не менее наивно и глупо. Радикализованное сомнение в Боге невозможно без радикального сомнения в себе самом». Отсюда и жизненная позиция писателя — быть скромным учителем русского языка и литературы, а позднее математики в вечерних и заочных школах Ленинграда и ничего не печатать, кроме — единственное исключение — вышедшей на украинском языке книги «О риторических приемах в музыке И. С. Баха».

Тем не менее мысль Друскина рождается не в пещере одинокого сознания. Он — «участник эзотерического содружества „Чинари“», как написано в аннотации, друзьями его юных лет оказываются Д. Хармс, А. Введенский, Н. Олейников и Л. Липавский. Эзотерики — те же потерпевшие кораблекрушение моряки. Только те, выброшенные на необитаемый остров, первым делом валят лес или собирают хворост, чтобы разжечь костер и сложить хижину, укрывающую от дождей и выюг, а эти — придумывают свой собственный язык, который поможет укрыться на обочине официальной культуры. Так получилось, что Друскин, ставший хранителем и комментатором текстов Хармса и Введенского, взял на себя задачу вырабатывать общий язык, который должен был стать основой общего понимания. Они назвали себя «чинарями», то есть имеющими особый чин духовного посвящения, в который сами себя рукоположили. Может быть, в «небесной иерархии» «чинари» мыслили себя следующими после ангелов? В 30-е годы Друскин написал большое сочинение «Разговоры вестников», так и оставшееся неопубликованным. Из краткого «реферата» этого сочинения следует, что «вестники» — это особые, имеющие метафизические повадки существа (по-гречески их следовало бы называть ангелами). Догадываясь, о чем они разговаривают и как проводят жизнь, писатель как бы приобщается их сонму. Хармс, прочитав текст Друскина, сказал: «Я вестник». «Вестникам известно обратное направление. Они знают то, что находится за вещами... Они сосчитали число поворотов». Описывающий религиозные «повороты» Друскин — не вестник, но он знает о том, чего он не знает, но знают вестники. Про него можно было бы сказать словами Баратынского:

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея...

Вестники покидали писателя и возвращались, но оставалось одно стремление, одна экзистенциальная страсть: «Это стремление — бесконечная заинтересованность Богом, которую Он вложил в меня, и, насколько я себя помню с 1911 года, когда я еще не знал и имени Его, — величина постоянная, хотя и динамическая». Эта заинтересованность скорее «гностическая», чем «этическая» или «церковная», — мысль Друскина нуждается в Христе, но она не нуждается в соборном опыте, хотя он и говорит о видении невидения другого, об опыте открытия мною другого. Пытаясь разгадать смысл слов Христа, приведенных в Евангелии от Луки: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14: 26), Друскин пишет: «Я должен возненавидеть не своего ближнего, а **свою** привязанность к нему, чтобы в любви к ближнему не заменить ближнего своей привязанностью к нему; тогда я люблю уже не своего ближнего, а удовольствия и радости, которые он мне дает, люблю свою привязанность, свои привычки и впадаю в автоматизм мысли и чувства». В церковном опыте Друскину также виделся автоматизм, отвлекающий от напряженности экзистенциального мышления. В его отношении к грехопадению, которое становится необходимым способом познания добра и зла, читаются мотивы древних гностиков. Бог оказывается хитрецом, допускающим войти в мир соблазну и даже едва ли не предлагающим мне претерпеть искушение: «соблазн непрямая речь Бога». (Эта позиция яснее очерчена Друскиным в эссе «Грехопадение», опубликованном в «Новом мире».) Ведь в центре гностического опыта находится именно идея спасительного познания, для которого необходимо распознавать «на вкус» добро и зло. Однако если это и гнозис, то принципиально отличный от шеллинговско-соловьевского, от гнозиса софиологов. Друскин полагает предел всевозможным медитированиям о механике происхождения мира из божественного ничто и т. п. Излюбленный «мэон» софиологов, как ничто потенциальное, таящее в себе что-то, есть у Друскина «дьявольское ничто». Возможно, внимательное прочтение текстов Друскина откроет напряженный диалог с идеями русской религиозной философии, хотя это диалог подводный, скрытый, происходивший уже из иного контекста мысли. Но сильное религиозное напряжение этой мысли нельзя не ощутить: как писал в дневнике сам философ, во всех его произведениях «есть общее ядро, хотя прямо, может, и не сказано: *Soli Dei gloria*».

Книга «Видение невидения» издана в 1995 году. Тем не менее она не появлялась на стеллажах книжных магазинов, даже тех, которые пристально следят за новинками гуманитарной литературы. Небольшой тираж второго альманаха «Зазеркалье», весь объем которого заняли две работы Друскина, выкуплен лишь частично, а оставшаяся часть лежит на складе типографии. Самобытный мыслитель, тексты которого могут быть прочитаны и продуманы не только в России, снова как будто бы оказывается не нужен. Поистине наша культура — большой письменный стол, в котором нерадивому хозяину все неохота порыться. Издавшие тексты Друскина энтузиасты намерены и дальше продолжать альманах, печатая «произведения, которые воплощают прежде всего то, что выходит за пределы конкретной реальности и бытового опыта». В ожидании публикации этих творений хотелось бы все-таки рассчитывать на минимальный комментарий и научный аппарат. И уж тем более необходимо правильно приводить греческие цитаты и давать их верный перевод — к сожалению, перевод двух формул, обозначающих разные типы небытия, дан с точностью до наоборот, что искажает понимание авторской мысли.

Возвращенная из советского официального «зазеркалья» книга серьезного мыслителя, этот, с позволения сказать, запоздалый философский дебют Якова Друскина, развенчивает миф о десятилетиях безмыслия, паралича философии в России. Тексты Друскина и их возвращение в культуру — живое свидетельство тоненькой ниточки, связывающей наше время с эпохой начала века.

Алексей КОЗЫРЕВ.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Григорий Бакланов. Входите узкими воротами. М. РИК «Культура». 1996. 262 стр. 5000 экз.

Андрей Битов. Империя в четырех измерениях. В 4-х книгах. Харьков. «Фолио». М. ТКОО АСТ. 1996. 10 000 экз.

Книга I. Петроградская сторона. 382 стр.

Книгу составили: раздел «Аптекарьский остров» — рассказы «Автобус», «Большой шар», «Но-га», «Бездельник», «Пенелопа», «Инфатьев»; раздел «Дачная местность. (Дубль)» — повести «Жизнь в ветреную погоду», «Записки из-за угла. (Дневник единоборца)»; в третьем разделе — «Улетающий Монахов. (Роман-пунктир)». В Приложении — статья В. Шмид «Андрей Битов — мастер „островидения“».

Книга II. Пушкинский дом. 509 стр.

Текст романа «Пушкинский дом» с авторскими комментариями. В разделе «После „Пушкинского дома“» — рассказ «Фотография Пушкина (1799 — 2099)», размышления об эстетике словесного творчества «Битва». В Приложении — работа Юрия Карабчиевского «Точка боли. О романе Андрея Битова „Пушкинский дом“».

Книга III. Кавказский пленник. 335 стр.

Книгу составили: «Уроки Армении», «Наш человек в Хиве», «Грузинский альбом» и — в Приложении — стихи и проза с посвящениями «Гранту» и «Резо».

Книга IV. Оглашенные. 319 стр.

В книгу вошли повести «Птицы, или Оглашение человека», «Человек в пейзаже», «Ожидание обезьян»; в Приложении — «Попытка утопии. Размышление в конце века», «Астролог. (Несерьезный бык)».

Юрсенар Маргерит. Восточные новеллы. Перевод с французского В. Жуковой. М. «Энигма». 1996. 154 стр. 5000 экз.

Лариса Миллер. Стихи о стихах. М. «Глас». 1996. 128 стр.

В книге три раздела: основной, «Стихи 1966 — 1993»; микроизбранное «Из прежних лет, из прежних книг» и блок литературно-критической эссеистики «О поэтах и стихах» — размышления о Георгии Иванове, Набокове, Ходасевиче, Арсении Тарковском и других. См. рецензию в следующем номере нашего журнала.

Российская маринистика. В 6-ти томах. Том 4. **Н. Панов.** Боцман с «Тумана»; **В. Пикуль.** Реквием каравану PQ-17; **Е. Баренбойм.** Операция «Вундерланд»; **И. Колышкин.** В глубинах полярных морей; **П. Сажин.** Севастопольская хроника; **Л. Соболев.** Зеленый луч; **Ю. Стрехин.** Плацдарм за Эстергомом. Редактор-составитель Ю. Виноградов. М. Международная ассоциация писателей баталистов и маринистов. 1996. 512 стр. 5000 экз.

Н. Старшинов. Лица, лики и личины. Литературные мемуары. М. РИФ «РОЙ». 176 стр. 3000 экз.

А. Шарапова. Среди ветвей. Стихи. М. 1996. 128 стр.

Евгений Шкловский. Заложники. Рассказы. М. РИК «Культура». 1996. 336 стр. Вторая книга московского прозаика. Журнал намерен отрецензировать это издание.



Ханна Арендт. Истоки тоталитаризма. Перевод с английского И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Кимелева и других. Послесловие Ю. Н. Давыдова. Под редакцией М. С. Ковалевой, Д. И. Носова. М. «ЦентрКом». 1996. 672 стр. 5000 экз.

Впервые на русском языке всемирно известная монография. Журнал намерен отрецензировать это издание.

Ваш Григорий Козинцев. Воспоминания. Составление, редакция, примечания, дополнения В. Г. Козинцевой, Я. Л. Бутовского. М. АРТ. 1996. 255 стр. 1000 экз.

И. Е. Забелин. История города Москвы. М. «Сварог». 1996. 636 стр. 9000 экз.

В. В. Зеньковский. Педагогика. М. Православный Свято-Тихоновский богословский институт. 1996. 154 стр. 6000 экз.

Вольфганг Казак. Лексикон русской литературы XX века. М. РИК «Культура». 1996. 492 стр. 5000 экз.

Около 1000 словарных статей о русских писателях, наиболее известных периодических литературных изданиях и некоторых специфически русских и советских литературно-теоретических понятиях; автор — известный немецкий славист, профессор Кёльнского университета. Журнал предполагает отрецензировать это издание.

Т. А. Касаткина. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М. «Наследие». 1996. 336 стр.

В ближайших номерах журнала предполагается рецензия на это издание.

Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии. СПб. «Искусство СПб». 1996. 848 стр. 10 000 экз.

Наиболее полное из существующих собрание работ Ю. М. Лотмана о русской поэзии — книга «Анализ поэтического текста», статьи и исследования, посвященные творчеству Ломоносова, Карамзина, Мерзлякова, Полежаева, Лермонтова, Тютчева, Андрея Белого, Пастернака, Бродского и других поэтов; заметки, рецензии, выступления. В Приложении — анализ отдельных стихотворений Жуковского, Пушкина и Лермонтова. В качестве предисловия — статья М. Л. Гаспарова «Ю. М. Лотман: наука и идеология».

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Египет. Новая математическая хронология древности. М. «Факториал». 1996. 752 стр. 4000 экз.

Академик РАН А. Т. Фоменко и кандидат наук Г. В. Носовский, основываясь на традициях, заложенных Н. А. Морозовым, Львом Гумилевым, академиком Рыбаковым и другими, в подарочно изданном, увесистом томе (62 усл. печ. л.) предлагают свою — абсолютно новую, компьютерными методиками исследований, математическими моделями и полетом их исследовательской мысли подкрепленную — концепцию русской и мировой истории. Они доказывают, например, что никакого татаро-монгольского завоевания Руси не было, что средневековая Русь и Монгольская Орда — это одно и то же государство, империя, которую следует называть Владимиро-Суздальская Русь-Орда. А Орда — это просто регулярное русское войско. И что империя эта просуществовала до Смутных времен XVII века; привычная же нам картина русской истории до XVII века — фальсификация, сделанная в интересах династии Романовых. И что Киев был столицей готов, а готы и казаки, соответственно, — одно и то же. Что Великий Новгород — это на самом деле Ярославль. А Иван Калита, Ярослав Мудрый и хан Батый — одно лицо. Что известная науке картина истории Китая с древности до XV века — исторический миф; и что Евангелие, например, было написано никак не ранее XI века; и так далее, и так далее, и так далее...

А. Пятигорский. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. Перевод с английского Павла Лиона. М. «Языки русской культуры». 1996. 280 стр. 3000 экз.

Н. Н. Трубников. О смысле жизни и смерти. М. РОССПЭН. 1996. 383 стр. 2000 экз.

Людмила Флам. Вики. Княгиня Вера Оболенская. М. «Русский путь». 1996. 158 стр. 1000 экз.

Документальная повесть об участнице французского Сопротивления, казненной фашистами в августе 1944 года княгине Вере Аполлоновне Оболенской, написанная членом семьи Оболенских. В текст повести включены воспоминания Жаклины Рамей, Даниэля Галлуа, И. А. Кривошеина и других, материалы из семейного архива.

Э. Фромм. Миссия Зигмунда Фрейда. Анализ его личности и влияния. Перевод с английского. М. «Весь мир». 142 стр. 5000 экз.

О «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КУЛЬТУРЕ»

В выходных данных этой книги значится: Н. Н. Козлова, И. И. Сандомирская. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М. «Русское феноменологическое общество», «Гнозис». 1996. 256 стр. 1000 экз.

Аннотация же утверждает, что в «этой книге публикуются записки Евгении Григорьевны Киселевой¹. Это образец письма, написанного *талантливым, не принадлежащим Культуре человеком* (здесь и далее курсив мой. — С. К.). Она пишет, как слышит, с «массой ошибок», не подозревая, как надо.... Впервые подобные записки публикуются в оригинальном виде».

Для читателя, хорошо помнящего текст публиковавшихся в «Новом мире» (1991, № 2) отрывков из записок Киселевой «Кишмарева, Киселева, Тюричева», здесь нет загадки — авторы книги процитировали в заглавии фразу из записок Киселевой. Читательское внимание могут остановить лишь слова о «непринадлежности к Культуре» Е. Г. Киселевой. Для читателя же, не знакомого с текстом Киселевой, поясним, что записки эти принадлежат пожилой женщине, плохо владеющей грамотой и не слишком искусственной в литературном труде, но сумевшей написать удивительно яркое, выразительное повествование о своей судьбе. Журнал смог опубликовать лишь часть этих записок, и потому выход их в полном виде не может не радовать нас. Он и радует. Независимо от обстоятельств их публикации, о которых пойдет речь дальше.

Книга состоит из «Части 1», «Части 2», Предисловия и Приложения. Первую часть составляет текст исследования Козловой и Сандомирской, разбитый на главы и подглавки (названия глав: «Наивное письмо и производители нормы», «Игры на чужом поле», «Референт: Порядок мира»); во второй части приводятся записки Е. Г. Киселевой, и в Приложении дан анализ правки, сделанной редактором «Нового мира». В Предисловии же кратко рассказано о Е. Г. Киселевой, судьбе ее рукописи и о задачах, которые ставили перед собой авторы исследования. Записки Киселевой в свое время попали в руки Е. Н. Ольшанской, которая, сразу же осознав их ценность, вкладывает много сил в то, чтобы «сначала перепечатать рукопись Е. Г. Киселевой, а потом опубликовать ее... в легендарном толстом журнале, и своего так и не добивается. Вернее, добивается лишь частично... Это была публикация текста в вычищенном от присутствия самого автора, т. е. отредактированном, виде, зато с комплиментарным предисловием маститого литератора...».

В полуинформационной заметке не место углубляться в спор о том, как следует публиковать такие тексты — как архивные памятники или как литературное произведение; нужно ли, как сделал это журнальный редактор, разделять слитно написанные слова, расставлять запятые и воспроизводить в качестве названия именно то название, которое выбрал автор, — «Кишмарева, Киселева, Тюричева», а, скажем, не просто понравившуюся цитату (в данном случае факсимильное воспроизведение на обложке строки из рукописи: «Я так так хочу назвать кино»). Эти вопросы в разных ситуациях решаются по-разному. Журнал ставил перед собой задачу свести читателя с записками Е. Г. Киселевой для живого человеческого общения — и, на наш взгляд, с задачей справился. В научно-лингвистической же публикации, которую предприняли Козлова и Сандомирская, уместно выбранное ими буквальное воспроизведение авторской орфографии. Но при этом публикаторы, решив, что журнал самой формой подачи и подготовкой текста лишил его реальной жизни, обещают (что подразумевает пафос процитированного выше их высказывания) исправить ошибку журнала и дать запискам Е. Г. Киселевой подлинную жизнь. Намерения публикаторов не могут не вызвать сочувствия — обескураживает только их реализация.

Культура научного издания записок Е. Г. Киселевой, на наш взгляд, предполагала бы тщательное воспроизведение текста, сопровождающееся далее специальной научной работой и развернутыми комментариями. Перед нами же — «лингво-социологическое» исследование, в котором тексты Киселевой воспроизводятся как своеобразная литературная иллюстрация, как сырье.

¹ Исследовательницы никак не могут определиться в написании фамилии автора публикуемого ими текста: у них перемежаются «Киселева» и «Киселева» (правильно — Киселева). Вообще количество опечаток очень велико.

Чтение научной работы Козловой и Сандомирской для меня, например, как человека не слишком осведомленного в этих вопросах было полезным: я благодарен авторам за разъяснение некоторых понятий и подходов к методологии чтения и интерпретации текстов. Но все-таки это было чтение, не имеющее прямого отношения к самому содержанию записок Е. Г. Киселевой. «По запискам хорошо видно, как общественное разделение труда воспроизводит разделение труда между мужчинами и женщинами. Конституирование сексуально-ролевого и социального аспектов идентичности идут рядом. В гендерных проявлениях одновременно объединяются социальная необходимость, как она была инкорпорирована с раннего детства, социальные условия существования «здесь и теперь»...»; или: «Для Е. Г. Киселевой вопрос о том, чтобы «жить не по лжи», не встает. Она этого не «проходила». *Выживание* — главная проблема и главная ценность». Я мог бы еще процитировать несколько таких вот точных наблюдений, приближающих читателя к запискам Е. Г. Киселевой, но в целом исследовательницы решали в этой работе свои «лингво-социологические» проблемы. Разговора, на который рассчитывала автор записок (вряд ли было в намерениях Е. Г. Киселевой изготовление экспоната для научных исследований), — разговора этого в работе Козловой и Сандомирской так и не происходит. Заключительная, резюмирующая подглавка исследования начинается так: «Записки Е. Г. Киселевой прочитаны. Опыт чтения полезен был прежде всего тем, что текст сопротивлялся, противодействуя свободному перемещению слов в пространстве. Он ставил вопросы, ответы на которые еще предстоит искать». И все-таки какие это вопросы? «Вопросов таки немало. Одни — на грани лингвистики и социологии, философии языка. Они касаются социального распределения языка, соотношения вербальных и невербальных стратегий, речевых и ментальных клише, дискурсивного и денотативного письма. Другие — социально-философские. Они касаются малоисследованной области логик практики».

И здесь, уже поверх текста книги, возникает еще одна тема: культура публикации и — шире — понятие Культуры вообще и представление о людях, как сказано в написанной авторами аннотации, «принадлежащих Culture» и не принадлежащих в частности. Логика авторов предполагает, что есть Человек и, как его предложение, Текст и есть Культура и что явления эти разные. Во всяком случае — если перейти на бытовой уровень, — имя Е. Г. Киселевой не значится ни на обложке книги, ни в ее выходных данных — видимо, как лица, «не принадлежащего Culture». Правда, авторы однажды сравнивают записки Киселевой с работами «наивных художников» Пирсманншвили и бабушки Мозес и признают право их произведений быть доступными людям и числиться культурой. Однако в своей «публикаторской» практике исходят из противоположных установок.

...Впрочем, ничто человеческое не чуждо и людям, «принадлежащим Culture», — в заключение хотел бы привести (без комментариев, только с выделениями) еще одну цитату из предисловия Козловой и Сандомирской, их автохарактеристику:

«Н. Н. Козлова, которая проработала 20 лет в Институте философии РАН... *собственноручно переписала* эти записки. *Она задыхалась и мерзла* в вышеупомянутом Архиве (Центр документации «Народный архив». — С. К.), *от руки тщательно переписывая* труд пенсионерки. Затем она набрала его на компьютере с сохранением орфографии, *прилагая все усилия к тому*, чтобы никоим образом не нарушить ход оригинального письма, не поставить, например, по дурной интеллигентской привычке запятую там, где ею пренебрег загадочный автор.

Еще одна женщина-исследователь, лингвист И. И. Сандомирская, вроде бы из чистого любопытства соглашается покопаться в языке пресловутой рукописи, *зная за собой большое умение отыскивать тот шурупчик*, выкрутив который можно посмотреть, как устроена вся машинка.

Наконец, еще одна женщина, *самая молодая из нас*, — издатель О. Назарова, работающая *в молодом же, но зарекомендовавшем себя издательстве* научной литературы. Совмещая защиту кандидатской диссертации по философии с работой в нарождающейся рыночной экономике, *в своей неустанной заботе о рынках издательской продукции* сталкивается со всеми вышеперечисленными лицами, а также с упомянутыми тетрабочками. И у нее возникает желание напечатать это...»

ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя»,
«Крымский контекст», «Литературная газета», «Литературное обозрение»,
«Москва», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета»,
«Несвоевременные записки», «Новая Юность», «Новое литературное обозрение», «Ной»,
«Октябрь»*

Аркадий Белинков. Иллюзии и разочарования Екклесиаста. Предисловие Ирины Уваровой. — «Новое литературное обозрение». Теория и история литературы, критика и библиография. № 18 (1996).

Одна из лагерных тетрадок А. В. Белинкова (1921 — 1970). Тетрадки были вывезены самим автором при освобождении, текст написан предположительно в 1954 году, в больнице Песчлага МВД СССР, в Караганде. Ирина Уварова («расшифровщик его... невозможного почерка») считает, что публикуемый текст вряд ли можно принять за законченный опыт, это скорее оттачивание когтей для будущей прозы. Цитата: «Я всю жизнь в стихах и прозе (и даже в исторических трагедиях. Sic!) ненавидел шовинистические и националистические любовные экстазы. Одновременно с этим я с большим недоброжелательством отношусь к половым извращениям. И поэтому мне далеко не безразлично, как отправляют люди свои любовные инстинкты и что именно они любят. Человек должен любить и совокупляться нормально. Никакой разницы между скотоложеством, гомосексуализмом, трибадизмом, некрофилией и национализмом я не вижу. Избранность евреев мне так же противна, как избранность немцев. [Стерто.] Даже если не вызывает никаких сомнений». По нынешним временам совсем «неполиткорректно».

Бродский в Англии. — «Знамя», 1996, № 11.

Профессор русской литературы (Keele University, Англия) Валентина Полухина печатает в сокращении свои интервью о Бродском — с философом сэром Исайей Берлином, писателем Джоном Ле Карре, тележурналистом Майклом Игнатьевым, профессором русской литературы Джеральдом Смитом, поэтом, критиком, переводчиком Альфредом Алваресом, поэтом и переводчиком Даниэлем Уэйсбортом. Все беседы датированы маем — июнем 1996 года.

Николай Бурляев. Сын вольности. Страницы жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Киноповесть. — «Наш современник», 1996, № 12.

Литературная основа поставленного Н. Бурляевым фильма «Лермонтов» (он же — исполнитель главной роли). Рассказ идет от первого лица. Лермонтова жаль.

М. Гаспаров. Записи и выписки. — «Новое литературное обозрение», № 16, 17, 19, 20 (1996).

Цитаты и маргиналии в алфавитном порядке. На букву П: «ПРОЗА Сенеки выигрывает, если печатать ее короткими абзацами: видимо, так его и воспринимали, как римского Шкловского или Дорошевича. Но добиться такой разбивки русского перевода не удалось: непривычно».

В. Н. Голубев. Воздушные пути. (Акварели-«крохотки»). — «Крымский контекст». Крымская академия гуманитарных наук. История. Политология. Философия. Культура. Учредитель и главный редактор Н. В. Николаенко. Тираж 1000 экземпляров. 1996, № 4.

Датированные началом 80-х годов литературно-философские миниатюры, принадлежащие перу известного крымского биолога и коллекционера русского авангарда Виталия Николаевича Голубева. В том же номере журнала напечатаны заметки В. Г. Зарубина «Об аресте О. Э. Мандельштама в Крыму (1920 г.)», С. Л. Беловой «„Дворянское гнездо“ А. М. Бороздина-Давыдовых в Саблах» и другие материалы, как правило тематически связанные с Крымом.

Николай Гронский. Миноносец. Поэма. Спиноза. Пьеса. Предисловие и публикация Виктора Леонидова. — «Новая Юность», 1996, № 18.

Два произведения эмигрантского поэта Николая Павловича Гронского (1909 — 1934) печатаются по его единственной книге «Стихи и поэмы» (Париж, «Парабола», 1935).

Ф. М. Достоевский. Новоатрибутированные статьи 1872 — 1874 гг. Атрибуция и научный комментарий В. Викторовича. — «Знамя», 1996, № 11.

Анонимные статьи Достоевского в редактировавшемся им журнале «Гражданин»: «Желание», «Соборные...», «Свежей памяти Ф. И. Тютчева» и др. Тут же печатаются некоторые письма из архива А. Г. Достоевской (публикация и комментарии В. Н. Абримовой).

Венедикт Ерофеев. Последний дневник (октябрь 1989 — март 1990 г.). Предисловие И. Авдиева. — «Новое литературное обозрение», № 18 (1996).

Тут же печатаются составленные И. Авдиевым «биография в цитатах» и библиография Венедикта Ерофеева.

Валерий Золотухин. Из «Книги Весны». Страницы дневника. — «Литературное обозрение», 1996, № 4.

Записи 1968 года. Таганка. Любимов. Можаяев. Репетиции «Живого». Райкомы, парткомы.

Дмитрий Зубарев. Из жизни литературоведов. — «Новое литературное обозрение», № 20 (1996).

60-е годы. ИМЛИ. Протоколы заседаний партбюро. Дело Ю. Г. Оксмана (его публикации в зарубежной прессе). Дело А. Д. Синявского.

Андрей Ильичев. История высоты 6725. — «Несвоевременные записки». Процесс-журнал Уральского региона. Фонд «Галерея». Фонд «Юрятин». Челябинск — Пермь, 1996, том 2.

Антимилитаристская фантазмагория в прозе. «Если всех нас не убьют, мы никогда не выиграем эту войну...»

Евгений Лапутин. Мои встречи с Огастесом Кьюницем. — «Новая Юность», 1996, № 16.

Главы из романа-мистификации (чем-то напоминающего «Ермо» Юрия Буйды). Другие главы из того же романа печатались в «Новой Юности» в 1994 году (№ 2-3). Роман того же автора «Приручение арлекинов» печатался некогда в «Новом мире» (1993, № 7).

Александр Лацис. Из-за чего погибли пушкинисты? — «Ной». Армяно-еврейский вестник. Издатель и главный редактор Вардван Варжапетян. 1996, № 19.

О том, что Л. Б. Троцкий был незаконным правнуком (?) А. С. Пушкина. Статья перепечатана из литературного альманаха «Кольцо А» с новыми прибавлениями.

Юрий Лошиц. Полумир. Роман. — «Наш современник», 1996, № 10, 11, 12.

Русские в Югославии. Продолжение романа «Унион» («Наш современник», 1992, № 10, 11).

Андрей Матвеев. Луиза, или Отчего Марк Дэвид Чэпмэн решил убить Джона Леннона, хотя, впрочем, какое нам всем до этого дело? Пьеса в двух действиях. — «Несвоевременные записки». Процесс-журнал Уральского региона. Фонд «Галерея». Фонд «Юрятин». Челябинск — Пермь, 1996, том 2.

Время действия — поздняя осень 1995 года. Место действия — частная психиатрическая клиника. Действующие лица: Луиза, она же медсестра, она же Йоко Оно; Врач, он же Марк Дэвид Чэпмэн, он же Джон Леннон. Обязательное авторское условие: не использовать как песни Джона Леннона, так и песни группы *Beatles*.

Ксения Мяло. Между Востоком и Западом. Опыт геополитического и историко-софского анализа. — «Москва», 1996, № 11, 12.

«Работа эта, идущая по стыку политики, истории, литературы, текущей публицистики, отчасти затрагивающая даже явления из области поп-культуры, но одновременно по необходимости выходящая в область архетипов, устойчивых мифов коллективного сознания, есть мой опыт осмысления тех событий, которые в течение последних десяти лет перевернули нашу жизнь, изменили политическую карту мира, сжали и продолжают сжимать место, занимаемое на ней Россией...» (К. Мяло).

Владимир Набоков. Неизданное в России. — «Звезда», 1996, № 11.

Очередной тематический выпуск журнала «Звезда». Среди материалов: выступление Дмитрия Набокова, сына писателя, в Национальной Российской библиотеке (Санкт-Петербург, 12 июня 1995 года), русские рассказы В. Набокова «Удар крыла», «Месь», «Венецианка», в переводе с английского и французского — эссе и стихи из берлинского журнала «Карусель», эссе «Писатели и эпоха», «Первое стихотворение», беседа Набокова с Пьером Домергом, лекция «Искусство литературы и здравый

смысл», набоковский комментарий к XXXIII строфе Первой главы «Евгения Онегина». Печатаются письма Набокова к разным корреспондентам, а также тексты о Набокове, принадлежащие перу Андрея Битова, Вячеслава Вс. Иванова, Бориса Парамонова, Ив. Толстого и других авторов. «Новый мир» намерен отрецензировать этот «набоковский» номер.

Владимир Набоков. Прозрачные вещи. Перевод с английского Сергея Ильина. Предисловие Евгения Лапутина. — «Новая Юность», 1996, № 18.

Предпоследний роман Набокова. Написан в Швейцарии в 1969 — 1972 годах. Впервые опубликован по-английски в Нью-Йорке в 1972 году.

Анатолий Найман. Славный конец бесславных поколений. Главы из книги. — «Октябрь», 1996, № 11.

Продолжение мемуарно-автобиографической книги. Первые семь рассказов см. «Октябрь», 1995, № 11.

Эрик Найман. За красной дверью: введение в готику нэпа. — «Новое литературное обозрение», № 18.

О взаимоотношениях между сексом, политикой и литературой в период между военным коммунизмом и первой пятилеткой.

Людмила Петрушевская. Дом девушек. — «Знамя», 1996, № 11.

«Йоко Оно», «Жизнь это театр», «Выбор Зины», «Упавшая», «Шопен и Мендельсон», «Майя из племени майя», «Дом девушек», «Бацилла», «Мужественность и женственность» — рассказы из книги «Реквием».

Людмила Петрушевская. Белые дома. Рассказы. — «Дружба народов», 1996, № 12.

«Младший брат», «Лайла и Мара», «Белые дома» — новые короткие рассказы того же автора.

Под созвездием Близнецов. Анна Присманова и Александр Гингер. Вступительная статья и публикация Вадима Перельмутера. — «Октябрь», 1996, № 11.

Русские эмигранты в Париже. Не замеченные критикой и читателями поэты А. Присманова и А. Гингер (муж и жена). Их стихи.

Станислав Рассадин. Урок датского. — «Дружба народов», 1996, № 12.

Рассадин в Дании. Любопытные рассуждения о «тыканье» и «выканье» в России.

Евгений Рейн, Иосиф Бродский. Человек в пейзаже. Подготовка текста и примечания Нади Рейн. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 3.

Беседа. Сентябрь 1988 года. Нью-Йорк. Первое свидание после отъезда Бродского в эмиграцию в 1972 году.

Владимир Рецептер. Прощай, БДТ. Из жизни театрального отщепенца. — «Знамя», 1996, № 11.

Короткие автобиографические рассказы известного актера.

Елена Ржевская. Послесловие. — «Дружба народов», 1996, № 12.

О маршале Жукове. «Это послесловие к тому, что прожито и не изжито, не разгадано. К тому, о чем писала и что осталось недосказанным...» (Е. Ржевская).

Михаил Рошин. Радиация. Рассказ. — «Дружба народов», 1996, № 12.

Купе. Перрон. Родня. Кладбище.

Михаил Синельников. Незримое благословенье. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 3, 4.

Исламские мотивы в русской поэзии. Статья печатается в сокращении.

Б. М. Соколов. «Кандинский. Звуки. 1911. Издание Салона Издебского». История и замысел неосуществленного поэтического альбома. — «Литературное обозрение», 1996, № 4.

Поэтические эксперименты художника В. В. Кандинского. См. также аналогичную публикацию Б. М. Соколова в «Новом мире» (1997, № 1).

Карен Степанян. Реализм как спасение от снов. — «Знамя», 1996, № 11.

О романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота», романе Юрия Буйды «Ермо» и книге рассказов Дм. Бакина «Страна происхождения». (О Пелевине см. в «Новом мире» рецензию И. Роднянской — 1996, № 9; о Бакине см. в «Новом мире» рецензию Т. Касаткиной — 1996, № 8; отклик Н. Елисеева на роман Ю. Буйды см. в настоящем номере «Нового мира»).

Тимур Кибиров без фиговых листочков и вне тусовок. Беседу вела Оксана Натолока. — «Литературная газета», 1996, № 48, 27 ноября.

«Я далек от мысли считать себя христианином, верующим, но я, что называется, человек христианской культуры. Христианские ценности, христианская философия, насколько я владею вершинами христианской философии, — это единственное из известных мне мировоззрений, которое я безоговорочно могу принять. Но это, естественно, не равно вере, потому что вера — более живое и более глубинное, требующее от человека большего. В свое время, в 20 — 30-е годы, были советские писатели и были так называемые писатели-„попутчики“, сочувствующие. Я не могу полностью отождествить себя, сказав, что я христианский писатель, но, может быть, несколько неуместно перенося это в сферу религиозную, могу назваться „попутчиком“» (Т. Кибиров).

Виктор Троицкий. О безымянном мастере и его шапочке. — «Москва», 1996, № 11.

К 30-летию публикации «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва». О том, что Булгаков надел на своего мастера черную шапочку с головы А. Ф. Лосева.

Павел Улитин: знаки припоминания. Вступительная статья, составление и комментарии Михаила Айзенберга. — «Знамя», 1996, № 11.

Павел Павлович Улитин (1918 — 1986) — имя, практически неизвестное за пределами, по уверению Айзенберга, узкого круга почитателей, к коему я не принадлежу. Печатается его весьма занимательный (вне жанров) текст «Поплавок», написанный летом 1960 года в Литве, на отдыхе. Литературные нравы нашего времени заставляют всюду видеть мистификацию, даже там, где ее нет. Или есть? Или нет?

Николай Шадрунов. Медведь. Повесть. — «Нева», 1996, № 11.

Русский Север в начале войны. Леспромхоз. «...А в большой выгородке, сделанной для выгула скота, гулял медведь с коровьим колоколом-боталой на шее. По договору медведь ОРСу не принадлежал и мясным скотом не числился».

Сергей Шаповал. Каждому времени свой... «Я — деятель культуры», — утверждает Дмитрий Пригов. — «Независимая газета», 1996, № 234, 15 декабря.

Беседа с поэтом. «Надо жить без будущего, не рассчитывая на него... Нужно, чтобы как можно быстрее Россия регионализировалась, распалась на мелкие кусочки, которые жили бы своими частными интересами без всякого представления, что происходит за пределами города... Я человек языкового поведения, хотя многие считают меня агностиком... Я принял на себя служение: я — деятель культуры... Не могу сказать, что я бедствую, но денег, естественно, хотелось бы больше» (Д. А. Пригов).

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

10 лет назад — в № 4 за 1987 год напечатано эссе Владимира Набокова «Николай Гоголь».

30 лет назад — в № 4 за 1967 год напечатан рассказ Фазиля Искандера «Колчерукий».

65 лет назад — в № 4 за 1932 год напечатаны стихотворения О. Мандельштама «Довольно кукситься, бумаги в стол засунем...» и «О, как мы любим лицемерить...».

70 лет назад — в № 4 за 1927 год напечатаны воспоминания Вяч. Полонского «Фурманов», а также продолжалась публикация книги Софьи Федорченко «Народ на войне».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yevgeny Rein, Yelena Ushakova and Elmira Kotlyar.

We are beginning to publish the prosaic book «A Love Affair with Prostatitis» by Alexander Melikhov (to be ended in No. 5). We also publishing the short narrative «Irunchik» by Sergei Zalygin, two short stories by Anatoly Kini, as well as a selection of short stories by provincial authors Vladimir Nasushchenko, Vitaly Snezhin, Stanislav Slavich, Arkady Pasternak, Vladimir Kurnosenko and Yuri Tsaplin.

The section «New Translations» is presented by poems by Polish poetess Wislawa Szymborska, a 1996 winner of the Nobel Prize in literature (translation by Victor Korkia and Natalia Astafyeva).

The section «Publicistics» is occupied by the article «Dominant Influence» by Vladimir Oshero.

In the section «Publications and Reports» we are publishing the essay «Marina, Ariadna, Sergei» by Vitaly Shentalinsky.

The section «Writer's Diary» presents the notes by Alexander Solzhenitsyn on the novel «The Death of Vazir-Mughtar» by Yuri Tynyanov.

In the section «Literary Criticism» we are publishing the articles «The Plots of Anxiety» by Irina Rodnyanskaya on the works by writer Vladimir Makanin, as well as the polemical notes «An Appointing Gesture» by Andrey Vasilevsky.

The section «Les Essais» is presented by the notes by Svetlana Chekalova on the prose by Sergei Dovlatov and other Russian writers.

In the section «Reviews» Nikita Yeliseyev reviews the novel «Yermo» by Yuri Buyda; Tatyana Morozova reviews the prose by Marina Vishnevetskaya; Tatyana Kasatkina reviews the prose by Mircea Heliade; Alexei Kozyrev reviews collected works by Yakov Druskin.

The issue also presents our traditional section «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.12.96 г. Подписано к печати 24.02.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 16 950 экз. Зак. 4372. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1997 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Подписанты (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. Слишком, чтоб было правдой... (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ. Из литературного наследия;
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Наш старый дом (повесть); Итоги «тринадцатой пятилетки» (очерк);
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Произведение (маленькая повесть);
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morbus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);
 ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак в коридоре (опыт фантастических воспоминаний);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 РОМАН СОЛНЦЕВ. Иностранцы (маленькая повесть);
 ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Корова на крыше (повесть);
 АНТОН УТКИН. Свадьба за Бугом (повесть);
 СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ. Актуальные проблемы актуального искусства;
 ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. В санитарном поезде Черниговского Дворянства (заметки и впечатления, 1915);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ГАЛИНЫ ЩЕРБАКОВОЙ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**